

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИИР

12

1988

12

НОВОБЫИ
МИИР

1988



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1988 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР ПШЕНИЧНИКОВ — Лопуховские мужские игры, бригадная повесть. Предисловие Сергея Залыгина	3
СВЕТЛАНА ЕВСЕЕВА — Лесослав, стихи	54
СВЯТОСЛАВ РЫБАС — Плач из далекого года, повесть	56
ГЕНРИХ САПИР — Сатиры и сонеты	77
МИХАИЛ КУРАЕВ — Ночной дозор. Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР тов. Полуболотова	80
ВАДИМ СИКОРСКИЙ — Три стихотворения	115
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ — Изолированный бокс, диалог	116
ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ — «Не унывай, зимой дадут свидание...», стихи. Предисловие Сергея Бочарова	121
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ИВАН ЕЛАГИН — Тяжелые звезды, стихи. Вступительное слово Е. Витковского	125
ЕЛИС. ВАСИЛЬЕВА — «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь». Публикация и вступительная статья Владимира Глоцера	132
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ — Долгий путь Югославии. Трудно ли освободиться от сталинизма?	171
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Репортаж из-под редакции	185

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

- АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ — Младшая дочь. Окончание. Подготовка текста и примечания С. А. Розановой 206

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Р. ГАЛЬЦЕВА, И. РОДНЯНСКАЯ — Помеха — человек. Опыт века в зеркале антиутопий 217

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 231

Сергей Костырко. «Будем жить в глубину...».

Марина Борщевская. Потерянный рай верлибра.

В. Турбин. Босфор, Евфрат и Москва-река.

Политика и наука 244

Александр Архангельский. Из прошлого о вечном.

В. Чаликова. Кому принадлежала Поднебесная?

Светлана Семенова. «Да» сознательной эволюции.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. МАРТЫНОВА — К истории отгочий 256

Е. ШУБИНА — Страдания «завещанного слова» 258

КОРОТКО О КНИГАХ:

А. Александров.— Свой подвиг свершив... ✦

В. Библихин.— В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. ✦

М. Вашкевич.— Е. Книпович. Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии. ✦

Андрей Василевский.— Энциклопедический словарь юного литературоведа 263

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 267

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1988 ГОД 268

ВЛАДИМИР ПШЕНИЧНИКОВ



ЛОПУХОВСКИЕ МУЖСКИЕ ИГРЫ

БРИГАДНАЯ ПОВЕСТЬ

Владимир Пшеничников живет далеко от Москвы. И от Оренбурга тоже далеко. Вот он и знает, как там, вдалеке, «в глубинке», живется, что и как там делается, о чем гумается, если московские-ленинградские споры-разговоры совсем не слышны, будто бы их и в природе нет. И это одно из тех обстоятельств, в силу которых нам нынче интересен Пшеничников, еще совсем молодой человек, совсем не пробивной, который не рвется в литературу, и ему то и дело приходится напоминать, что он обладает литературными способностями и поэтому должен писать. Я так и делаю, напоминая с тех пор, как в 1982 году проводил семинар молодых прозаиков в Оренбурге. И всякий раз как напоминая, почему-то вспоминается мне Валентин Овечкин — тот самый, тоже районный и тоже сельский.

Сергей ЗАЛЫГИН.

Играй, хоть от игры и плакать ближний будет...

Денис Фонвизин.

Тут предстает пред мои глаза толпа писателей, которые то бредят, что видят. Их сочинения иногда читают...

Н. И. Новиков, «Живописец».

Часть I

ПРОБА ГОЛОСА

Семь прорех — одна заплатка

«**З**воною в «Победу» Гудкову и знаю: не готово у него собрание, палец о палец не ударил. Нет, готово, говорит! Хорошо, на следующий день еду. Народ, правда, к клубу собрали, музыка играет; вечером, говорят, будет кино бесплатное. Но как раз кино-то раньше началось! Меня Гудков в зале рядом с каким-то дедком оставил, члены правления — кто где, а сам с галанкой обнялся. На сцене — трибуна и портрет Генерального на заднике, такой, знаете, сорок на пятьдесят... Да. Ну, расселись. Гудков: „Опоздавших ждать не будем, прошу высказываться, у кого что к правлению накопилось. Есть желающие?..“»

Василий Матвеев не знал, кого слушать. За трибуной предколхоза Гончарук в докладе до полеводства дочитал, а тут, в президиуме, районный уполномоченный о собрании в соседней «Побед» парт-оргу рассказывает:

«Ну так ему там высказались! (Василий наклонился ближе к уполномоченному.) Наворотили такого, протокол до сих пор оформить не могут, — громче приличного проговорил рассказчик. — Гудков совсем за галанку спрятался!.. Кгм. Да. Я ему потом сказал, ко-

нечно, что это по меньшей мере непорядочно — выдавать собственную неорганизованность — и лень! — за перестроечное явление. Что это еще за «болезнь роста творческой инициативы»? Молчит. Понял. А вы молодцом. Новое вино, старые мехи — для красного словца чего не выдумаешь. А процедура собрания давно отработана...»

— Или вот Матвеев Василий Софронович, — услышал Василий свою фамилию с трибуны и выпрямился на заскрипевшем стуле. К нему сейчас же обернулся из первого ряда президиума председель-совета Чилигин и зачем-то энергично кивнул кудрявой головой. — Уважаемый человек, — продолжал Гончарук, — опытный механизатор, медаль ВДНХ имеет. Доверили мы ему звено, поставили, можно сказать, государственную задачу. Но где это звено? (В зале в средних рядах зародился шумок.) Развалилось в первый день уборки. Виноват Матвеев? Мы его не виним. Так кто же виноват, товарищи?

— Ты причину скажи! — выкрикнули из зала.

— Или вот еще...

— Да почему звено-то развалилось?!

Председательствующий на собрании парторг Ревунков постучал карандашом по графину. Гончарук оторвался от доклада и посмотрел в зал.

— Я привожу примеры, как это самое новое не приживается в нашем хозяйстве. А почему — это вас надо спросить.

— Да ты что? Нашел виноватых!

— ...коню... конвой! — продемонстрировал богатство и силу родного языка кто-то из задних рядов.

— С больной на здоровую!

— Хо-хо-ол! — прогудел кто-то в пригоршню, и Василий понял, что бузят не одни только бывшие члены его звена.

— Не колхоз, а артель «Напрасный труд»!

— «Ржавая борона»! — Это, определил Василий, холостяк Микуля.

— Не имени Чапаева, а «Лопуховский»...

— Тихо, товарищи, тихо! — кричал Ревунков, обламывая карандаш о графин с водой. — Ти-хо!

Но Василий уже знал, что крикунов не унять, дыхание его сбилось от возникшего вдруг желания говорить.

— Будем собрание продолжать или будем глупые выкрики делать?!

Василий почувствовал, что у него краска приливает к лицу...

— Можно мне сказать? — уже привставая, спросил он Ревункова.

Шум в зале срезало наполовину.

— Слово для справки предоставляется товарищу Матвееву.

— Я два слова...

— Выйди вперед, Софроныч, — обернувшись, шепнул Чилигин.

— Я тут... Дело в чем? Такие звенья, как наше, и не будут держаться. В договоре написали «отвлекать на другие работы в случае острой производственной необходимости», а начиная с посевной дергали во все концы. И оплата. Договор на один год, а год все видали какой. Ясно, плановую урожайность не получить, а среднюю пятилетнюю Филипп Филиппыч, экономист наш, не то что в договор, вспоминать запретил. — Василий посмотрел в передние ряды и остановился на главном экономисте. — Звено в бригаде — как пятое колесо в телеге...

— Затычка для прорывов!

— Да, — Василий немного сбился, — надо твердо гарантировать самостоятельность, и не на один год... Надо разукрупнить нынешние три бригады. Пусть будет шесть...

— А почему не двенадцать? — внятно проговорил Гончарук за трибуной. — Давай будем персонал плодить.

— Никого не надо плодить, — нахмурился Василий. — Бригады без освобожденного помпотеха обойдутся. Зато народу меньше станет, за спину не спрячешься и вообще... И перевести все шесть на подряд... Вот — все у меня.

Василий сел на место. И зал и президиум некоторое время молчали.

— Правильно! — выкрикнули из зала. — Чем на звеньях эксперименты ставить, пусть бригады целиком работают от продукции!

— Правильно тебе? А животноводство куда? — Это молодежавый голос пенсионера Делова. — Тогда уж давайте из одного колхоза два сделаем! Сопляки...

— Захочем — и сделаем! Разукрупнить...

И Гончаруку не позволили дочитать доклад до конца, хотя он жадно пробовал выловить написанный Филиппом Филипповичем абзац. Заканчивал он своими словами и не очень напирал на примеры, чтобы еще кого-нибудь не потревожить ненароком.

В перерыве набросились на курево, утыкали бычками чистейший сугроб перед крыльцом ДК, выросший, пока шумели в зале. Задувала поземка, могло и сверху сыпануть, но не о погоде речь, она-то уж точно мимо протокола.

— Разве это порядок? — слышалось. — Как все равно что бездетные живем...

Тут же покуривал паренек из газеты, и неподалеку от него кто-то посетовал:

— Только и читаешь: не по-хозяйски, бесхозяйственность... Ну вот, допустим, собрался я стать хозяином. Че мне делать?

— Языком поменьше молоть, — ответили свои же.

— Ладно! Стал я немым...

— Ну и работай.

— Тьфу! А я че делаю?

— Лучше работайте, — посоветовал корреспондент. — Как дома.

— Если он начнет, как дома, работать, ему штаны придется в складчину покупать!

И смех — значит, Витухин там, другие еще...

— Товарищи! — прямо взмолился Ревунков после перерыва. — Выступили шесть человек, и еще ползала руки тянут...

— Га-а-а! — ответили ему.

— Я предлагаю дать слово еще двоим...

— Га-а!

— ...и прекратить прения! У нас двенадцать вопросов повестки дня впереди!

— Га-а-а!

Собрание было похоже на озорство, на базар. Зал хотел слушать себя, и каждый по отдельности хотел того же. И то, что не затерялось его предложение, скорее удивило Василия, чем обрадовало. Легче ему не стало. Шумело в прошлом году и его звено, да все равно разбежалось, увидав, как сдельщики их в зарплате обскакивают...

А если сбросить сейчас лет десять?

Но, помолодев на десять лет, он, может быть, вообще ничего не сказал бы. До поры лишь одно заботило Василия Матвеева: ходил бы трактор. Или комбайн не простаивал бы. И техника у него не стояла. Да и сам он был легок на подъем: бывал и на сое в Приамурье, и на целине, поразившей не «тучными черноземами», а разором и запустением. Но всерьез задумываться и сравнивать начал он после недели, проведенной на ВДНХ.

...Красиво подсвечивались фотографии улиц и домов колхозов-миллионеров, сверкали эмалью комбайны. И рассматривали их ухоженные,

довольные, в общем-то, люди, и сам он одет был, как мордасовский ревизор. А доедет ли это нитрозмалевое чудо до входа на выставку, если его убогие родные братья в Лопуховку со станции на катафалке попадают?.. Долог путь до Лопуховки. Долог и плох...

— Если вы меня снять решили, так я за место не держусь! — выкрикнул в какой-то момент Гончарук.

— Не-ет, голубчик, ты у нас поработаешь! — нашелся, кажется, Савелий Крашенинников.

— Нароботался, хватит! — прозвучало и такое.

— Встретили с чемоданом, а провожать на двух машинах будем?!

— Какой слабонервный!

Но поскольку немедленной замены Гончаруку никто не видел, с этого момента критика пошла на убыль и заранее приготовленное решение приняли только с одной Васильевой поправкой о разукрупнении бригад. Уполномоченный назвал это дельным решением. А впереди еще одиннадцать вопросов.

Пока дочерпывали повестку, кое за кем жены, ребятишки приходили да так и оставались в зале, потому что уже ни один вопрос без шума не решался. Даже на выборах пенсионного совета забуксовали на добрых полчаса, после чего тот самый Делов Сидор Кузьмич с собрания ушел, потому что его кандидатуру сняли как бесполезную.

Расходились темной ночью и по большей части молчали. Только Вениамин Витухин все доказывал кому-то, что это только для простых колхозников в магазине томатный сок, а к Гончаруку уполномоченный не чаи гонять отправился — свет-то, мол, во всех окнах, как в ресторане... Но никого витухинские смелые догадки не задевали. Видно, устали от собственной смелости.

Лекарство от бессонницы, стрессов и страстей

Когда Сидор Кузьмич Делов собирался на колхозное собрание, к старухе его пришла широко известная даже и за пределами Лопуховки шаболда Ховроньиха. Переступив порог и наткнувшись на Сидора Кузьмича, застегивавшего полушубок, гостя ойкнула и замерла в дверях.

— Христос с тобой, Сидор Кузьмич, — произнесла она ошарашенно. — Я ведь, я думала, ты уже там...

— Туда, — с нажимом произнес Сидор Кузьмич, — туда мне еще рановато, годами не вышел.

— Да ты проходи, сестриц, — подсуетилась хозяйка. — Некого бояться.

— Вас испугаешь! — усмехнулся Сидор Кузьмич, натягивая рукавицы. — Начнете языки чесать... Чтоб за три часа кончили! — установил он регламент и ушел.

Такой срок он и себе положил, но собрание неожиданно затянулось, и, когда добрались до утверждения акта ревкомиссии, пролетело уже четыре часа с хвостиком. Сидор Кузьмич тоже раза два высказался с места, даже словно бы помолодел за эти четыре часа, и тем страшнее показался ему удар, обрушившийся на него, когда приступили к выборам совета ветеранов колхоза.

— Матвеев Софрон Данилович. Отводы будут?

— Не-ет!

— Махортова Евдокия Павловна. Отводы будут? — не отрывая глаз от бумажки, читала кадровичка.

— Не-ет! — отвечал ей хор, который от фамилии к фамилии, казалось, становился все дружнее.

— Делов Сидор Кузьмич. Отводы будут?

— Да! — звонко выкрикнул кто-то из средних рядов, хотя и раздробленное «нет» тоже прозвучало.

— Да или нет? — привстав со своего места за столом президиума, поинтересовался парторг Борис Павлович Ревунков.

— Кузьмич нынче помитинговал, хватит с его!

— Заменить!

Ничего не видя перед собой, Сидор Кузьмич двинулся к выходу. Еле нашел этот выход. Не чаял выбраться поскорее... Сопляки! Он знал, что нынче что-нибудь да случится: невиданная толпа народа — человек двести — стеклась к Дому культуры, а вождей не оказалось на месте... Твердой руки.

К дому Сидор Кузьмич шагал, пропахивая свежие переметы. Конечно, над ним посмеялись! Одному взбрело, а остальные и рады. Небось председателя так же выбирать ни нахальства, ни совести не хватит... В правый валенок насыпался снег, захламилось пятку, и он почувствовал себя уже вовсе никчемным, продолжая кому-то грозить и вполголоса посылать проклятья и снегу, и наступившим сумеркам, и собственной старости. Нет его прежней власти, о которой еще помнят теперешние старухи... Нет...

Но ненадолго растерялся Сидор Кузьмич. Подходя к дому, он уже знал, что делать дальше.

Нарушительниц регламента, вскочивших из-за стола при его появлении, Сидор Кузьмич словно бы не заметил. Едва устроив полущубок на вешалке, он прошел в горницу, пошарил рукой за божницей, потом открыл тумбочку под телевизором.

— Ты, отец, чегой-то припозднился, — проговорила от двери жена.

— А? — выкрикнул, обернувшись на миг, Сидор Кузьмич.

— Да я говорю: ушла Ховроньиха, — доложила хозяйка. — Яичек ей дала да сдобнушек вчерашних... Ты, говорю, че-то поздно...

Сидор Кузьмич не ответил, и его оставили в покое. Подсев к столу, он раскрыл тетрадку на середине и, шевеля губами, не больно раздумывая, начал писать:

«Дарагой Цыка!

Обрасчаюсь к вам патамучто Сил нету терпеть безобразия в то Время как Страна находица на кругым Переломе Истории. Требуеца Работа. Нужон Хлеп и Мясa. Нимала нам извесно палитело Голов и высоких за недопанявание и взятку. Каданадо отдавать все Силы наработи наши Началства и лично Пред калхоза Ганчаруков играеца вбирюльки. Назваье калхозу Имени Василеваныча Чипаева не панравилась — готовы снять. Сбираюца раздилить Калхос. Терпенья нету смотреть набезобразия а Они вдобавок смеютца. И плакыли калхозные денюшки. Кто прошол Огни иводы теперь ненужный никому хлам иболе ничего. Так Ганчаруков панимаит работу светеранам Пенсианерами. Если не дать пашапки ини найтить Башкавитова Мужика ни Хлеба нивидать ни Мясы ини Малака. В Маскве говоритца правильно — унас нипанямают Линию Цыка что нада боле Продуктов и Дисциплины. Усамих Дома ни Дома ана Калхос наплевать изабыть. Вот поглядитя что Ганчарукова опять председателем выбирут патамучто он удобный всем. А крышу цинковым жилезом покрыл ина калхозным бензинчике ездют Зять на Жигулях и Сам на Волги авгараже Бобик стоит для охоты Колхозный. Охотничать надо кончатя!

Суважением...»

И Сидор Кузьмич расписался.

Это был проект, черновик, и он стал внимательно прочитывать строчку за строчкой. Круто, конечно, забирал, но ничего, так нынче и надо. Сколько можно начальству в рот заглядывать? Вон ведь до чего попустительство довело... Ниже подписи Сидор Кузьмич прибавил: «Пенсионерный совет работает абыкак аего не тронули».

Написанное читалось с немалым трудом, и Сидор Кузьмич ре-

шил сходить к учителю Плошкину, чтобы расставить запятые, а заодно и обговорить, как написать адрес. ЦК — он большой...

— Отец, ты куда опять? — встревоженно окликнула его хозяйка, но ответа от озаботившегося мужа не получила.

Зато вернулся Сидор Кузьмич повеселевшим и велел греть ужин. Сам, правда, опять в горнице скрылся. Теперь на стол перед ним легли тетрадные листы в клеточку. Сидор Кузьмич, без труда разбирая ясный почерк грамотея Плошкина, читал:

«Первому секретарю Мордасовского райкома КПСС
тов. Гловову Б. Б.
от ветерана труда Делова С. К., беспартийного.
Заявление

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в нашем колхозе имени В. И. Чапаева грубо попираются права и заслуги ветеранов войны и труда, а также самые основы нашей демократической системы. На состоявшемся сегодня отчетно-выборном колхозном собрании руководство колхоза, партком пошли на поводу у кучки распоясавшихся крикунов-демагогов, которые, воспользовавшись в целом справедливо расширенным правом голоса, увели собрание от обсуждения коренных вопросов перестройки колхозной экономики. Утвержден в целом формальный совет ветеранов.

Прошу Вас лично вмешаться в происшедший инцидент».

И дальше надо было расписаться.

Сидор Кузьмич с уважением смотрел на изготовленный документ и, честно говоря, завидовал учителю, его свободному владению мудреной наукой обхождения с высшим начальством. Плошкин принял его радушно, прочитал проект письма в ЦК партии, тут же отговорил писать туда, сел и за пять минут написал это заявление. Сидор Кузьмич предлагал просто расписаться своей рукой, но Плошкин попросил заявление переписать, а черновик вернуть ему, как только будет закончена работа. Все понимая, Сидор Кузьмич пообещал так и сделать, но сегодня уже на свои силы не надеялся: чересчур строгие слова предстояло переписать от себя без ошибок. «Ладно, — решил, — завтра с утра...»

Он еще раз взялся за листок. «...а также самые основы нашей демократической системы», — прочитал вслух и нахмурился. Системы, да... Честно говоря, заявление плоховато передавало то, что переживала его оскорбленная натура, но, в конце концов, он же не за себя в основном хлопочет... Да что он, клязунник, что ли! Он — за «основу», за «систему» переживает. А попутно товарищ Гловов разберется, что к чему во вверенной ему Лопуховке... Тут сигнал дорог...

— Отец, ужин я разогрела, — оповестила его хозяйка.

— А, иду, иду, — отозвался Сидор Кузьмич и почувствовал, что да, нагулял он аппетит.

Подремонтированная лапша

Вона, значит, что за смех раздавался в доме Витухиных, когда хозяин вернулся с колхозного собрания. С одной стороны, конечно, смешно, как это Елена Яковлевна сыпанула в лапшу вместо соли сахар-песок, но ведь и Вениамин Григорьевич на собрании отчудил: Сидора Кузьмича Делова, вечного бригадира и завхоза, вечного активиста и, главное, почти его соседа, в пенсионерский совет не пустил! Дал деду отлуп — и все проголосовали. Нет — и все!

И ха-ха-ха!

И больше о собрании не вспоминали. Нашелся вопрос посущественней: варить новую лапшу или отремонтировать эту? Решили отремонтировать, сделать ее полумясной-полумолочной. Со смехом и похлебали уже в двенадцатом часу ночи. Мишка с Гришкой сразу отвалили спать, а дочери-семиклассницы досмотрели телевизор до пикающей надписи «Не забудьте выключить...». Косился на экран и Ве-

ниамин Григорьевич, хотя трудно ему было сосредоточиться на экране, когда одновременно следовало решить: пускать на тряпки крапивный мешок или спецовочные брюки. Решили — мешок. Неудобно в общественном месте трясти мужниными штанами (Елена Яковлевна мыла полы в лопуховских магазинах).

В постели, обняв супругу, Вениамин Григорьевич сказал, что чуть не поскандалил утром с завмастерскими, да не стал с дураком связываться.

— Ладно, думаю, ему разве докажешь...

— И правильно, Вен, не связывайся, — мягко проговорила Елена Яковлевна. — Завтра, Вен, гречку должны привезти. Маня сказала — только блатным будут давать. Сколько нам взять?

Вениамин Григорьевич пробормотал что-то уже сквозь сон.

— Сколько ты говоришь, Вен? — ненастойчиво повторила супруга.

— А то я не знаю, что с предплужниками надо пахать! — внятно произнес Вениамин Григорьевич.

«Ну ладно, — вздохнула Елена Яковлевна, — поровну возьму: папе с мамой и нам. — Она потрогала вспотевший лоб мужа. — Папа гречку с молочком любит...»

Потом и она уснула.

Среди ночи еще не раз слышался саркастический смех Вениамина Григорьевича, но он никого не потревожил: к этому домочадцы давно привыкли.

А по двору у Витухиных гуляла метелица. Беспощадно пролетая в распахнутые ворота, она сеяла снежок в раскрытые саманные коробки надворных построек (соломенные крыши с обрешетником отвалились давно и были укрыты еще самым первым нестаявшим снегом), шевелила дверь на уборной, позвякивая крючком, а закрутившись на голом месте двора, мягко укладывала сугроб под стеной наспех сколоченного мотоциклетного гаража. В гараже стоял «Иж» четвертой модели, приобретенный хозяином из вторых рук, чтобы ездить с семьей (ну хоть с половиной ее) за грибами и ягодами в Богодаровские леса, а ржавый руль отслужившего свое «Восхода» пока что торчал под стеной из сугроба. К утру даже мотоциклетный руль не должен был нарушать белоснежной пустоты широкого двора, в которой то ли Вениамин Григорьевич, то ли Елена Яковлевна проложит первую стезжку следов за ворота на улицу. А может, и в другом направлении, смотря по тому, как усвоится беспечальным семейством подремонтированная лапша.

Привет из Лопуховки

«Дорогая Маша! Письмо твое получила еще неделю назад, но с ответом, как всегда, задержалась. Да и не хотела запиской отделаться. А сейчас Вася ушел на собрание. Павлик приедет из техникума только завтра, я убралась по дому и решила, что можно садиться за письмо.

Приветы твои я давно разнесла по адресатам. Известный тебе человек интересуется, как ты устроилась на новой работе. Я ему рассказала, а потом думаю: зачем? Если хочешь знать — узнавай сам!

У нас тебя все помнят, говорят, и правильно, что уехала, а потом жалеют. Такой портнихи нам неоткуда больше взять. А мужики как были дураками, так ими и останутся. До седых волос им бы все в игры играть. Своего я не исключаю. Я тебе писала мимоходом, что звено у него разбежалось осенью, так вот до сих пор переживает, глупый. Он в маленькую коммуну хотел поиграть, да игроки неважные подобрались: они на деньги, а он — на интерес.

А на деньги у нас хорошо Фе Фе играет, теперь он экономист. Помнишь, озолотить тебя хотел? И озолотил бы. Хотя глупо, что я тебя на него нацеливала. Только сильное чувство может переменить

человека. Ты смотрела на той неделе телевизор? Я все дела бросила! Разве такая любовь может быть в нашей жизни?..

Двор в нашем садике забито снегом, а родителей чистить дорожки не заставишь. «Не мы для садика, а садик для нас!» А то, что их чадам гулять надо, — наплевать. До вечера одежду просушить не успеваем.

Известный тебе человек... Да господи, да Чилигин твой — подслушивает нас кто, что ли! Как стал он председателем сельсовета, такой вообще стал! По понедельникам теперь обход делает. Начнет со школы, потом на почту зайдет, в обоих магазинах потрется, и тут уж я его жду, поваров и нянечек в верхний регистр перевожу, чтобы он от нас до глубины души потрясенным выползал! Может быть, по этой причине до вашего пункта он не всегда доходит. Но тебя там нет, чего уж... Марьдимитревна заявки на ремонт телевизоров принимает, полуфабрикаты иногда привозит, а обувь в починку так и собирает со своей родни, хорошо, что родни много. План — куда денешься. Ты вот тоже про план. Об этом ли нам говорить? Женщины мы или кто?

У Чилигина с женой нелады до сих пор — не прощает за тебя, и все. Уж и надоело на это глядеть. Ему в Мордасов то и дело надо, а она думает, что к тебе. Только я все думаю: а как бы я сама-то... (Зачеркнуто.) Ты скажи, целовал мой тебя на том дне рождения у Елены Викторовны.. (Зачеркнуто очень тщательно.) А может, вы правда встречаетесь? Хотя извини, конечно. Я тогда спрашивала у Елены, может, и не было у вас ничего. Она говорит, давала, говорит, тебе таблетки... (Зачеркнуто все и перенос на другую страницу, низ этой собирались, вероятно, отрезать.)

Минут десять сейчас сидела, все никак не могла припомнить что-нибудь для тебя интересное. Да и что может быть интересного в Лопуховке? Вася все газетками шуршит, по воскресеньям телевизор смотрит, и все: да когда же до нас-то дойдет?!

Маша, я думала, вечером что-нибудь на ум придет, и тогда уж dokonчу. Но пришел Вася (поздно пришел, я одна управлялась со скотиной) возбужденный такой. «Кажись, струнулось», — говорит. Начал про собрание это рассказывать. А сам, смотрю, остывает, остывает — и курить ушел на веранду.

Ладно, Маш, ты пиши. Я люблю твои письма читать. Весной, может, встретимся!

Твоя Вера.

Маш, Матвеев мой привет тебе передает! Отживел. Велел за генерала замуж выходить! Ляпнул и красный стал — старика он тебе не желает, а важного и дорогого... Все, я лишила его слова! Будет думать, что говорить».

Микуля обиделся

В ночном ДК лопуховских девчат неумоимо развлекал холостяк Микуля, запасшийся остротами еще в пору, когда за лопуховской свинофермой стояли лагерем бородатые геофизики. Когда-то внимали Микуле его незамужние ровесницы, а теперь их места заняли пигалицы (Микуля называл их электричками), о появлении их на этом свете он слышал, протирая штаны в седьмом, последнем своем классе, программу которого не усвоил и со второго захода. Юношеская половина полуночников была вяловата для посиделок.

Дом культуры «Улыбка» — его строительство приблизила добрая дюжина жалоб во все инстанции за подписью «Молодежь села Лопуховки» — теперь сотрясался музыкальным приглашением на неделю в Комарово или сочинениями жертв западного шоу-бизнеса, под их звуки быстрее вырастал стрельчатый лук в близлежащих огородах, хотя и выходил горек, как все равно что хинин. Вокруг

самого ДК, вероятно, по той же причине, уже в июне цвела лебеда, пачкавшая желтой пылью не то что штанины, но даже и мини-юбки, а зимой высились самые мощные во всей Лопуховке сугробы, издырявленные струйками словно бы лукового отвара.

Но сегодня в Доме культуры был самый настоящий праздник — шум, гам и дым коромыслом. И то обстоятельство, что колхоз не назвали «Ржавой бороной» или, на худой конец, «Лопуховским», как предлагал Микуля, не омрачило Микулиного приподнятого настроения. Он даже домой не пошел после собрания и едва дождался появления обычной компании полуночников.

— А разве кино не будет? — спросили они.

— Киньшик заболел, — откликнулся Микуля.

— Почему тогда афишу не сняли?

— Дурачки, собрание только что закончилось!

— Да зна-аем, — равнодушно ответила компания.

Микуля обиделся. Хоть бы кто-нибудь спросил, о чем базарили, хоть бы просто усмехнулся кто-нибудь... Нет, все, как и вчера, ждали, когда директор Баженов врубит систему и можно будет заняться привычным делом: погонять бильярдные шары размочаленным кием, смешать костяшки домино, просто покурить под табличкой «У нас не ку» (край ей отхватили, да сам Микуля и отхватил стеклорезом года три назад, чтобы с полным основанием сострить: «У нас не ку, не ка, не си, ни баб не пи»).

Бегавший домой перекусить Баженов вернулся с новой кассетой.

— Последний концерт группы «Таракан»! — объявил он через микрофон, и полуночники зашевелились.

— Сами вы тараканы, — процедил сквозь зубы Микуля и ушел из очага культуры в расстроенных чувствах.

На крыльце ему встретилась стайка потенциальных невест, которые довольно игриво окликнули его, и он зловеще пообещал перетаскать соплячек на продавленный диван в кубовую, если не останут.

— И че ж ты с нами делать будешь? — не стушевались девчата.

И Микуля вдруг почувствовал свой возраст как публичное оскорбление.

Ноги его сами выбрали тропинку, пробитую через сугробы в сторону Вшивой слободы. Из полутора десятков домов жилыми там оставались пять, и во всех варили зелье, победившее североамериканских индейцев. А в одном доме Микуля вообще числился полюбчиком.

Ветер с морозцем ошпарил его горячие щеки, заставил задерживать на секунду дыхание, и Микуля приостановился за пустой афишей, застегнул полусубок. «Кино им не показали... малолетки сс...!» — нашлось все-таки слово.

Тридцать два насчитал себе Микуля, и это, оказывается, было немало. Это не шенячи семнадцать или двадцать дембельских... И ноги сами понесли Микулю, не совершившего ни одного художества, трезвого как стекло, к дому. Правда, не улицей, а полузаметенной тропинкой, что-то еще не позволяло Валерию Николаевичу Меркулову уподобиться самым степенным своим одногодкам; и было обидно.

Полстраницы амбарной книги

И не осталось уже мест, куда не достигала бы нога человеческая, но мать дорогая! — сколько еще дремучих и девственно-зверинных сердец существует на свете! Сколько непрореженных и непромеренных душ окружает нас и самих же нас наполняет! Какие там гималаи сверкают, какие каспии плещутся, таятся этны и цветут майорки! Какие?

А может, сплошь тереки и дарьялы? Ну, через одного...

И кто сказал, что все это — заповедное, неоткрытое, нехоженое?

М-да-а. И все-таки. Остановим вон того мордасовского гражданина с сумочкой? Да, с портфельчиком... Это Васечка Митрофанович Мамочкин. Инспектор района. За сорок. С животиком. В очечках. Холостяк по рождению. Маму похоронил. Мой сосед. Сколько раз встречаемся за день, столько раз «здрасьте» говорит. Вежливый, а настоящей памяти нет. Васечка Беспамятный. Он и есть — вреда нет, а не будь его? Остановим? Ушлепал уже Васечка Мамочкин...

Да, надоела ущербность, анемичность, рефлексия. Полнокровного характера жаждем, который... одни говорят, не умирал, другие — только еще нарождается.

А какой нужен-то?

Впрочем, кому место на первой полосе нашей газетки, а кому в этой книге, это я различаю.

Слободская пастораль

Конечно, если не знать подъездных путей и обходных троп, выводящих к «шинкам», если вообще не знать неписанных законов, по которым живет слободка (поредевшая, но непоколебимая), то тогда и мысли не появится завернуть туда в поздний час: там глухо и темно. Микуля знал и законы и пути, и тропы у него свои были, но идти-то он и правда собирался домой. Не смотреть бы ему в ту сторону... Но он глянул — и остолбенел: лучше других знакомое окно — светилось. «С кем это она?» — поперед всякой трезвой мысли сквозанула догадка. И Микуля повернул на слободу.

За тем вызывающе ярким среди тьмы и покоя окном проживала Антонина Богомолова со своей матерью теткой Марфутой, которую грипп шестьдесят девятого года навсегда лишил слуха и обоняния. Правда, Антонину звали Антониной (а то и Антониной Павловной) исключительно в часы работы лопуховского отделения связи, а в остальное время (и загазно) называлась она Шестюжкой за свое любимое присловье, употребляемое даже и при исполнении служебных обязанностей: «Где уж нам уж!» Или: «Где уж нам уж выйти замуж!» Но ведь известен и полный текст предложения, а в нем уступчивых «уж» ровно шесть. Кто первый подсчитал, неизвестно, а имечко привилось. Впрочем, Микуля называл Антонину и просто Шестерней, пока однажды сам не угодил к ней за занавеску. И с той ночи от него вообще ни слова не слышали о заведующей отделением связи.

«Я и так уж вам уж дам уж?! — яростно повторял Микуля теперь, сбившись с тропы, и потому вынужденный пропахивать метровые сугробы еще не слежавшегося, рыхлого и сыпучего снега. — Шестере-енища...»

Разлад их случился в ноябре. Разлад, как считал Микуля, не окончательный, но вот затянувшийся до безобразия, до пронзительной этой догадки. Микуля и не собирался первым идти на примирение, но и... эта не подавала условного знака. Ясно теперь почему! Подыскала себе другого суслика. Интересно было узнать, чей такой.

«Все-таки устроила притон, давала дешевая», — взвинчивал себя Микуля, еще не зная для чего именно. А он ведь почти поверил, что все врет лопуховская молва и было у нее мужиков на копейку, а наплели — на сто рублей. «Нет, ты, видать, обзолотеть хочешь, дорогуша моя...» От светящегося окна его отделял теперь только неширокий палисадник. Не задерживаясь Микуля перемахнул через изгородь и, стараясь не наступать, а вот так вот — всовывать ноги в снег, чтобы не скрипел, — подкрался к окну. Через узкую щель между занавесками он лишь предположительно определил, что теплушка пу-

ста. На столе там стояла вроде бы опарница, увязанная козловой шалью... Беззвучно качался маятник часов... Видел он и входную дверь, кошелку с силосом, занесенным оттаивать на ночь... Неизвестно было, чьи валенки стоят у порога.

Микуля потер левое ухо, поморщился и вдруг увидел у двери Антонину, только что вошедшую в дом. В руках она держала зажженный керосиновый фонарь. Вот сняла телогрейку, подтянула сползший с правой ноги, пока разувалась, шерстяной носок... Микуля осторожно выбрался из палисадника.

Тут скорее всего караулили готовую отелиться корову. Он и кличку вспомнил — Ягодка. И зло сплюнул в сугроб. Чего ради, спрашивается, приперся сюда? Какой, скажите, ревнивец... частный собственник выискался! Но он уже знал, что просто так не уйдет. Знал, чего уж...

Как и предположил Микуля, ни одна дверь — ни сеничная, ни входная — изнутри заперта не была. Расправив на плечах полушубок, он вошел и привалился плечом к косяку. Кислый запах талого силоса шибанул в нос. Антонина, что-то искавшая в ящиках кухонного шкафа, невозмутимо (это она умела) уставилась на него.

— Если,— что-то заклекотало в горле, и Микуля подкашлянул,— если ты думаешь, что непрощенный гость хуже татарина, то имей в виду: по просьбе татар это безобразное выражение ликвидировали. Не ждала?

— Ждала,— вдруг просто и твердо сказала Антонина.

И улыбнулась.

Микуля обозвал себя идиотом и, наверное, покраснел. Не помнил он, когда в последний раз чувствовал себя виноватым, может быть, этого никогда не было. Антонина не спешила подойти к нему, и он не знал, что ему делать.

— Раздевайся, у нас натоплено,— сказала она наконец.

Вешая полушубок, Микуля посмотрел на керосиновый фонарь.

— Пополнение ждете? — спросил.— В смысле корову караулишь?

Не сразу сообразив, о чем он, Антонина пожала плечами.

— Да-а... Крючков Николай комбикорм привозил, выходила рассчитывать.

— Не разорили еще? — спросил, нахмурясь, Микуля и подумал: а не сама ли она под руководством матери производит тот фирменный слободской самогон...

— А куда денешься? — Антонина опустила руки.— Скотники обнагтели вконец: за мешок комбикорма — литр, за воз силоса — литр, за дробленку — бутылку! Хоть самой на ферму переходи.

Микуля опять почувствовал запах силоса, увидел валенки, перенесенные от порога на плиту, штук шесть кизяков и дрова возле печки, ворошок бересты на загнетке. И эта опарница, квашня на столе... «Да-а, притон»,— подумалось. Непросто было матери с дочерью кормить себя и младшего братца, выходившего в люди на городских асфальтах. Микуля знал немного Вовика Богомолова, знал, что седьмой год обещает он «отплатить добром»...

— А, ладно,— махнула рукой Антонина.— Потуши фонарь, я переоденусь.

Она ушла в горницу, так и не дотронувшись до него, и Микуля, расправившись с фонарем, не знал, куда деть себя. Подошел и сдвинул поплотнее занавески на окне. В простенке, залепленном картинками из журналов, отметил прибавление и щелкнул самую мордастую артистку (или кто там она) по носу, отчего та заулыбалась менее жизнерадостно.

Антонина наконец появилась. Знакомый халат, на голых ногах — тапочки с пушистой опушкой. Она села напротив.

— Ну, со свиданьем? — спросила без обычной игривости.

— Не хочу,— качнул головой Микуля.— Ты знаешь, что за собрание нынче было? Концерт! — И он стал рассказывать и не сразу заметил, что даже самые забористые подробности никакого впечатления на Антонину не произвели.

— Лучше бы договорились корм населению продавать,— встала она.— Или хоть бы поросят по договорам выписывали: одного в колхоз, а другого себе откармливай — и вот тебе на обоих кормочек. А то в прошлом году баламутили, баламутили...

Микуля сбился, достал сигарету и отошел к плите, присел там на низкую скамеечку. Закурив, усмехнулся и вдруг очень похоже изобразил вислоносого фуражира, выступавшего на собрании. Антонина легко рассмеялась, он улыбнулся ей и вдруг обнаружил себя на своем месте, на табуреточке, обожженной еще в прошлую осень. «Чего я несу? — поразился.— При чем тут собрание это?» И он опять был смущен, а Антонина оказалась рядом и положила руку ему на плечо.

— И свитер тот же,— сказала.

Микуля раздавил окурочек о дверцу плиты и неловко обнял ее колени...

Про тетку Марфуту он обычно вспоминал на пороге горницы, замолкал и шел, держась за Антонину, на цыпочках. «Да не крадись ты»,— говорила она, не понижая голоса.

Сегодня Микуля был трезв абсолютно и от ее голоса в кромешной тьме, в двух шагах от материнской кровати вздрогнул.

— Зачем ты так? — пробормотал, и она послушалась.

— Стол теперь у нас посередине,— шепнула и чуть дотронулась до крышки (а могла бы и ладонью хлопнуть, обозначая острый угол).

За занавеской Микулю ждало еще одно испытание: Антонина обычно включала на все время жужжащий ночник в виде оранжевой лилии. Хмельному ему было даже очень желательно это скудное освещение, а теперь... «Хоть бы раздеться успеть»,— думал Микуля, потому что к свиданию специально не готовился, однако Антонина словно забыла про ночник, и за сатиновые обшейсковые до колен можно было не волноваться. А может быть, она легко читала его мысли? В ноябре, когда случился разлад, он, кажись, и правда был невменяемый от литра слободской сивухи...

Ожидание чего-то невероятного завладело Микулей. Он замер на постели, хотя это было не в их правилах — обоим в эти минуты взвинчивал азарт борьбы, очень даже нештучной, из которой оба выходили побежденными, и на спине у него едко пощипывали свежие царапины... Теперь Микуля хотел бы уклониться от горячих, цепких объятий Антонины и не знал, как это сделать поаккуратней, чтобы не обидеть ее, двадцать раз уже повторившую «соскучилась — соскучилась — соскучилась»... Но она и это поняла без слов. Размяченная ее ладонь легла Микуле на грудь, согрелась и поплыла, медленно, тихо поплыла вниз, оставляя след ласки, вызывая непривычный озноб. Микуля не шевелился, он словно видел этот теплый след и уплывающую ладонь.

— Тонь,— Микуля проглотил комок,— не надо так...

— Нет, нет,— зашептала она, прижимаясь,— хоро-оший...

В эту ночь учились они и разговаривать...

Микуля уже засыпал, лежа на спине, когда Антонина тронула его за плечо.

— Валер, наверно, пора тебе.— И тихо прильнула, чтобы запастись теплом, сохранить его, неизвестно на сколько часов или дней сохранить.

Микуля блаженно улыбнулся в потемках.

— М-м, пора,— пробормотал, соглашаясь.— Я уже сплю.

— Домой,— уточнила Антонина,— поздно... Вале-ер, скоро мама встанет тесто месить. Слышишь? Пирог у нас.

— Угу. Скажи ей: Мику... я пышки с кислым молоком люблю.

Антонина притихла.

— Валер, ты остаешься, да?

— Уже. Сплю.

— Совсем? — неуверенно спросила Антонина.

— Да,— выдохнул Микуля свое последнее слово,— не до пятницы же...

Тихо, хорошо было ему.

Он неостановимо засыпал, скатывался в застывшие теплые волны. Рядом была женщина, что-то беспокоило ее, но она не мешала ему, не останавливала, не спасала, а он и не боялся утонуть. И не надо ничего говорить.

Повернув голову, Микуля уперся лбом в мягкий плюшевый коврик, на котором, наверное, и в потемках рыбачил вечный старичок в белой панаме и с удочкой, похожей на ружье.

Свидетельство прессы

Теперь секретарша Верка Мухина божится, что, мол, честное комсомольское, все до словечка в протокол занесла. Стенографию, говорит, применяла и крючочки в тетрадке показывает. Но верят ей в основном потому, что председателю Гончаруку она служит недавно и избаловаться просто еще не успела. А в протокол все не втиснешь, это понятно.

Да и по-разному собрание то вспоминают. Кто говорит — зря время провели, кто до сих пор надутый оттого, что наконец себя зауважал, ходит. Венка Витухин песни поет в реммастерских под трактором, а Василий Матвеев — первый, кто дело сказал,— как все равно что ежика проглотил: то его передернет всего, а то замрет и к самому себе прислу-ушивается. Кто говорит, что бригады разделить — пустая игра, не так давно, мол, на целых колхозах опыты ставили, а чем кончилось — известно. Но думают в бригаде — нет, не пустая игра. И собрание, может быть, шумом своим только и дорого да вот этим решением — когда-то надо было голос попробовать. Ведь не может быть, чтобы зря...

А в районной газете про собрание пятнадцать строк в «Официальном отделе» было — и все. Ну и нормально — значит, везде одинаково шумели. Но везде-то как раз потише было, если не считать «Победу», и про чапаевцев, наверное, потому так-то, чтобы другим не повадно стало.

Часть II

ЛОПУХОВСКИЙ СИНДРОМ

Мифократ Чилигин

— А вообще, Елена Викторовна, дай вам волю, вы непременно больного нормальным человеком провозгласите,— заметил не без назидательности Чилигин.— Человек изо всех сил пашет, хлеб убирает, общественной работой занимается, он герой дня, можно сказать, но если при этом не чихнет, не кашляет, чирьев не хватает, то для вас его вроде как и нету совсем. Здоровяк, по-вашему, как все равно что алиментщик, лишенец, выражаясь по-старинному,— нету его для медицинской общественности... Но он есть, Елена Викторовна!

— Да есть-то есть... — неуверенно произнесла фельдшерница, но под строгим взглядом председателя сельсовета смолкла.

— И тебе должно быть ясно, исходя из чего придумали твои начальники всеобщую диспансеризацию.— Чилигин даже из-за стола

вышел, чтобы на ногах продемонстрировать движение мысли, саморазвитие этой мысли до абсурда, до тупика, которым и заканчивается всякая неординарная мысль.— Можем мы идти на поводу у медицинского ведомства? Нет? Конечно, нет! Иначе следом милиция двинется, и у каждого из нас будут отпечатки пальцев снимать — тоже ведь логично, и забота о благе государства видна. А если дать волю Министерству связи, Госстраху? Улавливаешь? Нет, голубушка, не можем мы вам потрафлять. И путать обыкновенный медосмотр с поголовной, как ты говоришь, диспансеризацией... Чего так приспичило?

— Второй раз сам главврач звонил,— вздохнула фельдшерница.— Ругается. Все колхозы, говорит, прошли, только наш да еще там... не сказал кто.

— Во-от.— Чилигин усмехнулся.— Видишь, как тебя легко в заблуждение завести. Не «да еще там», а по меньшей мере двенадцать хозяйств из восемнадцати! Так что если конкретных вопросов нет, иди работай. Есть вопросы по делу?

— Да вроде нету,— неуверенно проговорила фельдшерница.— Большие аптечки в бригады отправила, санбюллетени с Верой написали...

— Бригад теперь шесть — знаешь об этом?

Фельдшерница кивнула и поднялась со стула.

— Зонт не забудь, он мне не нужен.— Чилигин нахмурился и взял с телефонного аппарата трубку.

Когда фельдшерница плотно притворила за собою дверь, Чилигин положил трубку на место; звонить, точно, надо было, но он сейчас не помнил куда. Сцепил ладони и на минуту задумался, прислушиваясь.

Тишину Чилигин любил, мечтал о ней, но чересчур она чревата всякими неожиданностями, чтобы радоваться ей в натуре. Почему это не слышно ни секретаря, ни бухгалтерши? Ведь тут они, за стенкой. Значит, шепчутся непременно о нем, о его этой... прошлой... Нашли занятие!

Надо было переключиться, найти дело, и Чилигин записал на календаре: «Гончаруку — о медосмотре». Положил ручку, подумал и написал ниже: «Диспансеризация».

За окном накрапывал дождик, ветер наносил его на жестяной отлив, и звук был усыпляющий. А вообще-то тревожный, надоевший звук; под стрекотание дождя простаивала посевная.

Все развеяла холодная, долгая, изматывающая всякое терпение весна. С людьми невозможно разговаривать, а разговаривать надо, и немало: меньше чем через два месяца — выборы. Чилигин вздохнул. Вот они, его дела.

Когда-то, соглашаясь стать председателем исполкома Лопуховского сельсовета, он не очень-то прислушивался к тому, что втолковывали ему секретарь райисполкома Быков и заведующий оргинструкторским отделом Уточкин. Поработав до того директором ДК «Улыбка», Чилигин научился составлять планы и отчеты, получил представление о финансовой деятельности, знал кое-кого из нужных людей в Мордасове; он даже был депутатом местного Совета, возглавлял лопуховскую комиссию по культуре, народному образованию и здравоохранению. Он был давно своим человеком в этой системе.

«Да что ты, Яков Захарович,— утешил его секретарь Быков.— Теперь ты не только художественную самодеятельность поднимешь, ты... кто главней советской власти в Лопуховке?»

Уточкин нажимал на необходимость поднять запущенное дело-производство, на невыполнение планов по закупке молока и шерсти у населения и на потерю авторитета прежнего председателя. Он давил на сознательность, и Чилигин сказал со вздохом: «Молоком надо заниматься... Какие уж тут клубы по интересам!»

Секретарь пыхнул на Уточкина и снова обратил к Чилигину лицо, тронутое улыбкой уважения, доверия и надежды. Может быть,

он знал, что Чилигин давно согласен в душе, предложение их принял как должное и долгожданное или по крайней мере естественное, и теперь искусно подыгрывал ему? Ну что ж, это подтверждало бессмертие мифа о ритуале.

— Можно, председатель? — испугал Чилигина трубный глас из приоткрытой двери.

— Да,— он машинально снял телефонную трубку.— Да, да...

Вошедший с недоумением смотрел на председателя, отвечавшего не позвонившему телефону, но Чилигин положил трубку, и теперь можно было считать, что «да» и «да-да» — это приглашение.

— Проходи, дядя Софрон, присаживайся.

— Дело такое.— Старик Матвеев проходить не стал, посмотрев на свои грязные сапоги.— Май месяц, а мы ведь пастухов так и не наняли. Сомнение есть: не по очереди ли пасти придется?

Чилигин долго не отнимал руки от лица. Как же он выпустил такое дело?..

— Ты садись, дядя Софрон,— проговорил наконец.— Вопрос серьезный.

Он встал из-за стола, подошел к окну. Дождь... Дождь, а трава не растет. Слово осень вернулась...

— Дело вот какое.— Чилигин повернулся к посетителю.— Тут ведь, понимаешь, сход граждан нужен...

— Точно так, сход,— кивнул старик Матвеев.— Оно, конечно, и без схода Цыганок свое дело знает, но тут ведь и овечий нужен... Обязательно сход.

— Да еще не один — кандидатов в депутаты выдвигать-поддерживать надо.— Чилигин с удовольствием слушал, как крепчает его голос.— По всем десятидворкам! И пастухов, ты сам говоришь, два... Понимаешь, дядя Софрон, ситуацию?

— Ну-у...

— Именно так.— Чилигин подошел к старику.— Зачем же народ десять раз дергать? Так ведь у нас одни заседания получатся, правильно?

— Да-а...

— И пасти ведь, дядя Софрон, завтра не начнешь.— Чилигин указал на окно, на голые ветки клена за окном.

— Не начнешь.— Старик Матвеев вздохнул.

— Так что не забыли мы про пастухов! Будем совмещать, так и передай тем, кто думает, что у советской власти склероз начался, ха-ха!

Старик уважительно улыбнулся.

— Мы ведь и забыли, Яков, про выборы. Везде грамотки висят, а мы забыли... А телятишек как будем?

Чилигин развел руками.

— Телят придется по очереди. Тут уж ничего не поделаешь. Кто под них найдется?

— Да, эт-то да,— опустил голову старик,— сроду в черед гоняли. Да пацанва, слышь, не больно идет, а нам уж не угнаться...

Чилигин выдержал паузу.

— Вот так мы воспитываем молодежь,— проговорил наконец печально и вернулся к столу.— Кого тут винить?

— Винить некого,— согласился посетитель.— Не мериканцы их испортили, да...

Кабинет он покинул в легкой задумчивости и виноватости.

Чилигин умел поделить вину. Уходящий из его кабинета иной раз и заподозрить не мог, что вину ввалили на него одного. Однако были в жизни Чилигина и такие минуты, когда он понимал, что обращаться к нему за помощью все равно что просить актера, играющего хирурга Кречета, удалить аппендикс. Справку — пожалуйста, печать — приложим, закон — разъясним, мужа в ЛТП — сделаем...

Гончарук лес не выписывает? Топиться нечем, кормиться? Поговорим, но...

И опять тишина в кабинете.

Старик Матвеев упомянул «грамотки», и Чилигин живо представил себе, как полоскает дождь плакаты, писанные тушью; он вывесил их, не дожидаясь типографских. Плачут буквы, стекая красными и синими ручейками, пачкая стены ДК, правления и продовольственного магазина. В целости и сохранности к вечеру, пожалуй, останутся лишь два, упрятанные под крышей в людных местах — на почте и в мастерских...

Чилигин хорошо помнил, как занимали пастухов в прежние времена, но какое отношение имел к этому делу тогдашний сельсовет?.. Да разве это было важно? Все происходило на бригадном дворе, устланном сплошным ковром из соломы, которую за зиму натрусили по былке, а к концу марта она вытаивала вся. Сейчас и на ферме круглый год пахнет какой-то кислотной, а тогда пряный навозный дух был первым весенним запахом. На бригадном дворе он мешался с запахом дегтя из завозни, сырмятных ремней от новой сбруи и махорочки. Тогда и водка, которую выставляли нанятые пастухи, не пахла так керосинно-отвратно, и галдеж не был таким бестолковым, и пастуха, почувствовавшего свою незаменимость и заломившего по лишнему яичку со двора, не крыли яростным матом, а только говорили со смехом, какой, мол, Микишка находчивый, в момент воспользовался... Чудный, цельнодневный был праздник, никто в нем не путал ролей, и переигрывали, кажется, не часто. Теперь и это надо было организовывать.

Чилигин нашел незанятую пятницу и написал: «Пастуший сход». У секретаря за стеной задребезжал телефон, и он посмотрел на свой, молчащий с утра. Знак был не из приятных, может быть, еще и поэтому он никак не мог найти себе дело.

Телефон за стеной звонил долго, значит, женский персонал отсутствовал, а не перемывал шепотком косточки руководству. «Ладно хоть это», — бессвязно подумал Чилигин.

Кума — куме (по секрету)

...Ладно, думаю, дай-кась и нынче разок схожу. И пошла. До-ожжик... Прихожу: баб пятнадцать уже стоят, и все за сахаром. Из наших, слободских, одна я. После женыны с дробилки пришли. Двигаемся, беседуем. Тут вот они, сельсоветские. И Курдяиха, и булгахтерша, и рассыльная с ними. Эта в очередь стала, а Курдяиха с булгахтершей к прилавку прилепились. Ктой-то говорит: нехорошо, от общества откололись. А мы, говорят, так на беседу пришли, поговорить. Я тада говорю: тута магазин, а не разговорня... Ну, смехом, кума, смехом... А сахар возьми и закончись! Маня говорит: нету, вот пустой мешок, вон еще пять пустых — шесть мешочков и было в этот привоз...

Да господи, кума! Да конечно, восемь! Один прям сразу Гончаруков шофер увез...

Тут уж как хочешь, а не смолчишь. Какие с дробилки, эти, правда, сразу ушли, видать, что набрались за три дня-то. Че ж там, два шага шагнуть. На день можно пять раз в очередь стать... Эти, значит, ушли, кому некогда было, тоже поворчали да подались, я молчу пока. Ладно, думаю, хоть пашанца возьму, раз пришла. А сельсоветские теперь все трое возле этого прилавка стали. Мнутя... Ну, бабы, какие остались, про новые порядки пошли языками молотить, про безобразия, в общем. Двигаемся помаленьку, двое нас всего с Шурой Корчагиной остались. Тут Маня шасть в подсобку, глянула оттель и говорит: ах, говорит, я и позабыла, Настасья Михаловна, что вчерась

кулечек для вас откладывала. Курдюиха: ах, Мань, вчераь некогда было! Спасибочки, Мань, да нас здесь трое. Маня: а в кулечке аккумулятор килограмма три будет, вам и хватит... Я тут возьми и не смолчи: а я, говорю, Мань, в шестьдесят втором депутаткой была, нету там и мне кулечка? Смехом, кума, смехом. А они ровно не слышали, на весы пошли.

Шура Корчагина спереди стояла и говорит: как, говорит, вовремя кулечек нашелся! Отсыпай, говорит, Маня, положенный мне килограмм, а этих, говорит, я вперед себе не пропускаю. Ну, сцепились! Маня уж не рада, что кулек нашла. А Курдюиха прет на весы и булгахтершу за собой тянет. Шура ей: нахалка ты, хоть и секретарь при советской власти! И пошло. Срамота! Я говорю: до какой степени распустились, говорю... А Курдюиха: ты бы помолчала, самогонщица несчастная! При всех, кума! Да... А вы там, говорю, сблядовались вконец в своем сельсовете. Че, не правда, что ль? Ох и пополоскались, кума! Курдюиха кричит: мы за Яшку не ответчики! Шура: нахалка ты! Рассыльная гыкать начала как скинутая... А эта молчала... Ну, молодая-то не молодая... Да.

Ну, Курдюиха хлоп сумкой: подавитесь, говорит, вы этим сахаром! А до тебя, говорит, самогонщица, доберемся... Маня: все, говорит, сыплю очередникам! Шуре — шварк кило, мне — шварк... Бесовестная, говорит, третий день ходишь, все не нахапаешь! Во-от, кума... Я хотела сказать... Да побоялась я их! Да. Взяла, коне-ешно! За мной и рассыльной досталось... Конешно, кума, что ты! Там у ней этих кулечков на пол-Лопуховки! Мы с Шурой ушли, а они-то остались!

Ну, вот я к тебе и пришла. Бидончик принесла и змейку — больно уж приметная... А чего ты думаешь, и придут. Две-то банки у меня в погребу, в картошке, а бидончик я уж к тебе в курятник поставила... Да. На прошлом месте, гляжу, у тебе уж занято... Нет, змейку я под крышу подоткнула. А уж флягу мыла-мыла... Флягу не принесла. Бражку, какая была, в целлофанный мешок слила да в шифонер спрягала. Егорыч говорит: по шифонерам шарить — обыск называется. За это их самих по шапке... Да.

Нет, ты вспомни, как Аксютка поймалась. Пришли вроде как против пожара проверять. В галанку шасть, а там «козел» греется, зять ей как-то мимо счетчика подсоединил. Топись, теща, без дров! Да. А за галанкой — фляга с бардой, не знай, кому уж она ее берегла. И села баба. За барду сто рублей присудили да за свет шестьдесят насчитали. Провода отчикнули — топись как хошь. Ни дровец, ни уголька на дворе! Так зятек побеспокоился... Да. К себе, конешно, взяла. Плачь, а бери... А ты не позор?! Какой позор-то! Иной раз подумаешь... А кормиться надо, кума. И дровец надо. И поколоть их надо. Да. А тебе кого бояться, ты монашка, к тебе с обыском не придут. Тем более в курятник... Нет. Нет, кума, не воняет, что ты. Обвязанный...

А-а, принесла, принесла. Вот. И комочками и песочку килограмм. Перед майскими комочками давали, а этот вот ноне самый принесла... Что ты, какой мне чаек! Того и гляди нагрянут. Пойду... Ну, не паразитство, кума? Вот до чего дожили!

Вечером этого дня сначала Вшивую слободку, а потом и все село облетела новость: Морковиха на бражке подорвалась! Мешок из-под азотных удобрений, спряганный в шифоньере, лупанул почище фугаса! Неделю две потом, как выпадал ясный денек, на веревках у Морковихи сушились: габардиновое пальто, два отреза, ситцевый и штапельный, простыни и пара-другая платьев странноватого для теперешних времен покроя.

Участковый об этом занятом факте узнал дня через три, посмеялся, помнится, но, говорят, взял квартиру на карандаш.

Петр Симон Паллас в окрестностях Лопуховки

Все думали, он про палас сказал, и засмеялись.

— Ученый такой был, — с укоризной заметил Володя Смирнов. — Академик и путешественник. Петр Симон Паллас. Неподалеку тут за сайгаками гонялся.

— Во сне, — согласился Микуля. — Или под балдой.

— Не понял, — повернулся к нему Володя.

— Откуда тут неподалеку сайгаки, голова? Я их только на целине видал, когда солому там на колхоз тюковали.

— Я про двести лет назад говорю, — вздохнул Володя.

— Откуда известно? — строго спросил его отец Иван Михайлович.

— Читал. — Володя пожал плечами. — Между прочим, еще раньше тут морское побережье проходило. Пальмы росли, папоротники...

— Да пошел ты! — Микуля засмеялся.

И правда, не до брехни было.

Погода вроде устанавливалась, к вечеру можно было попробовать и сеялки пустить, а тут Чилигина надрали с каким-то срочным сходом граждан. Софронычу он пояснил: народного судью надо подержать, мероприятие важное, — и, попрятав инструмент, прицепили тележку к гусеничному «алтайцу» и отправились за шесть километров в Лопуховку. Думали, за час доберемся, а только на шихан поднялись, Коля Дядин перебрросил скорость, и, чихнув, трактор замолчал. Приехали. Коля кинулся к мотору, бригадир ему помогал, а остальные повыпрыгивали из тележки, побрызгали на колеса и закурили.

— Палласа бы сюда, — сказал Володя Смирнов.

— Ага, а на палас литрочку, и пропади тогда и Чилигин и посевная, — подхватил Микуля, но, оказывается, опять невпопад: Володя академика имел в виду — вроде бы только ему под силу описать кругообзор этот.

А ничего себе кругообзор. Мамаев угол видать, который не иначе как Витухин пахал по осени, напахал он там... И глядели все в основном в сторону богодаровских развалюх, среди которых новостройкой возвышался клуб с крыльцом о двух колоннах. Строение крепкое: стены как в коровнике, слиты из бетона — дело рук одной из первых грачиных бригад в нашей местности, крыша — под железом, и полы хорошо сохранились. Там бригада будет теперь жить, считай, до осени. Там полевой стан, самый дальний в колхозе после раздела бригад. Софронычу, видать, как инициатору и всучили. Хотел бригадировать? Пожалуйста... Но никто не против — обживемся; только вот чумная весна эта...

А может быть, Володя имел в виду ковыльный пологий склон, обрезанный оврагом? Если академик этот Паласов и правда бывал тут раньше, то, пожалуй, вспомнил бы ковыли. Во всей десятиверстной округе, а может быть, и дальше только они и остались не тронутыми плугом. Или богодаровский лесок, затуманенный и не оперившийся пока... За леском, между прочим, еще один поселочек был. Удельным его называли. Переехал Удельный в Волостновку, Богодаровка — в Лопуховку, а жители их разбежались по белому свету, по свежему снегу...

— Иван Михалыч, — сказал Петя Гавриков, — а скажи, хорошо было в Богодаровке жить!

— Это не по адресу, — усмехнулся Иван Михайлович. — Это ты у Карпейча спрашивай, он там до последнего существовал.

— А ты?

— А я лопуховский, — засмеялся Иван Михайлович. — Вы же ж, думаете, раз пожилой, значит, богодаровский? Чудаки...

— Молодых богодаровских нету,— пробормотал Петя.

И это верно. Даже тем, кто в Лопуховке осел молодым, давно за сорок.

— А места тут... хорошие были места,— серьезно сказал Иван Михайлович.— Сколько лесу... Думаете, богодаровский один тут маячил? Куда-а! Мы пацанами были, когда всю урему, километров на двадцать вдоль по Говорухе, на пенек посадили. Жутко было глядеть. А поднялись только чернотал кое-где да ветляк на старице...

— Че ж, тут советской власти, что ли, не было?

— Война была,— помолчав, ответил Иван Михайлович.

— У вас как чуть что, так сразу: война,— начал было Микуля, но Иван Михайлович осадил его взглядом.

— Не одна война, конечно, виновата,— сказал Иван Михайлович.— Целину лопуховскую потом уж пахали. На моей только памяти раз десять землеустройство передельвали. А припашки? Ты разве не пахал клинья? — Иван Михайлович поглядел на Микулю.

— Где говорили, там и пахал...

— Вот мы и делали всю жизнь, что нам говорили.

— А как пасут у нас,— вставил учетчик.— Скотобой, сплошной ток, а когда-то трава была конному по грудь... Суданку, люцерну собираемся на поливных сеять, а раньше тут, может быть, чий рос трехметровый!

— И академик за сайгаками гонялся,— напомнил Микуля, стараясь не глядеть на Ивана Михайловича.

— Да он тут тарпанов видел,— обиделся Володя Смирнов.

— Тарпаны, тарбаганы,— проворчал Павлик Гавриков.— Пошли глянем, чего там с движком.

К нему присоединились братан Петя с Микулей, а остальные еще постояли на урезе шихана. Далеко было бы видно, если бы не дымка, мешавшая и солнышку сушить пашню, мостить дороги... Откуда тогда этот разговор налетел? Софроныч говорит, здоровому коллективу до всего дело есть, но ему положено как бригадиру время от времени и туману напускать.

Все обступили трактор.

— Щас, щас, щас,— частил Коля Дядин, перехватывая из руки в руку ключики.— Патрубок на топливном...

Софроныч молча смотрел за ним, и все тоже молчали. Коля нервничал, ронял ключики за гусеницу.

— А куда мы торопимся? — спросил Петя Гавриков.

— Действительно...

— Нельзя, мужики, обещали быть,— сказал бригадир.— У Чилигина расчет на нас.

— Да пошел он со своим расчетом! — загадела в основном молодежь.

— Ему для галочки, а ты тут...

— Пастухов и без нас выберут.

— Че их выбирать? Давно известные: Цыганков и Лукошкин Петя.

— А кто-нибудь знает судью-то этого?

— А ты не знаешь? Черномырдин — он всегда судьей был. Мордасовский...

— Пусть его мордасовские и выбирают. Мы-то при чем? Был он у нас?

— Да был зимой на свиноферме,— сказал Софроныч.— Лекцию читал.

— Вот пускай его свинари и поддерживают!

— Морковиху пусть позовут да эту... Аксютку!

— О! Аксютке он сотняжку припаял, эта его до смерти не забудет!

— А как Федю с бабой разводил!..

Короче, знакомцев у Черномырдина набиралось и в Лопуховке порядочно, и пока оживляли трактор, склонились возвращаться на стан — готовиться к севу.

— Непорядок, мужики,— осаживал бригадир, но, глянув на часы, махнул рукой.

А поломку нашел Микуля. Живо оттер Колю в сторонку, повозился минут десять, и трактор завелся.

— Я же говорил: патрубок! — обрадовался Коля.

— Говорил ты! Это тебе не охотников на привале перерисовывать.— Микуля стукнул Колю, колхозного художника, по козырьку и утопил в выдавшей виды фуражке.— Рули теперь в Богодаровку.

И вернулись.

Чилигин будто бы выговаривал потом бригадиру за неявку, но в конце концов, ехать или не ехать на этот сход, коллектив решил сам.

С шихана спускались на первой передаче. Кругообзор сужался, не стало видно ни Мамаев угол, ни Богодаровку, а в конце спуска, над оврагом, миновали железную пирамидку с крестом. Петя Гавриков закурил, а Павлик глядел себе под ноги, болтался, как непривязанный мешок, возле борта тележки. Тут, над оврагом, отец их, дядя Костя Гавриков, перевернулся на «Беларуси». Говорят, пил мужик, да какая теперь разница.

Когда отъехали, Микуля прочистил горло:

— Хотел бы я вообще на живого академика поглядеть! Как же так, сказал бы, академик, ученый мужик, а придумал не трактор, а барахло.

— Про трактор он бы тебе ничего не сказал,— заметил учетчик.— Академики — они не конструкторы. А вот мандат бы тебе написал как пустобреху.

— Мандат ему теперь Чилигин скоро выпишет!

— И правда. Когда свадьба-то, Микульча?

— Как отсеемся,— отозвался жених.

И все засмеялись.

— Ничего, он выдержанный,— улыбнулся Иван Михайлович.— Тридцать лет холостяжничал, а уж месячишко какой потерпит!

Отселились через пять дней, до последних майских дождиков, но у Валерки с Антониной гуляли на свадьбе только в июне, на Троицу. В Мордасове тогда проходил фестиваль со скачками, и, говорят, пива бутылочного было — хоть залейся.

Ановимка

(в натуре)

«Дорогая редакция районной газеты «Победим»! Расскажу, как у нас проходило собрание, где поддерживали выборы народного судьи. Собрание проводили наш предсовета Чилигин и человек из района Уточкин, вроде как инструктором его представили. С ними пришла женщина Володина — доверенное лицо в кандидаты в судьи Черномырдина Ф. М. Народ был уже собран, так как объявляли выборы пастухов. Перед ихним приездом было человек так с полсотни, но потом сразу кое-кто ушел и не приехали из бригад. Набралось человек тридцать голосовать. Володина прочитала биографию судьи. С места стали спрашивать, почему нет второго кандидата, тогда мы бы могли выбирать. Доверенное лицо ничего на вопрос не ответила, но добавила, что она лично тоже против данной кандидатуры Черномырдина Ф. М. А мы не против, мы просто спросили, а нам сказали, что мы тут не выбираем, а поддерживаем. И предложили выступать конкретно. Я тогда выступила, не объясняя причины почему, но против, потому что надоело уже судиться за падеж телят, и это всем известно, а председателя не привлекают. Больше желаю-

щих говорить не было. Тогда выступил Чилигин и призвал поддержать. После начали голосовать: за — 10 человек, против — 13, 7 воздержались. Чилигин сказал, что не может быть тридцать человек, и секретарь нас пересчитала — получилось тридцать, потому что в разных местах сидели. После этого Чилигин и инструктор начали требовать с каждого, кто голосовал против, объяснить, почему против, чтобы записать в протокол с его фамилией, чтобы протокол дать прочитать Черномырдину Ф. М. Мы объяснение дать отказались, а двое встали, объяснили, что «за» голосовать не могут, потому что не знают кандидата, и сказали, что знают адвоката Маечкина. После таких разговоров предложили голосовать вторично, так как вроде был пересчет. Вторично проголосовали точно как в первый раз: 10 человек за, 13 против, воздержались 7. Собрание кончилось. Володиной во время собрания одна женщина задавала вопрос, как же она относится к Черномырдину, она при всех ответила, что против. Я уточнила: вы только здесь против или еще где подтвердите? Она ответила, что скажет хоть где. После собрания Уточкин предложил написать факты, почему кто против. Володина еще сказала, он меня неправильно с мужем развел. Еще там другие были разговоры, теперь все не вспомнишь. Но писать никто ничего не стал письменно. Хотелось бы знать, как будет доверенное лицо участвовать в следующем собрании, если она против своего доверителя. В заключение два вопроса: надо ли давать судье протокол с выступлениями, которые выступают против? правильно ли сказал инструктор, что наши «против» не имеют значения и Черномырдина все равно выберут?»

Страницы амбарной книги

Любопытное письмо из Лопуховки.

Сегодня узнал, что существует протокол лопуховского собрания. Второй экземпляр у Кадилина в орготделе.

Читал протокол. В целом все сходится с письмом. Прокатили лопуховцы Черномырдина, хотя и не ясно за что. «Значит, можно готовить к печати?» — спрашиваю. Кадилин: «Будем уточнять. Сегодня должны другое доверенное лицо избрать. Володину заочно выдвинули — «лишь бы не я»... Поддержание в Дорстрое пройдет. Дайте оттуда информацию — и хватит». «Но ведь автор ждет ответа нашей редакции...» — «А кто автор?» — «Да вот же, из протокола ясно...» Сошлись на том, что в среду у него будут Уточкин, Ревунков и Чилигин. Могут присутствовать.

Выясняли часа два.

Кадилин (Уточкину). Ты понимаешь, что ушами вы там прохлопали? Надо же, милый мой, владеть обстановкой.

Уточкин. Как еще владеть? Проголосовали не поддерживать, значит, не поддерживают...

Кадилин. Не поддерживаете — значит, свою кандидатуру предлагайте! Ты мог так сказать?

Уточкин. Не было таких указаний.

Кадилин. Как это не было? Вот еще новость! Ты что, закона о выборах не знаешь?

Уточкин. Вы моего шефа спрашивайте, он ясно сказал...

Кадилин. Ничего Быков не говорил! А это не протокол, это филькина грамота!

Я сказал, что предлагали Маечкина.

Кадилин (Уточкину). Было?

Уточкин. Ничего там не было. С места кричали.

Кадилин. Так надо было заострить внимание — и все! А зачем после голосования людей дергали?

Уточкин. Никто их не дергал.

Кадилин. Как же не дергал, если даже по протоколу видно,

что вытягивали вы объяснения. Вы с этими шутками кончайте! Подзалетишь с вами...

Чилигин все сокрушался, что не смог настоящую аудиторию сколотить из-за этого сева: «Прошло бы на высшем уровне, Валентин Константинович! А так конечно... Только из пятой бригады народ был, а эти — надстройка, пенсионеры, обиженные». Ревунков, парт-орг, сразу сказал, что в день собрания отсутствовал, о самом собрании ничего заранее не слышал, вернее слышал, но передоверился Чилигину как человеку опытному в этих делах.

К концу разговора Уточкин никого и ничего не слушал. Кричал, что он один выборами занимается, тыщу страниц протоколов глуших прочитал, уши у него болят от телефона... В общем, сплошной стриптиз.

Я опять спросил Кадилина: даем в газету? Скажем, под заголовком «Забуксовало собрание»? «Нет! С этой демократией пока одни только недоразумения!»

Салтыков-Щедрин: «Ибо у жизни, снабженной двойным дном, и литература не может быть иная, как тоже с двойным дном. Газеты, например, положительно могут измучить».

Сегодня написал информашку о том, что рабочие и итээровцы Дорстроя поддержали кандидатуру Черномырдина в народные судьи. На собрании присутствовал товарищ Кадилин Валентин Константинович.

Зачем лысому гребешок?

На восьмом году своего хозяйничанья в Лопуховке Николай Степанович Гончарук понял, что не уважает начальство. Даже так вот: никогда не уважал. Откуда, с чего взбрело это в лысую его голову — определенно сказать трудно. Может быть, просто время такое настигло председателя: пятый десяток его к концу... Но как бы там ни было, прежнюю свою клиентуру, старинных мордасовских собутельников, а может быть, их-то и в первую очередь, видеть он не желает и уже редко когда улыбнется им, а то все ухмылка, усмешка — черт те что на лице у него ежится.

«Как мне все это остоелозило!» — невоздержанно кричали воспаленные, провалившиеся глаза председателя.

Напрямую с Гончаруком теперь говорил разве что один Филипп Филиппович, лопуховский премудрый Фе Фе. «Упускаешь, Степанович, вожжи», — сигнализировал экономист. «Даже? — ехидно переспрашивал Гончарук. — Ну, тогда подбирай их ты, деловой...»

«Лучше бы меня на отчетно-выборном прокатили, — вздыхал в другой раз Гончарук. — Давно бы ходил по Мордасову этим... деклассированным элементом. Директором киносети, например...» «Пенсионерские мечты, Степаныч, — урезонивал хозяина Фе Фе. — Ты что, думаешь, кино для развлечения массы придумано? Ты думаешь, с киносети план не требуют?»

Чаще всего вспоминал теперь Гончарук полусерьезный разговор со вторым секретарем райкома партии Рыженковым. Пожаловался он начальству на усталость, и Рыженков вошел в положение... поразмышлял вслух, хотя и кончил тем, что пообещал прочистить свои каналы в облсельстрое и вагон... брусьев, что ли, пробить, чем подтвердил, что покамест желает видеть Гончарука хозяйственным.

А между тем после майских холодов природа расцветала, принались березки на отремонтированном за восемнадцать тысяч колхозном мемориале «Памяти павших». И в большинстве абы как засеянные поля уже зеленели. Но не возвращалось в председательскую душу утраченное равновесие.

«Ведь все нервы попортили вы мне с этим расформированием бригад,— говорил Гончарук экономисту.— Все до ниточки! Терпенья вам не хватало подождать». «Чего ждать-то?» — спрашивал Фе Фе, уставший говорить бесполезное «а я тут при чем?». «А уже дождался! — вспыхивал Гончарук.— Да и наколбасить успели... Или не видишь, как приутихли мордасовские революционеры? Не работало им тремя бригадами. Зря, думаешь, Рыженков намекнул, что команда ожидается поостудить горячие головы? Как... как папаны, раззтак твою...— Гончарук не находил слов.— А ты говоришь, зачем лысому гребешок!» «Нет уж, Степаныч,— вздыхал Фе Фе,— гребешком не расчешешь, если они набекрень...»

Совсем подкосил Гончарука визит в «Лопуховский» первого секретаря райкома партии. Приехал Борис Борисович Глотов не рано и не поздно, а так, что Гончарук, предупрежденный инструктором, курирующим их зону, соскучиться не успел. Вовремя увидел на улице небесно-голубую «Волгу», вовремя спустился в вестибюль и как бы случайно вышел на правленское крыльцо.

— Молодцы лопуховцы! — произнес Борис Борисович, пожимая председательскую ладонь, но обращаясь к неприметному своему спутнику.— И отсеялись, и дороги поправили, и на гумне порядок — хоть сейчас сено ложи.

«Так ли уж?» — настороженно подумал Гончарук, отчетливо помнивший, что никаких распоряжений насчет «дороги поправить» в обозримом прошедшем не давал. Но разубеждать начальство не посмел.

— Ко мне пройдем? — осведомился на всякий случай.

— Да нет, пожалуй, в кабинетах мы насиделись. Поедем-ка, председатель, в лучшую твою бригаду. Кто первый отсеялся?

— К Матвееву, что ли?

— Ну, тебе лучше знать,— засмеялся Борис Борисович, глядя опять же на спутника.

Поехали к Матвееву в Богодаровку. Гончарука начальство посадило рядом с шофером, а само расположилось на заднем сиденье. Пришлось то и дело оборачиваться, встречаясь взглядом с чужаком, названным Константином Сергеевичем.

— Я вот говорю Константину Сергеевичу, что Лопуховка у нас первой встала на путь обновления,— с подъемом заговорил в машине Борис Борисович.— Смело взялись за ломку устоявшейся структуры, выдвинули новых людей в руководство средним звеном, дали, так сказать, простор инициативе. И вот результаты: сев провели слаженно, использовали каждый погожий час. Что тут скажешь?.. Ты чего молчишь, Николай Степанович?

— Да какой это сев... в двадцатых числах мая... Под суд за такие дела, а мы вроде как молодцы...

Борис Борисович усмехнулся.

— Не страхуйся. Действительно, Константин Сергеевич, райком в этом году ни на кого не давил. Хотя можешь ты, Николай Степанович, сказать, что на произвол судьбы брошен?

— Да нет...— Гончарук не очень улавливал свою роль в этой игре.

Борис Борисович засмеялся чему-то.

— Удивительное дело, Константин Сергеевич, они тут судьбу прокатили на поддержании! Не хотим Черномырдина — и все тут! Я уж ни одного голоса «за» не жду отсюда на выборах.

— Вы это серьезно? — спросил молодежавый спутник.

Борис Борисович подкашлянул.

— Почти,— выговорил и опять чему-то засмеялся.

До самой Богодаровки «Волга» катила по выровненной бульдозером дороге, не пришлось и на шихан подниматься, и это было

непонятно Гончаруку: кто команду давал? Не Витужин ли, которого силком заставили навесить на трактор мехлопату, расстарался?.. Короче, добрались до бригады быстрее, чем можно было предположить. Ну, для начала там «здравствуй-здорово», «как настроение», а потом...

«Как,— говорит,— вы посмотрите, товарищи, если на базе вашей бригады мы создадим коллектив интенсивного труда на аренде?»

Передавая разговор Филиппу Филипповичу, Гончарук не смог удержаться от того, чтобы хоть за глаза, хоть, может быть, и неуместным передразниванием, да уесть не уважаемое больше начальство...

Матвеев, конечно, оказался в курсе. Он, видите ли, и сам обдумывал КИТ, да не время еще Лопуховке за него приниматься: неорганизованность, неважное обслуживание и слабовата (!) нагрузка на одного работающего в бригаде, вот если бы еще Мамаев угол прирезать...

— Мамаев угол, Василий Софронич, отведен второй бригаде,— сдержанно напомнил Гончарук.— Севообороты сугубо сбалансированы.

Однако замечание его никак не повлияло на разговор. Их обступили механизаторы, и, ты скажи, каждый считал своим долгом словечко вернуть, покрасоваться перед начальством. Со стороны посмотреть: орлы... то бишь киты, язва их заberi!

— А будущее все равно, я думаю, за интенсивными формами,— говорил Борис Борисович.— При наших площадях, при нашей нехватке кадров...

Гончарук, вовремя не уловив, что Глотов уже и сам отвернул разговор в сторону обтекаемых рассуждений, взял и пошутил из последних сил:

— Это что же получится: КИТы землю, скот разберут, а председателю алкоголики да инвалиды достанутся?

А они не уловили шутейный тон.

— Какие, интересно, могут быть алкоголики? — несколько даже неприязненно заметил Борис Борисович.

— Я имею в виду... народ разный на селе, Борис Борисович... Спросите: в прошлом году брал Матвеев в безнарядное звено лодырей?

— В основу новых форм организации труда, Николай Степанович,— жестко проговорил Глотов,— наипервейшим положен принцип добровольности.

«Ликбез мне устроил! — жаловался потом Гончарук Филиппу Филипповичу.— А что Матвеев ни скажет — все в кон! Сказал бы прямо: отстал ты, Гончарук, не устраиваешь. А то на обратном пути: «Чего это у тебя Ревунков тянет с созданием партгрупп в бригадах?» «У тебя!» А остановились возле пастухов воды попить — опять: встречайте, товарищи, председателя вам привезли, а то, наверное, бывает раз в год по обещанию... Те смеются: спасибо, мол, товарищ секретарь! Скважину опять вспомнили. Планировали мы ее бурить? Вот и я не помню...»

И все же на обратном пути Гончарук малость передохнул. Неприметный этот Константин Сергеевич захотел вдруг высказаться:

— Семейным подрядом у вас в районе не пахнет, поточно-цикловой в совхозе для проформы организовали... Как же так?

Глотов вздыхал.

— Не можем вот их,— он чувствительно ткнул Гончарука в загривок,— убедить, что все это всерьез и надолго.

— И долго собираетесь убеждать?

— Ты чего молчишь, Гончарук? — требовательно спросил Борис Борисович.

— Я с вами разговариваю,— сдержанно заметил спутник.

А Гончарук перестал уважать и это начальство.

«Доиграются они в демократию,— говорил потом ясновидящий Фе Фе.— С нашим народом ведь как надо? Хочешь чего-нибудь получить — спусти инструкцию. А вот это «давайте, ребята, посоветуемся» — это разве что для газетки надо оставить». Гончарук смотрел на экономиста с подозрением: ты откуда такой, Филипп, взялся?

«Он ведь мне на прощанье: не упускай Чилигина, выборы в этом году серьезные»,— вспоминал Гончарук, на что он, Гончарук, посоветовал первому секретарю различать все-таки, где Совет с парткомом, а где правление и кто над кем поставлен. Получилось вполне достойно, хотя непривычно. «Не хватало мне только лопуховского демагога»,— раздраженно сказал Глотов Борис Борисович, а спутник при этом разговоре не присутствовал, шофер водил его за правление, в карагачи.

В этот вечер Гончарук даже в шашки играл с непобедимым Фе Фе и хотя ни одной партии не выиграл, зато употребил добрую трехлитровую банку шипучего хлебного кваса с кореньями. «Это кто же тебе поставляет?» — поинтересовался у холостого и на пятом десятке экономиста. «Это как раз и не важно»,— ответил Фе Фе и шагнул в дамки.

Но вечерняя психотерапия действовала на Гончарука самое большее до утра. Вставало солнце, и он опять чувствовал себя на облучке, но без вожжей в руках.

«Развалится все к чертовой матери»,— думал председатель, но все как раз и не валилось. Все, в общем-то, как всегда было, только инженер с агрономом исхитрились вовремя подобраться к естественным сенокосам и свистун (мятлик майский) убрали еще зеленым. «А в Волостновке еще только раскачиваются!» — радовался парторг Ревунков, у которого уже нос облупился от июньского солнышка.

Но Гончарук не реагировал. Даже бывая на гумне, он думал, как бы теперь, не дожидаясь команды, улучшить момент и напомнить Рыженкову, что относительно кино он в принципе не против.

Напомнить о себе Гончаруку удалось поздно осенью. Результат был положительный. Лопуховский киномеханик доволен: ночевать новый директор приезжает домой и киноманки привозит лично. Жилье в Мордасове Гончарук получит так же скоро, как вверенная ему киносеть начнет выполнять план.

Слободская свадьба (аспект)

С нетерпением и надеждой на появление сподручного и почти бесплатного помощника поджидали обитатели Вшивой слободки Микулину свадьбу. Готовились к большим хлопотам, после которых неминуемо должен был наступить рай. Жених молод, здоров и к тому же — с трактором. Не надо бегать, не надо заманивать, а можно зайти вечерком и договориться и насчет дров привезти, и сенца подбросить. Но вдруг узнали, что на состоявшемся в День защиты детства сговоре жених выступил с заявлением: «Если хоть капля самогона на стол попадет... И свадьба ваша не нужна!»

— Как зимой у меня полбанки слодал за здорово живешь, так ниче, это можно,— заметила Морковиха.

— А у меня за час распиловки бутылку ухайдакал и потом еще приходил,— вспомнил Егорыч.

— Вымогатель,— еще кто-то.

— Заране отрещивается, чтоб в должниках у нас не ходить...

Однако, зная лопуховские (шанхайские, в сущности) аппетиты, сговорились литров двадцать все же изготовить. Расчет был прост: в первый день казенную выпьют, а потом сами запросят.

Казенную на сговоре обещался достать будущий Микулин шури Вовик Богомоллов, и глухая Марфута без колебаний вручила сыну одну тысячу рублей — так теперь стоили пять ящиков белой.

Домик, в котором проживал Микуля с матерью, был мал, дворик — тесен, а потому решили гулять оба дня на слободе. Женихов бригадир и одновременно невестин родня Василий Матвеев взял на себя и своих ребят сооружение навеса и доставку волостновской родни. В мелочи и очевидные обязанности сторон, как водится, не вникали заранее, словно нарочно обрекая себя и гостей на сюрпризы, которыми и помнятся в основном всякие такие мероприятия.

А жениху Микуле не понравилось на сговоре поведение будущего шурина. Ни разговор его вольный, ни то, как засунул он деньги в задний карман американских штанов. Микуля ходил даже в сельсовет за справкой, чтобы лишнюю пару ящиков в райпо выдали. «Че тебе, Клоун, трудно печать приложить?» — попробовал он поднажать.

Однако не стоило напоминать Чилигину полузабытое, как ему казалось, прозвище — в школе друзьями они с Микулей не были.

— Тебе бы все мимо закона, — сдержанно заметил предсовета. — Когда жениться надумал? Комсомольскую свадьбу с вами не сыграешь, на безалкогольную сам жених не тянет... Сошлись бы да жили.

Микуля обиду стерпел, вспомнив, что раньше бывал в сельсовете только на административной комиссии, штрафовавшей его нещадно, а Чилигин скорее всего именно от обиды назначил регистрацию не в Доме культуры, а в Совете, в тесноте; в «Улыбке», сказал, предвыборный ремонт.

Ну, зарегистрировались перед Троицей и в Совете. Василий Матвеев тут же попер молодых в белом «Москвиче», но не сразу на слободку, а дали все же кружок по Лопуховке; следом пылили дружки на «Запорожце», а шури свою машину не заводил, поберег от гвоздей и пыли.

В первый день уничтожали женихов трофей из райповских складов (по официальной записке) и ближнего казахстанского городка с открытой виноторговлей. Особо никто не отличился — ровно все шло, хорошо. У каждого из полсотни гостей нашелся собеседник, а иные муж с женой только и сошлись за столом поговорить по-человечески. Микулин племянник пластинки гонял в палисаднике, оглушил всех, но танцевали немного. Прохладно все же было под навесом и сквозняк, веселости хватало в обрез до очередного тоста.

Самым пьяным в первый день оказался поэт-самородок Николай Крючков, прихोливший от стада, лупанувший, конечно, за здоровье молодых и рассказавший глухой Марфуте собственный антиалкогольный стих. Счастливая мать плакала, сказала, что «на тарелку» почти две тыщи наклали, и дала сочинителю поллитру на вынос.

К вечеру разошлись по домам. Волостновские у Богомолловых ночевать остались. Их четверо, Вовик со своей, Марфута... Наверное, из-за этого Микуля отправил мать к сестре, а сам увел Антонину в свой домик. Они там прибрались, изжарили яичницу и заночевали.

А утром второго дня Богомолловых навестила Морковиха: надо ли?..

— Куда-а! — ответила глухая Марфута. — Вовик-сыночек пять ящичков белой привез.

— Ну, имей в виду, — сказала соседка. — В скатерках пойдете, у нас два чайника налитая стоит. Бесплатная...

Это всем ясно. Когда по Лопуховке ряженые в скатерках идут, народ хоть меньше, чем в прежние годы, но за ворота выходит. Тут самая и работа дружкам: один с чайником да со стаканчиком, а у другого солёные огурцы в чашке... Но до скатерок в этот раз дело не дошло.

Обещанную белую Вовик сам разносил по столам.

— О,— сказал волостновский родня,— «посольская»!

Все оживились. И пошли разговоры, за которые скоро на пятнадцать суток будут сажать, а из партии, говорят, уже сейчас выгоняют.

На этот раз своей очереди выступить дождался Венка Витухин.

— Граждане гости,— сказал он,— я вот теперь дороги колхозные ровняю, но это не важно. Главное, все вы знаете, что значит ровная дорога. Она скоро таква во всей стране сделается, и я желаю нашим молодым идти по ровной дороге всю жизнь и рожать здоровых детей!

Он еще прибавил себе под нос: «Пью до дна» — и выпил. И все выпили.

И тихо стало под навесом.

— Миш,— сказала старшая волостновская родня,— а ты че по стаканам-то разливал?

— Че,— ответил Миша,— «посольскую»...

Молодым, а также непьющим гостям разговор и тишина были непонятны сначала, но Микуля взял у Василия Матвеева, посаженного отца, нетронутую стопку, понюхал и, вскинув голову, глянул вдоль столов.

— Закусывайте, гостечки дорогие, закусывайте,— проявила радушие Марфута, но и до нее что-то дошло, осеклась на полуслове.

— Хм, самогонка гольная,— сказал Коля Дядин и взял в руки бутылку.

— Какая еще...— Вовик Богомоллов выбрался из-за стола и рысью кинулся в сенцы, захватил три бутылки из ящика и тут же вернулся.— Какая еще! — крикнул и пустил бутылки по рукам.— Вы что?

Говорят, поллитровки были аккуратно запечатаны, на пробках — заводской знак ЛВЗ, но внутри и у этих оказался вонючий сивушный дух.

— Я предупреждал? — спросил Микуля застолье.— Предупреждал...

Антонина ни на кого не глядела, а на ее брата люди посмотрели с любознательным интересом, особенно те, кто был в курсе дела и видал, как он тыщу в американские штаны засовывал.

Только один волостновский Миша сказал с сочувствием:

— Как мужика наколоди спекулянты гадские!

Но большинство гостей не удовлетворили любопытства до самого того момента, когда оскорбленный шурин погрузил нераспечатанные ящики в «Москвич» и отбыл восвояси; супруга его, довольно разговорчивая в первый день дамочка, во второй ни слова не обронила и так молчком и уехала.

А свадьбу спасла слободка. Когда попробовали из чайника, волостновский родня Миша аж застонал от удовольствия. Порядок восстановили, потому что к тому времени и Микулю уговорил не валять дурака его бригадир Василий Матвеев.

Но за этой канителью забыли в скатерках пройти, и многие уважающие добрую традицию только зря утруждали себя, то и дело выглядывая за ворота. Они были не против, чтобы ихних курей попугали перемазанные румянами (в прежние времена — красной свеклой) «цыганки» с голыми мужскими ногами, пусть бы и поймали какую для потехи, но пусто было на улице, лишь ветерок приносил со слободы звук электрического барабана — это племянник гонял пластинки в богомолловском палисаднике.

Да, пустовато было, хоть и Троица. Разучились свадьбы играть, разучились и праздновать. Вроде как некому стало. И в Мордасове, говорят, скучная была в этот день «Березка», хоть и продавали вволю бутылочное пиво; на скачках переругались судьи и первого места никому не присудили...

За два дня слободская свадьба была сыграна полностью, и в понедельник все ее участники вышли на работу — кто работал, или вернулись к будничным своим делам — кто не работал или уже получал пенсию... Лечиться на слободу приходил Николай Крючков, и там же, в лопухах на задворках, он проспал до вечера, крепко сжимаемая в левой руке ополовиненную бутылку «посольской».

Да. Но какова же мораль?

А мораль в понедельник вечером прочитал слободским лопуховский участковый Мамаев, приходивший на беседу в форме и с казенной планшеткой. И слободские слушали его очень внимательно и даже клятвенно пообещали Указ больше не нарушать, и Мамаев почти поверил старикам. Действительно, в слободские зятя угодил, в общем-то, работающий, перебесившийся наконец молодой мужик Валерка Меркулов — помощник в стариковских одиноких заботах проверенный, да и к тому же теперь и должник.

И кончим об этом.

Сквозная кабина (авторское свидетельство не выдано)

Предвыборная лихорадка не отпускала Чилигина с первых чисел июня. Составленный еще весной план был скомкан и забыт. Из Мордасова задержали меняющимися каждую неделю установками, спускаемыми то по телефону, а то и с высокой трибуны в тесном и узком кругу. Избирком бездействовал, да и опасно было подключать комиссию на этом зыбком этапе. Выдвижения кандидатов в депутаты сельского Совета проходили в бригадах, на завалинках (это было в соответствии с установками — по месту жительства и без организованности), а протоколы, все двадцать пять пар, Чилигин писал собственноручно, повздорив с секретарем. Надо было выдерживать проценты молодежи, женщин и рядовых тружеников в составе Совета и одновременно организовывать выдвижение и обсуждение не менее двух кандидатур, и чтобы при этом не было видно игры в демократию, за чем строго следил секретарь парткома Ревунков. Очень непросто прошло выдвижение Гончарука, а встречу его с избирателями пришлось оформить протоколно, посчитав за таковую выезд его с экономистом в пятую бригаду, поставившую вопрос об оплате труда. Организовано прошло выдвижение в богодаровской бригаде, хотя там пришлось пойти на некоторые нарушения: кандидат Владимир Смирнов устраивал Чилигина и по возрасту, и по принадлежности к партии, но избиратели жили в разных концах Лопуховки.

И вот протокольное оформление предстоящего ритуала закончилось, подошло время оформлять его в натуре. На это тоже существовали установки. «Празднично оформленный избирательный участок» — вот первейшая наружная цель. И Чилигин собрал избирком.

Как всегда, вовремя подошли учитель Иннокентий Леонидович Плошкин и женщины — библиотечарша и медичка (сельсоветская бухгалтерша и правленская секретарша Верка Мухина были на месте), а мужиков, в том числе и председателя избиркома кладовщика Макавеева, пришлось дожидаться не меньше часа. Это был беспорядок, но Чилигин не стал заострять вопрос, а сразу, как собрались, перешел к делу, создав демократическую обстановку тем, что усадил комиссию вокруг своего очищенного от бумаг и телефона стола. На стол он выложил схематический план Дома культуры, принесенный директором Баженовым.

— Что же от нас требуется? — спросил он собравшихся.

— А урну отремонтировали? — перебил его вопросом Макавеев, водрузивший на нос расхлябанные очки и сразу ставший похожим

не на важного начальника, как, наверное, хотел, а на пропойцу-счетовода, каким он и был до заведования складом.

— Она перед тобой, Семен Михалыч,— сдержанно сказал Чилигин и показал рукой в дальний угол кабинета.

Макавеев встал и пошел смотреть урну.

— Семен Михалыч,— окликнул его Чилигин,— не будем отвлекаться.

Но Макавеев вернулся на место только после того, как трижды хлопнул крышкой и проверил дно отремонтированной посуды, покаленной в прошлые выборы при перевозке из ДК в сельсовет.

— Обтянуть красной материей и опечатать,— сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, и поправил очки.

— Да,— согласился Чилигин.— Так что же от нас требуется...

— А передвижные урны где? — спросил Макавеев.

— Какие еще передвижные? — Теперь Чилигину не удалось скрыть раздражение, и Верка Мухина прыснула, загородившись газеткой.

Но смеяться было не над чем — передвижные урны действительно отсутствовали. Одну из них, навесив замочек, газовик Савелий Крашенинников приспособил для сбора заявок на газ, а другую... Баженов потупился. Другую нечего было и вспоминать. Крышку ей прибили намертво гвоздями, когда пытались организовать новогоднюю викторину, а потом, когда в прорезь насыпали подсолнечной шелухи, набросали конфетных бумажек и неловко сказать чего еще, Баженов вскрыл ее топором, а после праздника сжег вместе с елкой.

— Почему, интересно, обо всем сельсовет должен думать? — высказался Баженов.— А мы на что?

— Вот и займись передвижными урнами,— распорядился Макавеев и записал поручение в древнюю свою книжицу.— Слушаем тебя, Яков Захарович.

У Чилигина первоначальный запал потух, и он ткнул авторучкой в план ДК.

— Давайте решим, как вы будете располагаться на выборах,— сказал.

— А чего решать,— пожала плечами медичка.— Как всегда... Вот тут стол, напротив урна. Тут агитаторы будут сидеть, свои десятидворки отмечать.— Она очень приблизительно показала все на плане и посмотрела на Чилигина.— Только пусть музыка будет на улице, а то всю голову за день разобьет.

— А кабины? — спросил Чилигин.

— Да тоже,— теперь план повернул к себе Баженов.— Арматура цела. Перегородим фойе в глухом торце, выгородки старыми кулисами сделаем. Шахматные столики поставим... Какие проблемы?

Он все-таки чувствовал что-то в вопросе Чилигина, эта безынициативная посредственность, заменившая его на месте директора ДК...

— А проблема вот какая,— сказал Чилигин.— Через кабины должны пройти буквально все избиратели. Каждый! Этим мы должны обеспечить полную свободу волеизъявления... изъясления. Я понятно сказал?

Члены комиссии молчали и молча разглядывали план, уразумев теперь, для чего он перед ними появился. Ветераны избиркома вспомнили, что кабинами пользовались человек пять, не больше, а постоянно только Савелий Крашенинников. Регулярно портил бюлетени Николай Крючков, приносящий всегда свой химический карандаш и выходящий из кабины с крашеным языком. Вычеркивал всех подряд, иногда даже не заходя в кабину, незарегистрированный шизик Абакумов... А теперь?

Комиссия думала. Поглаживал чисто выбритую щеку Иннокентий Леонидович Плошкин, поглядывая на него, постукивала газетой

Верка Мухина. Прямо и отстраненно сидели бухгалтерша, медичка и член избиркома Свиридов. Чилигин видел их всех насквозь; знал, что решать придется ему одному, но все-таки ждал, думал пока о том, кто придет в Лопуховку уполномоченным...

— Кга-хм,— подкашлянул Макавеев.— А для чего у нас будут весь день агитаторы болтаться?

— Как это болтаться? — живо отреагировала медичка, в прошлом активнейший агитатор.— Ничего себе...

— Нет, я имею в виду, пусть они свои десятидворки и провожают по кабинам,— развернул свою мысль Макавеев.

— Насильственный прием,— подал голос Иннокентий Леонидович Плошкин.— Я понимаю так, что все должно быть ненавязчивым, свободным,— он посмотрел на Чилигина.— Тут именно план нужен, техника... Умный проект, одним словом. Изобретение.

— Двери, что ли, перегородить этими кабинами? — пробормотал Баженов.

Чилигин посмотрел в окно, на телефон, перенесенный вместе с графином на сейф...

— Да,— сказал он.— Кабины должны быть сквозными.

— А-а, да,— согласился Макавеев,— чтобы через них можно было пройти насквозь.

— К урне,— уточнил Чилигин.

— А материал? — спросил Баженов, который вдруг понял, что сейчас лишится шелковых портьер, приобретенных под шумок в ходе предвыборного ремонта ДК.

И он их лишился, так и не поняв, что сам сделал Чилигину подказку, от которой мелькнувшая у него мысль приобрела законченную форму. Оставалось только решить, как все это расставить в фойе, имевшем одну дверь,— это и решили к концу первого делового совещания избиркома.

— Никуда они, голубчики, не денутся,— сказал Макавеев, убирая очки в нагрудный карман пиджачка.

Чилигин думал о том, как долго еще и трудно будет прививаться в Лопуховке политическая культура. Культура вообще, при которой разве потребовалось бы тратить время на изобретение этой сквозной кабины... Он любил в себе такие мысли, такие вопросы, приятно утомлявшие его, заставлявшие взгрустнуть как бы ненароком, что вообще на ответственной работе неизбежно. Он думал, что именно это отличает его от многих коллег из других сельсоветов, больше походивших на агентов соцстраха, завхозов, не очень грамотных хозяйственных функционеров, примитивно составляющих даже свои отчеты в райисполком, заполняя эти отчеты цифрами из колхозных сводок, а не мыслями, не анализом, не почти что философскими обобщениями, указывающими на социальные сдвиги в советской деревне конца столетия. Сдвигов не видел и сам Чилигин, но он чувствовал внутреннюю логику системы, которой служил, а значит, должны были быть сдвиги, и он даже знал какие, писал и говорил о них, приводил примеры. И был уверен, что рано или поздно они все равно произойдут, и ему было грустно оттого, что провозвестником и то назовут не его. Он вообще был печален в эти дни, так как частые его отлучки в райцентр активизировали действия жены, и с середины мая он ночевал на кухне.

Перед самыми выборами Сидору Кузьмичу Делову пришло письмо из Мордасова — ответ на его четвертую жалобу. Поздним вечером он положил на стол в ряд четыре белых листа бумаги с черными грифами и синими визами под бордовыми печатями, посмотрел на них, отстранясь, и очевидная одинаковость бумаг, о которой он прежде только догадывался, оскорбила его. Это были отписки: мордасовские начальники защищали своих лопуховских холуев.

«Чертов грамотей,— подумал Сидор Кузьмич о соседе-учителе.— Угодник сопливый,— сказал он почти вслух.— Надо было сразу в Цыка посылать!»

— Отец, ты чего? — заглянула в горницу хозяйка.— Говоришь-то.

— Агитаторша была нынче?

— Приходила. Номерочки вон на телевизере.

— Пойдешь одна.

— Как ты говоришь?

— Говорю, одна пойдешь голосовать!

Утром он подтвердил распоряжение.

— А че сказать-то им?

Сидор Кузьмич не придумал это и за всю ночь.

— Не знаю, скажи: сама пришла, а сам — не знаю...

«Пускай пошевелятся»,— подумал про себя Сидор Кузьмич и занялся мелкими хозяйственными делами.

И тетя Настя Делова пошла голосовать одна. В карман «холодного» мужского пиджачка с подшитыми рукавами она положила чистый мешочек для покупок и денег взяла — две пятерки и трешницу. Было еще рано, а после спавшего ден пять назад зноя, перебитого дождичками, и свежо. Народ больно не торопился по улице, хотя радио на клубе играло с полседьмого утра. «А может, и не будет там никакой торговли,— думала тетя Настя дорогой.— А Сидор чудить стал... Фроське надо бы отписать, чтоб сам не узнал. Глядишь, приструнят, полечут где...» Так она и дошла до Дома культуры. Людей тут не стало больше, а радио в двух ящиках с тарелками громыхало так, что или вовнутрь скорей ныряй, под вывеску «Добро пожаловать!», или домой беги. Торговли же никакой видно не было.

— О-о, тетя Настя пришла! Здрате — тете Насте!— встретил ее в дверях Семка Макавейхин, подозрительно веселый с утра, но, может, ему так и надо, потому что он уже не первым выборам начальник.— Попрошу вас! — пригласил Семка, топнув по окурку и отогнав дым ладонью.— Попрошу...

Туда, куда вел ее Семка, голосовали всегда, а вот тут, за дверями, куда бильярд теперь задвинули, раньше всегда Маня торговала. Тетя Настя вздохнула, достала из кармана номерки и оправила на ходу платок.

— Девчата, тетя Настя пришла Делова,— сказал выборный начальник и несильно подтолкнул одинокую в этот час избирательницу к сдвинутым столам, за которыми позевывали девчата.

Тетя Настя подошла, поздоровалась и отдала один номерок Елене-врачихе. Та взяла длинную тетрадь, листнула и подняла голову.

— Под этим номером Сидор Кузьмич записан.

— Ох,— смутилась тетя Настя и отдала другой номерок.

— Сходится,— кивнула врачиха и отсчитала тете Насте три листика: голубой, белый и желтоватый; еще один белый ей протянула женщина помоложе.— Пожалуйста... А может, вы и за Сидора Кузьмича хотите? — спросила ненастойчиво врачиха.

— Не знаю сама,— тихо сказала тетя Настя.

— Ну, голосуйте.

Тетя Настя обернулась, но нигде урны не увидела.

— Там, там,— сонно взмахнула рукой молодая.

— Тетя Настя, ко мне! — позвал издали Семка.

Он стоял возле шелковой загородки с номерами «1», «2» и «3» поверху. Тетя Настя пошла к нему, а подойдя, увидела за шелковым строением и красную урну, и соседа-учителя за столиком и прямо было направилась туда, но Семка остановил ее за локоток, подвел к загородке под номером «2», отворотил край занавески, и

тетя Настя увидела каморочку внутри: столик, карандаш в стаканчике и мягкий стул.

— Располагайся, тетк!

Тетя Настя улыбнулась начальнику.

— Вот уж спасибо, Сем, а то, пока шла, ошалела.

— Ничего, ничего.— Семка деликатно проводил ее и опустил занавеску.— Вот это, я понимаю, организация! — услышала тетя Настя его голос за спиной.— Всей бригаде — с праздничком!

Ему ответили мужики вразной, а тетя Настя села на стул и огляделась. Внутренние зеленые занавески были тяжелыми, плюшевыми и пахли мышами; за ними, как теперь поняла тетя Настя, еще каморки были, а наружные желтые занавески колыхались, прибитые только сверху. Она глянула наверх и увидела лампочку под потолком, от которой и было светло. «Как додумались»,— прошептала тетя Настя и слегка распустила узел платка, сунув выданные ей бумажки в карман.

В каморке ей стало покойно и хорошо, тут и радио было поменьше, и мужики гомонили откуда-то издали; она вытянула из рукава платочек и вытерла глаза, проморгалась. «Жить куда как хорошо стали,— подумала.— Богато». И почему-то вспомнила ежевечернюю мужнину руготню перед включенным телевизором.

Она погладила рукой клетчатый стол, потеряла его платочком на уголке. «Отдохну»,— подумала. Кашу она Сидору сварила, курам посыпала, а тут, может, и торговля потом будет, она бы взяла печеников в пачках, а то все сдобнушки да сдобнушки... печеники прямо тают в чаю, и их можно ложечкой выхлебывать; последнюю пачку они с Ховроньихой решили аккуратно на Троицу.

За желтой занавеской совсем близко засмеялись мужики, и тетя Настя подобралась на стуле. Кто-то со смехом прошел у нее за спиной, кто-то задел стул в клетушке напротив и пошуршал бумажками, а шаги удалялись в другую сторону.

— Чилигинский лабиринт! — сказал кто-то рядом.

Занавеска в тети Настину каморку поднялась, и к ней зашел Софрона Матвеева старший — Васька.

— Здравствуй, тетя Настя,— сказал он.— Отдыхаешь?

Тетя Настя, не поднимаясь, кивнула, улыбнулась гостю, и Васька, мотнув головой, прошел мимо и пропал.

— Есть! — раздался его голос.— Живой!

Возле передней занавески засмеялись, и мимо тети Насти, здороваясь на все лады, посмеиваясь, прошли шестеро сразу, она одного только Володика Смирнова на лицо признала, а еще двое вроде как Гавриковы-братовья были. Поджидая новых гостей, тетя Настя спрятала платочек в рукав и сложила руки на коленях. Но к ней никто больше не зашел, хотя снаружи народ, видать, прибывал, подошвы ширкали не переставая. «Хватит, наверно,— подумала тетя Настя.— Отдохнула, надо и честь знать».

Она перепокрывала платок, когда кто-то поднял было занавеску и сказал «извините».

— Заходитя, заходитя,— подала голос тетя Настя и поднялась со стула.

Вышла она туда же, откуда запускал ее Семка, глянула вверх на номер «2», на народ, обступивший женщин за столом, слегка поклонилась обществу и, пропустив в свой «второй номер» давнишнего ухажера младшей дочери Савелку Крашенинникова, пошла к выходу, думая о том, что и хорошо, что не породнились с Крашенинниковыми, чего бы видала тогда малая, а так уж где только не бывала с мужем на отдыхе, чего только не видывала...

«Домой теперь,— подумала тетя Настя,— чего уж...» И поспешила отойти подальше от дребезжащих ящиков, в которых наяривало радио.

— Ну, как там, Насък (или тетя Настя)? — спрашивали ее встречные.

— Хорошо, кума (или сынок, или дочка)! — отвечала тетя Настя. — Торговать только еще не начинали.

— Да чем теперь торговать, — говорили ей и шли дальше.

— Ну, и как там? — спросил Сидор Кузьмич воротившуюся жену, стараясь не выказывать своего нетерпеливого интереса.

— Да как... Печеников хотела купить, печеников нету...

Хозяйка достала из кармана свернутый холщовый мешочек, и на пол слетели бумажки: белая, желтая, голубая и еще белая.

— Это что такое? — строго спросил Сидор Кузьмич.

Настасья его глянула под ноги и обомлела.

— Ох-и-и, — ухватилась за концы платка.

Уразумев ситуацию, Сидор Кузьмич мстительно засмеялся и не велел своей хозяйке возвращаться на избирательный участок. «Ну, теперь жди — прикатят», — подумал он.

Однако ждать пришлось до самого позднего вечера, а потом и вовсе оставить это дело. Отужинав, Сидор Кузьмич закрылся в горнице один и подсел к столу с тетрадкой, которая теперь была у него всегда под руками. Почистив острие ручки о подстеленную газетку, он раскрыл тетрадь на середине и старательно вывел:

«Дарагой Цыка!..»

Так как писать следовало без ошибок самому, не надеясь на грамотея-соседа, над этим письмом Сидор Кузьмич просидел до полуночи. Описывать пришлось не только свой, как он выразился, «казус», но и факты, накопившиеся за день.

Проходя мимо, Венка Витухин, например, рассказал, как пошел голосовать в новом костюме, а ему говорят: ваша жена за вас уже голос отдала. «Ничего, говорю, не знаю, — рассказывал Венка Сидору Кузьмичу. — Давайте булетени, сам хочу исполнить свой долг!» Бюлетени Венке дали, и он посмеивался: «На синем я в кабинке написал, что, мол, повторно, от всей души!»

Описал Сидор Кузьмич и Ховроньихин случай. Эта притащилась чуть не в слезах и к нему: «Неужто, Сидор Кузьмич, я теперь лишенка, как мамака тогда?..» «Нет, — сказал Сидор Кузьмич, — ты теперь ешь жертва бюрократического произвола.»

К Ховроньихе не приезжали с урной часов до шести вечера, а потом к ней зашла Жиганова сноха, агитаторша, и сказала, что проголосовала за нее и еще там за кого-то, потому что дежурная машина к пастухам уезжала, сломалась, сейчас только воротилась, а к десяти на ней в райцентр ехать, потому что председатель на «бобике» куда-то уехал, а инженеров «газик» — в ремонте.

«Охотничать надо кончать», — вспомнил Сидор Кузьмич, описывая этот факт.

Уполномоченного наблюдателя из района, сказали, в этот раз не было, и происшедшее было обозначено в письме как «разгул демократии». Вроде бы так о Южной Корее высказывался по телевизору диктор: разгул...

По инструкции урны вскрывать надо было в двадцать два ноль-ноль, но голосование закончилось в восемнадцать, когда вернулась наконец дежурная машина; агитаторов распустили по домам, музыку выключили и собрались в кабинете директора Дома культуры. Урны были тут же.

— Ну, чего мы ждем? — спросил член избиркома Свиридов.

— Чилигин сказал, ждите, уполномоченный может приехать вечером, — устало проговорил Семен Михайлович Макавеев.

— Уполномоченный упал намоченный... А сам Яшка подойдет?

— Не обязан, — буркнул Макавеев.

Но Чилигин пришел. Помитинговав, решили оставить с урнами Баженова, а самим сбегать пока перекусить и уж потом, не дожидаясь, конечно, срока, вскрыть урны.

— В десять откроем — до полуночи с протоколами провозимся. В восемь откроем — до...

Это было ясно всем, но Макавеев высказался до конца.

Чилигин позвонил на квартиру секретарю парткома Ревункову и сказал, что к восьми можно будет подойти. Ревунков обещал.

Временно все разбежались, а когда через час стали возвращаться, вздремнувший Баженов не узнавал членов избиркома: переоделись, повеселели, от Макавеева на два шага разило двенадцатирублевым одеколоном «Консул».

— Ну-с, приступим! — сказал председатель комиссии и сломал печать на большой урне. — Вверх дном ее, мужики!

Чилигин наблюдал за действиями комиссии не вмешиваясь. В конце концов, дело они знали. Только когда разобрали бюллетени по кучкам, попросил уведомлять о каждом обнаруженном нюансе и не торопиться запустать в ход стирательные резинки, о которых поспешил напомнить деятельный Макавеев.

— Никому не нужны дутые проценты, — сказал Чилигин. — Но могут безответственные слова встретиться.

Члены избиркома зашелестели листочками, проставляя время от времени цифры на бумажках, а кто и просто палочки. Иннокентий Леонидович Плошкин все поглядывал на Верку Мухину, сбивался со счета, и Чилигин был вынужден сделать ему ненавязчивое замечание. А Елена Викторовна все на него взглядывала, и он каждый раз слегка покачивал головой осуждающе. Вернувшись из дома, медичка сказала ему, что есть письмецо от М. с персональным приветом...

— Есть, — вздохнул Макавеев с таким пристрастием, словно жирного караса поймал.

— Что там, Семен Михайлович?

— Надпись. Вот.

Чилигин не спеша подошел и взял в руки бюллетень по выборам народного судьи.

— Химическим карандашом? — спросила Елена Викторовна.

— Может, Савелий...

Но почерк был незнакомый. Надпись читалась без усилий:

«Повторна ото всей душе».

Посмеялись.

— Давайте «повторно» сотрем, а остальное оставим, — предложила Елена Викторовна. — Давайте, я попробую.

Чилигин отдал ей бюллетень с улыбкой, потому что знал: получится. Лично сам заготавливал он мягкие карандаши «Архитектор» ЗМ для всех трех кабин...

Когда подошел Ревунков, протоколы у комиссии были уже оформлены, пакеты с бюллетенями запечатаны, лишнее — сожжено в оркестровой тарелке. Поздравив избирком с практическим завершением ответственной процедуры, Ревунков пожелал выписать некоторые итоговые цифры к себе в книжицу. Страничку он разграфил, и Чилигин продиктовал ему все «за» и «против».

Против народного судьи были пятнадцать человек (они так и ожидали, что не меньше тринадцати будет), против Гончарука — фактически двадцать семь, но в протоколе показали восемнадцать, и почему-то многие ополчились на свинарку Попову, хотя в итоге в сельский Совет она все же проходила.

— Вполне удовлетворительно, — резюмировал Ревунков. — А может быть, и очень хорошо, в современных условиях.

В двадцать два ноль-ноль позвонили из районной избирательной комиссии.

— Ну, вы что, лопуховцы, опять собираетесь во втором часу ночи выезжать? — спросили.

— Нет, нет, — отчеканил Макавеев, — выезжаем.

— Да не чинитесь, тут уже очередь. Ждем, короче.

— В десять только урну вскрывать, а там уже очередь. — Макавеев подмигнул левым глазом. — А ты, Верк, боялась!

— Ничего я не боялась, — смутилась секретарша. — Можно теперь идти?

— Теперь идите, — разрешил Макавеев; в Мордасов с ним должен был поехать Ревунков.

Дежурную машину поджидали на крыльце Дома культуры. Чилигин и Баженов провожали. До заката было еще часа полтора.

— Какой день длинный, — сказал просто так Макавеев.

— Да, — отозвался Чилигин скорее всего каким-то своим мыслям. — А депутатов в сельский Совет я бы предложил открытым голосованием избирать.

Ревунков неопределенно хмыкнул.

— Скажи там, Семен Михалыч, приемной комиссии, что такое вот предложение от избирателей поступило, — серьезно попросил Чилигин.

— Да чего там говорить, дело сделали...

— Скажем, скажем, — заверил Ревунков, лучше других понявший мысль председателя сельсовета, его цель и настроение. — И про сквозную кабину скажем. А кто, ты говоришь, должен был к нам приехать?..

Свежий анекдот*

.....

Официальный ответ

«В редакцию районной газеты «Победим».
 Копия: Делову С. К.

На вашу копию письма жителя с. Лопуховки гр. Делова С. К. в редакцию могу пояснить следующее. Семья воина-интернационалиста В. М. Метелкина получала письма от сына регулярно до самой осени с небольшим перерывом в июне — июле. Никакого контроля за корреспонденцией вообще Совет не осуществляет, и никаких указаний на этот счет сроду никогда не было. Цинковый гроб пришел на станцию в сентябре. Крытая машина для доставки выделялась ввиду дождей и перевозки отца героя и прибывших однополчан. Укрывательства никто никакого не организовывал, не было этого даже и в намерениях. Соболезнования от имени администрации, парткома, профкома, комитета комсомола, совета ветеранов и сельского Совета были сделаны непосредственно семье, родным и близким, а районная газета, насколько известно, и раньше подобные вещи, связанные с ДРА, на свои страницы не выносила.

В похоронах участвовали практически все жители с. Лопуховки, приезжали товарищи из райвоенкомата и районного совета ветеранов. Был произведен троекратный траурный салют. Стреляли над могилой. Отсутствие председателя колхоза Гончарука Н. С., секретаря парткома Ревункова Б. П. и мое объясняется экстренным безотлагательным селекторным совещанием в тот день, которое проводил первый секретарь обкома партии тов. Карманов. Ввиду еще и непогоды вернулись мы уже в седьмом часу вечера. Я лично вновь по-

* Снят как устаревший. (Автор.)

сетил семью героя, выразил поддержку нашему депутату В. С. Метелкиной и всем родственникам. На сооружениеobeliska выделена одна тысяча рублей согласно положения.

Председатель исполкома
Лопуховского с/С Чилигин Я. З.».

Карандашная («Архитектор» ЗМ) приписка на первом экземпляре:

«Владимир Иванович! Принимайте Вы меры с Деловым! Мы нажмем — он еще больше пишет. А с помощью гласности можно приструнить, отбить, я имею в виду нездоровую охоту к сочинительству. Он же все передергивает, хоть и приводит факты. Если этот случай неподходящий, давайте июльское его письмо прокомментируем.

С уважением. Я. Чилигин.

А на Вашу просьбу подтверждаю: газет действительно не хватает, до десятка за одно поступление. К Вам не обращались, звонили в РУС. Ответ: недокладывает в сотни типография. Ни я лично, никто из наших в райком не жаловались. Может, Делов опять? Так тем более учтите мое предложение. Это же демагогия чистой воды!

Ч. Я. З».

Часть III

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Сезон дождей (апология серости)

Десятилетие своего секретарства Борис Павлович Ревунков отмечал один. Приехали с очередного селекторного совещания, перебросились парой фраз и разошлись: Чилигин с Гончаруком по домам, а он — в партком, в свой кабинет, занести полученные в райкоме наглядности, «тревожные сигналы» и постановления.

Андреевна уже домывала вестибюль.

— Палыч, ты надолго? — спросила, не переставая возить шваброй.

— На секундочку, тетя Вер.

— Ну, тогда захлопнешь вход, я кончаю.

— Надоела грязь? — Борис Павлович остановился у лестницы на второй этаж, полез в карман за ключами.

— Да в правлении еще помилуй бог. А на почте прямо безручила, хоть и две половлицы.

— Вениамин пишет?

— Дождесся! В Гамбург летает...

— В Ямбург!

— А? Он сказал, я, може, не поняла. Звонел в этом месяце...

Про получку ниче не слышать?

— Денег в колхозе нет, тетя Вер.

— Во-от. Я гляжу, грязи-то не много... А картошке, видать, амба в этом году.

— Приказ нынче получили: копать при любой погоде.

— На приказы они мастера... Ну, кончаю, Палыч. Ты прихлопни, не забудь.

— Не забуду, тетя Вер!

Борис Павлович поднялся к себе.

Из трех лампочек загорелась одна, над столом. Теперь редко какой день обходились в этот час без света: хмарь на небе беспросветная; если не дождь, то туман, или изморось, серая пелена. А по времени солнце должно еще заглядывать в третье окно... Борис Павлович положил наглядности на боковой стол, подошел к сейфу. Замок начал барахлить недавно, и он еще не приноровился к нему — долго вертел ключ туда-сюда, пока что-то там не поймал на язычок.

Как впервые споткнувшийся оглядывается на неожиданную помеху, так и Борис Павлович, сунув постановления на полку, осмотрел пожелтевшую наклейку на замке. «Не забыл про три конверта?» — гласила размашистая надпись. Усмехнувшись, Борис Павлович колупнул бумажку ногтем, и та неожиданно легко отскочила от металлической дверцы, спланировала под стол; Борис Павлович запер сейф и поднял бумажку. Посмотрел еще раз, смял и бросил в корзину. Он вспомнил: десять лет. Ровно. Час в час...

— Машка? — он позвонил домой. — Ах ты моя хорошая! А бабушка дома?

Внучка лопотала что-то свое, и Борис Павлович терпеливо, то улыбаясь, то смеясь в голос, слушал ее.

— Хорошо, хорошо! Умница! Бабушка или мама... Кто-нибудь есть дома?

— Слушаю, — раздалось в трубке.

Он узнал все, что хотел: ничего за день не случилось, зять еще с дойки не приехал, но они по хозяйству управились, думали, еще один хлестанет под вечер...

— Я в парткоме, — сказал Борис Павлович. — До ужина с докладом посижу... Один. Звоните, если что.

Он переставил телефон на тумбочку позади себя, сгреб ненужные бумаги и сунул туда же. На столе осталось только то, что он собрал для доклада. Он то вспоминал про доклад, то забывал, но писать его надо было не откладывая. Общее собрание не скоро, но цеховые пора проводить, и, значит, должна быть готова «рыба», в которой вожакам ячеек останется только подставить свои цифры.

«В деле коренного обновления всех сторон производственной и общественно-политической жизни, ускорения социально-экономического развития первичным парторганизациям принадлежит особая, чрезвычайно ответственная роль, — переписывал Борис Павлович из областной «ориентировки». — Если мы на полную мощность включим имеющийся потенциал партийного воздействия на перестройку, то коллективное хозяйство значительно прибавит в работе. Именно это необходимо сейчас, когда пошел на завершение юбилейный год, это необходимо будет всегда, потому что перестройка — это постоянное движение вперед с непременным ускорением, это наша неуклонная генеральная линия».

Переписывая, Борис Павлович уже адаптировал текст, и его можно было просто приклеить в нужном месте, машинистка к этому привыкла. Он вырвал страничку и приобщила к другим материалам. Сдвинув брови, заглянул в текущую сводку; сколько их помещается, прежде чем наступит время заполнить пробелы в докладе... Подтвердят ли вписанные цифры уже сформулированные выводы? Борис Павлович на этот счет не сомневался. Он мог бы написать отчетный доклад на год вперед, и эта «рыба» за целый год не потеряла бы свежести...

Десять лет назад не было этого кабинета. Он думал, его кабинета вообще не будет в новом правлении, тогда еще только заложенным строителями из дикой бригады. Он хотел бы остаться в отремонтированном старом правлении, поделив его, на худой конец, с сельсоветом. Но когда начались отделочные работы, тогдашний председатель Борисов привел его на второй этаж и сказал: «Вот тут буду сидеть я, за той дверью — главный инженер, а вот здесь ты, Борис. Нравится?» И он принял это как должное, потому что уже расстался с детскими представлениями о том, что у парткома могут быть какие-то особые дела помимо хозяйственных. Хотя дела, конечно, были, но и они решались без отрыва от производства. Даже заседания парткома проводились в кабинете председателя, а стол заседаний, поставленный в парткоме, использовался для хранения газет в развернутом виде.

Зазвонил телефон.

— Слушаю,— сказал Борис Павлович и услышал голос Гончарука, успевшего уже расслабиться.

— Моя говорит, глянь, в правлении свет светится. Солнце взошло! Ты чего там?

— Доклад.

— Во, самое время... Я чего звоню: съезди ты в третью бригаду завтра. Может, Матвеев кукурузой займется. У него убирать полсотни гектаров осталось...

— Машина твоя?

— Ладно, давай... А когда?.. Слушай, моя говорит, Матвеева в больницу положили. Вот еще... Метелкин какой теперь работник... Черт! А тут запевала нужен.

— Все равно съезжу. Какие расценки обещать?

— Этих не купишь, на подряде заклинились... Ладно, придумаем чего-ничего. Слушай...

«Скажет или не скажет?» — загадал Борис Павлович.

— ...ты тогда и в школу зайдя, пусть девятый-десятый пока на картошку собирается.

Не сказал. Решил, наверное, что успеется завтра. Не сказал и Борис Павлович о своем юбилее.

О принципиальном согласии райкома отпустить Гончарука из колхоза он услышал сегодня, но как-то без удивления, без сожаления и зависти. К тому шло. Может, и с ним такое случится, но про себя он знал, что Лопуховку не оставит. Хм, а дочь с удовольствием завладела бы отцовским домом... Зять хоть изредка заговаривает об отдельной квартире, а Светка молчит. Не потому молчит, что с папой-мамой ей хорошо (хотя, конечно, неплохо), а ждет, пожалуй, освобождения обжитой жилплощади от «устаревшего элемента». «Ты,— говорит,— папуж, хоть и не молодой, но еще не старый — самый возраст для выдвижения. Ты же у нас за перестройку?» «Я за уход на пенсию по собственному желанию»,— отшучивался Борис Павлович, но, пожалуй, стоило ему высказать свои соображения более определенно.

А доклад все равно придется писать здесь. Домой он уже давно не брал ни одной бумажки, отключал телефон, если не ждал звонка, дома он должен был отдыхать от ежедневного — вот теперь он имеет право сказать без обиняков,— от каждодневного купания во лжи. Так.

Решения последних партийных пленумов, даже съезда он приветствовал привычно, без особых эмоций. Библиотека, ДК, богомазоформитель со знанием дела разносили новости по красным уголкам в виде плакатов, стендов, накопительных папок, передвижного политинформатора. Занимаясь пропагандой даже и сверхгениальных идей, трудно еще и как следует осмысливать их, вникать и проникаться. Осмысление начинается с конкретных примеров. И Борис Павлович невольно посмотрел на ящик стола, в котором он хранил все, что можно было достать о Чернобыле... Интересно, нашлась бы в прежние времена, случись такое, шапка, чтобы прикрыть все это от миллионов пар глаз?

И, грешно сказать, он был даже рад нынешнему сезону дождей, сковавшему не только их район, но и всю область. На сегодняшнем селекторном первый секретарь обкома впервые назвал обстоятельства чрезвычайными. Но то, что было предложено, что потребовал секретарь от чуткой аудитории, мало походило на чрезвычайные меры. И в этом тоже была правда, свидетельство суеты, а не силы.

Нынешний год сравнивают с пятьдесят восьмым годом. Борис Павлович помнил этот год. Тогда все же дождались сносной погоды, хотя и не ждали так откровенно, как сегодня. Зерном были забиты клуб и овощехранилище, гаражи и свинарник, в школе оставался свободным только один класс для малышни... Переувлажненное

просо засыпали тогда в правление колхоза, в тесноте оно загорелось, и вонючую жижу выплескивали через окна и двери и долго еще не могли избавиться от запаха тления, вони распада и разложения, пропитавших некрашенные полы, выползавших и среди зимы из-под пола... Да, но тогда дождалась погоды, прицепные комбайны еще что-то успели взять с подсохших полей и нив, а сегодня ждать нечего. Мысль показалась Борису Павловичу абсолютно бесспорной. Ведь и Чернобыль не поугал, а вдарил; и по головам тонущих с «Адмирала Нахимова» неотвратимо и не случайно шел сухогруз без огней; и поезда не тормозят в последний момент, а сшибаются насмерть...

Телефон, черт бы его побрал...

— Па-ап! Ты на ужин собираешься?

— Рано еще.

— Тебе рано, а мы с Юркой в кино нынче пойдем!

— Приехал?

— Да ну тебя! Короче, мы садимся. Идешь?

Борис Павлович положил трубку. Увидел в углу кабинета сноп, пузатый сноп пшеницы урожая трудно вспомнить какого года. Эталон. «Пусть стоит»,— подумал бессвязно. Может быть, он тоже сегодня юбиляр.

Телефон зазвонил снова.

— Папух, может, ты там, правда, перестраиваешься, но имей в виду, перестройка касается всех сторон человеческой жизни. И семейной в первую очередь! Дети у тебя должны духовно расти, а внучка спать не будет, пока дедушку не дожждется.

— У тебя все?

— Ну а че ты там, правда? Агроном и тот дождику рад, баню достраивает...

Борис Павлович не дослушал. Он терпеть не мог новомодную газетную лексику в домашнем обиходе.

Все-таки тускло светила лампочка над столом... А с улицы свет ярким кажется. Генсек заседает, скажут. И никто не зайдет. Останься он на эти десять лет механиком, простым трактористом, наверное, были бы у него друзья, задушевные собеседники... Вообще, что изменилось бы, останься он в стороне от должности? Так же выросла бы Светка, только, может быть, поменьше гонорку нагуляла; так же родила бы ему Машку — потому что за кого еще ей выйти как не за Юрку... А он постарел бы на десять лет и... купил бы, например, не «Жигули» из райкомовской очереди, а «Москвич», только за руль, пожалуй, сядя, бы почаще, имел практику и не дрожал бы так, отвозя своих женщин на базар в пристанционный городок и по магазинам.

Ладно, прошли десять лет и прошли.

Борис Павлович закурил, закашлялся... Прошелся по кабинету. Почему так обрадовал его этот сезон дождей? Отпала необходимость врать. Но разве вот это ожидание ведра — не ложь?

Ждут его в бригадах. Ждут в райкоме. Филипп Филиппович ждет. Одним проса добрать надо. Другим... А зачем оно этим-то, если неизвестно точно, отменили хлебозаготовки или все же спустят процент? Зачем, наконец, ему, Ревункову, ведро, если дрова и сенцо июньское под крышей, если... Впрочем, он-то как раз и не ждет его...

«Постоянное движение вперед с непременно ускорением»,— прочитал он на листочке. Какое-никакое, а ускорение они обеспечат...

Так. Если завтра с утра в третью к Матвееву, то в школу только к концу примерно четвертого урока можно попасть. Это поздно. На картошку надо будет завтра же; транспорт — на Гончаруке, вольнонаемные — на Чилигине, а ему вот школьников мобилизовать... Нет, в школу надо с утра, если не появится какой-нибудь нюансик... Борис Павлович вспомнил, что Матвеев в больнице. Вот, подумал с облегче-

нием, и не надо тащиться в Богодаровку и не нужен председательский «бобик». Он снял телефонную трубку.

— Машенька? Хм, ты чего, бабак, в детство впадаешь?.. Короче, я тут закончил. Сейчас зайду в больницу к Матвееву — и домой. — Он подумал и решил сказать: — По календарю сегодня, между прочим, ровно десять лет... Что? Откуда вы знаете?.. Так они в кино собрались... Ну и не такой уж это юбилей, между прочим... Ну, тогда иду, двигаюсь, короче, к дому.

Входную дверь правления он защелкнуть не забыл, для надежности подергал за ручку и пошел домой, где, оказывается, уже изжарилась юбилейная утка.

Черная дыра

(страницы амбарной книги)

Мы с Моденовым давно не виделись, и сегодня он назвал себя «черной дырой». Столько, говорит, заглатываешь ежедневно газет, столько журналов ежемесячно; через глаза, уши и открытый рот проникает в брэнное тело страхового агента дьявольское излучение телевизора, а где же выход? Во что все это переплавляется, перепекается вnutри?

Куда мы торопимся?

А м и е л ь: «Критицизм, ставший привычкой, типом и системой, становится уничтожением нравственной энергии, веры и всякой силы...

Чтобы делать людям добро, нужно жалеть их, а не презирать и не говорить о них: дураки! Но говорить — несчастные!

Доставлять счастье и делать добро — вот наш закон, наш якорь спасения, наш маяк, смысл нашей жизни. Пусть погибнут все религии, только бы оставалась эта, у нас будет идеал, и стоит жить».

Прежде чем начинать перестройку, надо было решить: а что станут люди читать?

Понимаю ли я чеховское, с котомочкой по белому свету? Действительно ли понимаю?

С е н е к а: «Чистая совесть может созвать целую толпу, нечистая и в одиночестве не избавлена от тревоги и беспокойства. Если твои поступки честны, пусть все о них знают, если они постыдны, что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь? И несчастный ты человек, если не считаешься с этим свидетелем. Будь здоров».

Деять кубометров больничного покоя

Через неделю в соседнюю палату положили Сидора Кузьмича Делова. Сказали: в тяжелом состоянии, почернел весь. Василий пошел посмотреть. Сидор Кузьмич лежал возле окна и лицом был действительно страшен. Но может быть, это скупой свет непогоды, может, просто годы, его-то... Переступить порожек полупустой палаты Василий не решился. Да его уже и Маринка на укол звала. Он стал думать о Делове со стороны. Какие такие потрясения довели пенсионера до предынфарктного состояния? Стихийное бедствие, в которое превратилась нынешняя осень?.. Во время раннего больничного ужина он додумался только до того, что самые разрушительные потрясения человеческого организма необязательно соответствуют таким же внешним переворотам. Это кто как настроен, кто как содержит себя, кто какую роль отрепетировал, какую цель перед собой поставил и каким путем к ней направился. Можно ведь первый шаг шагнуть — и

с копыт. Можно доползти и дух испустить... Значит, надо было Сидору Кузьмичу полеживать на печке и молодость вспоминать. Но сердечная болезнь пенсионера вызвала уважение. Воспаление легких (а может, и просто бронхит), которое схватил Василий, — ерунда, детская болезнь, которая не от душевного состояния, а от погоды зависит... В этот момент Маринка сказала, что к нему посетитель. Не «ребята ваши», не «Вера Петровна» — посетитель! Василий отодвинул кисель и вышел в коридорчик.

— В приемном покое, — подсказала сестра.

Даже так! Василий открыл дверь самой тесной в больничке комматушки и увидел парторга Ревункова, отряхивающего над ванной мокрую шапку. Повесив головной убор на манометр титана, он улыбнулся и протянул руку.

— Привет, Василий Софронич, привет! В палату не стал проходить — как барбос мокрый!

Они сели на кушетку.

— Как ты? — спросил Ревунков. — Хотел еще неделю назад заглянуть, да закружился, понимаешь...

— А я... вот, — выдавил Василий, не зная, что говорить партийному начальству; может, взносы платить пора.

— Воспаление — дело нешуточное, — энергично потрянул головой парторг. — Лечиться надо всерьез.

— Да уж искололи, сидеть не на чем! — выручила обкатанная за неделю фраза.

— Знакомая ситуация, — засмеялся Ревунков, но тут же сделался серьезным, таким, каким, наверное, и хотел выглядеть во время свидания. — У меня такой вопрос, Василий Софронич... Даже не знаю, как сказать... Короче, твой орлы клуб... твердую пшеницу в клуб засыпали. Ты в курсе?

К этому вопросу Василий не был готов.

— Ну не всю... Были мы у них сейчас с председателем. — Ревунков говорил пока медленно, подбирая слова. — Картина такая... Гримировка теперь у них — и склад и мастерская. Сами живут в кинобудке. Иван Михайлович сказал: к крыше ближе, трубу от буржуйки легче вывести... Да. А весь зал, вся сцена — все засыпано зерном!

— Загорелось? — нетерпеливо спросил Василий.

— А? Нет... Лично вороха щупал — нет... Так ты, значит, в курсе? Василий смутился.

— Ну, в общем, конечно... Я же во второй класс ходил, когда школа ячменем была засыпана...

— Так то школа! — Ревунков поднялся с кушетки. — Центр села, можно сказать. А как из Богодаровки, из клуба вашего, зерно брать? Ведрами грузить? А сколько машин туда надо? Вы об этом подумали? Там же тысяча центнеров, не меньше! Сто тонн! Ты соображаешь?

— Ну а что, сгноить надо было?

— Я не знаю! — Ревунков развел руками. — Из-под комбайна мы у тебя любим транспортом возьмем — ширк, и нету! Самое большее — час на один рейс. А теперь? Двадцать «газонов» прикажешь гнать? «КаМАЗы» никто не согласится загружать с пола! А вы — руки в брюки... дело сделали!

— Какие руки в брюки? — Василий тоже хотел подняться, но тесно было двоим в приемном покое размахивать руками.

— Там Гавриков ваш, — не слушая продолжал Ревунков. — «Не нужен вам хлеб — считайте, что это наша натуроплата». Вы что?!

— Ну а что это «что»? — Василий вынужден был смотреть снизу вверх. — Много ли тридцать центнеров? Пусть. Отвезем пенсионерам, кому скажете.

— Нет, ты соображаешь, что ты говоришь? — изумился Ревунков. — Ты посмотри за окно! Ты посмотри вот в сводку! — Он вытащил какую-то бумажку. — Ладно, не соображает Гавриков...

— Петро?

— Что «Петро»? А, Гавриков... Я их не различаю... Значит, он не сам это придумал? Значит, решили разделить по-братски? Да эту пшеничку в одну руку через мехтех пропусти — знаешь, какие семена будут? Первоклассные семена!

— Пусть семена...

— Вот видишь!

— Да что я скажу? — Василий все-таки встал на ноги. — С Гавриковым разберемся... Что я должен видеть?

— Ты... ты, Василий Софроныч, сядь, — вдруг примирительно сказал Ревунков. — Нервов уже не хватает. Садись. — Он тоже сел. — Пришел ведь спокойно поговорить, — усмехнулся. — Больница, понимаешь, а мы как в правлении...

Василий молчал.

— Ладно, придумаем что-нибудь. — Ревунков поднял было руку к его плечу и опустил. — Давай посоветуемся... Твои ребята говорят: вывозите! Не можем мы сейчас вывезти, понимаешь? На «бобике» с председателем полтора часа в один конец ехали. Под шиханом — пропасть... Да и теплей им в кинобудке, в самом деле, сами ведь не захотели передвижной вагончик брать...

Василий не знал, что говорить. Для него это все-таки тоже была новость. Ну, разговаривали недели две назад, но тогда еще не придумали, чтобы зерно в клуб выгружать... Одна машина тогда возила от них, в час по чайной ложке...

— Растревожил я тебя. — Ревунков вздохнул. — Ведь хотел завтра зайти... Разве ж я твоих ребят не понимаю? Уборку практически закончили, потерь минимум... Это по нынешнему году! В первой, в четвертой еще мужики стараются, а так... Хм. Хотел сказать — молодцы, а наворотил...

Василий мог только гадать, что хотел сказать Ревунков на самом деле.

— Да нормально, — пробормотал.

— Не могу я, Василий Софроныч, ничего тебе сказать о натуроплате, — опять вздохнул, и вроде бы искренне, Ревунков. — И договор есть, и положено вам, но ты посмотри, год-то какой... Не думай, райком нас за глотку не берет. — Он усмехнулся. — Жариков в районе орудует, из обкома. Наши при нем и рта не раскрывают. И не поймешь, что конкретно надо. То район без семян останется, давайте переувлажненное через сушку на обмен. То... А-а! На ходу перестраиваться — только мозоли набивать. Ты как считаешь?

Что-то надо было сказать, и Василий сказал, что на будущий год обязательно надо полный севооборот за бригадой закрепить, и про интенсивную технологию сказал: в Богодаровке отличный перегонной без употребления в прах рассыпается. И про технику сказал, про это он мог говорить долго: и сеялки нужны, и колесник, можно даже «Кировец» у них забрать, а лишний «МТЗ-50» выделить...

Ревунков засмеялся.

— Не обижайся, Софроныч, — положил руку ему на колено. — Правильно ты говоришь. Но повременим. С Гончаруком у нас скоро прощание предстоит.

— Как прощание? — не понял Василий.

— Ну... переводят его. — Ревунков смутился. — Ничего, — он снова ожил, — скоро тебе последний укол всадят, тогда будем решать!

На прощание парторг сказал, что Матвеева бригада нравится ему от души, и не совсем было ясно, зачем все же он приходил в больницу.

Не успел Василий, зайдя в свою палату, ответить хоть что-нибудь соседу Савелию Крашенинникову, интересовавшемуся визитом парторга, как из коридора послышался Маринкин голос: «К Матвееву».

— Знаешь, дядя Вася, в другой раз болей дома или в правлении, — сказала ему она в коридоре.

В теплом, освещенном тамбуре, наполовину занятом широким жестким диваном, его ждал Микуля (иначе называть Валерку он так и не научился). Без шапки, в расстегнутой куцей курточке — ни дождь, ни ветер его не берут! Когда Василий схватил свою холеру, с ним был Микуля. Конструировали ворошилку для прибитых дождем валков. Идея была Микулина — прицепить впереди старой жатки без мотовила полотняный подборщик, а Василий сомневался: скорости у полотен не согласованы и вообще не потащат ли иглы подборщика солому вниз, в щель между ним и жаткой; и с какой скоростью двигаться комбайну по валку... На деле вопросов оказалось еще больше, но теперь он уже и сам загорелся.

Короче, продуло основательно. Когда Микуля нагибался (а прямо он и не стоял), поясница его оголялась, и Василий, одетый куда как теплее, содрогался от зябкого озноба при виде его пупырчатой кожи. «Надень плащ немедленно!» — сердился. И вот Микуля перед ним. Здоровый, раскрасневшийся от одного лишь смущения, перекладывает сумку-пакет из руки в руку.

— Сча-ас, — говорит. — Сапоги там намывает...

Вошла Антонина. Не плащ, а балахон какой-то на ней широченный. «Э-э, ребята», — догадался Василий и подмигнул Микуле. И на племянницу поглядел весело.

— Тут, дядя Вась, и от нас и тетя Вера передала, мы заходили. Она завтра будет.

— Да и сегодня не скучно без посетителей, — улыбнулся Василий.

Через пять минут пустопорожнего разговора Антонина спросила:

— Не знаешь, дядя Вась, Маринка тут?

— Где ж ей быть.

Антонина живо разулась и скрылась за коридорной дверью.

— Взвеситься хочет, — смущенно пояснил Микуля.

Василий посерьезнел.

— Ты сядь-ка, милый друг, — сказал. — Кто вам сейчас встретился?.. Вот. Понял? Почему же я последний все узнаю?

— А че тебе узнавать-то? — удивился Микуля. — Ты болей...

— Я знаю, что мне делать! — вырвалось у Василия, и он несколько умерил свой пыл. — И как же вы разгружались в клуб? Ведь не вручную?

Микуля взглянул подозрительно.

— Я серьезно спрашиваю.

— Да пришлось две рамы выставить, — Микуля расцвел в улыбке. — Знаешь, Софронич, законно получилось! Сбили деревянные лотки, ну с бункерами. На комбайне подъедешь, брезентовый хобот заправишь — и шуруй! Поле, правда, не ближнее. Но чем этих... ждать...

— Ты потише.

— Петрухе и Коле Дядину по лопате в зубы — и пошел! От лотков они по всему клубу разбрасывали. Окна напротив открыли — вентиляция! С пола — на сцену. Все погрелись. А эти, с правления, нынче приезжают... Давай орать! Иван Михалыч после подъехал, Карпейч за ним — они им отпели будь-буди!

— Да тише ты, говорю.

— А че такого-то? — Микуля зашептал, не остановишь...

И долго не мог уснуть в эту ночь бригадир. Поднялась, правда, и температура, но кашель не мучил так, как еще сутки назад. Он думал и думал. Начитавшись газет, похрапывал Савелий Крашенинников, язвенник. Постаивал третий сосед, пенсионер-инвалид из Покровки. Василий, ворочаясь, старался потише скрипеть пружинами. Думал о том, что рапс надо косить, а в бригаде всего один комбайн. И на зяби прибавки нет, а там, по всему, дело дойдет до морозов — и тогда что? Плуги рвать?..

Но он все же был не на бригадном стане, а в больнице, где ему

причитались, как он прикинул от безделья, девять кубометров покоя. Савелий давал ему прочитанные газеты, а когда сам читал, уступал приемник с маленьким наушником, который в обед и вечером ловил интересные постановки. Эти девять кубометров заставляли думать пошире.

Наверное, и правда в государстве творилось что-то интересное. Передавая газету, Савелий указывал, где что читать, сам брался за другую, и Василий слышал то его одобрителное «и досюда добрались», то возмущенно-обиженное «опровержение это, а не продолжение»... Сам он, что ни говори, ориентировался слабо, даже в том, на что указывал Савелий. Тому, наверное, помогали два техника, законченные без отрыва от работы, а Василий, дочитав статью до подписи, часто спрашивал: «Ну и что? Перестройка поможет в том, перестройка поможет в этом... Это намеки, что ли, на вышестоящее руководство? Обращайся тогда прямо, при чем тут перестройка?» Получалось, что этим словом заменялись по крайней мере сотни полторы или две других слов — овецественных, родовых, понятных Василию. Но даже и высокое начальство не гнушалось этим звучным, но туманным словом. В районной газете вообще ни одной статейки без него не печатали, видно, не казалось оно им конфузным.

И Василий спросил тогда грамотея-язвенника, как сам-то он это понимает. Ответил Савелий весьма основательно и подумав. Примерно так: перестройка — это значит гласность, демократия и максимум социализма.

— А насчет работать лучше? — спросил Василий.

— И работать лучше.

— А не пить?

— Ты что, издеваешься, что ли? — обиделся Савелий, но, поверив в искренность вопрошавшего, ответил уверенно и до конца: — Да, и не пить, и не воровать, не хапать, не развратничать, не наушничать и вообще... — Слов у него все-таки не хватило.

— И все главное? — спросил Василий.

— И все главное, — сказал Савелий и посмотрел на него подозрительно.

— Так не бывает, — вздохнул Василий, — вернее, так надо, но не так... Так всегда надо было.

Покровский пенсионер постанывал во сне. Савелий заковыристо и нерегулярно всхрапывал, замирая после каждого особенно громкого звука. Василий, сдвинув брови, глядел в потолок.

Они лежали в одной палате, но каждый со своей болячкой. За столом садились плечом к плечу, но каждый со своим аппетитом и интересом к меню, за которое каждый раз благодарил господ бога бабка Фекла, приходившая из изолятора.

Вспомнилась армия... Захотелось курить, и он протянул руку за леденчиком, приготовленным на углу тумбочки. Конфетка упала на пол, и от стука Савелий всхрапнул так, что покровский охнул. Василий замер с протянутой рукой.

В коридоре послышался сперва человеческий вскрик, потом торопливые шаги, стук двери во вторую палату. Потом кто-то быстро прошел по коридору, хлопнула дверца шкафчика на Маринкином посту, опять шаги... Соседи его проснулись. Савелий заскрипел сеткой, покровский спросил:

— Нынешний старичок, поди, помирает?

— Дождешься, — пробормотал Савелий.

Василию было бы жалко, если бы вдруг правда Сидор Кузьмич того... Он сел на койке, вставил ноги в тапочки, а когда в коридоре вновь послышались шаги, быстро подошел к двери.

— Мариш, — позвал сестру, — чего там?

— Укол всадила, — ответила сестра, укладывая что-то в шкафчике. — Хоть бы забрали его поскорей.

— Как забрали?

— Зять ихний вечером Елене Викторовне звонил, сказал, заберут. Вст и пусть забирают... А чего ты не спишь? Дать сонных таблеток?

Василий помолчал и вышел в коридорчик, затворив за собой дверь палаты. Маринка открыла свой шкафчик снова, а он присел на табуретку возле стола. Свет от лампы с железным дырчатым абажуром делал коридор просторным.

Это было старое правление. В наружной пристройке помещался кабинет Елены Викторовны, кухня, еще комнатухи — ход оттуда через столовую... «И правильно, что забирают Кузьмича», — подумал Василий.

— Если б не этот Делов, ночевала бы дома, — сказала Маринка, протягивая ему зеленую пилюлю. — Так проглотишь?

Василий взял таблетку, пососал и проглотил со слюной.

— Возьмет?

— Если спать захочешь, возьмет, — сказала Маринка и сладко потянулась, даже правую ножку назад отставила.

— Не конфузь, — усмехнулся Василий, — я выздоравливающий. Маринка глянула на него непонимающе и села за стол.

Перед засыпом Василию подумалось опять о бригаде, и когда через два часа Маринка разбудила его на укол, ему снился Коля Дядин, кидавший на сцену богодаровского клуба зерно совковой лопатой; стол президиума был уже завален, но три головы еще торчали из вороха, Василий не успел разглядеть, о чьи это лбы рассыпалась пшеничка... После укола он спал без сновидений, как обычно.

Примечание

Чувствуется, что «бригадная» — это все-таки не о бригаде. Понимается, очевидно, «бригада» авторов, чьи измышления свел воедино, хоть и без должного чувства меры, мордасовский сочинитель. На это, впрочем, указывали и многочисленные пометки читателей на полях рукописи. Они удалены, но, помнится, было написано: «Я так не говорила!»

«В том месте Калинкина лощина проходит»,

«Это было, но не в этот раз»,

«Не плагиатничай у народа!»

«Фамилие вымышлена, но Сидор имеется»,

«Нам не надо иносказаний, недомолвок и прочей изоповщины. Говори прямо, когда есть что сказать!»

«Пошлятина какая, фу!»

«Александр Николаевич говорил: «Когда устроится прочное хозяйство общин на артельном начале, то будет такой прогресс в хозяйстве, о котором мы и помышлять не можем». Я имею в виду Энгельгардта»,

«Юрий (Егорий) — 6 мая»,

«Не плагиатничай, говорю, у народа! Народ не виноват, что умеет писать только заявления и жалобы»,

«Дай срок!..» — и так далее.

А как, вы бы видели, была перенасыщена рукопись эпитафиями! Сплошной винегрет. Тут и выдержки из докладов и постановлений районного значения, и строки А. Пушкина, П. Старцева, И. Малова, сомнительные пословицы и поговорки («не боится дед, что захиреет, колхоз прокормит и согреет», «спать — не жать, спина не заболит», «х...» — короче, такая, что и не перескажешь печатно), а также гомеровское «Много умеем...» — гесиодовское, точнее: «Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду. Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем...» Но и этого мало гипотетическим авторам!

На самом почетном месте у них «куда идешь?» на латыни. Quo vadis? — видите ли!

Чувствуется — читатели все написанное принимают на свой счет, тогда как это не о них. Это «вообще».

Но остались еще две главки этого бригадного повествования. Милости просим, нам не жалко...

Привет из Лопуховки

«Дорогая Маша! Письмо твое получила еще перед Днем Конституции, а отвечаю, как видишь, после седьмого ноября. Ну, ты сама видишь, что творится.

На твой вопрос сразу же отвечаю: нету! Если зимой будет, то дорого, а косынками у нас никто не вяжет, только метр на метр — теплые шали. И двести рубликов. И хорошо, если не подкрасят в чаю, нитку не подпустят. Но в общем, я буду как бы себе брать. Или шаль тебе не нужна?

Вася у меня болел, лежал в больнице. Простыл. Я сказала Елене Викторовне: воспаление у него или бронхит — все равно ложь. Это же мука мученическая смотреть, чем они занимаются возле своих комбайнов при такой погоде! Положила, а оказалось — воспаление у него в самом деле. На рентген в Мордасов съездили — у него там еще спайки! Говорят, ты, дядя, еще раньше воспаление на ногах перенес. Что же, говорю, на медосмотрах у вас осматривают? Ну, ты представляешь, что на это мужик может ответить? Но сейчас ничего, выписали, работает.

Павлушка рассказывал, как гостил у тебя. Спасибо, конечно, но ты не поваживай. Начнет еще деньги занимать. Кассету с этим «примусом» он, наверное, на твои деньги купил? Не надо, Маш. Хорошо, что вроде как тетка у него тепленькая есть в городе, но и поваживать, Вася говорит, не надо.

Ну, какие еще новости? Праздновали праздники как-то так... Ты знаешь, я, наверное, второго буду рожать, последние годочки. Брошу все и буду нянчиться, пока натуральной бабкой не сделалась. Что я, из-за денег, что ли, работаю? Да провались они, все у нас есть.

Чилигин твой скушный, даже ругаться с ним неохота. Уголь, дрова — не дотолкаешься... Но это, Маш, неинтересно. Вообще как до стенки дошли. И все можно, и ничего не хочется. Да и захочешь, Маш, когда еще добьешься?.. Ты чувствуешь? Ну, ты-то, может, и не чувствуешь.

Пиши, я люблю твои письма читать. Вспоминаю, как сама приехала в Лопуховку девчонкой райцентровской, как Матвеев за мной начинал ухаживать, а отец его учителькой меня называл. Чилигин играл на баяне, молоденький, в училище не ездил еще... Хорошо было. Потом ты приехала... Ты, Маш, пиши!

Твоя Вера».

Осенний вечер

(прощальный растерянный взгляд)

С наступлением морозов решили, что зябь уже не поднять. Раскисшие за полтора месяца поля быстро промерзли. Сначала на три пальца за ночь, потом на четыре, через неделю — на четверть, и уже не оттаивали за день. И оставалось немного, и жалко было бросать, но куда денешься... Давно уже ковыряли землю без предплужников, черед отводили.

Настал день, когда первым, хотя и перед самым обедом, на загонку выехал Микуля; пристроился к нарезанной за два дня трехметровой ленточке, врубился — и два лемеха четырехкорпусного плуга

с криком, услышанным даже в кабине трактора, отскочили, остались среди чуть оттаявших на солнышке комьев развороченной земли. После этого решили с зябью завязывать.

— Отпустит мороз, я все равно добыю,— заявил Микуля.

— Отпустит ли,— ухмыльнулся учетчик,— седьмого снег напал? Теперь декабрь на носу. А много растаяло? Короче, я отчитываюсь за сто процентов, и все.

— Как это все? — строго спросил Иван Михайлович.— А на кого нам потом весновспашку вешать?

— Мать дорогая! — Учетчик торопился в Лопуховку, и долгий разговор был ему ни к чему.— Сколько можно говорить: на подряде мы, на подряде! В принципе никого не должно интересовать, когда, что и сколько мы делаем. Под урожай рядились — ждите урожай!..

— Кончайте бузу,— вмешался бригадир.— А ты отчитывайся как есть. Семьдесят два гектара, скажешь, оставляем... Все.

Учетчик уехал на «луноходе» домой.

— На двух комбайнах моторы надо полиэтиленовой пленкой увязать,— вспомнил бригадир, а дальше ему не пришлось придумывать дела для бригады, дела сами напрашивались. — Сеялки развернем — весной не докопашешься. Все бороны — к клубу, будем потом перевозить потихоньку к кузнице. Так... Бобылев, можешь домой отправляться, завтра с утра ставишь свой трактор на ремонт, место мы не бронировали, потом не всунешься. Бабакин с Бобышевым... Ну и ты, что ли, Виктор, поезжай, мать просила... А вы, друзья, чтобы сегодня же плуг на просяном поле выдернули. И тележку от подрытого куста притащите заодно... Все. Тут по ходу сообразим. Машина после шести нынче придет. Теперь все.

Но еще покурили. Отыскали молодым Иванам ломы — плуг на просяном выковыривать.

— Не надо было бросать,— сказал Микуля.

Бабакин и Виктор Алабин оставили на общество топленое молоко в термосах и направились к Сергею Бобылеву, уже сидевшему в кабине заведенного трактора.

Трактора разъехались. Павлушка Гавриков провожал взглядом Иванов.

— Жди их теперь,— сказал.— Надо было мне ехать.

— Приказы не обсуждаются,— наставительно изрек Микуля и пошел отматывать полиэтиленовую пленку, Володя Смирнов за ним.

— Вы там не больно шикуйте,— сказал им вслед Иван Михайлович.— На окна оставьте. Пушкин вам их будет затыкать?..

Коля Дядин отправился в гримировку к топливному насосу, над которым колдовал уже третий день; своим ходом решил человек в мастерские ехать.

— Ладно, Михалыч, ты пока печкой займись,— сказал бригадир и подозвал Гавриковых: — Боронами займемся. Вот сюда их, к стене...

— Сеялки катать — зовите! — крикнул Иван Михайлович, поднимаясь в кинобудку с ведерком угля.

На площадке перед дверью он остановился и посмотрел по сторонам. Далеко было видно с трехметровой высоты. Раньше Богодаровку, может быть, и с десяти метров нельзя было разом охватить, а теперь — пожалуйста.

Остовы саманных стен тут были по пояс: и тот конец виден, где въезд, и где калитник у колодца. На месте деревянной школы уцелели заросший фундамент из плиточника, подстриженные козами ветлы и среди них памятник погибшим землякам. Два сварных куба, пирамидка сверху, а звезды уже не было. Безымянный памятник, как треугольная вешка. А когда-то народ собирался, красили перед маем... К двадцать пятой годовщине Победы, насколько помнил Иван Михайлович, варили эти памятники. А теперь в Лопуховке есть дорожной мемориал, на шести табличках попадают и богодаровские фа-

мили, а погибших еще из двух разъехавшихся сел Лопуховского Совета заносить не стали — родных поблизости не оказалось и даже односельчан...

Саманные остовы скоро сровняются с землей, но клуб, свиноферма — они из бетона, и железная вешка еще постоит... Все пего вокруг от не растаявшего в бурьянах, колеях и развалинах снега, все заброшено... И тянуло каждый раз оглянуться на все это запустение. О чем напоминало оно? От чего предостерегало?

Бригадир с Петром Гавриковым притащили борону и прислонили ее к стене клуба; Павлушка волочил свою сам. Микуля с Володей уже укутали пленкой двигатель на одном комбайне, но зачем-то влезли в кабину и застряли там. В дверях гримировки-мастерской Коля Дядин, сдвинув шапку на затылок, разглядывал на свету плунжер, не решаясь тронуть его блестящий бочок чернильным заскорузлым пальцем.

Иван Михайлович подхватил ведро и зашел в кинобудку. Вскоре из косо торчащей трубы повалил черный дым.

— Зимовка живет и действует! — крикнул Микуля, появившись на мостике комбайна.

— Ты бороны таскай! — услышал его Павлушка.

— Для этой операции у меня разряда не хватает. По штанге...

Через час уже возились с агрегатами сеялок и культиваторов, расставляя их поодаль друг от друга, чтобы перед весенним ремонтом можно было сдвинуть снег бульдозером. Колю Дядина позвали, а Иван Михайлович сам пришел. В общем, погрелись.

— Нет, этих гавриков не дождешься, — уже с половины пятого стал ворчать Павлушка. — Мне надо было ехать...

Бригадир его будто не слышал.

Остатками пленки, которой увязывали комбайновые двигатели, обтянули две оконные рамы. Микуля лазил забивать чердачное окно. Наступали сумерки, их приход ускорила густая наволочь, затянувшая небо. Пролетали уже редкие снежинки, мелкие, но неторопливые в полете.

— Сыпанет, — предположил бригадир.

— Да куда они там заехали?! — не унимался Павлушка, но его продолжали не замечать.

— О, Михалыч электричество включил! — увидел Микуля свет в кинобудке. — На банкет приглашает. Пошли?

Пошли. Коля Дядин с великим сожалением замкнул дверь гримировки на болт.

— Если б не сеялки катать, собрал бы уже этот чертов насос, — пробормотал он себе под нос и, оправдавшись, больше о насосе не вспоминал.

В кинобудке горели два керосиновых фонаря, потрескивала печка, малиново светились ее бока и плита, на которой шипел и злился полуведерный алюминиевый чайник. Можно было раздеться и быстрее почувствовать всем телом напитавшее воздух тепло, пахнущее дымком и окалиной. Иван Михайлович поставил ведро с картошкой к печке, помыл руки и в большой кружке поднес воды, чтобы долить порядком выкипевший чайник. Капли, срываясь с посуды, падали на плиту, взрывались и убегали, не оставляя следов.

Бригадир достал расческу и причесался. Молодежь мыла руки в очередь.

— А этих друзей не слышать? — спросил Иван Михайлович, раскладывая по раскаленной плите немые, чтобы не очень подгорали, картофелины.

— Я говорил, мне надо было ехать! — брэнча умывальником, подал голос Павлушка.

— Когда это ты говорил? — спросил бригадир, и больше вслух молодых Иванов не вспоминали.

Петя Гавриков взял с уступа электрический фонарь и подошел к окошечкам, три из которых были забиты доской, а на четвертом еще сохранялась заводская заслонка. Петя включил фонарь и осветил в зал, в темноту. Каким просторным казался он ему всякий раз. Петя представлял гулкие звуки музыки, а на скамейке у стены — девчат в зимних приталенных пальто с белыми пушистыми воротниками и в пуховых платках. Лопуховские щеголяют сегодня в вязаных шапках, похожих на завитушки кремовых пирожных, шуршат синтетикой стеганых балахонов, стучат подошвами и балдеют под «Таракан». Петя хотел бы выбирать из тех, кто обут в валенки и покрыт платочками... Глаза, привыкши, различали уже драный задник на сцене. Петя опустил луч фонаря, и он уперся в ворох пшеницы; слабо заискрились не то залетавшие снежинки, не то морозный иней, отбросили тени спинки засыпанных зерном коек.

— Не студи, Петро, помещение,— сказал Иван Михайлович.— Нечего там смотреть...

О пшенице теперь тоже заговаривали редко, было известно, что часть все-таки выдадут им, и все.

Положив последние картофелины на плиту, Иван Михайлович тут же начал переворачивать на другой бок первые. Он раза два взглянул на сына, и Володя поднялся, чтобы ополоснуть кружки. Микуля поставил на край стола термосы с молоком, соль в консервной банке, подвигал коробку домино. Никто намека не понял, и он вздохнул: конечно, не время...

— Ты бы, товарищ Репин, своих охотников на привале сюда перевез,— сказал Микуля.— Или бы арбуз нарисовал. Ни грамма культуры, понимаешь, на культурном стане...

Коля Дядин глянул на свои руки, на бригадира, и продолжать Микуля не стал.

Что-то притихли они все в этот вечер. И работа не работа нынче была, так, субботник какой-то... Но, может быть, потому и молчали, наговорившись за день. Работа — это ведь поврозь большей частью. Один на один с трактором, комбайном ли, один на один с полем или пашней, с ближайшей дорогой...

Оживились, когда Иван Михайлович разлил молоко по кружкам, нарезал хлеба и ссыпал в ведро пропеченные, частью и подгоревшие картофелины. Ведро он поставил рядом с собой, накрыл старым ватником и на стол подавал потом по семь картошин зараз, помня, что и «друзьям» надо оставить.

— Кто теперь поверит, что бывали картофельные бунты,— сказал Володя Смирнов, прихлебывая молоко из кружки.

— А ты их видал? — строго спросил Иван Михайлович сына.

— Покорми тебя с месячишко одной картошкой, пожалуй, забунтуешь,— отозвался Микуля.

— Да сажать не хотели!

— В толк не взяли,— подал голос бригадир,— зеленые эти яблочки поели — гадость! Скосили всю ботву, в яму закопали — нам не надо! Потом разобрались что к чему...

— А что, правда, что ли, на одной каше раньше жили? — спросил Петя.

— Когда раньше-то? — усмехнулся Иван Михайлович.

— А я картошку в любом виде уважаю,— сказал Коля Дядин, уголки губ и нос у него были черными, пальцы не чище, и кружку с молоком он брал за ручку щепотью, оттопыривая мизинец; ни соли, ни хлеба Коля не признавал, когда перед ним была вареная, в мундире, или печеная картошка,— об этом он и хотел сказать.

Сразу же выяснилось, что Микуля любил арбузы, Петя Гавриков — домашнюю лапшу с курятиной, Володя Смирнов — вареные кукурузные початки; Иван Михайлович покосился на сына и промолчал. Он первым поднялся, смахнул в мусорное ведро кожурки и

пошел мыть руки перед чаем. Все будто теперь только почувствовали, как славно пахнет из позвякивающего крышечкой чайника дикой мятой и зверобоем.

И сели пить чай.

— Карпейча нет, он ведь еще шалфей где-то припрятал.

— А комочек сахара он не припрятал? — спросил Микуля.

Коля Дядин перестал прихлебывать, покопался в кармане и протянул ему карамельку в грязной обертке.

— Последняя, — сказал, чтобы быть правильно понятым; Микуля конфетку взял.

После чая отдыхали. Микуля послунил палец и шоркнул Коле Дядину по носу.

— Уё-ой, — отпрянул тот. — Ты чего?

— Трубочистов нам тут не хватало...

Коля потерся носом о рукав телогрейки, и он сделался вороненым и заблестел от мазута.

— Раньше большие семьи были, — проговорил Иван Михайлович. — Верней, по многу семей в доме. Теперь и две — редкость...

— Я своих стариков сколько зову — не идут, — сказал бригадир. — Там, говорят, привыкли. Если уж ног таскать не будем...

И не стал Иван Михайлович дальше говорить про большую семью.

— Государство как поставило? — нашелся Коля Дядин. — Каждой семье — отдельную квартиру! Живешь на селе — дом...

— К двухтысячному году, — уточнил Микуля. — А мне пока и с тещей не тесно.

— Вот провалились-то! — не выдержал все-таки Павлушка. — Пойду послушаю, может, тарахтят где...

Когда он открывал дверь, все затихли и ясно слышали еще хоть далековатый рокот трактора.

— Волокнут, — определил Володя. — Пустые теперь скоренько газовали бы.

В открытую дверь из густой синевы залетели стайкой крупные мохнатые снежинки.

— Все, теперь точно отпахались, — сказал Иван Михайлович.

Павлушка ушел вниз, затворив дверь. Помолчали. Почему-то не клеивался разговор. Ведь можно... самое время поговорить. Или уже не давит, не жмет ничего? Хорошо живем, что ли?

— Вот часика через полтора домой приедем, — словно с самим собой заговорил Микуля. — Со скотиной бабы уже управились, на дворе темень... Чем заняться? Ну, за водой пару раз на колонку сходишь... Дальше телек, чаёк, на горшок — и спать. Кончили день. Завтра...

— И завтра! — вдруг прорвало Петю, он вскочил, встал возле окошечек в зрительный зал и трахнул кулаком по заводской звонкой заслонке. — Лучше бы не дожидать ни до чего!

— Что за ерунда? — строго спросил бригадир. — До чего ты дожил? Только-только руки, можно сказать, развязали, еще и оглядеться некогда было... Ты что?

Петя ни на кого не смотрел.

— В самом деле, — подал голос Иван Михайлович. — Руки развязали, высвободили, можно сказать... Кого же нам винить? Если и теперь не наведем порядок — грош нам цена в базарный день.

— И винить некого, — кивнул бригадир.

— Да навели, навели порядок! — усмехнулся Петя. — Поля подчистили, бороны под стену стаскали... А лахудры лахудрами остались!

Микуля засмеялся, и Петя, зверовато взглянув на него, выскочил из кинобудки. Иван Михайлович поднялся, прикрыл дверь и посмотрел в первую очередь на Микулю.

— Да жениться ему охота,— пожал тот плечами,— а не на ком. Командировку бы ему устроить.

Помолчали. И вскоре услышали, что подъехал трактор, долетели голоса, силившиеся перекричать гул дизеля. И почти тут же в кинобудку ворвался Павлушка с двустволкой в руке.

— Я говорил, мне надо было ехать! — выкрикнул.— Мазилы! А я знал, что она возле тележки будет...

— Да кто?

— Лиса, кто! «Мы караулили»,— передразнил он Иванов.— Караульщики...

Иван Михайлович засмеялся, потом бригадир с Володей, подхихикнул им Коля Дядин.

— Ну комики,— тряхнул шапкой Микуля и вышел из кинобудки.

— Зови этих друзей! — крикнул ему вслед Иван Михайлович.— Картошка застывает.

— Хрен им, а не картошку! — не унимался Павлушка, бросивший двустволку в угол.

— Ну, кончай уже,— перестав смеяться, сказал бригадир.— Откуда ружье?

— Откуда... Две недели в кабине возил. Салажата!

— Так они что там, охотничали?

— Не знаю, чего они там делали! Плуг и тележку притащили...

— Зови их сюда.

— Сами придут.

Павлушка сел на лавку и стал смотреть в угол. Иван Михайлович поднялся и пошел к двери, открыл ее, позвал «охотников» за стол.

— Захвати, Михалыч, картошек в карман, машина уже показалась,— ответили ему снизу.

Стали собираться домой.

Пока Иван Михайлович с Колей Дядиным искали замок, бригадир поджидал их на площадке. Молодежь гомонила за углом, возле заглушенного трактора голоса звучали неотчетливо, и было понятно, как сейчас тихо и глухо вокруг, как низко опустилась снеговая облачная пелена. Дед говорил, что как раз в такие ночи Боженька ближе всего спускается к земле, все видит и все слышит, но и всякая живая тварь чувствует его, и потому так бывает тихо и покойно. А в чистом небе что высматривать Господа? Его там нет, он прилетает на густых снежных облаках, сеющих на поля перину и в души покой... Деда вспоминал Василий Матвеев, и, может быть, это он теперь опускался на снеговых облаках.

Высветив снежную, словно застывшую пелену, за углом развернулась машина.

— Грузитесь, живо! — крикнул шофер.

— Подождешь!

— Тебя дольше ждали!

— Э-э, мужики, домой! — В окно кинобудки мягко ударил снежок и раздался свист.

— А ты в гостях, что ли? — пробормотал Коля Дядин и вдруг увидел замок возле ножки стола.

— Как же он залетел туда? — удивился Иван Михайлович.

Фонари задули и вышли из кинобудки.

— Нашли? — спросил бригадир.

— Все, поехали...

Иван Михайлович на ощупь примкнул дверь, а замок пристроил в петлях дужкой вниз; последний ключ от него был потерян еще в сентябре.

Где боролись успешно с азотом
И бульвары, и скверы в цвету...
Где любовь, там опора для взлета,
Где безлюбье — удар в пустоту.

Время новое. Новая смена.
Смена сердца? — язык запчастей.
Наша юность еще современна,
Потому что мы помним о ней.

Не уходи!

Не уходи!
От ребер вдоха требуй,
Еще твой дух не завершил свой труд.
Не уходи!
Еще земля ждет неба,
Не уходи, еще сады цветут!

Еще пока я чудом принимаю
Твой тихий свет ко мне издалека...
О свете тихий,
я тобой пылаю,
Не уходи за тучи-облака!

Когда сомлеет день от урожая,
Не уходи глазами на закат,
Но оглянись и укрепись, вкушая
И пышный хлеб и жаркий виноград.

Еще дрожат слова, мои подростки,
И просятся к тебе в тепло, на чай...
Не уходи
под белые березки,
От слов моих
себя не заземляй!



СВЯТОСЛАВ РЫБАС

★

ПЛАЧ ИЗ ДАЛЕКОГО ГОДА

Повесть

Осенью на хутор к пятнадцатилетней учительнице стал наведываться гость.

Сама учительница, еще дитя, не понимала, отчего чужак подпирает спиной толстый ствол белолестки и пытается заговорить с каждым, кто появляется во дворе.

Хозяин, беспальный, чернявый, сутулый казак, недолго терпел и сказал ему, чтобы он сюда не ходил. А в ответ парень поведал, что прошел полсвета и ищет, где притулиться.

Гражданская война, хотя и закончившаяся, еще не была историей, и совсем неподалеку, на границе бывшей Области войска Донского и Новороссии, в пойменных лесах Северского Донца, в первобытной дикости сидели мужицкие банды.

Хозяин подумал: чем гость грозит? Реквизицией? Белый он? Или бандит?

Привычка держаться наготове укрепились в хозяине еще со времен вешнего половодья семнадцатого года, когда самая природа разбушевалась и затопила курени в Ростове, Таганроге и Луганске, не говоря о родной хуторской мелкоте; со времени той стихии до страшной голодухи нынешнего года Муравский шлях так полит кровью и усеян костями, что оставшиеся в живых научились жить с опаской.

Хутор стоял на тяжелом месте. Возле него лежала дорога с Екатериновских рудников к станции, и за минувшие годы какие только нужды не колотырились по той дороге и не тянули с хуторян всякого добра, и мало что добра, но часто за тем добром забирали с собой и дань казачьими жизнями, отлетавшими, как мотыльки.

В шестнадцатом году хозяина ранило на румынском фронте, отрубило осколком три пальца на правой руке, и эта потеря впоследствии оградила его от всех мобилизаций, как белых, так и красных. Но от разных продовольственных комиссий и отрядов, от интендантских цепких рук никто не мог избавить хозяйство. Забирали хлеб, реквизировали лошадей и быков, срезали под самый корень, не глядя, что останется в хозяйстве, выживет ли оно, даже мысли о том, что оно должно выжить и кормить всех, кого направит к нему судьба, не приходило в бездомовные головы. Страшный поток налетал на хутор и разбивал его.

И не стало бы хутора, вымерли бы хуторяне, поля бы заросли синопником и буркуном, если бы жизнь не повернула в мирную сторону и под грохот угасающих крестьянских мятежей не начался нэп.

С нэпом появилась на хуторе и молоденькая учительница, хозяину надо было учить дочек, чтобы не одичали вконец. Как из жеребят и бычков, оставшихся после всей невзгоды, выросли годные животные, так и дочки должны были расти и развиваться.

Теперь как будто нечего было бояться. Самоуправство продотрядов кончилось, и власть сама обратилась к хлебобробу, чтобы он повез на базар товар, и чем больше, тем лучше.

Незванный гость стоял перед хозяином, напоминая тяжелую пору,

когда тот, кто сидел на земле, всегда был виноват перед любимым бродягой. И хозяин по привычке еще опасался, но уже гораздо меньше, даже мелькнула мысль: будет лезть — зашибу.

Пришельцу было лет двадцать пять, однако можно было ему дать и больше, и меньше. На физиономии отпечаталось, что его мяли и били, но глаза смотрели с веселой дерзостью и надеждой еще пожить в удовольствие, и усмешка в каждой черте лица указывала на крепкую натуру.

Звали его Федор Баев. Он пришел с Екатериновских рудников, где недавно осел после возвращения из чужой стороны. Глядя на хозяина, он думал, что этот печенег стал поперек его пути, не спихнуть.

Кругом мелькала жизнь: вхоптала на базу курица, дымилась плетневая кухня-летовка, скрипела дверь в омшанике, откуда выходила с ведром жена хозяина.

— Михайла, чего ты там присох? — нестрого, но полная привычкой властвовать вымолвила хозяйка.

— Вот что, милый человек, — сказал Баеву хозяин. — Бугаевать тебе тут не придется. Иди себе, не приставай.

— Ревнул вол за сто сел, — ответил Баев, не смутившись. — Пригласил бы в курень, казак. Я такого повидал, тебе и не снилось.

Хозяйка подошла тяжелыми шагами и спросила:

— Ты откуда, с рудника?

— С рудника. Позови девчонку.

— Под вздохи разаз так дадут, в жгут закрутишься, — посулила хозяйка. — Убирайся.

Баев засмеялся, показав, что так просто его не своротить.

Хозяйка поглядела с любопытством, оценивая его силы.

— Черт с тобой, стой, хоть сдохни. Пошли, Михайла.

И хозяева ушли в курень, оставив Баева как безнужную вещь.

— Эй, учителька, выдь на минуту! — крикнул он. — Я гостинец принес.

Отодвинулась занавеска, мелькнуло и скрылось детское лицо, а учительница не показала. Никто не хотел разговаривать с Баевым. Эти казаки-печенег окостенели в крови и навозе и нет им дела до большой жизни. Спалить бы их с ихним хозяйством, чтоб только черный дым полетел по ветру, как из трубы английского парохода.

Такие же казаки два года назад, осенью девятнадцатого, захватили Баева вместе с подводой и конями, и он покатился с ними до самого Новороссийска, где и попал в эвакуацию. Хоть не был он ни казак, ни белогвардейцем, угодил на Принцевы острова в Мраморном море, верстах в тридцати от турецкого Константинополя. А этот беспалай, с красной страшной клешней, просидел тут сиднем! И нынче он хозяин?!

Безмятежно было на хуторе. Ничто не напоминало горького горя, пробороздившего до последнего эти края. Ярко кудрявились и пламенили под галерей куреня вдовушки, желтели твердыми желтыми луковичами по эту сторону крепкие высокие пижмы, по-казачьи — муравятники, и шелестел тополь-белолистка, почти такой же, как и в туретчине.

Застучали по каменистой улице колеса, в рессорной бричке ехал со станции управляющий рудниками Свалухин, белела его матерчатая фуражка.

Баев замахал рукой. Свалухин заметил, наклонился к вознице. Баев запрыгнул в покачнувшуюся бричку, радуясь Свалухину.

— В казаки хочешь записаться? — спросил управляющий покровительственно. — Гляди, казаки шутковать не любят, небось не забыл?

— Я не промах, — сказал Баев. — Тут к одной подкатился, резвая, как коза, глазами стреляет... Я своего дубьюсь.

— Ты сегодня работал? — спросил Свалухин. — Я в Ростове был, там нынче дым коромыслом, раздадут в аренду что хочешь — фабрики,

мельницы, пекарни. Скоро до рудников дойдет. Весело заживем!.. Работал? Чего тут болтаешься?

— Да не болтаюсь,— ответил Баев.— Говорю: девчонку встретил.

— А, ладно, ладно,— сказал Свалухин.— Смешной ты паренек, Федор. Такие дела на носу, а ты с девчонками балуешься. Думаешь, нэп — это шутки?

Баев не думал ни о нэпе, ни о том, что говорил Свалухин.

— Теперь, паренек,— продолжал Свалухин,— пролетарская судьба не главное, а главное — товары, прибыль.— Он дернул за козырек фуражки, надвинув ее на глаза, и сразу вернул обратно.

— Чего? — спросил Баев, смутно ощущая чужую тревогу.— Кому отдадите рудники? Старым хозяевам? Так ведь они вас, краснюков, не жалуют?

— Тьфу! — ответил Свалухин.

Баев походил на эсера Аросева; тонули они тогда в побеге и замерзали. Свалухин после четырех дней пути повалился на голыши, бился головой, кричал, что надо сдать рыбакам, иначе сдохнут, а Аросев ударил его по лицу, приводя в чувство.

Нечего было ответить насмешнику Баеву. Парень побывал с бывшими хозяевами в изгнании, проданся в наемники в иностранный легион, ему судьба сулила лечь застреленным в алжирских песках, но он живой, и на земле РСФСР, и спрашивает о нэпе.

А как отвечать, Свалухин не знает.

Бывшие, бывшие вылезли соревнователями и берут в аренду у совнархоза, обещают платить, давать производительность и прибыль. И теснят пролетарскую судьбу.

«А он тоже не любит нас,— подумал Свалухин, начиная разочаровываться в Баеве.— Зачем я его пригрел?»

— Не любишь краснюков! — сказал он.

— А мне все одно,— ответил Баев.— Вы же сами себе не можете ладу дать.

— Как не можем?

— Не можете. Заварили кашу, растрясли родимую страну, а зараз говорите: не вышло, завертаем обратно.

Свалухин отвернулся от Баева. Тот был прав: нэп перечеркивал революцию. «Чему они так радуются? — спросил он себя, вспомнив работников совнархоза.— Ну соревнуются бывший мельник с артелью, как ее, «Крупчатник», кажется, или «Козлятник»... черт их подери!»

Дорога тянулась степью, мимо безымянных могил, за которыми росли большие и малые кусты шиповника, красневшие мелкими золотисто-красными ягодами. Чьи могилы? Бог ведает.

«Надо выполнять партийную линию! — решил Свалухин.— Скоро все прояснится. Сожмись в кулак, не раскисай».

— Где же мы напасем на вас бескорыстных да ученых коммунистов? — упрекнул он Баева.— Мало нас, а Россия бесконечна...

— Сотрет она вас,— ответил Баев.— Бабы своими животами сотрут, ничего от вас не останется, опять все пойдет по-старому.

— А это? — Свалухин похлопал по желтой кобуре.— Сила у нас. Временно отступим, только временно.

Баев дернул щекой, оскалив белые острые зубы.

— Нас на острове Халки тоже охраняли,— сказал он.— Черные такие, губы по полфунта, синие. И ничего!

— Значит, нет разницы? — зло крикнул Свалухин.— Тогда вылазь!

— Чего это?

— Вылазь, катись в туретчину!

— Тю,— сказал Баев.— Лучше я поеду с вами.

Свалухин велел вознице остановиться. Пожилой казак в выцветшей казачьей фуражке, не оборачиваясь, натянул вожжи, его неровно

остриженный затылок выражал полное равнодушие к тому, что делается с седоками.

Баев спрыгнул на дорогу и крикнул:

— Там паек давали по банке бефа и по кило хлеба! А что — вы? Гоните?

— Чего же ты вернулся? — тоже закричал Свалухин. — Катись в свою туретчину, жри там от пуза!

— У тебя забыл спросить! — замахал растопыренной пятерней Баев. Он подскочил к лошади и хлопнул ее по заду. — Катись!.. Мы им ятра поотрывали...

И Баев пошел обратно в хутор. Он был возмущен и не понимал, почему поругался с управляющим. Что сделалось со Свалухиным? Разговора не выдерживает, на правду злится.

— Черт с тобой! — сказал Баев и ковырнул каменистый комок носком английского толстошкурного ботинка-танка.

Поднялась струйка пыли. Он вспомнил, что тогда, на Халки, когда рослый сенегал ударил его прикладом, на дороге была жидкая грязь. И снова в голове Баева завертелось. По грязи, впряженные в водовозную бочку, тащатся в гору двенадцать русских, а рядом идут двое черных французских стрелков. «Аванте, болчевик!» — подгоняют стрелки, именуя белогвардейцев-беженцев большевиками. В восемнадцатом году под Одессой сенегалам крепко всыпали красные, и теперь они отыгрываются на беляках.

Мысль Баева перескочила в африканскую пустыню, и он увидел взвод иностранного легиона, состоявший из русских белогвардейцев, немцев и всякого другого несчастного и злого народа. Немец Гуго, высокий сутуловатый храбрый вояка, стоял с завязанными глазами на плотном песке у каменного забора, напротив него строились французские солдаты и готовились его расстрелять за то, что Гуго избил сержанта и пытался бежать.

Баев в который уж раз говорил себе, что Гуго дурак, и жалел немца, который знал, что за сержанта расстреляют, не церемонясь, и все же попер на рожон.

Вместо Гуго вспомнился вдруг Свалухин, но быстро исчез, прогнанный Баевым.

...Толстые, потные арабы на верблюдах подхватили Федора, чтобы вытряхнуть из него денежки. Могли перерезать глотку, но не перерезали.

И вот он на родной земле, справа от дороги горбатятся чьи-то могилы, зацепившись за шиповник, качаются сухие колючки татарского катрана, ждут сильного ветра, чтобы запрыгать по степи, сцепляясь с другими перекати-поле в большие, с овцу, шары. А тем, кто в земле, — им уже хорошо.

Баев сел на траву возле могил и стал думать, что делать, куда поехать.

Сенегалы на острове Халки презирали русских, потому что у русских не было родины. Однако нынче у Баева родина снова была. Он притулился к руднику, имел койку в казарме, пропитание и возможность разговаривать со всеми на русском языке.

А тех двух стрелков-сенегалов, что вздумали разговаривать прикладами с людьми, впряженными в бочку, били, пока не убили, и, бросив тела, снова впряглись в водовозку и потащились наверх к монастырю по скользкой от грязи дороге.

«Вот так, братцы, — подумал Баев, обращаясь к могилам. — Невеселая там жизнь. А Свалухин — это ничего, его можно объехать, он света не застит».

И Баев совсем забыл ссору с управляющим, пригладил чуб и пошел дальше в хутор, глядя на высокие пирамидальные тополя, такие же, как и в туретчине, да и не такие.

В это время Свалухин ехал и разговаривал сам с собой, обращаясь для удобства к вознице, который изредка мычал и угукал.

«И я же ему плохой! — недоумевал управляющий. — Били его, колотили кому не лень. Бродяга! А кто взял его, рабочим сделал?.. Всегда кусок хлеба и социальная защита. Живи!»

Постепенно он успокоился, неблагодарность Баева перестала дразнить, но вернулись сомнения в правильности новой линии.

Уже пришла инструкция о сдаче в аренду государственных предприятий на местах. Этот документ обжигал сквозь портфель, там заключалась судьба многих, в их числе и непутевого Баева, сироты и ветрогона.

Вот что было написано в бумаге, полученной Свалухиным нынче в Донсовнархозе:

«Как общее правило, в первую очередь должны быть намечены к сдаче в аренду неработающие и слабо работающие предприятия...»

И Екатериновские рудники, надо признаться, подходили под этот пункт.

А дальше — еще:

«Поскольку выяснится, что общественная или частная инициатива, используя неисчерпаемые государственные, сырьевые, топливные и прочие ресурсы, может в значительно большей степени использовать производственную мощность тех или иных предприятий, хотя бы работающих и выполняющих свои задания, — такие предприятия должны быть сдаваемы в аренду. В последнем случае в договор должен быть включен пункт, обязывающий арендатора увеличить производительность предприятия в размере, договором установленном».

Здесь же было примечание, что подобные Екатериновским рудникам предприятия будут сданы в аренду после соглашения с губпрофсоветами, но кто-кто, а Свалухин понимал, что профсоветы перечить не станут. К тому же чуть ниже прямо говорилось, что единственный критерий для решения вопроса о том, следует ли передавать данное предприятие в частные руки или нет, заключается только в одном: будет ли содействовать аренда росту производительных сил республики или нет. А лучше ли станет жить народу, инструкция этого не касалась.

Свалухину не терпелось обсудить с кем-нибудь возврат стихии капитализма, и он хлопнул возницу по сугулой широкой спине.

— Дед, что среди вас гутарят о новой политике?

— Это чтоб нам снова разрешить хозяйствовать на нашей-то земельке? — Возница впервые за всю дорогу повернулся и поглядел острым, звероватым взглядом.

Конечно, он за. Мелкий собственник, мелкобуржуазная стихия, ему и дела нет до бедных и немощных, кто не потянет против умелых хозяев и образованных бывших предпринимателей. И умом Свалухин понимал, что иного пути уберечься от повторения нынешнего голода, когда, говорят, в Поволжье даже человеческое мясо ели, были такие случаи, — так вот, чтобы выправить разоренное реквизициями царской поры, Временного правительства, продразверстками сельское хозяйство, надо отпустить зажим, дать крестьянину волю наживать добро и богатеть, иного пути нет, ибо от его богатства и государство будет иметь питание.

Это Свалухин понимал. Однако что он мог сделать со своей совестью? Куда деть поверивших в социализм, таких, которые кормятся от государства, потому что рудники, по правде, приносят одни убытки?.. За борт?!

Еще совесть говорила Свалухину, что он безусловно должен подчиниться новой линии и никоим образом не дать себе увлечься мелкобуржуазными чувствами. Пролетарская дисциплина должна разрешить личные сомнения.

Впору взять да пустить себе пулю в лоб, закрыв все дебаты. Мол, был такой товарищ и отбыл на долгий срок. Впрочем, глупости! Надо работать, поддерживать все жизнеспособное и ликвидировать слабое.

— Значит, на вашей земельке? — переспросил Свалухин. — А иначе не согласны?

— Иначе хрен вам в зубы, — ответил возница.

— Ну ты не очень, — сказал Свалухин. — Не очень.

— Вон уж солнце в дуб, — возница ткнул темно-красным кнутовищем на запад, где теплилось большое солнце. — Скоро доедем.

— Ты не думай, что мы жируем на рудниках, — продолжал Свалухин. — Мы уголь даем, а нам за него копейки платят, даже наших затрат не возмещают. За счет каменного угля покрывают прорехи в других местах. И мы ничего, терпим.

— Да, скоро доедем, — повторил возница. — Коль не кормил бы лошадок, они бы у меня околели...

Свалухин увидел, что они говорят на разных языках, и замолчал.

— Что ж с вами станет? — спросил возница. — По миру с сумой пойдете али хозяйствовать приучитесь?

Этот ядовитый вопрос пожилого казака Свалухин вскоре вынужден был повторить у себя в конторе. Обратных средств не было вовсе, если не считать таковыми готовое топливо, цены на которое госплан установил ниже себестоимости и которое к тому же приходилось продавать в кредит, ибо основной потребитель, железная дорога, средствами на оплату угля не располагал.

Возница вернулся к своему куреню, получив за работу квитанцию на топливо. А живых денег нет. После летнего голода волна перебоев в снабжении и денежного кризиса шла как будто на спад. И то сказать — в начале года, еще до нэпа, уголь отпускали вовсе бесплатно, словно был он божьим даром и не был обмыт потом рудничных рабочих.

Собрав руководство рудников, Свалухин объяснил курс, каким отныне будут они следовать без сомнений.

Первое — концентрация производства. Второе — слабые шахты будут законсервированы и поставлены на водоотлив, а часть сдана в аренду. Третье — усиление продовольственного снабжения работающих шахт. Четвертое — расширение полномочий административно-технического персонала с устранением вмешательства профсоюзов во внутреннюю жизнь предприятия. Все.

Пока техноруки и штейгеры соображали, что из этого может выйти, председатель рудкома Конячев спросил, кто возьмет на себя снабжение таких маломощных рудников, как Екатериновские.

— Все силы сконцентрируются на лучших, — сказал Свалухин.

— Значит, снимать со снабжения? — еще спросил Конячев, хотя и так было ясно.

Он был старый шахтер с развитой артельной жилкой, еще недавно воевал в конном корпусе Жлобы и верил в торжество пролетарского дела. А по развитию он был гораздо ниже Свалухина, чувствовал это и в длинных речах повторял одно и то же по три, по четыре раза, стремясь эту разницу устранить.

— Будем отстаивать партийную линию! — твердо произнес Свалухин, не давая Конячеву развернуть монолог. — Нас не бросят.

— Кто говорить, шо бросят? — все-таки возразил Конячев. — Не про нас разговор. Коль рудники переведут на водоотлив, мы про деток наших зараз побеспокоиться должны. Может, надо сниматься со всеми маетками да перебираться? За нас, безнужных, никто особо и не почухается, так я прикидую.

И он еще несколько раз повторил, что надо готовиться к переменам, вызвав у горячего технорука-1 Гаврилова тихий стон, как от любовной тоски.

— Конячев, короче! — сказал штейгер второго рудника Хмолин,

наголо бритый, тучный, спокойный мужчина.— Тебе сказано, что не бросят, чего ж ломиться в открытые ворота?

— Нет, товарищ Хмолин,— ответил Конячев.— Я не ломлюся в открытые ворота. Я просто вижу, шо наши рудники вступают в новые формы хозяйственной жизни с трoшки сомнительными оборотными средствами. К нам денежные средства возвращаются аж через четыре месяца, и еще большая задолженность рабочим и служащим, и изношенное оборудование.

— Ладно тебе,— отмахнулся Хмолин.— Авось не пропадем. У тебя вон огород.

— Надобно про деток и немочных подумать,— сказал Конячев.

— Немочные воруют уголь будь здоров как,— кивнул начпроммилиции Быченко, носивший два нагана.— Жмыха у нас хватит...

Он не шутил, ибо на госснабжении с продовольствием было туго, поступала всего треть муки, а фуража меньше десяти процентов; жмыхами с маслoбойни питались все рудничные. И воровали уголь — для товарного обмена.

Время шло, подгоняемое ожиданием перемен и любопытством. Техноруки говорили между собой, что наконец власть поворачивается к культуре, и, как люди образованные, смотрели в будущее без опаски.

Они жили на казенных квартирах, а не в общих балаганах или семейных каютах, читали газеты, предвидели по отдельным фактам общую картину.

Во-первых, вольный рынок уже приближался к Екатеринoвским рудникам.

Во-вторых, горное управление не собиралось из пролетарской солидарности содержать нахлебников.

В-третьих, наступало долгожданное гражданское примирение, и, кроме указа ВЦИКа об амнистии бывшим белогвардейцам, в расколотом обществе сама по себе возрождалась тяга к тем, кто умеет работать и торговать, возрождалась надежда, что хозяйственная инициатива вытащит страну из горького горя.

Президиум Донсовнархоза уже разрешал торговать добываемым углем «с целью образования средств для самоснабжения».

Товарищи из совнархоза, видно, были настроены твердо. Даже всесильной Рабоче-Крестьянской инспекции они указали, что надо действовать «в духе н. э. п.», и признали нецелесообразным требовать всякого рода справок о торговых сделках, которых добивались инспектора.

Говорили, что горячие головы в Москве выходят из партии и собирают новую партию, что скоро окоротят ВЧК, что свобода распространяется с невиданной скоростью и уже есть декрет о разрешении частных издательств. И декрет, верно, был — от двенадцатого декабря.

Снова требовались грамотные, умелые работники, способные воссоздавать из праха.

Технорук Гаврилов, беспартийный, голосовавший раньше за кадетскую партию, прямо говорил Конячеву, что народ — толпа и что организовать эту толпу — национальная задача.

А Конячев чувствовал, что Гаврилов чужой.

Недавно Конячев увидел на главном подъеме следы подкрадывающейся разрухи. Копер местами проржавел, черная краска облущилась, правый шкив имел на ободе трещины.

Но Гаврилов только усмехнулся, когда Конячев потребовал это поправить.

— Трещина? Ну и что, что трещина? — спросил технорук.— Я знаю. Там и главный цилиндр, как поставили машину в одиннадцатом году, никто его не осматривал.

Конячеву не нравилось, как тот разговаривал.

Черные усы Гаврилова нависали над губой, оставляя посредине

ее розовый плотный сочный треугольник, а нижняя губа высовывалась вперед.

— Еще при царизме? С одиннадцатого года? — Конячев захотел его прижать с политической стороны.

Но вмешался Свалухин и не дал прижать.

— При царизме и самолеты делали, и Лев Толстой романы писал, не надо путать политику с паровой машиной.

Что-то менялось вокруг Екатериновских рудников, и опасно менялось.

И лишь козлоумный Конячев не понимал, какая выгода во всех этих делах, спорил с техноруком Гавриловым и клевал его одним и тем же вопросом: куда деть народ, когда снимут со снабжения?

Жил Конячев с женой и маленькой дочкой, имел огород, картошку держал в погребе. Сын Конячева погиб в июне двадцатого года при неудачном прорыве кавалерии Жлобы в тыл белого корпуса генерала Слащова, когда, отступая к северу, натолкнулась она на высокую насыпь токмакской железной дороги. Много жизней тогда побилло огнем белых бронепоездов. А дочка осталась и должна была жить, за убитого тоже.

На рождество жена Конячева решила устроить девочке праздник, и хотя церковные даты и елка на Новый год — это было отменено как старорежимное, она сделала из лоскутов и ваты куклу деда-мороза, поставила в бутылку веточку шиповника с несколькими уцелевшими ягодами и позвала шахтерских детей, Максимку и Аню Соловьевых, Ваню Бутоярова и Марусю Акименко. Она угостила их грушевым взваром и кабаковой кашей, а потом, когда девятилетний Ваня стал задираться к Максимке и матерно ругаться, почувствовала, что не может ничем занять детские души.

Зинаида Конячева выросла неподалеку от Грушевских рудников много лет назад. Сейчас ей было уже сорок, она хорошо помнила шумный быстрый рост всего, что называлось Русской Америкой, — всех этих рудников, шахт, заводов, поселков и городов, толпы пришедших с х о л о в и с м у ж и к о в, как тогда называли запад и север. Помнила Зинаида и маленьких рудничных детей — одна девочка курила и рассказывала, что ей взрослые дядьки любят дарить сладости, правда потом трюшечки больно...

Зинаида остановила драчуна Ваню, но он изогнулся, оттолкнул ее руку и сделал пугающий нырок, словно собирался броситься на нее с кулаками.

— Не трожь! Сам знаю. Меня скоро в рудник возьмут!

— Тебя там прибить! — крикнул Максимка. — Так тебе и надо.

Зинаида удержала Ваню, и его напрягшееся костлявое тело напомнило ей погибшего сына, которого она не видела мертвым.

Ваня вырвался и грозился. Она не знала, как его унять, а бить не хотелось.

— Давайте я сказку расскажу! — решила Зинаида. — Да не держайся, балкун!.. Не хочешь — катись, не мешай.

Мальчишка дернул плечом, хотя она уже не держала его, пошел к шкафу и сел на лавку, обиженно насупившись.

У шкафа, прикрытый синей гардиной, желтел прикладом прислоненный к простенку кавалерийский карабин, словно дремал до поры.

За стеклом блестели золотыми корешками десяток книг — иллюстрированная история недавней, как ее называли, Великой войны, Толстой и лежали стопкой еще какие-то нынешние на серой бумаге.

В застекленных створках отражались Зинаида, сидящая на мягкой канапке, и черный бок круглой железной печи.

В этом доме и вообще на Екатериновских рудниках Зинаида поселилась недавно, но уже привыкла, что будет по праву здесь жить долго. О тех, кто обитает в казармах, где воняло прокисшей рабочей одеждой, она старалась не думать, потому что в ее доме они не могли все разместиться, кому-то суждено было оставаться за его стенами.

Но Ваня Бутояров, в эту минуту тукавший лбом в стенку шкафа, на что он мог надеяться? Он действительно должен был скоро идти работать на рудник, чтобы в подземной тьме превратиться в грубого шахтера. И что дальше — неизвестно.

Зинаида стала рассказывать, и ей вспоминался Юрий Хрисанфович Свалухин, единственный, кто не окаменел здесь. Что-то изнутри разъедало Юрия Хрисанфовича, он не огрубел и защищен был плохо.

Начав сказку о том, как шахтер встретил в забое рудничного черта, она оборвала ее и принялась за новую. Но то была уже не сказка, а история о побеге двух революционеров из ледяной ссылки. Она слышала эту историю от Свалухина. Он рассказывал, как его товарищ не выдержал мучений побега. Унылые болота засасывали беглецов, впереди маячила гибель без славы, и товарищ упал на берегу реки и крикнул Свалухину, что им не дойти, надо сдать рыбакам. И они сдались, их вернули обратно, откуда больше не убежишь. Заперли в ледяной омшаник медленно погибать, а чтобы вырваться из него, надо было не бояться смерти. Свалухин через несколько дней бежал один.

Зинаида вдруг подумала: как же он бежал один, бросив товарища, ведь это нехорошо! И еще — что это похоже на «Кавказского пленника», что все-таки необычный человек Юрий Хрисанфович...

Глядя на дочку и на остальных детей, уже забывших о ссоре, она подумала, что сегодня рождество, родился, как считалось раньше, младенец Иисус, что Конячев просто хочет придраться к Юрию Хрисанфовичу.

И тут пришел муж со Свалухиным, оба навеселе.

— А, ребятки! — воскликнул Свалухин. — Празднуете, Зинаида? Иван, давай колядовать. «Наделил бы вас господь и житьем, и бытьем, и богатством, и создай вам, господи, еще лучше того!» — запел он колядку.

Зинаида засмеялась, а Конячев покивал головой.

— Никто не хочет робить, — объяснил Конячев. — Мы тоже как все.

Зинаида посмотрела на Свалухина и на мужа. Муж уступал ему. Она дала им по тарелке кабаковой каши, оставив их на кухне. Но они стали спорить, голоса тревожили ее и детей. И огонек рождества погас.

С каждым днем Конячеву становилось все тяжелее, ибо улучшать шахтерскую жизнь не собирались, и даже Гаврилов делал провокационные намеки, чтоб рудком не лез не в свои дела, потому что сейчас важнее всего хозрасчет. Конячева отодвигали. Но он посылал телеграммы в горное управление. Оттуда обещали поддержку.

Только-только народ стал жить, не проливая крови. Только-только каждому голодному стало можно дать кусок хлеба и показать, что пролетарская власть не забыла его. Только-только удалось кое-как наладить работу.

И теперь пролетарская власть говорит: мы погибнем с вашей таковой работой к чертовой бабушке! вы сели на шею иждивенцами, а работаете хуже, чем при царе.

Что ответишь? Надо совершенствоваться? Но что делать со всеми этими людьми, когда оборвут госснабжение?

Свалухин доказывал Конячеву, что народ не возражает, и предлагал подходить к любому, спрашивать, хочет ли он жить милостыней

или пожелает на свой страх и риск широко работать и быть себе хозяином.

Ничего не хотел понимать управляющий и спешил поскорее перейти на хозрасчет и сдельную зарплату. Знал, что в кассе пусто, а пел веселые песни, как подгулявший казак.

Но уже из Ростова сообщили, что решено законсервировать большое число шахт, несколько сотен по всему Донецкому бассейну, и надо готовиться; видно, и Екатериновские ждет это будущее.

Конячев решил объяснить, что надвигаются суровые времена и надо что-то делать.

Он пришел в семейную казарму и холостяцкую, вызвал во двор всех, кто там был.

Хрустело белье, качающееся на веревке между сараями. Над простынями, пеленками, кальсонами виднелся далекий степной курган. Небо было низкое, между слоистых облаков проглядывала бледная синева. Близился зимний закат.

Скученная жизнь наставила здесь своих отметок — желтел лед со вмерзшими помоями и чернели горки жушелки. Конячев видел это тысячу раз, но сейчас подумал: «Неужели я хочу сохранить эти казармы навсегда?»

Его окружали женщины, дети, старики, парни, крепкие мужики, целый человеческий мир, часть которого уже прожила свое, другая были дети, а третья сильные мужчины, которым нечего было бояться перемен.

И Конячев сказал им о приближающейся перемене. Народ заволновался, женщины и старики зашумели, перекидывались насмешливыми вопросами, словно искали друг у друга поддержки против новшества.

Громко закричала многодетная вдова красноармейца Марфа Петренова. Ее поддержали старики Гулевские, Василий и Ксана. Они не хотели и слышать, что в столовой бесплатной кормежки больше не будет.

Со всех сторон раздались новые крики и ругань. И Конячев увидел, что привычка жить скопом, с оглядкой на соседа, с нежеланием первому выходить вперед не позволит им принять перемены и что надо указать на это Свалухину.

Даже могучие забойщики Акименко и Горгулев, которые на сдельной оплате огребли бы по мешку денег, встали на сторону слабого и крикливого большинства.

И помимо воли у Конячева мелькнуло: нет, и правда надо ломать! Горем взяло его сердце от такой мысли.

Но тут послышался задорный голос:

— А чего? Попытаем счастья! Чего сиднем сидеть!

Кажется, выкрикнул Баев из холостяцкой казармы, парень драчливый, и сразу раздался гулкий удар кулаком по спине — это Марфа Петренова саданула его.

— Все одно, кто слабый — нехай мамут трескает! — выкрикнул Баев. — А нам давай сдельную, мы и на гуся заробить можем, не засти нам дороги.

Говорили, что Баев притулился к вдовушке-гречанке на хуторе. Как оно на самом деле, неизвестно. Но таким, как Баев, не сидится на месте. Им и гуся, и бабу, и драку — все подавай. А на бесплатной кормежке они долго не усидят, прокиснут.

Вслед за Баевым высунулось несколько холостяков, им не на что было оглядываться, ни старые, ни малые у них в ногах не пу- тались.

— Хватит колдубаситься, — заявил низкорослый, широкоплечий парень, недобро глядя на Конячева. — За что кровь проливали? Кому такая революция? Вы там спорите, куда заворачивать, а жизнь должна стоять? Не будет она стоять, вас дожидаться!

Конячев уловил враждебность, вспыхнул и пригрозил парню арестом за контрреволюционную пропаганду.

— Тогда будем мамут жрать. И не о чем нам гутарить!

Парень вскинул голову, оттолкнув какого-то старика, сунувшего было поближе к разговору, скрылся в толпе.

Мелкобуржуазная стихия опередить ближнего все еще крутила молодых и крепких. Сам Конячев до восемнадцатого года тоже обитал в такой саманной казарме, а теперь пробился в инженерский дом, оставив другим равную возможность никогда не подняться.

— Я о вас думаю! — сказал Конячев. — Я тоже бураки жру, как все. Лучше бураки жрать, понятно?

— А коли б ты был хозяином? — спросил Баев, намекая, что Конячев бесхозяйственный. — Ты бы лучших в распыл пускал? Чтоб вас не дрочили?

Конячев поглядел вдаль, на курган, окрашенный розово-красным закатным светом.

С такого кургана белогвардейские бронепоезда громили орудиями отступающий корпус Жлобы, и сын Конячева исчез там в черном фонтане гранатного разрыва.

Почему он вдруг вспомнил о нем? Баев? А что Баев! Все хотят жить... Он не хозяин, вот так.

— А мы всем миром, — вмешался Акименко. — На беса нам хозяин!

Стало быстро темнеть, окна в бараке почернели, потом в одном и еще в одном затеплились огоньки.

Послышался встревоженный гул, будто кто-то большой охнул. В полутьме серые фигуры задвигались, и через мгновение Конячев понял, что принесли раненого, выданного из шахты со второй сменой.

...Гриша Листопадов, совсем молоденький, двадцать два годка, лежал на брезенте с перебитой ногой и, бодрясь, говорил:

— Трошки зацепило.

— А тебя дружки твои хочут бросить, — сказал Конячев. — Эй, Баев, давай-ка сюда. И этот, как его... бычок! Давай сюда.

Он догадался противопоставить одно другому, но ни Баев, ни широкоплечий бычок, конечно, не подошли, чтобы повторить свои притязания на лучшую долю.

— Вылечим, Гриша, — сказал Конячев. — Слава богу, нога целая, а кость срастется, не впервой.

Он взялся за край брезента и вместе с ватагой чумазных шахтеров внес Листопадова в барак.

Однако не Баев, а Свалухин торопил перемены, и крепко торопил, хотя, как уже догадался Конячев, не всему верил Юрий Хрисанфович.

Рудники продолжали работать, не подчиняясь никаким законам промышленного дела, а даже вопреки этим законам. И за каждый пуд угля покупатели платили по утвержденным госпланом ценам четыреста тысяч рублей, но рудникам добыча пуда обходилась в шестьсот тысяч.

Маячил крах. Впрочем, говорили, что вот-вот цены повысятся, сомневаться по этому поводу не надо.

Пока же не прогорали: из горного управления подбрасывали разные материалы, фураж и продукты, определяя на глазок, сколь велика нужда Екатерининских. А раз до сих пор не прогорали, то не прогорят и впредь.

Надежды, какие надежды озаряли начавшийся двадцать второй год! Глаза у Юрия Хрисанфовича блестели. ВЧК и вправду заменили Госполитуправлением, советскую делегацию пригласили на переговоры в Геную, где можно будет наконец договориться о перемирии, доверие к человеку стало естественным.

Поев кабаковой каши, Свалухин показал Зинаиде протокол из Донсовнархоза:

«За ответственную усердную работу выдать единовременное вознаграждение начальнику горного управления товарищу Ножкину лично 4 миллиона рублей и для раздачи по его усмотрению 3 миллиона».

— А если пропьет? — спросила Зинаида.

Он стал смеяться, ласково щурясь, словно она была молоденькой.

— Отчего капиталист свои не пропивает, а наш должен пропивать?

Конечно, капиталист коварен, понимала Зинаида и тоже смеялась вместе с Юрием Хрисанфовичем.

Но ей сделалось стыдно, ибо Конячева дома не было, а в ее смехе таилось что-то вольное. Она отошла к шкафу-конторке и, испытывая непривычное стеснение, решительным тоном спросила, скоро ли поднимут продажную цену на уголь.

— Скоро, скоро! — почему-то нервно ответил Свалухин. — Вот вот сформируют трест, все будет.

— Нет, ты скажи, Юрий Хрисанфович, — продолжала она, бесознательно повторяя тон Конячева. — Зачем рабочие должны уступать мужикам? Кто важнее, пролетарии аль сельские хозяева?

Свалухин вздохнул:

— Я еще в семнадцатом году говорил, что мужики тормозить станут. Так и выходит.

— Так ты им не доверяешь, а гутаришь об доверии, — заметила Зинаида.

— Не доверяю, — сознался Свалухин. — Нынче им свобода торговать излишками, а нам? Свобода налаживать с ними продуктообмен? А хочется-то — о, целого мира хочется, а не жалких крох. Разве тебе не хочется?.. — Он выпрямил спину, поднял голову, глядя в потолок. — Я ссылку вспомнил: знаешь, как дни тянулись... по крохам, как будто бы сейчас...

— Всем охота опередить жизнь, — улыбнулась Зинаида. — Ну иди к себе, а то поздний час.

И Свалухин ушел на свою половину. Она заперла на засов двери, поежилась от холода, и промелькнувшая мысль заставила ее выдохнуть:

— Охо-хо!

Вернувшись в комнату, Зинаида выдвинула ящик комода, вытащила нарядное платье, называемое у казачек «принцессой», и переоделась. Из зеркала смотрела на нее с надеждой еще стройная, статная женщина в расклешенном, со множеством оборок платье. Усмехаясь, повернулась, наклонила голову и покачала плечами.

Наступил хороший манящий март, в степи заголубел снег. Потянуло южным ветром-левантом, небеса наполнились простором.

По рудничному поселку ехали большие сани, разбрызгивая мокрый снег. Сани остановились у продуктового склада, хромой кладовщик в рыжей меховой безрукавке вышел на крыльцо, постоял, спросил что-то у возницы, потом схватился за голову.

Со стороны станции легкой рысью проскакал к рудоуправлению всадник. Воробы, возившиеся возле угла склада на припеке, взлетели на крышу.

— Гусек! — выругался вслед ему кладовщик. — Рассказался.

Еще никто не знал, что случилось. Но и когда узнали, что Екатириновские сняты с госснабжения с первого января и больше продуктов выделяться не будет, то это не встревожило даже Конячева, настолько несуразным было известие.

Свалухин отправил в Донсовнархоз телеграмму, оттуда ответили: вести работы полным ходом, продовольствие за рудниками забронировано.

Юрий Хрисанфович с облегчением прочитал этот текст и объяснил положение тем, что в Ростове сформировали горный трест и явно там что-то напутали. Было видно по его уговаривающему милому взгляду, что он смущен.

Техноруки и штейгеры по почину горячего нравом Гаврилова принялись уверять Свалухина, что, как всегда, виновата русская натура и тут ничего не попишешь.

Конячев хотел было спросить о снабжении, но разглядел, что перед ним все слепы и глухи, и промолчал.

Потом, выходя из кабинета, он взял под локоть Свалухина и сказал, что пошлет в трест телеграмму.

— Зачем? — удивился Свалухин. — Разве в совнархозе не знают?

— Я на Врангеля ходил, — сказал Конячев. — Лихо мчались... Я знаю, как бывает.

— Брось, Конячев, паниковать, — добродушно ответил Свалухин. — Там наши товарищи, они нас не оставят.

Однако Конячев послал свою телеграмму в новый трест и получил жуткий ответ.

Выходило, что рудникам не собираются выплачивать задолженность за октябрь (прошлого года), и февраль, март! Потому что задалжало горноуправление и трест за него не отвечает.

«Вот так коммерческий расчет! — сказал себе Конячев. — С ума сходят».

В его представлении все это было глупостью и спешкой одних работников, которых рано или поздно должны поправить другие работники. Он не возражал против перехода производства на коммерческие начала, для этого требовалось лишь приготовиться и уплатить долги шахтерам. Но рубить по живому?

Вечером Конячев сказал Зинаиде, чтобы она не давала Свалухину каши — пусть почувствует, каково это.

Снова на ужин была пшеничная каша с кабаками. Половина пузатого желто-зеленого рябого кабака, прикрытая тряпицей, лежала на конторке, белые семечки сушились на припечке.

Дочка сказала Зинаиде:

— Больше не будем кабаков сажать. Все кабаки да кабаки.

— Лопай, что дают! — велел Конячев, обижая ребенка и злясь на себя.

Зинаида погладила дочку по плечу.

— Кушай, кушай. У него кишки пересудомились, одна другой шиш сворачивает.

В сенях стукнуло, послышался просительно-веселый голос. Зинаида поглядела на мужа, ожидая подтверждения.

— Накорми, — вымолвил Конячев. — Нехай навернет напоследок.

— Ты чего нагадываешь? — спросила Зинаида. — Какой «напоследок»?

Вошел Свалухин, съел кашу, похвалил. На нем вместо шерстяной гимнастерки была новая одежда — толстовка, подпоясанная тонким ремешком.

— У тебя, гляжу, новый мундир, Юрий Хрисанфович, — заметила Зинаида. — Что там у вас стряслось? Кто вам кольев в шею навстремлял?

— Да нет, ничего, — ответил Свалухин, потом добавил: — Госнабжение снимают.

— Накулемали! — усмехнулась она. — А теперь что? Христарачничать пойдем?

— Ну, может, ломоть еще не отрезан от хлеба, — обнадеживающе сказал Конячев. — Где ж это написано, чтоб восемь сотен душ

бросали ни зазря? Дело новое, ощупкой идем... Это ж понимать надо!

Услышав объяснение мужа, Зинаида повернулась к Свалухину:
— А как сняли? Насовсем?

Свалухин молча улыбнулся и наклонил голову к левому плечу.

— Перевели на коммерческий расчет? — спросила она.

— Вроде перевели, а вроде еще нет, — сказал Свалухин. — Путаница у них там.

— Что ж ты такой ледащий, Юрий Хрисанфович? — упрекнула Зинаида. — Напялил новую кофту — и «вроде» да «вроде»! Ты один, а у людей детки, нельзя ж так...

Свалухин покраснел, сделал движение руками, быстро сжав и разжав пальцы.

— Да не молчи! Молчишь, как паутинку слотнул. — Зинаида подошла к дочке, привлекла ее к себе и обняла. — Что делать нам? Сколько на складе харчей?

Мужчины переглянулись, словно до них только сейчас дошло, куда может все повернуть.

Зинаида прижала к животу голову девочки.

Грозная туча надвигалась на Екатериновские рудники.

Шестого марта положение определилось: горнотрест отдал предписание поставить шахты на водоотлив и приступить к расчету рабочих.

Управляющего в этот день не было, он уехал в Ростов, и от него известий не поступило. За Свалухина остался Гаврилов, которому ничего не оставалось делать, кроме как подчиняться предписанию.

Гаврилов затребовал сведения об оставшемся продовольствии. Он считал, что рудники обеспечены для полной работы до первого апреля, так говорил ему Свалухин, однако оказалось, что Юрий Хрисанфович ошибался. Хлеба оставалось на три дня. А что потом?

Первой мыслью Гаврилова было бежать. Он не умел латать расползающуюся ткань жизни, она виделась такой тонкой, что муха крылом могла пробить. Так что — прочь. Какой коммерческий расчет? Какое возрождение культурной жизни? Российское бескультурье и дикость подвигли в Ростове какого-то наивного большевика, и вот здесь резко сломилось.

Но Гаврилов хоть и решил уехать, все же стал предпринимать необходимые для спасения рудников меры консервации.

Он попросил Конячева и начальника проммилиции Быченко быстро организовать отъезд шахтеров, чтобы не связывались руки заботой об иждивенцах. А должны были остаться десятка два для работы на водоотливных насосах.

Гаврилова не занимало, что будет с отъезжающими, где они найдут прибежище и пищу. Он мысленно уже простился с ними, оставалось только очистить казармы.

Конячев не знал, чем помочь, и думал о том, о чем Гаврилов не хотел думать. Надо было дождаться Свалухина.

Но дождался он вот чего:

«Памяти товарища и друга — Ю. Х. Свалухина.

Вечером 9 марта покончил жизнь самоубийством тов. Ю. Х. Свалухин. На место его кончины я прибыл вскоре и застал его лежащим с простреленной головой в луже крови. Смерть от выстрела наступила мгновенно.

Когда с товарищем сталкиваешься часто и видишь его полным сил и энергии, трудно поверить, чтобы он мог расстаться с жизнью таким путем.

Тов. Свалухина впервые я встретил в одной из петроградских тюрем после июльского разгрома нашей партии в 1914 году. Он был тогда сравнительно молодым большевиком. В тюремной обстановке

он обращал на себя внимание как твердый и горячий революционер и как прекрасный товарищ...

Особенно горячо в президиуме Донсовнархоза он всегда выступал по вопросам, касающимся охраны труда, социального страхования, и с ним было легко, так как он всегда ясно высказывал свои мысли, и раз решение было принято, он целиком присоединялся к нему и всегда и везде его отстаивал...

Конячев прочитал газетное сообщение с недоверием, не веря случившемуся, словно Юрий Хрисанфович просто испугался трудностей и скрылся.

Гаврилов заглянул в газету и осудил самоубийцу, не поняв его беды, как не понял и Конячев.

— А там что? — спросил Гаврилов. — Дай-ка, дай-ка! — И посмст-рел заметку о хлебопекарнях.

Конячев отвернулся. В окно был виден копер и неподвижное черное колесо шкива на фоне ласкового мартовского неба. Он подумал сперва о душе Юрия Хрисанфовича, затем о трещине в шкиве. «Самолеты и Лев Толстой, — вспомнил он. — Что же делать? Сбивать продотряд?.. Продотряд уже нельзя. А то было бы просто — взяли бы у мужиков хлеба».

Из-за невозможности решить дело привычным средством насилия и сберечь шахтеров Конячев почувствовал, будто кто-то его нагло обманул.

Он сказал Гаврилову, что не даст выбросить народ с насиженных углов, и ушел в казармы.

Синел март над поселком, черный копер с неподвижными шкивами надвигался на Конячева и заслонял небс.

Теперь, когда Конячев был один, мысль о покойном Свалухине снова вернулась к нему. Он пошел обратно к Гаврилову, забрал газету с некрологом.

Остановка рудников взбудоражила казармы и породила тревожный подъем духа. Никто слышать не хотел о переселении, зато раздавались призывы поскорее нагружаться углем и ехать торговать. Из шахтерской массы быстро вырвалась наружу самостоятельная задорная сила, не желавшая подчиняться ни Конячеву, ни Гаврилову.

И Конячев перед этой силой смутился. Ему трудно было согласиться, чтобы толпа растащила рудники, и он стал гасить анархию, обращаясь к здравому смыслу: кому нужен весной ихний уголь?

Старая Ксана Гулевская выволокла кусок парусины, бросила на расквашенный снег, и на парусину стали валить разные вещи, как будто хотели водрузить гору, погребя под ней сомнение. Здесь были лопаты, топоры, кожаные штаны, бочонок с колесной мазью, железнодорожные костыли, куски олова, дратва, хомуты, вожжи, брезентовые куртки, рукавицы, подшипник и еще что-то железное и что-то матерчатое. Все это когда-то было утащено с рудника и хранилось в казармах.

Конячеву нечем было возразить этому безоглядному напору вещей на власть, которую он представлял.

— Зачем сами себя дурите? Не выйдет из вас купцов, — сказал он.

— И ты возле нас прокормишься, — ответил ничего не боявшийся забойщик Акименко. — Ты делай свое, мы — свое. Они там кагальником печи топят, а много ли от чернобыльника толку? Кто от угля откажется?

— Ты, Вася, считать умеешь? На рудниках у нас восемь сотен душ, на рабочую карточку положено шестьсот грамм хлеба, женщины — четырехста, дитю — триста. Сколькo на сутки? Вот подсчитай, потом вылазь.

— Ничего, подсчитаем,— сказала за Акименко вдовая Марфа Петренова.— На кого нам еще уповать?

— Нас не бросят,— заверил Конячев.— Я поеду в Ростов.

— А где Свалухин, вернулся?

— Нету его, умер. Сердце не выдержало.

— Ой, боже! — вымолвила Марфа.— Ой-ой-ой! Уже и покойники...

— Чего? — спросил кто-то.

— Свалухин умер,— ответили ему.

— А-а...

Этот протяжный, неопределенного чувства звук, похожий на мычание, не годился для прощального слова, но тем не менее прозвучал как прощание. «Умер? Будем знать, что умер. А нам надо жить» — именно так понял его Конячев.

И для жизни теперь требовалось совершить Конячеву что-то совсем новое, выходящее за рамки обычных действий, но он чувствовал, что на это не способен.

Он возвращался домой поздно, обвинял себя, что не мог отсрочить неожиданный поворот к нэпу. Думал, что Свалухин запутал его, но валить на мертвого не хотел, и оттого было еще туже.

К ночи подмораживало, под ногами хрустело. Где-то скулила собака. Окна свалухинской половины темнели, и в них сизо-розовой полосой отражался край неба.

Зинаида и дочка сидели у лампы близко друг от друга, перед ними лежала книга, а за кругом света на столе стояла кастрюля.

Конячев положил на стол газету и ласково сказал:

— Ну что, бабоньки мои дорогие? Вы только не плачьте, ради бога. Плохи дела.

Зинаида дала ему картошки. Он вытащил газету и стал есть.

— Это как? — спросила она, увидев извещение.

— Надломился,— ответил Конячев.

Она стала читать дальше, а он ел остывшую картошку, чуть политую постным маслом.

— То не брехня? — спросила Зинаида.— Может, брехня?

— Нет, не брехня.

— Я думала, он зараз приедет... Там собака кавчит — к покойнику... Ты все ешь.

— Ем,— кивнул Конячев, но отодвинул тарелку и начал рассказывать о затеваемом походе на хутора.

Дочка заговорила о дяде Юре и приблизила лицо к лампе: у нее был красный носик и бледный лоб.

— Жалко его,— сказала она.— Он один, у него никого нету.

Зинаида снова взяла газету.

— Почему они брехню пишут? — удивилась она.— Я знаю, он сам рассказывал, как бежал с товарищем... товарищ всю душу ему исшматовал, не выдержал пути. А тут пишут — он сам не выдержал... В чем они убедить хочут? Что он всегда был надломленный?

Конячев потянулся к газете, но Зинаида не отдала ее. Тогда он встал и отнял газету.

Зинаида отвернулась, отодвинула лампу от дочки.

Конячев стал читать второй некролог, не замеченный им раньше:

«Юрий Свалухин

(некролог-воспоминание)

Пустынный берег Ледовитого океана. Льды и льды. Кажется, они переходят в небеса, и небеса серые, прозрачные, ледяные. А справа на горизонте темная полоска зигзагом уходит за горизонт — это Канин полуостров.

Неуверенно я подошел к указанной избушке, где, мне сказали, живет «поселяга». «Поселяга» по Архангельской губернии я много ви-

дел. Большинство из них было либо полууголовные, либо задыхающиеся в своем гордом социалистическом чванстве интеллигенты, либо растерявшие все, разочарованные, всем недовольные, какие-то странные элементы.

Увидев меня, Свалухин расцеловал — хотя мы видели друг друга впервые. Он был рад мне, как ребенок. Хлопотал о чае, о хлебе, о книгах, о том, где поместить меня, так как я перед этим около года провел в тюрьме и на этапе. А он все время не порывал связи с рабочими Ростова, Луганска, Питера...»

Конячев быстро пробежал эти строчки и как будто воочию увидел порывистого Юрия Хрисанфовича, целующего незнакомого ссыльного.

«Еще будучи в Мезени, он пытался год тому назад бежать. Взял карбас и отправился в открытый океан, надеясь держаться близ берега и доплыть до Архангельска. Но, отбывав несколько верст, он не справился ни с парусом, ни с веслами. Карбас прибило вскоре к берегу. А по берегу уже скакали верховые стражники, отыскивая его. За это-то он и был водворен в Долгую Щель.

Веселость в нем была природная, всегда с доброй усмешкой. И в спорах он как-то особенно пренебрежительно, с легкой иронией отбивал нападки меньшевиков.

А по вечерам не давал спать своей игрой на гармонике никому в деревне. Как сядет, бывалс, вечером, в сумерки, во рту огонек папироски, нога на ногу, — так веселые, и грустные, и торжественные звуки далеко за полночь оглашают безмолвные пространства. Однажды местные крестьяне пожаловались ему, что он спать им не дает, и грозили побить...»

И снова Конячев как будто увидел рядом с собой Юрия Хрисанфовича. Тот играл, уносился мыслями вдаль и не мог подумать, что кому-то мешает.

«Он предложил мне бежать с ним. Бежать пешком на юг по огромной Большеземельской тундре. Неделю выработывали план. Трудность заключалась в том, что каждый день ходил стражник и проверял, дома ли каждый из нас. Так как стражник ходил по утрам, то мы стали вместо себя делать на кровати чучело, которое стражник принимал за спящего... Мы купили у писаря два паспорта, взяли мешки с сухарями, хорошую карту, два кривых ножа, один компас, отправились пешком в направлении Пинеги. К ночи товарищи нас проводили.

Много было презабавных историй в дороге. Мы тонули в реках, увязали в болотах, спасались от встречных рыбаков... Утомительно было чрезвычайно. На четвертый день пути, вечером, Свалухин вдруг лег на сырую землю и в страшном, бешеном разочаровании стал биться головой и ногами о землю, рвал ее зубами, сотрясал воздух страшной бранью и говорил, что мы погибли, что компас испортился, что идти дальше некуда, что все погибло. Он кричал мне:

— Волоки меня к реке! Там сдадимся рыбакам!

Мы сдались мужикам-рыболовам и были доставлены в Щель. Через четыре дня я бежал тем же путем один и на восьмой день достиг Пинеги — оттуда Холмогоры, Вологда, Питер».

Все эти воспоминания пока что не вызывали в Конячеве недоверия, хотя сам Юрий Хрисанфович рассказывал эту историю по-другому. Но вряд ли перед лицом смерти автор некролога стал бы очернять надломившегося товарища. Зачем? Чтобы живые не обращали внимания на уход слабосильного?

«И снова я встретил Свалухина в 1917 году на Апрельской конференции нашей партии. Свалухин был в очень веселом, приподнятом настроении. И, собственно, от первого от него я услышал такую фразу:

— Какого черта, теперь прямо социализм надо вводить. Ты вот в армии, как думаешь, не помешают нам мужички?»

И, прочитав это, Конячев подумал, что о мужичках здесь написано неспроста. Это намек, что Юрий Хрисанфович вознесся над подлинной жизнью и не выдержал ее удара.

«Юрий Свалухин — на редкость прекрасный товарищ, был всем существом своим с революционным движением русского пролетариата, которому он отдал все силы своей простой, прямой, свежей души.

Любимым мотивом, который он выводил на гармонике, было:

Не плачьте над трупами павших бойцов,
Несите их знамя вперед».

Этими словами некролог заканчивался. Подпись под ним мало что говорила Конячеву, и он не мог связать ее ни с кем из ростовского начальства. Другое задело его!

Он не слышал от Свалухина такой мелодии, и никогда Юрий Хрисанфович не играл здесь на гармонике. Значит, Конячев просто не знал его.

— Прочитал? — несогласным тоном произнесла Зинаида. — Не Свалухин, а его дружок сдался, теперь на него валят. Он был самый настоящий коммуняка, еще похлеще тебя. Все рвался и рвался.

— Куда рвался? Что ты мелешь? — спросил Конячев, почувствовав ее враждебность и растерянность.

— У тебя дите есть! — сказала она. — Ты не фыркай. Тот стреляется, этот фыркает. Ты еще лазаря запой!

Зинаида выскочила из-за стола, схватила девочку и потащила ее в чистую комнату укладывать спать.

Она чего-то испугалась.

Обоз из пяти груженных фур подъехал к хутору. Передней правил Василий Акименко, задней — Марфа Петренова. Было уже по-апрельски тепло. Земля на безымянных могилах посветлела и подсохла. В падинке, под терновником лежал ноздрястый сочащийся снег.

Акименко искал в небе невидимого жаворонка и шурился от солнца, забыв, что весна и тепло будут нынче сбивать цену угля.

Вот въехали в хутор, медленно подались по улице, глядя на высокие синие, охристые и белые курени на каменных подклетьях, опоясанные балкончиками.

Нестерпимо пахло обычной хозяйственной жизнью — и землей, и навозом, и дымом. Слышалось мычание телят, кукареканье, квохтанье. Не верилось, что здесь, вблизи от рудников, — все другое.

— Кому вугля? — закричал Акименко. — Эй, кто там, черти! Кому вугля?

Быстро вынырнули из-за плетней хозяйки и хозяева, и обоз остановился возле старой могучей белолистики.

— Сколько хочешь за пуд? — спросила курносая молодлица.

— А сколько дашь, — отвечал Акименко. — За воз — три мешка муки.

— Три мешка? Ты взаправдок скажи — сколько? — строго произнес костистый, с каменными челюстями казачина.

— Тебе для почина за два, — улыбнулся Акименко. — Куды за вертаем?

— И два не ждите, — сказал казачина. — По полтора я бы взошел.

— Ну не знаю, как с тобой... — Акименко оглянулся.

Подошли остальные возчики, Марфа Петренова стала подшучивать над казаком, что он еще вяленый с зимы, не проснулся.

— Ты, тетка, не взволдыряйся, — сказал казак. — По полтора — как раз хорошо, в запор. А не хотишь, дело твое.

Подошли еще две молодлицы, а за ними — старуха в бедной мужичьей шубе, с маленькой девочкой, мусолившей кусок белого хлеба.

— Чего там? — стала спрашивать старуха и протолкнулась к Акименко. — Чего хочешь, рудничный? Гляди, скоро сорок мучеников, лето на носу.

— А за летом что? — ответил Акименко. — Вуголь есть не просят. А как у тебя хребтину скрючит за сухобыльем по степу нахляться?

— Экий ты взгальный, рудничный, — упрекнула бабка.

Но то ли казацкое словцо, к месту примолвленное забойщиком, то ли хозяйское разумение, только после этого она начала торговаться и сказала:

— Я б у тебя возок взяла.

Дело, кажется, пошло.

Акименко двинул плечами, оглядел хуторян и добродушно произнес то, чего произносить ему никак не следовало. Он попросил у старухи казачки кусок хлеба, и она позвала его к себе в курень.

И тут Акименко увидел знакомое лицо. Баев! Хоть один свой человек среди казуни.

— Федька! — крикнул Акименко. — А я и забыл, что ты в примаках огинаешься.

Баев хотел было подойти к нему, но остановился, сунул руки в карманы расстегнутого полушубка и выставил вперед правую ногу в белом высоком шерстяном носке и галоше. Видно было, что акименковское приветствие не понравилось ему. Он действительно приулился примаком к вдове-гречанке, у которой пропал муж.

— А вы все зубами ляскаете? — спросил Баев.

— Никто не ляскает, с чего ты взял? — возразил Акименко. — На повесне всегда уголь возили...

Баев оглядел обоз и покивал головой. Он вспомнил, как осенью Свалухин согнал его с брички, думал, наверное, что властен над всеми. А где нынче Свалухин? Нету. Рудничные кончились.

— Нет, ты не верти хвостом, — усмехнулся Баев. — А то на повесне они возят! До края дошли, так и докладуй народу. — И, повернувшись к хуторянам, бодрым ябедническим тоном, каким всегда говорят безродные, сказал, что Свалухин застрелился и что на рудниках голод.

Зачем он это сделал, рудничные не знали. Ведь он явно подготавливал, что можно прижать находившихся в безвыходном положении рудничных!

— Ты чего брешешь? — воскликнула Петренова. — Какой голод? Мы лишку привезли поторговать. Аль печек у вас нет, кашу варить не надо?

— Так у нас лишнего нет, — сказал казак с каменными челюстями. — По весне только вздыхов много лишних, а хлеба лишнего нету. — И он обратился к бабке, советуя ей не поспешать.

Бабка покачала головой, отвернулась от Акименко и стала тыкать костлявыми пальцами под губы внучки и ворчать на нее.

— Бог тебя покараит, бабуся, — сказал Акименко. — Ты на нашей беде хочешь нагреться... Дождетесь вы! Поднимем всех рудничных, придем до вас — попомним...

— Ну не сердай, рудничный, — беззлобно ответила она. — Не вкручивай мне щетинку. Раньше надо было приехать, по морозу. Тогда б торговля была.

— Дождетесь, дождетесь! — пригрозил Акименко и, став на ось, залез на передок. — Тогда повозюкаетесь, тогда будет вам уголь!

— Ты глаза-то не пьаль, — добавила старая и отошла в сторону, наблюдая с цепким любопытством за рудничными.

К ней подошли и другие, лишь сухопарый казачина остался рядом с возами, словно раздумывал, как быть.

С низу улицы шел быстрым шагом, сбиваясь на трусцу, какой-то мужчина в галифе и меховой безрукавке. Это был, наверное, ми-

лиционер. На фуражке у него краснела звезда, на боку вздувалась кобура.

— Взяли нас на голос,— сказал ему казачина.— Походом сулят, ежель хлеба не дадим.

— Кончай народ драгують,— сурово заявил милиционер.— Миром надо договариваться. На голос не бери. Походом не стращай. Миром!

— Да кто ты такой, чтоб пролетарию воперек ставить? — крикнул Акименко.— Салабон ты горболысый! Мы вуголь меняем, нас рудники уполномочили. Ты за нас должен стать!

— А чего ты хотишь? — спросил милиционер.

— Чтоб вуголь продать,— сказал Акименко.

— Дать бы тебе бубны, рудничный,— усмехнулся милиционер.— Как я продам? Силком заставлять? Миром привыкай жить.

Акименко наклонил голову, поглядел на сияющий острым блеском уголь, потом нашел взглядом Баева и, ни слова не говоря, сказал ему, чтобы тот не попадался ему под руку.

Пригревало солнце, чиликали воробьи на соседнем базу, издалика, с другого конца хутора, раздавался тяжелый рев застоявшегося быка.

Баев выдержал взгляд, не поморщился.

Рудничные стали заворачивать возы. Из куреня, принадлежащего беспальному казаку, вышла молоденькая учительница с непокрытой кудрявой головой и статная казачка в зеленой кофте.

Баев замахал им рукой, но они стали окликать обоз.

Баев побежал к ним. Казачка подбоченилась и топнула на него ногой, как на нашкодившего кота.

Акименко хлопнул вожжами и направил лошадей к казачке, может быть, еще надеясь на честный обмен.

— Вуголь? — небрежно спросила казачка.

— Сама видишь. Три мешка пшеницы за воз.

— Мезисетку возьмешь? — предложила казачка.

Акименко подался вперед и, мучительно оскалившись, ждал, что она скажет дальше.

— Мезисетку с отрубями,— добавила она.

— Сколько? — выдавил Акименко.

— Мешок,— сказала она.

— Курва! — выругался Акименко.— Задавитесь своими отрубями.

Недели через полторы ясным теплым днем пятнадцатилетняя учительница, прожившая зиму на хуторе, увидела с галереи-балкона, как по улице движется людской поток. Их было сотни две, большинство пешие, а часть сидела и лежала в телегах.

Учительница вспомнила март прошлого года, когда умерла от тифа мать. Вот так же, как и эти люди, они с матерью и сестрой Любой поехали из Таганрога менять вещи на хлеб, и мать умерла, заразившись от Любы.

— Айда со мной,— позвала учительницу хозяйка и пошла за ворота.

Из соседних дворов выглядывали казачки, потом спешили обратно в курени и быстро возвращались кто с хлебиной, кто с кринкой.

Хозяйка тоже мотнулась назад и вынесла торбочку. Она как будто боялась опоздать подать милостыню, и учительница почувствовала утешение.

Казачки подходили к телегам и пешим, протягивали хлебины и кринки.

Поток не останавливался. Какой-то мужчина приподнялся в телеге, скинул пиджак, и пиджак исчез, а вместо него в руках мужчины оказался хлеб.

Рудничные стали раздеваться.

Учительница смотрела на то, как поднимаются вверх руки и на них в краткий миг словно вырастают крылья из курток, пальто и пиджаков.

Она поняла, что рудничных не пощадят.

Ее дед был шахтером, его убили в кулачном бою в Бахмуте, но она почти забыла про тот черный страшный мир, и вот он, обессиленный, подступал к ней..

К концу года хлеба всюду на рынках было полным-полно, и впервые с начала революции люди думали, что теперь начинается хорошая, нормальная жизнь.

И то, что случилось на Екатериновских рудниках, кануло в Лету.

В списке умерших с голоду с седьмого по двадцать седьмое марта пятнадцать строк. Вот они.

Гулевский Василий, 65 лет, семьи нет.

Гулевская Ксения, 60 лет, семьи нет.

Шурин Яков, 9 лет.

Кравцов Семен, 7 лет.

Фирсов Иван, 9 лет.

Листопадов Григорий, 22 лет, осталось семьи 2 души.

Горгулев Дмитрий, 47 лет, осталось семьи 2 души.

Чернов Федор, 45 лет, семьи нет.

Родионов Павел, 4 лет.

Бутояров Иван, 9 лет.

Петренова Марфа, 40 лет, осталось семьи 4 души.

Петренов Петр, 10 лет.

Соловьев Максим, 5 лет.

Соловьева Анна, 7 лет.

Акименко Василий, 40 лет, осталось семьи 6 душ.



ГЕНРИХ САПГИР

★

САТИРЫ И СОНЕТЫ

Икар

Скульптор
Вылепил Икара.
Ушел натурщик,
Бормоча: «Халтурщик!
У меня мускулатура,
А не части от мотора».
Пришли приятели,
Говорят: «Банально».
Лишь женщины увидели,
Что это — гениально.
— Какая мощь!
— Вот это вещь!
— Сколько грации!
— Мифы Древней Греции...
— Сексуальные эмоции...
— Я хочу иметь детей
От коробки скоростей! —

Зачала. И вскорости
На предельной скорости
Закусив удила
Родила
Вертолет.
Он летит и кричит —
Свою маму зовет.
Вот уходит в облака...
Зарыдала публика.
**ТАКОВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА!**
Раскланялся артист.
На площади поставлен бюст —
Автопортрет,
Автофургон,
Телефон-
Автомат.

Знаменитый хирург

Хирурга
Вызвали из морга.
Что там?
Вертолет подкатил к воротам.
Последние рукопожатия,
Объятия,
Отплытие.
Оркестр
Играет фугу «Красный крест».

Тяжелое ранение
В лесу — в далекой области.
«Начинается гниение
В области
Брюшной полости».
Приближенье парохода,
Самолета,
Парашюта —
В воздухе раскрылся
макинтош.
Врача встречают на пороге
Провинциальные коллеги.
Больного сунули под нож.

Врач в лесу — в далекой области —
Проявляет чудеса доблести;
Под лампой занавешенной
Оперирует как бешеный.
Разрубил больного топором —
Пополам!
А больной говорит:
«Я сейчас в бреду».
Больной говорит:
«Я сейчас приду,
Продолжайте операцию
без меня...»

Сегодня
Герой
Возвратился в столицу,
В свою больницу.
Пафос встречи.
Вот отрывок из его речи:
«...Скверно!
Диагноз был поставлен неверно.
Но вообще операция челюсти
Не лишена своеобразной
преlestи».

Обезьян

Вышла замуж.
 Муж как муж.
 Ночью баба
 Разглядела его, по совести сказать, слабо.
 Утром смотрит: весь в шерсти.
 Муж-то, господи, прости,
 Настоящий обезьян.
 А прикинулся брюнетом, чтобы, значит,
 Скрыть изъян.
 Обезьян кричит и скачет,
 Кривоног и волосат.
 Молодая чуть не плачет.
 Обратилась в суд.
 Говорят: нет повода...
 Случай атавизма...
 Лучше примиритесь...
 Не дают развода!
 Дивные дела —
 Двух мартышек родила!
 Отец, монтажник-верхолаз,
 На колокольню Ивана Великого от радости залез
 И там, на высоте,
 На золотом кресте
 Трое суток продержался, вися на своем хвосте.
 Дали ему премию,
 Приз —
 Чайный сервиз.

Жена чего ни пожелает, выполняется любой ее каприз!
 Что ж, был бы муж как муж хорош,
 И с обезьяной проживешь.

Чемодан

Когда я обожрался барахлом
 И стал до неприличия пузатым,
 Он придавил меня костлявым задом
 И брюхо мне перетянул ремнем.

Как бодрый шмель, гудел аэродром.
 Волнуясь, он стоял со мною рядом,
 А я наружу всем своим нутром,
 Позорно перещупанным, измятым!

Закрыли, подхватили, понесли...
 Бродя по колеям чужой земли,
 Он верит в ярость своего таланта.

А я устал, я отощал давно.
 За что мне век закончить суждено
 Цыганским чемоданом эмигранта?

Рукопись

Раскрыл меня ты на смех — наугад
 На двести девятнадцатой странице.
 Оплыли свечи. Все кругом молчат,
 И дождь потоком по стеклу струится.

Дорогой кони скачут и храпят.
 В кустах — огни! Предательство! Назад!

Мария спит, смежив свои ресницы,
И в лунной ночи замок серебрится.

Начало: «Граф дает сегодня бал».
Конец: «Убит бароном наповал!»
Я — пыльный том седого графомана.

Но лишь открой картонный переплет,
Предутренней прохладой пахнет
И колокол услышишь из тумана.

Лингвистический сонет

Когда славяне вышли на Балканы,
Был заклан а г н е ц — капли на ладонь.
Из бога А г н и вылетел о г о н ь,
Зеленый рай синел за облаками.

Я слышу вой враждующих племен
Из глоток: ф а е р! ф а й э! ф л а м а! п л а м я!
Мы были ими, а германцы — нами.
Смерд сел на Пферд, а Конунг — на комонь.

Ты, я, они — из одного зерна.
Я вижу лоб священного слона.
Лингвист укажет множество примеров.

Латинский и г н и с и о г о н ь в родстве,
И на закате окна по Москве —
Как отблеск на мечех легионеров.

Пейзаж с домом творчества Болшево

Заходящее солнце косыми лучами освещало зеленые
верхушки деревьев.

Из рассказов начинающих авторов.

Дом обжитой и барский — довоенный,
Бывали в нем и Горький и Гайдар.
Я помню фотографию: военный
До блеска выбрит — как бильярдный шар.

Старуха, знаменитая когда-то,
Здесь ходит в джинсах, в красном парике,
И сценарист, торжественный, как дата,
Весь в замше, размышлять идет к реке.

А солнце заходящее лучами
Чего-то освещает... И ночами
Из-за гардин в аллее мертвый свет.

Как бьется сердце!.. Утром у столовой
Сидят вороны крупные, как совы,
На ветках, увенчавших мой сонет.



МИХАИЛ КУРАЕВ

★

НОЧНОЙ ДОЗОР

*Ноктюрн на два голоса
при участии стрелка ВОХР тов. Полуболотова*

Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что бывало ни скажет, то именно так и было...

Н. В. Гоголь, «Вечер накануне Ивана Купала».

Не дай бог, если мы заразимся болезнью боязни правды.

И. Сталин, т. 12, стр. 9.

« ЯЯ белые ночи до ужаса люблю...»

II

...Ну что за чудо этот ночной свет, что изливается на всю землю разом, на все дома, мосты, арки, купола, шпили, да так, что не падает от них тени, отчего каждое творение рук человеческих вступает в справедливое соревнование с подобными себе, не обманывая зрения ни солнечными блестками, ни летучей мишурой лунного сияния.

Зависнув над собственным отражением в бесчисленных водах своих рек и каналов, словно по волшебству ставшая вдруг невесомой, вся громада города, кажется, вот-вот качнется от легкого ночного ветерка, залетевшего в каменные дебри с уснувшего в плоских берегах залива, качнется, задрожит мелко-мелко; смешаются, размоются, как в за-туманенном слезой глазу, граненые черты окаменевшей истории, и все растает в необъятном пространстве сошедшего на землю неба...

...И понесут свои беззвучные воды обе Невы, три Невки, несчетные Фонтанки, Мойки, Смоленки, Пряжки, Карповки, Таракановки, разом утратившие свои имена и прозвания, мимо низменных пустынных берегов, мимо плоских островов, высшей точкой своей удаленных всего на три метра над уровнем моря. Долго и тихо будет бежать вода, не возмущенная ни веслом, ни винтом, не проткнутая увесистым якорем, не выкинутая на берег волной от строптивого катера. А потом, глядишь, и снова зашумит камыш у мелководных протоков, поднимутся ели по краям коварных болот, подернутых густой ржавчиной, раскинутся пустоши и откроются умытому слезой взору дальние холмы, отступившие чуть не на край горизонта, чтобы просторней было могучей и беспокойной реке искать себе удобное ложе в рыхлой болотистой равнине...

Что за чудо эта светлая необъятная тишина, утопившая в бездонной своей глубине грохот, звон, клетот, скрипы, уязги и натужный гул неугомонного города; тишина затопила все улицы, дворы, разлилась по пустынным площадям, обнаженным проспектам, затаилась в полумраке подворотен... И не будь этих подмигивающих друг дружке желтым глазом светофоров, не прошуми липким шелестом по умытому асфальту редкая машина, не рассыпясь скрипучим стоном стая ча-

ек над неподвижной водой, и город будет казаться уже не затаившимся, не спящим, а мертвым...

Но летят сквозь ночь, едва касаясь неподвижной воды, огромные призраки-корабли, стремительно пронзая игольное ушко разведенных мостов. Ни души на просторных пустынных палубах, ни души на крыльях ходовых мостиков, лишь по стеклам рубки скользнет отражение проносящихся мимо дворцов, и не разглядеть ни человеческого лица, ни фигуры... только лязгнет вдруг железная дверь с круглым, словно тюремный волчок, оконцем, шагнет через комингс полусонный дневальный по камбузу да и плеснет в черную воду, прижатую крутым корабельным бортом к каменной набережной, какую-нибудь дрянь из ведра и снова захлопнет железную дверь, откуда вырвалось на мгновение шумное дыхание корабельных недр...

Задрожит на всколыхнувшейся, но так и не очнувшейся от сна воде образ прибрежных дворцов, поплывет, словно став на мгновение мягким, расплавленный по воде шпиль, увенчанный кружевным корабельным, — а вот уже у другого берега качнулся низвергнутый под приземистые бастионы бывшей тюрьмы ангел на золотом штыке, минута — и снова в непроглядную бездну вод под крепостными стенами указывает золотой перст...

Что за смысла в этом указании?

А этот ангел, что вознесен в поднебесье и достает распахнутым крылом прозрачные розовеющие облака, — куда он зовет? Что обещает?..

...В тихую белую ночь и зверью, некогда изгнанному из своих родных пределов, кажется, что затаившееся недоразумение закончилось и пришла пора вернуться назад, в края своих полузабытых предков, в края изрядно пострадавшие, почти неузнаваемые, но неотразимо влекущие к себе.

Торопливая цепочка диких уток, шурша трепещущими крыльями в плотном полусонном воздухе, стремительно проносится над рекой, словно отчаянные разведчики, посланные взглянуть, не освободились ли от нелепых камней сытные болотины, привольные лагуны и тихие узкие ерики; нет-нет да и забредет, обманутый тишиной и пустынностью улиц, бродяга лось и устанет в свое великолепное отражение в хрустальной витрине универмага; в такую ночь и плутовка лиса, уставшая бежать от расплзающегося во все края города, выведет из заброшенной канализационной трубы, где устроила гнездо, свое доверчивое потомство, лис-горожан в первом поколении, покажет им небо, даст вдохнуть ветерка с легким запахом дальнего леса, что-то пообещает и попросит запастись терпением... И не вспугнет их гулкий грохот, разносшийся вдруг окрест: красавец черный дятел ворвался противу всех правил в чуждые ему пределы, уперся литым хвостом, как неколебимый конь под медным всадником, в подсохший ствол и бьет своим увесистым носом, бьет тревогу, осыпая шелухой коры и мелкой щепкой немногих сошедшихся внизу зевак, разглядывающих, кто первый раз в жизни, а кто и в последний, диковинного красавца, прилетевшего спасать задыхающуюся в городском угаре сосну...

...Дымчатая пелена тонких на просвет облаков огромным покрывалом раскинута над городом на ночь. Не хватило только на самый край, где город кончается и где светится у горизонта золотистым заревом широкая чистая полоса неба. И кажется, что воздух там промытый, свежий, и нет там ни пылинки, ни копоты... И верится, что оттуда придет новый день и будет он чище, светлей, чем все дни, что до сих пор сходили на землю. От уверенности этой в душе покой, и не хочется торопить время...

III

«...Вот я и говорю... Хорошо в такую ночь на обыск идти или на изъятие!

Случись мне сейчас доставлять кого-нибудь, так я бы машину отпустил и прошелся бы пешочком по улицам... Под трамвай бросится? Да не ходят трамваи!.. Убежит? А куда ему бежать? Никуда не убежит... Ну что, что инструкция? Всю жизнь в инструкции не загонишь. А жизнь эта вся какой инструкцией предусмотрена? Или — белая ночь... Ну-ка, спрячь ее, отмени, запрети! Не упрячешь. Знаю. «Путь следования». «Способ доставки». «Предупредительные меры». Все предусмотрено?..

А меня какая инструкция предусмотреть может? Кто мою жизнь сочинил, кто предусмотрел? Если и предусматривалась, так только негласно. А сейчас делают вид, что ничего ни интересного, ни поучительного в моей жизни не было...

Может, кто-нибудь от своей жизни и отказывается, таит, а я своей жизни не стесняюсь; жил не для себя, был солдатом, был, как у нас говорили, отточенным штыком... Наверное, и у меня какие-нибудь недостатки были. Возможно. Но вопиющих недостатков не было, и побегов лично у меня не было, представьте себе! От меня всегда можно было ждать добросовестных действий и грамотных поступков, и поэтому могу сказать с чистой совестью: хотите — хвалите, хотите — журите, а от эпохи своей меня не оторвешь! Была задача — слиться с эпохой, и я с ней слился! А эпоха была прекрасная, каждый день приносил на алтарь новые успехи благодаря сознательному отношению кадров к своему делу. И я свой долг исполнял до забвения самого себя и своей семьи и не задавал вопросы, когда меня употребляли на разные дела: и на труднейшие и на простые. Да, приходилось расчищать тухлятину, расчищать дорогу новому миру, чтобы люди могли спокойно веселиться и рукоплескать вождям. Сейчас многое что-то не вспоминается, а тогда вопрос стоял четко: взбесившиеся псы капитализма не могут пережить наших триумфальных успехов и пытаются разорвать на части самых лучших из лучших людей нашей земли... А для напоминания о прожитом мною времени, ставшем уже достоянием еще не написанной истории, подчеркиваю один только момент. Когда на шахтах и рудниках, на стройках, во дворах фабрик, в цехах заводов и на верфях, не говоря уже про учреждения, люди собирались вместе и все вместе поднимали руки, голосуя, допустим, за смертный приговор троцкистско-зиновьевским агентам фашизма, разве они крови хотели? Девушки-то эти симпатичные, пионеры тем более или пентюхи какие-нибудь деревенские? Нет, это они сливались с эпохой и творили историю... Все вместе, своими собственными руками. Говорят теперь, кое-кто вроде ошибался, не верю, но допускаю, а вот в то, что народ ошибался, это уж извини!.. За такие взгляды и сегодня никто не помилует. Когда Андрей Януарьевич требовал, чтобы за каждый волос вождей преступные элементы отвечали головой, он находил всенародную поддержку; не помню, чтобы кто-то ему возражал или спорил. Непревзойденная любовь к вождям была, непревзойденная! Это сейчас — улыбочки, ухмылочки, анекдотики...

Вообще-то ты сколько на этой фабрике? Три года? Смотрю, и уже в праздничное дежурство назначают... Верно, предпраздничное, завтра еще тридцатое, но все равно. Дорожи. Тебя из резерва поставили? Я знаю. Должен был Телюкин дежурить, с гнильцой человек... Я знаю, многие упираются, отказываются под разными предлогами, лишь бы в праздничное дежурство не залететь, а я так с охотой. И не для того, чтобы ночь там или день в директорском кабинете посидеть при телефонах и красной папке. Уж чего-чего, а кабинетов повидал, и пошире повидал, и вид из окна не на занюханый этот садик да заводской забор, а, можно сказать, на главные площади северной Пальмиры. Из Смольного выводил... Что ни говори — целая жизнь за плечами...

Обратил внимание, какая здесь мебель?

Я только устроился сюда, первый год работал, взял отпуск за свой счет, а резолюция нужна директора, зашел к Николаю Ильичу подписать, посмотрел на эту мебель, только что не ахнул. Спросил еще тогда между прочим: «Не знаете, Николай Ильич, как в ваш кабинет эта мебель попала?» Говорит, что вроде она тут еще чуть ли не с довоенных времен... А я как раз в довоенные времена ее и описывал. На набережной, почти напротив Академии художеств домик такой на вид ничего особенного. Только в домике этом на втором почти что этаже была казенная, как говорилось, квартира генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, а в последующие времена, надо думать для аллегории, жили там начальники ленинградской милиции. Хозяин этой квартиры оказался элементом из правотроцкистского блока, так что убрали его с полной конфискацией, и все эти предметы я описывал, и бюро это с бронзовыми египетскими головами, тогда они по всем углам были... Смотри, здесь не хватает и здесь двух еще. Диван, этот самый, с деревянной гнутой спинкой и лимонной обшивочкой, столик... Кресел было шесть, сейчас только два осталось. И что меня еще в то время восхитило, так это рояль из карельской березы! Николай Ильич поинтересовался, почему я про мебель спрашиваю, только я уклончиво так, дескать, очень красивая мебель, рояль в особенности...

Сколько поучительных историй хранится под этой синей вохровской тужуркой! Бури прошел, ураганы, можно сказать, и уцелел, и это особенно ценно... Оглянусь, бывало, и сам не понимаю — как уцелел?..

А до того как сюда пришел, я в тюрьме побыл, в ДПЗ меня наши устроили, старшим контролером по этажу... Ну, что там? Режим знакомый, посты по табелям, вообще-то дело нехитрое, а ведь не смог, ушел. И знаешь отчего? Контингент... Не тот нынче контингент, с прежним не сравнишь. Раньше народ все больше положительный, тихий, несколько пришибленн'й, глаза таращат да воздух, как рыбы, хватают... Правда, писать любили, куда только не писали, ну, первое дело, конечно, Сталину, это все тут же и оставалось, а в другие адреса хоть и редко, а доходило, потом, конечно, обратно возвращалось для ответа... Да... Если раньше, ну, один из пяти был опасный, так теперь они чуть не все такие... Он у тебя даже в карцере что хочет творит, и чуть что: «Прокурора зови! Зови, гад, прокурора!» А ты ему только пять суток накинешь, это если подследственный, ну, если осужденный, можно и до десяти, и все!.. Что творят? Да что хотят. Первое дело, это в карцере лампочку как-нибудь повредить. Как лампочка погасла, так вызывай из хозобслуги, а тот ему и покурить подсунет и новости... Какой уж тут режим? В последнее время во внутренней охране и собак завели, дали собачек на усиление, а все равно... Спрашивали меня, когда уходил, почему не остаюсь, почему перехожу даже с потерей небольшой в деньгах. Ответ один — ухудшение контингента. Пильдина знаешь? Тоже из ДПЗ ушел, нет, работать стало несравненно тяжелей...

А лишнего не скажу, и не потому, что подписка или там, как говорится, честь мундира, просто не было и нет у меня в привычке лишнее говорить, поэтому, видишь, жив и здоров еще, не жалуюсь, люблюсь сквозь прозрачные окна на умытый весенними ветрами город, в отставку вышел и при орденах и с пенсией, хотя опять же и не по своей, скажем так, инициативе, а все-таки не так, как Пильдин... Знаешь Пильдина? В транспортный его пристроили... А Катеринича с шестого поста? Их-то поперли, ого-го, горели ребята. Как раз тогда прошла директива не считать службу в органах особой привилегией при назначении пенсий. Это были времена, а тебе скажу... Сначала даже несколько судов успели провести. Ты-то не помнишь, наверное, а начальника Новгородского управления судили, дали ему десять лет! За что, спрашивается? Дали и сами задумались,

поняли, что так можно очень даже далеко зайти. И потом уже пошло на тормозах. Тогда много наших в вохру пошло. А директор наш Николай Ильич до сих пор на меня косится, так и не пойму, вспоминал, не вспомнил... Но не признается, видно, боится ошибиться, а я его отлично помню по сорок девятому году. Он же вовсе не Николай, его настоящее имя Нарзан. По паспорту Нарзан, и в ордере было указано — Нарзан, ордер по паспорту выписывается. Он же из беспризорников, у него вообще до детдома имени не было, а было такое название, наверное, откуда-нибудь с Кавказа в Питер занесло. Понятно, с таким именем жить не очень-то удобно, надо всем объяснять... Знаешь в Лесном Дом ученых? В парке, около Политехнического... Устраивали в этом Доме ученых свои встречи уж не знаю что за городские начальники, что это были за вечера, тоже не знаю, только все они потом по пятьдесят восьмой статье пошли. Вот этот самый наш Нарзан Иваныч, Николаем Ильичом ныне именуемый, и был в этом доме директором-распорядителем...

Я ж действительно белые ночи до ужаса люблю, столько у меня всего с ними связано, а последнее время — воспоминания.

Ну, что такое белая, с одной стороны, и ночь — с другой? Ошибка природы! А может, сон? Честное слово, сон. Иногда сижу и думаю: город спит и сам себя во сне видит. А оглянешься иной раз и думаешь: может, и жизнь вся сном была? Что от нее осталось? Жизнь прожил, а кому расскажешь? Себя не жалел, делу отдавался... Возьми те же ордена... Был у нас генерал Поддубко. Раз он меня взял с собой в подшефный детский дом вот так же под праздники, только на ноябрьскую. Он в орденах, при параде, а я гостинцы нес, яблок ящик, конфетки там, прянички. А Поддубко был фигурой, у него к Лаврентию Павловичу прямой ход был, все это знали. Да... Он как рассчитывал: детей построят, будут подходить, а он каждому из коробок будет выдавать, кого по головке, кто постарше — за руку... А вышло что? Только он в большую ихнюю комнату вошел, они как на него набросятся, особенно мелюзга. На диван только что не повалили, на колени к нему лезут, за погоны хватают, ну и ордена, конечно! Орденов у него было порядочно. Крупные ордена. Орут мальчишки: «Это ему за танк дали!» А другие спорят: «Ленина за танк не дают! Это за самолеты!» А те снова, как сейчас помню: за танк да за танк! И галдят так, что он и слова сказать не может, а дали бы ему слово, что бы он смог сказать? Ордена были за конкретные дела, а не за выслугу да к годовщине, как нынче модно стало. Что он теперь внукам своим рассказывает: за танк или за самолет? Вот, выходит, и моя биография никому не нужна. А ведь прожил, как велели! Только где они те, кто велел? Будто они в другой жизни остались... Да не все.

Пильдин наш начальству машины подает, а чего на людей кидается? Турнули без пенсии, это обидно, здесь любому посочувствуешь. Правду сказать, жесткий был служака, обычно его посылали, когда на транспорте надо было брать или из другого города доставить: из Лодейного Поля, из Киришей. Не любит он меня, никогда не здоровается, будто не знакомы. Знакомы, еще как знакомы. На этой самой фабрике в тридцать пятом году он в электроцехе работал, а больше по комсомольской части старался. Сын сапожника, образования не больше, чем у Ваньки Жукова, вот и ударился в комсомол. Думал, заметят. Заметили. Пришла на фабрику разрядка: двоих в межкраевую школу НКВД, Гороховая, два, место знаменитое. Кстати, второй-то не прошел, а Пильдина взяли. В тридцать шестом взяли, а уже в тридцать седьмом по причине острейшей нехватки кадров досрочно выпустили, хотя курсы, вернее, школа была двухгодичная. Понадобился народ для дела очень остро, вот и ограничились одним годом обучения. И в школе он отличился. Была там какая-то волейбольная команда, о ней и не слышал никто, а Пильдин,

тут уж ничего не скажешь, играл классно, и в распасовочке и у сетки. Команду сделал — гремела... Но где гремела? В наших кругах. Хоть люди и молодые, еще никому не известные, а как-никак засекреченные, так что приходилось им много играть просто со своими же старшими товарищами с Литейного и с командами воинских организаций. Народ молодой, азартный, и разделявали они своих старших товарищей под орех. У команды авторитет... Кто капитан? Капитан — Пильдин! Кстати, его и в Ленинграде оставили, и звание-то капитанское довольно быстро получил, из ихнего выпуска вообще первый, и еще до войны нацеливался на ответственные дела и выполнял их четко. Глушанина, например, надо было брать, секретаря Новгородского горкома. До войны Новгородской области не было, а у Глушанина этого с местным товарищем из НКВД были контры какие-то, то есть взаимная неприязнь, и поручить ему брать Глушанина как бы неэтично, подозрения на месть могли возникнуть, личные счеты... Нет, в Новгород не посылали. Не знаю, уж прибыл Глушанин или вызвали его в Ленинград на совещание, дело обычное, а у нас как раз был культпоход в Малый оперный с женами, с буфетом, редкое даже по тем временам мероприятие... Во втором антракте вышли покурить прямо на площадь, тепло, каштаны цветут, стоим, курим, погода отличная, настроение... Подкатывает «эмочка», прихватили Пильдина и вперед. Оказывается, был уже и ордерок сделан, и в Смольном прямо с совещания ему этого новгородца и выдали...

Межкраевая школа, кстати, как раз рядом с Исаакиевской площадью была, так что на вечернюю прогулку ходили с песней вокруг германского бывшего посольства. Любимая у них была: «Стоим на страже...» Неловко с песней получилось... Текст помнишь?

Стоим на страже
 Всегда, всегда!..
 А если скажет
 Страна труда —
 Винтовку в руки,
 В ремень упор!
 Товарищ Блюхер,
 Дашь «отпор»!..

Песня лихая, маршировать легко, только летом как раз тридцать седьмого, если память не изменяет, полетела вся военная головка, вместе с ней исчез и «товарищ Блюхер», потом слышу лет через несколько — опять ее поют. И «упор» остался и «отпор» остался, а вместо «Блюхера» пели «дальневосточная, краснознаменная», даже еще лучше.

На Исаакиевской до самого начала войны у посольства флаг со свастикой висел. Я, к слову сказать, с графом Шуленбургом лично и за руку... Он ехал поездом из Финляндии в Москву, тогда же было, в тридцать седьмом. Назначают меня в гласную охрану, а гласная — значит, в форме. Встречали его на Финляндском вокзале, нас всего четверо было, а сколько в негласной, я этого знать не мог. Выходит из вагона типичный такой немец, ни с кем не спутаешь. Его встречают, мы, как полагается, «коробочкой», до него ну как до тебя, даже ближе. А он хоть и граф, и солидный такой, а улыбается и со всеми за руку... И мне руку протягивает, улыбается и что-то еще говорит по-немецки. Я не понял, мы тогда усиленно эстонский, латышский и литовский учили, на немецкий нас не ориентировали. Мне потом пересказали слова Шуленбурга, оказывается, он пошутил: «Прогнали, говорит, графов, а теперь вон как охраняете». Ну я, чтобы дураком не выглядеть, улыбнулся, и оказалось очень даже уместно, Шуленбург, наверно, подумал, что я его и без переводчика понимаю. В сорок четвертом Гитлер повесил его за подбородок на крюк. Знал бы, что Шуленбург еще в сорок первом предупреждал Сталина о готовящемся нападении и даже о дате, висеть бы ему на крюке

тремя годами раньше. Вот тебе и граф! Он же официально послом был в СССР, а себя при Гитлере пешкой не считал, имел свое мнение, жизнью рисковал, хотел войну предотвратить с нами, понимал, что Германия об нас зубы сломает, и пошел фактически на предательство, на государственную измену с точки зрения Гитлера... Вот самоуверенность-то к чему приводит...

Меня в гласную часто брали за габариты — рост пятый, размер пятьдесят четвертый, спина, как щит у «максима»...

А если к Пильдину вернуться, был у нас с ним один эпизодик, был... Давай-ка сейчас ты без меня здесь посиди у телефонов на всякий случай, я территорию обойду, а вернусь и расскажу, занятный эпизодик...»

IV

«На проспекте здесь, чуть подальше, в сторону Льва Толстого, к площади, сразу за столовкой арка, а за аркой мастерская, где шапковые ручки заправляют. Заходил? Ну!.. Обратил внимание, помещение небольшое и только один вход, с улицы, и витрина во всю стену, дверь и витрина, помещение метров восемнадцать — двадцать квадратных, не больше, и никаких тебе тылов... Вот за этой витриной на виду у всех прохожих мы с Пильдиным две ночи провели и один ясный день. Вот тебе и незримый фронт! Остановливайся все кому не лень, стой перед этой самой витриной и разглядывай... Вообще-то большинство людей редко понимают то, что у них на глазах происходит, как любил говорить Казбек Иванов: «Наш человек привык ушами видеть!» Да, за витриной этой картинка была, конечно, странная, да мало ли странных картинок в наше время было...»

Сорок восьмой год, июнь месяц, суббота. Поезд такой-то, вагон такой-то, место такое-то. Снять на станции Тосно и доставить: рост чуть ниже среднего, комплекция спортивная, возраст тридцать семь, волосы слегка вьющиеся, нос правильный, губы — одежда и т. д. Впрочем, до волос вьющихся еще далеко было, не успели отрасти. Но вот особые приметы: «кисти рук маленькие».

И правда, когда брали, я как раз обратил внимание, что это за примета «кисти рук маленькие»? Оказался довольно крепкий молодой мужчина, сложение хорошее, даже морда широкая, симпатичная, а кисти рук, как у девочки... Дали нам «ЗИС»... «ЗИС-101», отличная машина, не то что «эмочка», в «эмке» сидишь торчком как-то, как вот на боровах, а в «ЗИСе» прямо как на диване... Примчались в Тосно часам к шести, на станцию, через полчаса примерно подошел поезд. Минуту он там стоит... Нет, вру! Нам его как раз остановили на минутку. У него в Малой Вишере была первая остановка, это уже за Тосно. Сняли мы этого, «кисти рук маленькие». Группа наша три человека: Хунт Вальдемар, эстонец, человек изумительно хладнокровный и сдержанный просто до величия, оказалось потом, он порусски не очень хорошо, вернее, не очень быстро понимал, отличный парень, вторым номером я был, и за старшего Пильдин, он уже был в майорах, хотя у него шесть классов, а у меня почти оконченное среднее. Все идет спокойно, не предвещает никаких неожиданностей. Где-то около девяти вечера приезжаем в город, возем его во внутреннюю тюрьму, в политизолятор, а там его не принимают! Представляешь? Не принимают. Здесь надо отдать должное, работы было много, страшно вспомнить, брали по пятьсот—семьсот человек за ночь, но все исключительно по закону, как полагается, порядок был исключительный. Если коммунист, то без санкции райкома не арестовывали, если райкомовское начальство, то санкция обкома непременно... Чтобы без санкции райкома арест? Или обыск без ордера? Да не было этого никогда. Не было такого! А уж чтобы в изолятор кого-то без соответствующего документа... Только здесь случай оказался особый, можно даже сказать, исключительный. Ни санкции, ни

постановления... Брала по звонку, по телефонному личному указанию, оперативно. Пильдин рассчитывал, что к нашему возвращению все будет оформлено, а тут суббота... трудно сказать, что там произошло, но бумаг нет, а у нас устное приказание, кому его предъявишь? Ну, Пильдин грудью на начальника тюрьмы, то есть изолятора, пошел: «Принимай арестованного, лично отвечать будете!..» А тот тоже не из робкого десятка, да что ему майор, если он умел и с генералами на басах разговаривать: «Будете горло драть, я в а с сейчас при-му! Как я его оформлю? Как он у меня будет проходить? Мне же его на содержание надо ставить!..» Поорали они друг на друга, по-нервничали. Мы сидим на Каляева в машине, выходит Пильдин, как пес побитый. Можно было бы в дежурку сунуться, попросить, но дежурил Вакагимов, хороший «друг» Пильдина, терпеть его не мог, «волейбольным майором» называл, так что нечего было и мечтать. Шофер-то не из оперативки, не дежурный, его тоже схватили, как и нас, по-быстрому, видит, такое дело, попросил нас покинуть... Мы покинули, что делать. Оказались вчетвером попросту на панели. Пильдин еще полчаса побегал, попытался кого-то найти, куда-то звонить, но — дробь!.. Что делать? На той стороне, за Невой, Финляндский вокзал, на трамвае ехать с арестованным вроде неловко, потопали ногами через Литейный мост, четыреста шагов, у меня мерено. Пильдин стал дежурному от транспортной милиции объяснять: поскольку снят задержанный с поезда Октябрьской дороги, а Финляндская дорога и вокзал тоже Октябрьские, он вроде обязан... А ушлый такой капитан попался, сразу понял, что-то тут не так, спрашивает: «Зачем же сюда вели, поместили бы на Литейном, и Кресты рядом, и на Лебедева...» По-человечески можно было бы договориться, а Пильдин в амбицию пошел: «Я не обязан отчитываться, товарищ к а п и т а н!» Напирает на капитана. А тот ему: «У меня здесь гостиницы нет и нет комнаты отдыха, товарищ м а й о р!» Напирает на майора. Так мы снова оказались на улице.

Дело к ночи, хотя ночь и белая и довольно тепло, но как-то не по себе. Хоть домой веди! Только приведи такого, будешь потом всю жизнь объяснительные писать... У меня портфель арестованного, у Вальдемара чемодан. Хороший чемодан, с кожаными ремнями... Арестованный и Пильдин налегке. А кругом граждане гуляют, молодежь, песни то там, то сям, речные трамвайчики по Неве... А мы как псы бездомные.

Пошли, говорю, на улицу Скороходова в Петроградский райотдел милиции, как-никак я там перед войной поработать успел, может, по старой дружбе пойдут навстречу. Но навстречу не пошли. На Большой Монетной милиция была в доме церковного причта — лицейской церкви. Напротив райкома дом этот самый. Там и готовы были мне помочь, но не смогли. Все осторожные такие, пуганные, трясутся за свою шкуру, а о деле в последнюю очередь. Видите ли, для нашего задержанного нужно отдельное помещение, нельзя его в общей камере, а у них было в тот вечер все забито... Думаю, связываться не хотели. А может, и еще что... Комитетчики вообще-то на милицию свысока поглядывали, сверху смотрели, ну и милиция любила посмотреть, как другой раз комитетчики кувыркаются...

Бредем по Кировскому почти бесцельно и вот у дома четырнадцать натыкаемся на дворника — и так проспект вычищен и прибран, последние пустые трамваи в парк Блохина да Скороходова подбираются, а тут дворник — лошадка райпищеторговская оказию оставила, а он тут как тут, в белом фартуке. Мало дворников-мужиков после войны было, все больше бабы, а этот с таким видом, будто ни войны, ни революции... Пильдин раз ему удостоверение: задержан опасный преступник, немедленно предоставить помещение для содержания до понедельника. Этот и вопросов задавать не стал. Пошли они тут же вместе управдома поднимать, подняли, он и открыл нам красный

уголок жэковский. Этот самый, где сейчас шариковые ручки заправляют. Только что стол красным покрыт, а так — одно название красный уголок: два стула, две обоймы по три откидных сиденья из какого-нибудь клуба, из украшений — лозунг коротенький, плакат о подписке на заем и портрет товарища Кагановича. Но главное — окно во всю стену и прямо на тротуар, и некуда укрыться, ни занавесок, ни штор.

И то ладно, крыша над головой и есть на что присесть, уже ноги гудели.

Арестованный всю дорогу молчал, ни единого слова не проронил, только когда расположились, говорит: «Дайте мне портфель, я есть хочу». Достает оттуда котлетки домашние, бутербродики и бутылку коньяка... Так мы под покровом белой ночи, как товарищи по несчастью, эту бутылочку и раздавили...

Что за птица арестованный? Ерундовая, в сущности, история. Был, оказывается, у него роман не роман, но какие-то печки-лавочки с дочкой одного... в общем, фамилии называть не буду. Папаше это не понравилось, женишок где-то что-то ляпнул лишнее, дали ему как «язычнику» пятерку и — в Воркуту. При освобождении в сорок восьмом предупредили честно: появишься в Ленинграде, получишь еще пять. Ну, а этот схитрить решил, билет себе организовал транзитный через Ленинград, так что вроде бы он и был в Ленинграде и как бы не был. Списался с родней, чтобы она его на вокзале встретила-проводила, там между поездами часа три было... Пока наши созванивались, ставили в известность, ждали решения, вот и получилось, что пришлось фактически поезд догонять, и ни тебе санкции, ни ордера по-человечески выписать не смогли... Нехорошо, тут уж надо признаться. С другой стороны, билет у него был то ли в Пензу... нет, вру, в Инзу, под Саранском. Сам посуди, не оттуда же его потом на пересуд возвращать? Но что нехорошо, то нехорошо... Кто не работает, тот не ошибается, были ошибки, были...

Да, сидим мы, словно на витрине выставленные, комната маленькая, спрятаться, укрыться некуда, окно огромное, чистое... Останавливаются парочки, смотрят... Прохожие хоть и редкие, а все-таки появляются, суббота, и погода хорошая, белые ночи, гуляет народ... Ну что в нас такого?! Четыре мужика, в конце-то концов, на столе закуска, картинка вроде бы самая обыкновенная, а я заметил: сначала большинство смотрят, улыбаются, а потом быстренько-быстренько отходят, и по лицу будто мокрой тряпкой провели, улыбочка сходит. Он в штатском, мы в штатском, один дремлет, двое разговаривают, обыкновенное дело, а народ даже немножко шарахается. Или нервы у людей после войны в Ленинграде ни к черту стали? Пережил, конечно, народ много. В сорок восьмом году в городе еще пустовато было...

Ладно. Этот в уборную запросился, задержанный, имеет право.

Я Пильдину говорю: здесь же рядом, на трамвайной остановке, роскошный общественный галльон на углу Горького и Кировского.

Кстати сказать, галльон знаменитый, оваянный легендой. Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпильями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки. А история, говорят, такая. На том месте, где мы сидим, был увеселительный сад, и принадлежал он хозяину Центрального рынка Александру. Богат он был до невозможности, ну, если туберкулезную больницу со всем оборудованием городу подарил, на свои деньги, в порядке благотворительности, она и сейчас стоит, мы там флюорографию проходим... Да знаешь ты, красный дом налево перед Каменноостровским мостом, в конце Кировского. Считался Александров миллионщиком. Вот про него и рассказывали, что приударил он за одной высокородной дамой, допустим, за баронессой. Та сначала ему хихоньки-хахоньки, надежду подавала, принимала, как говорится,

ухаживания, а как до дела дошло — ни в какую! Уж не знаю, как он там ее добивался-уламывал, не купчишка лабазный, не в смазных сапогах, капиталист, манеры, автомобили, Европа!.. А та не дает, и все! Состоялся у них решительный разговор, она ему напрямую — мужик! Ты, говорит, мужик, а я — баронесса! И весь разговор! Ручку пожалуйста, но только вот посюда, а дальше ни-ни... Утерся господин Александров. И что интересно, дамочка, говорят, не такая уж неприступная была, и от этого ему было особенно обидно. Отомстил. Жила она в доме в начале проспекта, рядом с виттевским особняком, Институт охраны детства там потом был, окнами на угол Каменноостровского и Кронверкского по-тогдашнему. Обратился ухажер к городским властям: «Радея о народном здоровье, могу соорудить в саду Народного дома общественный туалет, типа сортир, на свои деньги». Отцы города, так тогда называли горсовет, с благодарностью принимают дар, предмет необходимый и место бойкое. А проект потряс роскошью — замок не замок, терем не терем... А был этот «замок» точной копией загородной виллы этой самой баронессы, неприступной для удачливых выходцев из простого народа. Вот и любуйся, как любой житель города пользуется твоим гостеприимством!

Ну, она, ясное дело, тут же съехала, квартиру поменяла, поселилась у Николаевского моста, мост лейтенанта Шмидта. А он и там гальюн под окнами! Правда, попроще. Она, бедная, на другую сторону Васильевского шарахнулась, к Тучкову мосту, а он и там «виллу общего пользования» ей под окна...

Соловьев после войны в Ленинграде пропасть была. Даже в садике у Александринского театра имени Пушкина, это ж прямо напротив Елисеевского магазина, на Невском! А здесь, в саду Нардома, для них просто рай. И вода рядом — Кронверка и кусты... Поют, переключаются, красотища!

Ночью любой звук становится особенным, вес у него другой, чем днем, и оттого, что ночью звук редкость, задумываешься над ним, смысла в нем ищешь. Возьми воробья, ерундовая птица, днем они верещат, разве слушаешь, а вот под утро они такой концерт зададут... Я иногда с большим интересом слушаю, слушаю и задумываюсь над жизнью тех, у кого свой голос и коротенький и не очень интересный, а вот как вместе сойдутся, как вместе заголосят, так и любого соловья забьют. Сила! Соловей тоже, я тебе скажу, птица не фасонистая: носик остренький да тельце веретенцем, вот и вся птица, а цену себе знает. Большинство певцов ищут себе место повозвышенней, тот же скворец, даже синица, иволгу возьми, на дерево взлетит да еще на самые норовит верхние ветки, а этот на кустике, на сучке каком-нибудь неприметном пристроится, а то и вовсе на пеньке, а ему и не надо вверх, его и так и слушают и слышат... А запоем — будто небо раздвигается, будто земля шире становится... Слышал я южного соловья, ну и что? У нашего северного голос литой, крепкий, чистый, а как щелком пойдет, так словно гвоздики ледяные тебе в душу забивает, ей-богу, дыхание останавливается, будто это не в его груди, а в твоей, ночной прохладой переполненной, песня теснится и наружу рвется. Красота!

Да... А заведение это со шпильями да башенками только до часа работало, на ночь закрывалось, но мы подошли вовремя, начало второго уже было, старуха в клеенчатом таком фартуке уборку делала... Нас пустила, я документ показал, все культурно, честь честью...

А соловей для меня к этому времени был птицей особенной. Меня же в разные дела употребляли, хоронить тоже приходилось... Собственно, не то чтобы хоронили, закапывали... Гробы? А зачем им гробы нужны?.. Вообще-то не нужно вам этого знать. А закапывали не так чтобы далеко от города, сказать, так другой и не поверит, что, в общем-то, так близко.

Место, я тебе скажу, соловьиное.

Сначала идет взгорок с поселком, а потом просторнейшие поля, и упираются эти поля в гряду уже настоящих холмов, покрытых лесом. Место пустынное. На границе холмов и полей, в складке местности, ручей, над ручьем тальник, ивняк, самое для соловья прелестное место, лучше не придумаешь... Туда и выезжали. Работа не шумная, мы им не мешаем, они нам. Это я про соловьев говорю. Бывал я в этих местах и зимой, и осенью, и летом в дождичек, но первый раз, это я отчетливо помню, дело было именно в конце мая. Я высказал между прочим восхищение пением соловья, а Гесиозский, он тогда за старшего был, сказал, что лично ему приятней пение иволги. С начальством не спорят, только я при своем мнении остался.

Что в соловье самое интересное? А? Никогда не знаешь, какое он следующее коленце выкинет, каким ключом пойдет... Стукнет с отсвистом, стукнет да вдруг словно сухие досочки просыпет и кастаньетами: тра-та-та-там... тра-та-та-там... и сразу без передыха, длинно так, тонко-тонко, таким свистом, что прямо через сердце проходит... И тянет из тебя душу, и тянет... Жутко делается... Ночь как-никак... С одной стороны, пусто, с другой стороны — спят, а он душу из тебя вытягивает, вытягивает... И когда замучает вконец — бросит, да как грохнет, как раскатится, это уже всерьез... И пошел, и пошел! Жизнь — копейка! И с треском, и с посвистом, и с оттяжкой, и с надломом, и с горы, и в гору, и по кругу!.. Раз! И замолчал, собака... В самом неожиданном месте, гад, оборвет, чтобы тебя врасплох застать, словно сам решил послушать, бьется у тебя сердце или встало. И в молчании этом, в тишине между двумя выступлениями, для меня самая жуть. Хорошо, если дальнего соловья услышишь, а то будто в дыру какую валишься, какие только мысли в эту минуту в голову не залетят... Тишина мертвая. Лопаты шваркают, топор по корням пройдет, будто кости рубят, и слышно только в ручье вода булькает, словно кто-то все время негромко горло полощет. И в тишине этой начинает казаться, что мы последние люди на земле: вернемся в город, а там никого и вообще — никого нигде, на всем белом свете, и дня не будет, будет только эта белая ночь без конца и тишина... Такие вот мысли лезли, особенно когда своих приходилось закапывать. По правилам не говорилось, разумеется, кто да что, не наше дело, но когда свои были, то обязательно так или иначе просачивалось. Были же и у нас нарушители, что греха таить, за то время, что я служил со всеми своими отъездами, состав у нас переменялся, и не один раз, в те времена высокая текучесть была и у нас, и в исполкоме, и в горкоме тоже... Возьми того же Гесиозского... Была у него присуха, зазноба, значит, знаменитая проститутка Дублицкая, гражданочка ничем не опороченная, ни в чем таком не замеченная, она нам его и сдала. Он ее подружек прямо с улицы к себе таскал, арестом пугал, да еще дрался. Бытовые моменты его сильно компрометировали в нравственном отношении и в моральном. Похвастался он ей как-то под пьяную руку, что награжден звездой эмира бухарского в двадцатом году. И тут интересное совпадение произошло: квартира у Дублицкой была рядом с Карповкой, как раз в доме эмира бухарского, вход через второй двор с колоннами. Так по совпадению больших и малых моментов сомкнулась для него цепь, под тяжестью которой он должен был погибнуть. И погиб.

Что еще хочу о соловьях сказать?

Он же и в дождь поет и в туман. Не слышал соловья в тумане? Поет одна птица, понимаешь умом, что одна, а звук со всех сторон, кругом белым-бело, и не знаешь, может, ты уже и не на этом свете, может, это уже тебя самого закапывают... Кто там, в раю, поет? Соловьи или кто? Шучу.

Да, еще небольшой такой штрих к картине, маленький разго-

ворчик в заведении с башенками и шпилями; там внутри сидячие места открытые спереди, перегородки только боковые, надевает арестованный штаны и вдруг говорит: «Да, в уединении есть неизъяснимая прелесть». Высказывание двусмысленное в его положении. Я насторожился. Самые неожиданные люди — это из одиночного заключения, вот уж от кого можно чего угодно ждать, да и сами они не очень-то отдают себе отчет, на что способны, что в следующую минуту выкинут. Этот вроде бы из зоны, но осторожность меня никогда не подводила.

Выходим. Я молчу. Тогда он говорит: «Постоим немного, пять лет соловьев не слышал». По инструкции, конечно, не полагается, но здесь я подумал, раздражать его не надо, лучше постоим немного...»

V.

...1948 год. Звонит в ночной пустоте соловьиная трель над Кронверкской протокой, над парком Ленина, над площадью Революции, изготовившейся стать огромным партерным сквером в самом центре города... Навалены груды земли, прорыты траншеи, что-то корчуют, что-то рассаживают, высятся пирамиды песка и гравия: то ли ищут на месте самой первой городской площади какие-то недостающие звенья для прочной и ясной исторической цепи, то ли опять закапывают что-то от глаз подальше...

Не осталось и следа от Троицкого собора, гремевшего своими колоколами славу Петровым победам, когда звонкая медь с иных опустевших колоколен, перелитая в пушки, рвала с мясом и кровью эти победы из рук опрометчивых иноземцев. Отзвонили троицкие колокола и панихиду по буйному нравом земному владыке, гнавшему кнутом и палкой врученный ему трусливыми боярами народ к какому-то одному ему ведомому счастью...

Гремят соловьи! Легкой, вольной трелью, веселым клекотом простучивают гранитные листы, глухие стены бастионов и куртин прославленной крепости, не сделавшей ни единого выстрела по врагу, но ставшей грозным оплотом власти в нескончаемой войне со своими неразумными подданными, и замирают, и замирают, и не вьются эхом наружу соловьиные трели, остаются в сырых опустевших казематах, хранящих тайну неизъяснимой печали, предсмертной тоски и пытки одиночеством и тишиной.

...Редкая крепость в Европе может похвастать тем, что под ее стенами полегло сто тысяч человек, да не во время штурмов и осад, каких за два с половиной века твердого стояния у моря не упомянет славная фортеция, а лишь за время ее постройки под непосредственным наблюдением и опекой главного досмотрщика над строительством и строителями, его величества государя императора Петра Алексеича своею особою... Пятнадцать лет гнали сюда, волокли, свозили, вывозили рабочий люд со всех концов России, быстро исчерпав небогатые силы туземцев да неведомо каких пленных, если известно, что по сдаче Ниеншанца гарнизон был отправлен восвояси при оружии и с пулями во рту... Учиня Новый Амстердам на краю просторного отечества, запретил государь по всей империи возводить каменные строения, но быстрее, чем каналы, рылись ямы, куда сваливали отработанных строителей, быстрее, чем крепостные стены, росли холмы над костями рабов, пока правительство, удрученное не гибельностью места, не отсутствием жилья и пищи для своих трудолюбивых подданных, а лишь медленностью исполнения великих замыслов, не убедилось, что вольным подрядом и наймом работы будут исполнены удобнее, скорее и надежней...

Где еще! Какая история может похвастать тем, что столица империи стала местом ссылки для ее подданных!

Ехали скрепя сердце, не смея послушаться, тащились, прикусив

язык, торговцы, ремесленники, дворяне... Высылали изнутри России в столицу на житье людей всяких званий, ремесел и художеств, а в первую голову тех, кто имел завод, промысел или торги. Беглецов из столицы отлавливали и водворяли на место. Сохранилось имя и последнего сосланного в столицу, правда, уже по собственному капризу. За призыв к буйству и непокорству, за устройство забастовки на Николаевском морском заводе был отловлен и приговорен к ссылке токарь Скороходов Александр Касторыч, пожелавший и даже потребовавший, чтобы местом ссылки был Санкт-Петербург, только что по причине ссоры с немцами поименованный Петроградом. Затерялась в полицейских архивах историческая каблограмма петроградского генерал-полицмейстера, пославшего в ответ на запрос отчаявшегося в бессилии николаевского коллеги милостивейшее свое благоволение: «...одним негодяем больше, одним — меньше, пусть едет...» Дело было в суровую военную пору, в сентябре 1914 года...

Много торжеств, пиров, гуляний, праздников и побед сотрясало зыбкую почву Троицкой площади и первых двинувшихся от нее улиц, бойкое место, окруженное домами царских любимцев, пока не обрела она нынешнее свое гордое имя и не погрузилась в покой и тишину, изредка нарушаемую раскатами салюта с петропавловского пляжа или какими-нибудь озорниками вроде тех, что вывесили, помнится, на Доме политкаторжан четырехметровый деревянный крест, чем были приведены в трепет и волнение дремавшие в непрестанной боевой готовности до тех пор войска внутрененного спокойствия со всеми своими минометами, пулеметами и безоткатной артиллерией... Много веселья пронеслось над низкой луговиной, много веселых звонов и криков ликования унеслось в поднебесье, а в землю вошла да в ней и осталась брызгавшая на палача, а с палача наземь обильная кровь колесованных, четвертованных, развешанных на столбах с железными прутьями, на кругах, ловко приспособленных для выставки четвертованных тел и милостиво обезглавленных с первого маха.

Гремели колокола по неделям на маскарадах и празднествах, гремела и барабанная дробь, заглушая иступленные вопли наглядно подвергнутых наказанию. Не здесь ли новая столица начала счет своим многим казням, одну из первых освятив геометрической строгостью замысла, положенного в жизненный принцип города? Справедливо и милосердно, по жребию, лишь четверо из двенадцати отловленных злоумышленников, запаливших с целью грабежа двухэтажные бревенчатые лавки новенького Гостиного двора на берегу Кронверки, были подвергнуты развешиванию на четырех виселицах, тотчас же сноровисто и симметрично воздвигнутых по углам еще дымящегося пепелища...

Забредший на русский престол путями всемирного бездорожья император Петр III мог бы сохраниться в памяти благодарных потомков как государь, уничтоживший застенки и тайную канцелярию, его супруга, государыня Екатерина II, пошла еще дальше, уничтожив пытку, правда, Александр I пытку еще раз уничтожил... Отмена кнута как широкоупотребительного средства поддержания порядка и нравственности в 1817 году была поручена тайному комитету под председательством графа Аракчеева. Отцы отечества долгие дни ломали головы над двумя каверзными вопросами: «можно ли отменить кнут?» — и если да, то «чем же его все-таки заменить?». Ломал пробитую при взятии Очакова голову князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович, генерал от инфантерии, пожалованный в министры юстиции и исповедовавший хорошо прижившийся закон: девять забей, десятого — поставь; ломал голову приبلудный сын сестры графа Строганова Новосильцев Николай Николаевич, готовивший переворот 11 марта, что крайне сблизило его с государем и

позволило прославиться устройением тайной канцелярии в Царстве польском; сказал свое веское слово и князь Голицын Александр Николаевич, придворный ветреник, известный своим веселым нравом и смелыми забавами, по странной случайности превратившийся в главу православия и министра духовных дел, прибрал он под свое легкое крыло и народное просвещение для удобства гонений на университеты и насаждения свирепой цензуры; не хватило умственной и нравственной силы вкупе ни у графа Тормосова, ни у князя Цинцианова, ни у сенатора Плотникова, чтобы двинуть вопрос о кнуте. Правда, прогресс в устройстве внутренней стражи и организации этапов позволил отменить «рвание ноздрей» как меру предупредительную против побегов, «поставление же знаков», присовокуплявшееся к «торговой казни», то бишь кнубойству, значительно пережило расправу с ноздрями. Таким образом, кнут, введенный Алексеем Михайловичем Тишайшим в ранг государственного инструмента Уложением 1649 года, не дотянув каких-то четырех лет до своего двухсотлетнего юбилея, был окончательно отменен лишь в 1845 году.

А последняя большая кровь пролилась на площади в январе 1905 памятного года, когда спешно переброшенные по новенькому, весьма кстати построенному красавцу мосту солдатики хорошо отхлестали пулями шедших за милостью к царю жителей Петроградской стороны и Выборгской...

Гремят соловьи над тихой Кронверкской протокой, над крутыми ее насыпными берегами, где в ста шагах от парадной площади еще не отыскано и не украшено обелиском с пятью профилями место злобной и неумелой казни, когда прелыми веревками было сдавлено горло пятерым безумцам, пожелавшим своему отечеству иной судьбы, иного блага, нежели из рук одного владыки, хотя бы и помазанного на царство самим господом богом!..

Бей, соловей, в глухие каменные стены, бей в мудреные крепостные ворота, бей в тюремный засов, замкнувший тысячи душ, одни от света земного, другие от света истины и добра! Бог даст, и от твоего свиста кто-то проснется, всколыхнется под тиной житейских забот, пробудится от серого сна чья-то душа в надежде сделать хотя бы только свою жизнь осмысленной, сильной и смелой и устыдится своей немоты, своей робости, своей бесконечной охоты за мелкой выгодой — и сладкой болью отзовется на песню бесстрашной в неведении своей судьбы птицы, посланной в каменный город то ли нам в пример, то ли в укоризну...

Бей, соловей! Твоя ночь, твоя правда!..

VI

«...Вот я и говорю. Стоим мы с задержанным у сортира, чуть в сторонку отошли, как я уже сказал, слушаем соловьев. Что интересно, я в городе совершенно без страха их слушал.

«Не помню, чтобы до войны здесь так много соловьев было» — это я говорю.

А он говорит: «Кошек нет, вот и распелись. Гнездо у соловья низкое, в городе первый враг у него — кошки».

Действительно, за войну кошек в городе почти не осталось, соловьям раздолье. Ну что за зверь кошка! Мало ей в городе крыс? Мышей мало? Нет, обязательно надо соловья сожрать!..

Не помню как, от кошек перешли к любви.

Чтобы не стоять дураком, говорю, что, в сущности, соловей очень небольшая птица, а вмещает в себя такое большое чувство любви и красиво его высказывает.

Арестованный говорит: «Предрассудки. Какая любовь, если у него через несколько дней дети будут! Поразительное дело, птицы среди всех животных все время у нас на глазах, и слышим их и

видим, а судим о них неверно. Вот и живут устаревшие, в корне неверные воззрения...» Интересный у нас завязался разговор.

Я, чтобы не раздражать его, спокойно спрашиваю: «Вы, кажется, сомневаетесь в том, что соловей поет о любви?»

Задержанный на меня не смотрит, будто не со мной и разговаривает: «Странно люди устроены — один соврет красиво, а другие повторяют, повторяют, повторяют, и уж не приведи бог своими-то мозгами пошевелить!.. При чем здесь любовь? Это сторожевая песня! Песня-предупреждение: здесь мой дом! моя семья! мое гнездо! не подходи, будешь дело иметь со мной! Это клич!..» «Кошек тоже предупреждает? Кричит, как вы говорите?» Тут уж арестованный на меня посмотрел и отвечает, как-то поперхнувшись: «И кошек...». «Давайте, говорю, возвращаться, как бы нам обоим побег не вменили». Шучу.

Он — руки за спину и на три шага вперед. А я их понимаю...

Мы когда еще на проспект вышли из красного уголка, так он сразу руки за спину и вперед на три шага. А я себя на мысли ловлю, как... какую ему команду подать, чтобы он по-человечески шел. Есть команда «руки!». Они сразу ее понимают и берут руки за спину. Но здесь-то улица, не политизолятор. И прохожие из окон могут смотреть, из любого парадного выйти могут, не комендантский же час, в конце концов. А я нашелся! Только он со сложенными руками начал шагать, как я ему так, между прочим, бросаю: «Скромнее, гражданин, надо быть...» Он обернулся, не понимает. Вижу, что действительно не понимает. «Не надо, говорю, к своей особе такое внимание привлекать. Руки, говорю, сделайте вольно».

Это, я тебе скажу, происходило не только с ним, тут действительно худого умысла нет. Нам объяснили это дело научно: называется реактивное состояние, когда в определенных ситуациях организм как бы уже без контроля мысли сам реагирует по привычке. Я же еще реабилитацию застал, оформлял им справки для пособия; выдавали тем, кто отсидел, по три оклада из расчета заработка на момент ареста... Нет, срок не имел значения, хоть десять лет, хоть пятнадцать. Не поверишь, заходит старик, профессор оказался, после реабилитации, задаешь какой-нибудь совершенно ерундовый вопрос: ну, место рождения... Вскрывает и отвечает. «Сидите, говоришь, сидите». Улыбаешься. Он тоже улыбнется, а задашь следующий вопрос, ну, положим, прописка на день ареста, опять вскакивает и отвечает. Интересный такой старичок. За что посадили? Книжку написал о действиях английских командос, обобщил их опыт во второй мировой войне, ему и впаяли преклонение перед иностранщиной, а заодно и контрреволюционную пропаганду и агитацию, опять же пятьдесят восьмая — десятая. Вот тебе и научная работа, опыт, видишь ли, хотел перенять, чтобы у нас распространить. Вскрывал как на пружине, а ведь, судя по справкам, тяжело больной человек. Так и у этого, «кисти рук маленькие», все не нарочно, а по привычке. Идем по проспекту, чтобы ситуация выглядела естественно, решил о соловьях разговор продолжить. «Неосторожная, говорю, однако, птица соловей... Сидела бы потише, кормила бы детей, дом стерегла, может, и с кошками бы ужилась...» «Двести лет уже в городе и соловьи и кошки. Не ужились, а живут, одни поют, другие мяукают, смотрят, где бы чем поживиться, одни летают, другие крадутся...» В общем, идем хорошо, со стороны поглядеть, так будто два приятеля подзадержались где-то субботним вечером, на трамвай опоздали, зашли в галюнь, теперь по улице идут, беседуют, культурно и в глаза не бросается...

На следующее утро в магазин сходили, подкупили того-сего, домой позвонили из автомата, жить можно. Рынок рядом, я на рынок за сметками ходил, самое мое любимое кушанье с детства — это сметки. У нас белозерские бывают и псковские, с Чудского озера. Лич-

но я псковские сильнее люблю, хотя белозерские тоже очень хорошие. Белозерский снеток даже покрупней, понагулистей и цветом чуть-чуть отличается, на вкус я их и с закрытыми глазами различу, если соли, конечно, не переложено. Солью вообще любую рыбу можно убить... А в псковском снетке, грамотно подвяленном, не только вкус, в нем дух какой-то особенный. Снеток — это же не еда, а деликатес в чистом виде... Семечки? Нет, брат! К снетку пиво, конечно... И у пива тут особая задача и роль, оно нужно обязательно, чтобы во все подробности снетка можно было войти, вот для чего нужно пиво! Если снеток чуть-чуть подсох, то он как туманом из тончайшего соляного пара покрывается, это ничего, и пиво этот туман сразу снимает, мгновенно, а сольца эта пиву остроту придает, молодит его, так они друг в дружку и проникают... Да, тут еще какая вещь, долго держать во рту снетка нельзя... Если ты с воблой пиво пьешь, к примеру, тут кусочек рыбки в рот положил и цеди, тяни пивком... Со снетком этого допускать нельзя. Он требует, чтобы его чуть-чуть в пиве подержал, дал ему вздохнуть, и не тяни, пожуй маленько и глотай, как раз под второй глоток пива... А передержал снетка, и он уже не тот, он же нежный, размякнет и вкус теряет, уже не тот...

Со снетками повезло, псковских взял, а пиво тогда вообще не вопрос, три магазина рядом: на углу Большой Посадской, там мартовское было, оно к снетку не идет, в доме двадцать шесть дробь двадцать восемь, где Киров жил, там внизу отличный гастронормчик, там «рижского» взял, и третий еще был магазин на углу Дивенской, туда добавлять ходили... Хорошо. Как день пролетел — и не заметили...

Днем выводить тоже приходилось, и пиво надо принять во внимание...

В понедельник с утра пораньше смотался Пильдин в управление, бумажки все оформил, машину пригнал, все честь по чести, сдали его в политизолятор, и больше я его наяву не видел никогда.

Кстати, интересные вещи он мне тогда рассказал. Оказывается, птицы-то в гнездах не живут, гнездо у них только для выведения потомства, а дальше они на воле живут... Люди считают гнездо птичьим домом только потому, что смотрят на птицу как бы собственными глазами. В дождь или от опасности птица в гнездо не летит, на ночь тоже в гнездо не прячется. У птицы своя жизнь, своя повадка. Ничего ей этого не надо. Постель она при себе носит, сунула клюв в перья и спит...

Я поинтересовался: откуда он все это знает? От сокамерника. Три месяца вместе баланду хлебали, большой знаток птиц оказался!

Вообще-то я тоже довольно много образования почерпнул на своей работе, каких людей только не повидал, страшно вспомнить.

Разный народ, удивительно разный... Всех и не упомнишь, а вот одного, он помер потом прямо в изоляторе, даже до Особого совещания не дотянул, сердце отказало, того запомнил, хотя всего и беседовали с ним два-три раза, не больше, шутишь, профессор из университета, мне давали, в общем-то, народ, как правило, попроще... Профессор интересный, ненавидел то ли нашу науку, то ли культуру, отсюда и враждебная нашему строю деятельность, причем и в письменных трудах и в устных, прямо, как говорится, с кафедры. У меня с ним разговор какой? Кто направлял? Чье задание выполнял? Сообщники? Где встречались? На что рассчитывали?.. С воли-то народ обычно немного огорошенный приходит, а этот как-то так не то чтобы с усмешечкой, но спокойно, будто не он мне, а я ему отвечать на вопросы должен. Прожженный оказался, он еще до войны успел посидеть, немного, правда, года три. Такой разговор. Я его спрашиваю, а он мне: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой?» Я его культурно попросил моей головы не касаться и отвечать на вопросы. Тогда он берет и произносит: «Лучше я вам рас-

скажу о двух коровах, которые пришли в лавку и попросили фунт чаю». Ну, это дело знакомое, симуляция под сумасшедшего. Я ему спокойно отвечаю: «Под сумасшедшего решил работать?» Тот как рассмеется и говорит: «А вы не производили впечатление человека начитанного. Извините». Оказывается, я в самую точку попал, профессор этот был какой-то знаменитый знаток писателя Гоголя, и слова эти про коров и чай, как потом Казбек Иванович разъяснил, из произведения «Записки сумасшедшего». Я у Гоголя читал другие произведения, пошел, взял эти «Записки...», решил Казбека Ивановича проверить... Да! Ну и писали раньше! Что хотели, то и писали. Не нравятся Гоголю французы, он так и пишет: глупый народ французы, взял бы всех и перепорол розгами... Я еще понимаю, про своих так, еще куда ни шло, а французов-то вроде и неудобно... А самые интересные, содержательные люди, от которых я больше всего впитал в смысле образования, это были отказчики. Были такие, кто с самого начала следствия шел в отказ: «Что докажете — мое, а на себя и на других говорить не буду...» Разъясняешь ему, разъясняешь самыми различными способами, что отказ от сотрудничества со следствием и непризнание вины — это уже недоверие к органам, а недоверие к органам — это уже позиция, враждебная социалистическому строю, вроде все ему вдолбишь, а он снова здорово! Наш нарком как говорил? «Каждый советский человек — сотрудник НКВД!» А раз ты не хочешь сотрудничать с НКВД, что из этого следует? То-то и оно, они об этом не задумывались...

...А ведь и формалистики у нас было до черта. Идешь на обыск, ну, нашел у него под матрацем наган или пистолет, думаешь, в протокол записывается «пистолет ТТ»? Ничего подобного. «Тульский, конструкция Токарева, длина ствола 116 мм, четыре нареза, в магазине 8 патронов, гильзы бутылочной формы, пули оболоченные...» Кому это нужно? А допросы? Это же формалистика чистейшей воды. Когда Особое совещание было, так и не читали эти протоколы, а на нас давили... Если по-честному, конечно, то не очень-то и давили. Ты закон от первого декабря помнишь? Нет?! Отличный закон был от первого декабря тридцать четвертого года, подписанный Калининским и Енукидзе. Был такой — Енукидзе. Кстати сказать, у Калинина жена по этому закону на отсидку пошла, а у Енукидзе сын. По закону этому все дела по вылазкам против советской власти и ее лучших представителей должны были разбираться в течение десяти дней, не больше. Обвинительное заключение выдавалось подсудимому за сутки до суда. А если трезво посмотреть, то зачем ему это заключение, если на следующий день уже заседание Особого совещания. Приговор по закону от первого декабря тридцать четвертого года приводится в исполнение немедленно, потому что обжалованию не подлежит, а кассации запрещены законом... Для чего, спрашивается, нужны эти допросы до одурения? Это хороший закон, он формальности здорово упростил, иначе я даже не представляю, как бы мы такое количество народа переработали...

Но формализм — вещь живучая. Завели моду — ночные допросы! Даже не знаю, откуда к нам эта мода пришла, но так уж пошло, если ночью кого-нибудь не выдернул, вроде получается плохо работаешь. Вот и получается — протоколы не больно-то нужны, а на допросы таскай... Я на ночные допросы как раз отказчиков вызывал, вроде бы самых трудных, а на самом деле для меня вроде как отдых, потому что известно — отказчик, и если кто вдруг и захочет протоколькичи посмотреть, пожалуйста, у меня чистая бумага с десятком вопросов... Комар носа не подточит. Только сидеть так ночь скучно, я с ними сразу устанавливал прямой и честный контакт, говорю: нам сидеть с тобой до пяти утра... То есть я сидеть буду, а ты стоять. Но если захочешь что-нибудь рассказать, разрешу сесть. Рассказывай что хочешь, можешь про свою жизнь, про детство, про

работу, про что угодно, книжки интересные тоже можешь рассказывать, если вспомнишь... Ни фамилий, ни адресов, ни дат — ничего не требую и писать не буду. Прием работал безотказно, редко кто соглашался вот так ночь молча выстоять. Так слово за слово, одно-другое, глядишь, из Великой французской революции кое-что интересное узнаешь, один стихи рассказывал всю ночь, поначалу я слушал и смысл почти улавливал, а потом уже просто удивлялся — как же это человек может в памяти такую прорву стихов держать. По горному делу интереснейшие, можно сказать, лекции получал, по энергетике — самые разнообразные, и по электротехнике, и сетевое строительство, и тяговые подстанции, уж масляные выпрямители со ртутными, думаю, никогда не спутаю, по гулу их отличу, хоть и в глаза не видел ни тех, ни других. А возьми бухгалтерский учет... Интереснейшая вещь! Банковское дело, кредитное финансирование, чем стройбанк от промбанка отличается — пожалуйста... Это я от Кондрикова почерпнул. Не помнишь? Ну что ты! Это же фигура! Киров нашел его где-то в новгородском банке и сделал своим полномоченным по Кольскому полуострову. Кондриков гремел, «князь Кольский»!.. Смешно получилось, когда его брали... У него от Кандалакши до Мурманска были везде свои не то чтобы резиденции, а квартирки или домики, мотаться приходилось постоянно и в Апатитах, и в Мончегорске, и на Неве, и на Туломе... Был у него домишко какой-то прямо на станции в Зашейке. И бойкая там такая хозяйка была из финок. Дом всегда был в полной готовности. Она прямо из окошка смотрела, как поезд какой подойдет, хоть и товарный, не идет ли ее повелитель. Раз смотрит, поезд подошел из Кандалакши как раз, идет к дому Василий Иванович и с ним еще человек пять-шесть. Она мигом, времени-то три-четыре минуты, и стол накрыт! И семужка, и хариус, и грибки, и зубатка, как угадала, прямо из духовки... Дверь открывает, улыбается, лопочет что-то веселое по-своему... потом смотрит, на Кондрикове лица нет, мы молча по квартире расходимся, мы в форме тогда как раз были, так что она мигом все поняла и — раз, тут же со стола убирать. Бандалетов из кандалакшского НКВД говорит ей, дескать, не спеши, пусть все останется!.. Она как на него залопотала, злая, как ведьма, все убрала, а Кондрикову водки стакан налила и семги дала заесть... Вообще-то не положено, только что тут сделаешь, случай все-таки особый, опять же женщина по-русски совсем ничего не понимает... Не помню уже, как он у нас шел, кажется, по «правотроцкистскому центру». Твердо держался мужик, в чистом виде отказник, ни одной фамилии за все время ни разу не назвал, а про банковское дело рассказывал здорово!

Ну, судостроение — это мой особый интерес, флотская молодость, с одной стороны, а с другой — все-таки понимал куда больше, чем в других предметах... Или медицина. Здесь сложнее. Пока рассказывают, вроде все понимаю, а как сам потом попробую пересказать хотя бы и дома, ничего не получается, сбиваюсь. Спросил у одного профессора — почему так. Говорит, нет изначальной подготовки, фундамента нет, анатомию и физиологию не знаю. Что ж, может быть, вполне может быть. Как у последственного череп устроен, этого я действительно не знаю. Зато обратил внимание вот на что. Чем крупней специалист, тем понятней рассказывает. Я-то думал, что если уж профессор, то его только профессора и могут понять, ничего подобного. Пытался мне раз объяснить один костолом из здравпункта деревообделочного заводика, бывшего Мельцера, за Карповкой сразу, как рука у человека устроена. Очень у меня смутное осталось представление. А потом один из Института изучения мозга имени Бехтерева, из особняка великого князя на Петровской набережной, изумительно объяснял. Рука что! Проходил у нас один немец, Вормс фамилия, крупнейший гинеколог, проходил по «сызран-

скому мосту», в группе, они взрыв готовили или не готовили, кто теперь знает, но тогда, перед войной, как раз проходил по «сызранскому мосту». Надо было его в Саратов этапировать, там процесс был шумный, показательный, писали о нем в газетах. Мой гинеколог тогда пятнадцатью годами отделался. Получаю приказ — снять с него предварительное, а он в отказ. Бородка такая сначала кругленькая была, коротко стриженная, очки вполстекла, как полумесяца, на спинку опрокинутый... Тоже ночью его выдернул. Я сижу. Он — стоит. Час простоял, второй пошел. Видит, что я его ни о чем не спрашиваю, а что-то пишу, тогда он меня спрашивает: что пишете? Я ему чистосердечно признаюсь: пишу письмо сестре, четыре месяца не писал, а у нее с мужем не очень-то хорошо и трое детей. Сестер у меня было шестеро до войны. Он начинает нервничать. Тогда я ему снова говорю: можешь сесть, этот вот стул для тебя, и рассказывать все что угодно. В общем, разговорились, я ему объяснил напрямую, почему его ночью выдернул, а он мне рассказал, как там у баб все устроено, в смысле у женщин. Всю эту скрытую от мужского пола механику он мне за два допроса преподнес в лучшем виде. Я ж до этого, можно сказать, дикий был человек, мало чем отличался от животного... А в этом вопросе культура не последнее дело. Он мне доступно объяснил, что у них, у баб, возникает и чего ей надо... И что меня больше всего удивило: оказывается, у них все так же, как у нас, только наоборот! Даже вообразить такое сначала не мог, а потом оказалось — факт!..

Я к женщине после этого, даже к жене своей, стал относиться с большим интересом и значительно осторожней, честное слово.

...Чем больше знаешь, тем жить интересней. В этом смысле моя работа много мне чего дала, а как подумаешь: что же от меня останется? Прожил жизнь рядом с теми, кто ушел неизвестно куда, и я с ними или за ними туда же уйду... Даже все мои обильные знания, может быть и несколько растрепанные, употребить некуда.

Многие смотрят на мир разными со мной глазами, это ничего, я к этому привык. Раньше больше было таких, кто одинаковыми глазами смотрел, теперь меньше. Может, так и надо?

Для чего на свет появился — догадываюсь. Для чего жизнь прожил, чему служил — знаю. А для чего мне оставшаяся жизнь дана? В награду? Но разве старость может быть наградой? Может быть, для того, чтобы я богатым своим опытом поделился с грядущими поколениями?

Наша служба привлекает не блеском формы, к нам народ шел не то чтобы талантливый, а усердный и внутренне крепкий. И не всякий мог нашу работу выдержать. Помню, за три года до начала войны послали меня с группой в Архангельск на усиление, большая там раскрутка шла, ну и привлекали при арестах и обысках в качестве понятых актив из молодежи, тех, кого впоследствии можно было бы самих взять в органы. Был среди прочих у местных кадровиков на заметке комсомольский секретарь из архангельского драмтеатра. По профессии, правда, он актер, но явно с хорошей жилкой и с большой склонностью к организаторской работе. Все у него хорошо, на собраниях, на митингах выступал отлично, характеристики прекрасные, из беспризорников, вообще паренек перспективный. Держали его на примете, а тут как раз решили проверить, привлекли для первого раза понятым на арест Серкачева, был такой начальник архангельского порта, седой такой дядька, в Архангельске человек знаменитый, партизанским движением там в свое время заправлял, и орден Ленина у него был чуть ли не под седьмым номером. Приходим. Так и так, обыск, как полагается. Квартира большая и очень много книг, даже в коридоре полки. А самое канительное дело при обыске — это бумага, письма там, рукописи и книги. Барахло, вещи — это все перетряхнуть недолго, мебель сдвинул, простучал, это все

пустяки. Отдушины там всякие, печки, заслонки тоже времени не забирают, но книги — всю душу вымотают, каждую сними, перелистай, потряси. В общем, все идет нормально, приступаем к книгам. Здесь же две его дочки, барышни, можно сказать, и жена... Вдруг этот дядька седой как зарыдает! Рыдает и ничего поделаться с собой не может, судорожно так рыдает. Девчонки тут же обе тоже в слезы, но эти тихонько в платочки уткнулись и ладно, а того прямо трясет. Партизан, называется! Хочет к нему жена подойти, а нельзя, она может или передать что-то, или может иметь место элемент сговора, в общем, нельзя. Смотрю я на нашего комсомольца, стоит, к косяку прислонился, вижу, лицо все время вверх задирает, будто кровь у него носом пошла, подошел поближе, а он, оказывается, ревет как белуга, только что беззвучно. Такой боевой парень, и на тебе! Я его успокоил, поговорил по-человечески, вроде бы он успокоился, водички попил, утерся... Десять минут не прошло, и снова в слезы, да тут еще и с подвыванием каким-то... Нет, брат, вижу, чекист из тебя — ни рыба ни мясо. Иди-ка ты, на хрен, домой! Одно дело, знаешь, с трибуны да на собраниях, это все умеют — и громить и клеймить, а как выкорчевывать, тут надо и выдержку, и твердость, и, может быть, еще кое-что.

Вообще самое легкое было по агитации загрометь. Проходил у нас по следствию один инженер, был на него сигнал, что во время командировки в Финляндию, ездил какое-то оборудование для Балтийского завода получать, встречался там с двоюродным братом. Родственника этого он в анкете не указал, иначе подумали бы еще: выпускать, не выпускать. Сигнал был верный, а кроме сигнала ничего нет. А он уперся и ни в какую: не был, не видел, не знаю... Я его приводил несколько раз на следствие, на допрос и на допросе присутствовал. Следователь Секиров, одна фамилия уже впечатление производила, отличный такой мужик, прожженный человек, прямой, без всяких там хитростей, говорит ему ясно: «Подпишешь, не подпишешь, сидеть ты все равно будешь... Ну назови хоть одну фамилию, кто отсюда выходил без срока? Назови! У тебя есть такие знакомые?..» Тот говорит, что таких знакомых нет. «Так ты-то, мать-перемать, чем их лучше? Неужели у тебя не хватает ума не мучать меня?! Я тебя выпущу — это же брак в моей работе, не понял? А то, что ты враг, это у тебя на лбу написано. И сидеть ты будешь!» И тут Секирову случай помог. Просыпается как-то утром этот инженер у себя в камере и сон рассказывает: приснилось ему, что он ходит по Финляндии без конвоя, что-то еще про магазины приснилось... А в камере у него «наседка» была. Тут же все это оформили как контрреволюционную агитацию, и поехал он лес валить на законных основаниях.

Говорят, интеллигенция вежливая. С одной стороны, доля правды в этом есть, а с другой — как посмотреть. Уголовный контингент, как я заметил, и внимательней, и стремится найти общий язык. А эти — нет. Вот с «женихом», я тебе рассказывал, сколько возни было, я лично сколько раз выводил и позволял немножко, тех же соловьев слушали, разве он спасибо сказал?

Или другой пример.

Мало кто знает, есть такая за Московским вокзалом, за товарной станцией, Константиноградская улица или переулок, а напротив через дорогу, буквально пятнадцать метров пройти, дровяной склад Московского райжилуправления. Лежат там напиленные, нарубленные дрова, лежат годами; десятилетиями не менялись, почернели, посерели, потому что никто ими не пользуется, лежат они для отвода глаз. На дровяной двор есть железнодорожная ветка, подавали туда ночью вагоны, только не дрова привозили и не дрова вывозили. На Константиноградской была пересыльная тюрьма, даже не пересыльная, а такой как бы перевалочный пункт, днем ее заполняют, а ночью быстренько перегоняют через улицу на дровяной склад пар-

тию и грузят, потом уже в запломбированных красненьких отправляют на сортировочную станцию... Но главное, это доставить контингент на Константиноградскую. Доставляли на «воронках», трехтончка, сзади дверь железом окованная, сверху два отдушничка, а сразу за входом слева и справа два шкафчика, стаканчики, считай, для особо опасных или приговоренных к смерти. Ну сколько за раз можно народу в одну машину взять? Ну, двадцать человек, двадцать пять, если плотно, а случалось и по шестьдесят грузить. Раз вывели во двор партию перед погрузкой, смотрю — женщина пожилая, но очень красивая, лицо как у царицы и всем видом крайне интеллигентная. Дело в феврале было, в конце месяца, день солнечный, и все таяло... Эх, думаю, хоть и недалняя дорога, с полчаса, да как же тебя, «царица», довезут, если как раз после предыдущего рейса я машину осматривал, нашел фляжку алюминиевую в таком виде, будто черт на ней плясал, пожевал потом и выплюнул. Беру я эту женщину первой, веду к машине, помогаю подняться и помещаю в «сбачник», ну, в шкафчик этот, с тем чтобы не задавили в давке... Как она заголосит! Как стала стучать, кричит что-то такое, что хоть прямо на пересуд! Ладно, думаю, еще спасибо скажешь. Начинаем загрузку. Тут, как всегда, брань, крики, стоны, нецензурные выражения, как никак человека на человека приходилось напихивать иногда, и так под самую крышу. А они не знают, что дорога-то недалняя, что можно и потерпеть... Тоже, должю тебе, работенка... Я машину сопровождал, так что я и разгружал на Константиноградской. Извлек я эту даму последней. Бледная, ни кровинки, воздух глотает, на меня не смотрит, вернее, смотрит, но вроде и не узнает... Думаешь, спасибо услышал? Нет, не дождался. А с виду женщина интеллигентнейшая...

Уголовник никогда себя так не поведет, он даже малейшее внимание ценит: «гражданин начальник, спасибо», «гражданин начальник, большое спасибо», — и при любой возможности чем-нибудь да отблагодарит. Вообще-то у них в зоне все есть, буквально все... И денег полно и водка...

...Что еще хочу сказать тебе про интеллигенцию?

Народ в большинстве своем неосторожный и поэтому опасный. И в газетах, и в книгах, и по радио говорят — в какое время живем! Какое у нас окружение, как внутренние враги только и ждут, где бы мы свою слабость обнаружили. Ни на минуту нельзя было терять ни чувство ответственности, ни осторожность. И ко всем счет был сдин. Вот тебе, пожалуйста, маршал авиации Ворожейкин, боевой генерал, войну прошел, а после войны получил двадцать пять лет, и жене его Александре Александровне тоже двадцать пять лет впаяли. За что? Дело было после войны, умер кто-то из очень больших людей, очень, ну и похороны, как полагается, торжественно, скорбно, с высокими почестями... А Ворожейкин возьми и скажи: «Это, говорит, что, вот когда Сталин умрет, вот это будут похороны!» Все! Хоть ты десять раз маршалом будь, а за такие слова никто тебя по головке не погладит. Никто в бога не верит, рано или поздно мог, конечно, и товарищ Сталин умереть, но зачем говорить об этом да еще при людях? Зачем? Мог он от этого высказывания воздержаться? Нет, ты мне ответь, мог или не мог? Я это специально спрашиваю, а то любят теперь вину на других сваливать, кто-то там виноват... Да никто не виноват! Кто тебя за язык тянул? Для тех, кто любил товарища Сталина и не мыслил себе жизни без него, а это был весь наш народ, такое высказывание было оскорбительным, и отвечать за него надо было по всей строгости. Кого тут винить? Да, но маршал как никак, и обошлись с ним по справедливости: как только товарищ Сталин умер, сразу его выпустили, буквально, как говорится, на следующий день. Три года только и отсидел, это из двадцати-то пяти! Я тебе таких примеров сколько хочешь могу привести. И далеко

ходить не надо. Вон видишь, наискосок особняк графа Витте, премьер-министром был при царе, министром финансов. Говорят, это он винную монополию в России ввел, до него кто хотел, тот и гнал и для себя и на продажу. Но речь о другом. Был в его особняке устроен Институт охраны здоровья детей и подростков, а во время выборов, естественно, агитпункт. И вот комендант этого особняка увидел, как к резной, грушевого дерева двери, чуть ли не лаком покрытой, прибили гвоздиками фанерку: «Избирательный участок номер... по выборам народных судей и заседателей». Увидел это дело комендант и в истерику: «Какой дурак повесил?! Убрать немедленно!» Сам же дощечку эту фанерную и сорвал. А заведующий избирательным участком был очень серьезный товарищ из профсоюзов. И пришлось этому коменданту отвечать сразу по двум статьям: и за клевету на советские профсоюзы, и за попытку сорвать избирательную кампанию по выборам народных судей и народных заседателей.

Была с Витте еще одна история. В фармакологическом институте аптекарей готовят. Не помню, с пятого или с четвертого курса паренек, бледненький такой и вида жидковатого, прочитал два тома воспоминаний этого самого Витте... Три тома, говоришь? Он два прочитал, третий том не фигурировал. И вот под впечатлением от прочитанного стал хорошо отзываться о Витте, а время было суровое, пятидесятый год. Обвинили его в пропаганде монархических идей. Так он еще спорить стал... Это тебе только по одному особнячку графа Витте пройтись, так историй не на один вечер хватит, а если про Дом политкаторжан вспомнить? Кто-то из наших прикинул, что из ста сорока двух квартир были выявлены и обезврежены сто тридцать четыре... Сам помню, как за ночь по пять машин на этот дом в наряд выходило... Ты что, «эмочки», легковые...»

VII

Низменное положение бывшей столицы империи лишает жаждущих сполна и разом лицезреть ее грандиозность и величие той удобной и возвышенной точки, на каковую наравне с Парижем и Москвой и Санкт-Петербургом с полным правом мог бы рассчитывать. Приспособленный к обозрению как бы снизу, город стремится подавить созерцателя не только необычайной высотой шпилей и вознесенных к небу громадных куполов, не только обилием и величию колонн, тесанных из цельного камня, литых из меди и чугуна, сложенных из мрамора, гранита, пудожского камня или какого-нибудь афганского лазурита, и даже не звоном медных колесниц в подоблачной выси, способным остановить дыхание у зазевавшегося путника...

...Летят над городом кони, лишь на мгновение касаясь невесомыми копытами величественной арки над темной площадью или фронтона мельпоменова храма, чтобы оттолкнуться от поднятых в поднебесье камней и продолжить свой вечный полет...

Не зря расставлены по городу кони, смиренные державными всадниками или замершие в сильных руках нагих атлетов, не смущенных ни морозом, ни дождем, ни ветром. Взнузданные, укрощенные кони на мосту, некогда стоявшем на границе города,— приветный знак входящему в столицу из архангельских, вологодских и ярославских краев!..

Много красот и символов собрала столица под своим тусклым небом...

Нет, сердце истинного знатока и ценителя прекрасного и в иных городах и в иных даях найдет немало колонн, немало парящих в недостижимой вышине ангелов. Арки, шпили, дворцы, соборы щедро изукрасили множество горделивых столиц, только где еще, кроме разве что Рима, вы окажетесь в плену удивительных по тонкости

замысла и верности исполнения каменных ансамблей, составленных из причудливых сочетаний пышных дворцов, безбрежных площадей, бессчетных мостов, обелисков, скверов, искусно соединенных разнородных зданий и зданий сходных, как близнецы, зеркально отражающих друг друга по разные стороны одной улицы...

Тем удивительней и загадочней, что в самом сердце города, бывшем и пуповиной его в первые годы со дня основания, образовалось пустынное пространство, унылое, как безлюдная сцена с недостроенной декорацией, именуемое ныне площадью Революции. Устроенный на площади необъятный сквер не привлекает граждан ни обилием света, ни чистым ветром, свободно летящим сюда с Невы, ни простором, ни уединением... Одной стороной площадь выходит прямо на набережную перед огромным мостом, в семь прыжков перекрывающим Неву в самой широкой ее части, с двух других сторон обегает площадь летящие с крутизны моста трамваи, и лишь четвертой стороной ложится площадь к подножию двух огромных зданий, вытянутых в одну линию, как бы продолжающих друг друга и в замысле как бы предумышленных к соединению, да вот уже тридцать с лишним лет так и оставшихся разъединенными проемом, ничем не заполненным.

Обращенные фасадом к площади, два исполинских здания символизируют собой разногласие двух эпох, а равно и паралич административной решимости в приведении их к единству: весь открытый ветру и свету, из прямых линий и строгих плоскостей, отринув мишуру украшений, не обремененный подробностями, геометрически ясный фасад Дома политкаторжан, как ласточкиными гнездами, облеплен балконами на верхних этажах, а на этажах ниже слиты балконы в трибуны-террасы, будто знал рисовальщик, как станут тосковать обитатели этого дома в замкнутом пространстве своего заслуженного мукой и каторгой жилища, без сознания возможности в любую минуту шагнуть на балкон и бросить в толпящийся внизу, жаждущий света и правды народ живое, яростное слово, зовущее на борьбу, на подвиг, на самопожертвование... Иное дело — дом рядом, как указано в новейших путеводителях — «дом повышенной монументальности», замысленный и осуществленный где-то в середине истекающего столетия. Изукрасив фасад великим множеством псевдогреческих колонн, выстроенных в два ряда, и даже поставив один ряд над другим, смелый мастер бросил вызов древним умельцам, способным соорудить, к примеру, один Парфенон, но воздурить его на второй такой же уже не способным. На подновленном языке древних греков торжество новейшей эпохи выражает величественный портик из множества колонн, предполагавшийся центр так и не приведенных к единству разноликих зданий. Вознесенный на громадный и по-своему тоже величественный параллелепипед, портик украшен окнами полуциркульными и привычно прямоугольными, где в духе повышенной монументальности вместо переплета вставлены довольно красивые такие колонны метра по два высотой. Да и руствованный трехэтажный цоколь так же оставляет по себе сильное впечатление. А вот фронтона у портика нет, вернее есть, но неожиданно скромный, плоский, в форме новенькой бескозырки, каковую вы получаете от старшины со склада и лишь начинаете, вертя в руках, размышлять, где и что следует приподнять, а что приопустить, чтобы линия, обегаящая ее плоские края по белому канту, оставляла по себе впечатление приподнявшейся и замершей у вас на голове волны... А быть может, этот плоский фронтон всего лишь арена, на которую так и не вышли наши гипсовые современники, неся в руках знаки доблести и геройства? Несметные числом колонны, покрывающие фасад дома, отделяют один от другого крошечные полубалкончики, на которые при желании и двумя ногами не ступишь, а до соседа, отгороженного величавыми выпуклостями, не докричишься и при пожаре. Впрочем,

жильцам «дома повышенной монументальности» и нравы полагается иметь монументальные, исключаяющие поступки, быть может, и дозволенные для некоторых лиц в настоящем, но предосудительные с точки зрения будущего. Эпоха монументальности кончилась прежде, чем Дом политкаторжан в соответствии с монументальностью замысла должен был утратить свое исконное лицо и стать симметричным отражением левой части сооружения, упирающегося еще двадцатью восемью колоннами в бывшую Большую Дворянскую улицу, ставшую в пору строительства Дома политкаторжан проспектом Крестьянской Бедноты, а в пору строительства «дома повышенной монументальности» переименованную в улицу Куйбышева.

Так и остались эти два дома стоять рядом, да не вместе, поскольку торцовая сторона Дома политкаторжан обращена к «дому повышенной монументальности» некоторого рода округлостью, каковую легко принять за сжатый кулак или семизтажную боевую рубку какого-нибудь бронепалубного крейсера времен Октябрьской революции...

В портике, вознесенном над площадью, впрочем, как и в кубе, на котором он покоится, разместился проектный институт, не сумевший довести до ума свои собственные хоромы и теперь рассылающий в ближние и дальние края чертежи для дальнейшего устройства не занятых еще или уже очищенных от старых построек мест...

Как же это случилось, что площадь Революции в центре города, прославленного гармоническими ансамблями строений, оказалась ареной столь наглядной двусмысленности?

Впрочем, пора оставить привычку задавать вопросы истории, если ответ, того гляди, придется держать самому.

За трамвайными путями, убежав с площади, спрятался за деревьями и высокими кустами сирени причудливый, как дорогая игрушка, исполненный в самом модном для начала века стиле особняк любимой балерины великого князя. Сам же великий князь, поддерживая тесные узы не только с Терпсихорой, но и с Евтерпой, почти обессмертил свое имя, подарив простому народу замечательную песню «Умер бедняга, в больнице военной...» и оставив людям более тонких чувств и вкуса романс «Растворил я окно...». Его помпезный особняк — последнее в столице строение царствовавшей фамилии — по праву занят Институтом по изучению мозга и прячется за Домом политкаторжан, неподалеку от заключенной в кирпичный футляр избышки основателя города и в семи минутах неторопливой ходьбы до особняка известной балерины...

Другой угол площади упирается в парк, где за прозрачными кулисами высоких деревьев едва виднеется памятная всем арена, где белой ночью под утро на 13 июля была сыграна без зрителей одна из самых знаменитых трагедий, потрясшая души современников и погрузившая отечество на многие годы в молчаливое оцепенение.

Могучая, как крепость, кирпичная подкова заняла нынче Кронверкский плац, где в соответствии с вдохновенно сочиненной и предписанной к исполнению самим государем процедурой были подвездены гражданской казни и шельмованию 97 офицеров, дерзнувших усомниться в том, что цари поставляются от Бога, и возжелавших сообщить незыблемый смысл словам «законность» и «справедливость». Изможденные полугодовым заточением, страшно изменившиеся, но без трепета и даже с торжеством шли они к своей судьбе в виду осевших и пообвалившихся земляных валов, на которых теперь заканчивалось строительство помоста с двумя столбами и перекладиной для пятерых, милосердно избавленных государем от четвертования и помилованных к повешению. Они видели, как какой-то молодец, ухватившись за петлю почти готовой виселицы, повис, пробуя крепость веревки, с которой всего через час после казни снимут облаченных при жизни в белые саваны покойников, а придушенная Россия будет

болтаться еще невесть сколько.. Государь, открывая новую эпоху в истории мелочного деспотизма, чувствуя себя наследником и продолжателем не знавшего мелочей Петра, не только начертал план расположения войск во время казни, но и предписал: кого и когда выводить, кому за кем идти, по сколько конвойных на преступника определить, кому приговор читать да сколько колен похода бить для вящей строгости, когда все уже будут на местах...

Дымились костры, готовые принять и обратить в пепел покрывные мундиры героев, спасших отечество от иноземного посягательства, да не сумевших уберечь от доморощенного тирана...

В этот утренний час не было зрителей у этой, быть может, самой пышной из всех казней, что знала и помнила Троицкая площадь и ее окрестности. Лишь богопомазанный устроитель зверского спектакля не спал в Царском Селе, получая каждые полчаса от запаренных скачкой гонцов сведения о том, как идет премьера...

VIII

«...исполнителя я только в Новгороде видел, вечно пьяный ходил...»

IX

Издревле в память о пролитой крови, в память о подвиге человеческого духа, презревшего деспотизм частной жизни, ставил народ кресты, часовни, храмы...

Вот и здесь, между бывшим Кронверкским плацем и площадью Революции, тогда все еще Троицкой, в 1906 году, надо думать, по недосмотру лиц, призванных сберечь душевный покой самодержавных правителей, поднялся храм, храм милосердия, госпиталь, геометрическим рисунком повторивший расположение выстроенных в два кара гвардейских и армейских офицеров, приговоренных к ссылке и каторге.

Притупилося недреманное око и духовных пастырей, если с высокой стены госпиталя смотрит на нас Владимирская богоматерь, смотрит карими глазами княгини Волконской по прихоти юного Кузьмы из Хвальинска, отринувшего тысячелетний византийский канон, предписывавший изображать заступницу за род человеческий светлоокой.

Смотрит Владимирская богоматерь в умилении сердца, укрытая копотью и пылью от глаз борзых холопов, готовых свою безмозглую преданность чему угодно и кому угодно, свой единственный капитал, поддержать и приумножить доносом и на самую богородицу...

X

«...Из всех этих арестов, обысков мало что запомнилось. Думаешь, это все неповторимые драмы? Ничего подобного, все одинаково. Берешь управдома, дворника, они же проходят как понятие, пошлешь узнать, дома ли представляющий интерес гражданин или гражданочка, потом уже с этим же управхозом идешь, на его голос люди открывают спокойно, хоть и ночь... Были, конечно, и неприятные случаи, стрелялись люди. Звоним: «Откройте!» — а там выстрел. С одной стороны, конечно, брак в работе, а если с другой посмотреть... Ну, был бы он ни в чем не виноват — зачем стреляться? Ко мне постучись хоть ночью, хоть утром, я же не буду стреляться, и ты не будешь... В коммунальных квартирах работать было трудней, особенно в больших, приходим, а нужного человека нет. Что делать? Звонит старший дежурному по управлению, по оперативной связи, так и так... А что тот может сказать, войди в его-то, дежурного, положение. Только одно и скажет: «Вляпались, вот и сидите, ждите!» Это уже называется — засада. Один раз мы так в засаде два дня

просидели, а дело-то было ерундовое, библиотекаряшу какую-то брали. Тогда порядок был какой? По всем библиотекам рассылают списки: такие-то и такие книги из обращения изъять, сдать по акту или уничтожить. Срок давали — двадцать четыре часа, потом добавили, но больше семидесяти двух часов, то есть трех суток, все равно не давали. То, что на полках стоит, это просто сняли и ликвидировали, а то, что на руках, что выдано?.. Вот и бегали они как зайцы, иногда за одну ночь нужно было множество людей обежать и все собрать. А народ какой? Он взял книжку в библиотеке и поехал с ней в отпуск или в командировку, в вагончике, чтобы не скучать... На дачу летом с собой тоже библиотечные книги вывозят... А то, бывало, и в больнице человек, а книга у него дома. Так надо было его в больнице найти, разыскать, умолить, чтобы ключ дал да объяснил, где искать... Один даст, а другой еще подумает... Если срок установленный прошел, а книги, внесенные в список, не заактированы, то привлекали библиотечных работников. Вот мы такую заведующую библиотекой и ждали два дня, она моталась куда-то в Сиверскую или Вырицу, пыталась найти какие-то журналы, а мы сидели в засаде и ждали. Тоска зеленая. Чтобы ты понял трудность положения, я тебе скажу, что по натуре я человек общительный и не злой. Я делал все культурно, вежливо, никогда ничего себе не позволял, я знаю, может, другие и вели себя недостойно, но это другие... Так вот общение у нас, у сотрудников, между собой как бы не поощрялось, не приветствовалось, думаю, что и на верхних этажах так же. Приказали — выполнил, доложил. И не маши языком. Ну, не молча служили, живые же люди, но разговоры тоже были с оглядкой, ну, рыбалка, это сколько угодно, футбол, это пожалуйста, «Динамо» тогда наше отлично играло, и кино, кому какие артисты больше нравятся, тут даже споры были, одни за Лемешева, другие за Козловского, это все равно как одни за «Локомотив», большие костоломы были, а другие за «Пищевик». Разговоров таких на два дня сидения носом к носу, знаешь, как-то маловато, а молча сидеть тоже вроде бы и неловко. Когда люди вместе соберутся и молчат, это первый признак вражды или тупости, нормального же человека корезит, если молча вот так сидеть. Вот и решай задачу: с одной стороны, немногословие, сдержанность — это у нас поощрялось, а с другой-то стороны — и дураком деревенским, неотесанным тоже выглядеть не хочется... Не любил я этих засад, будь они прокляты, вот как раз из-за этих молчаний да разговоров каких-то неестественных...

С телефоном был смешной случай. Вдруг по нашему телефону оперативного дежурного какие-то девчонки стали названивать. Я сидел помощником дежурного. Звонок. Я спокойно отвечаю: «Здесь Сережи нет, вы ошиблись». Опять звонок. «А разве вы не Сережа?» «Нет, не Сережа, девочки, вы мешаете работать». Хихоньки и какой-то дурацкий разговор вроде того: «Усы у вас есть?» Я терпеливо их переспросил, куда звонят, по какому телефону, они называют наш. Тогда я им говорю: забудьте этот номер раз и навсегда и никогда больше не звоните. А они говорят: «А как же мы услышим тогда ваш голос?» А голос у меня действительно красивый, не они первые заметили. Я и пою прилично, в самодеятельности у нас украинские песни лучше меня никто не мог... «Солнце низенько, вечер близенько»... Но возвращаюсь к телефону. Опять девочки звонят и продолжают высказываться о моем голосе. Я им тогда уже строго говорю: или прекратите эти звонки, или сниму у вас телефон. Прошло часа два-три, опять звонят, адрес у меня уже к этому времени был, послал «эмочку» за ними, привезли. Велел их в коридоре посадить. Сидят. Вышел специально на них посмотреть. Лица нет, бледные, от страха даже плакать не могут. Да, думаю, ваше счастье, что я не Казбек Иваныч, от него бы вы так легко не отделались... Ничего с ними делать не стал. Подписал через три часа им пропуска и выста-

вил на улицу. Даже разговаривать не стал. Был у Казбека Иваныча такой прием по профилактике. У нас же и профилактика была. Вызываем человека, никаких ему обвинений, ничего не доказываем, а просто по-человечески говорим: «Вам, товарищ, нужно быть скромнее вот в такой-то и такой-то области. Мы вас предупреждаем и надеемся, что это у нас разговор первый и последний. Можете быть свободны». Я заметил, что Казбек Иваныч приглашает на профилактику, а часто даже и не разговаривает. Продержит в коридоре часа четыре-пять и отпустит. Один раз я его так, между прочим спросил: опять не успели по профилактике побеседовать, рабочего дня прямо-таки не хватает. «Нет,— говорит Казбек Иваныч,— у меня такой метод. Что я ему могу сказать на беседе? Очень мало: не болтай, не мешай работать такому-то, отстань от жены такого-то... А представь-ка, сколько у него самого мыслей, чувств и подозрений, пока он четыре часа у меня в коридоре простоит или даже просидит? Он же всю жизнь свою переберет по косточкам, он же все вспомнит, тысячу раз покается, столько всего передумает, что я ему и за десять бесед не расскажу. И что самое главное, он уходит и понятия не имеет, что я знаю, а чего не знаю. Он уходит обязательно с предположением, что я знаю — все! Для этого я его и вызвал». Удивительный человек был Казбек Иваныч, резкий, крутой, никого не жалел и себя не жалел, и очень умный. Когда в ночь по пятьдесят — двести человек брали, обязательно вечером совещание, инструкция; все хорошо проводили эти инструкции, и начальники отделов, и замы, а Казбек Иваныч лучше всех, после его накачки крылья вырастали...

Рассказать, как дневали и ночевали в управлении, как по неделям меня дома не видели? Начнешь рассказывать, только и оглядывайся, как бы лишнего чего не сказать. Ведь не только мы, но и те, кто на свободу выходил, тоже подписку давали о неразглашении. Ничего разглашать нельзя, все запрещалось, и про ход следствия, и про режим в лагерях, и о транспортировке, и вообще... Я думаю, что пересуд по пятьдесят восьмой, когда один срок кончался и тут же второй подкидывали, как раз и делался главным образом для неразглашения. Если выжил и вышел, разве удержится человек, чтобы лишнее не сболтнуть. Может быть, «лишнее» как раз и есть самое главное в его жизни и в моей, вот и получается, что на нашу с ним жизнь разом один крест поставлен. Он — враг, преступник, а я? Мне-то почему надо свою жизнь таить?

Возьми Валентина. Мать его была крестной моей жены. Кончил резинотехнический техникум и был в тридцать пятом году взят в НКВД, дневал и ночевал в «большом доме», на повышение пошел на Сахалин, там до подполковника дорос. Слышишь, подполковник!.. Рюмин с подполковников на замминистра пошел, так-то... Что о Валентине можно сказать? Человек честный и холодный, старательный, добросовестный и несколько ограниченный... Приехал с Сахалина тихо-тихо, ни погон, ни пенсии, пошел на «Красный треугольник» помощником мастера, потом мастером сделали, умер, кажется, уже замом начальника участка. Сколько раз я к нему подъезжал, так и не раскололся. Даже мне ничего не сказал. От врагов должен быть секрет, это я понимаю, а нам-то что ж друг от друга таиться, мы же — одна семья, все свои... Или вот ордена. Сейчас у нас какой, шестьдесят шестой год, так? А несколько лет назад была затея — ордена отбирать. Выходит, зря их давали? Нет, зря у нас ничего не дают! На персональную пенсию тоже наши стали подавать, из райкома такой формальный, бездушный ответ: «Служба в органах не является привилегией...» Всю жизнь была почетом окружена и любовью всего народа, а как к пенсии — так «не является». Скажи, справедливо, а? Помню, комендант был в «большом доме» до войны, четыре ордена Красного Знамени было, длинная такая фамилия еврейская. Полной фамилией любил расписываться, а квитанция о приведении

в исполнение вроде квитанции подписки на газету или журнал, небольшая, и места для подписи мало, не больно-то разбежишься, так он умел всю свою фамилию до последней буквы уместить. Много таких квитанций подписал, а потом и ему подписали... Что ж он, не знал, что работа его бесследно не проходит, что и сам он на краю, по лезвию ходит, рискует... и после всего это «не дает оснований для привилегий...».

В целом я судьбой своей доволен, пусть чинов не хватал, как говорится, зато жив...

Говорят — каждый труд почетен. Говорить-то говорят, а слышал ты где-нибудь, чтобы песня была, ну, хотя бы о конвоире, о конвойной службе? И стихов о них детки на праздник не рассказывают, и в театре постановок нет. Хотя одну пьесу про перековку на Беломорканале припоминаю, на жизнь не похожа, но в воспитательном смысле очень полезная, руководство ее сильно поддерживало, во всех театрах шла.

Я за театральной жизнью не очень внимательно слежу, больше всего с ребятами, то в ТЮЗ, то на оперу пойдешь, то «Щелкунчика» посмотришь, сильнее всего мне «Спящая красавица» нравится, три раза смотрел... А вот за одной фамилией режиссера, Жулак фамилия, очень внимательно слежу. Он у нас работал. Года четыре во внутренней охране был, потом недолго на оперативной работе, и все время в самодеятельности, постановки к праздникам, сценки смешные, так и пошел-пошел, в театральные институт поступил или строили, уж не знаю, но отучился, все как полагается... Встретил я его, был такой плюгавого вида и морда, как у злого мопса, и смеялся не как люди, а как воробей охрипший: хри-хри-хри... А тут гляжу: веселый, счастливый, пальто нараспашку, прямо на улице руки раскидывает: «Здравствуй, друг!» — и смеется так, что прохожие оглядываются, для них и смеется... Я как-никак боевой штык, мне завтра, может быть, с врагом лицом к лицу опять встречаться и незачем совершенно на шумной улице вот так вот на себя внимание обращать. Во мне хоть и более ста восьмидесяти сантиметров, но я умею быть незаметным. Но это к слову. «Ну, как вы там?!» — Жулак интересуется. Здравствуй.. Что значит «как там?»? Или он вправду ждет, что я ему сейчас оперативную обстановку буду докладывать, или мероприятия «по режиму», или кадровые новости? Я его спрашиваю: «Уточни — где там и что тебя конкретно интересует?» Смеется. «Меня, говорит, вспоминаете?» Здесь разговор другой, конечно, говорю, следим внимательно... Он на цыпочки приподнялся и мне прямо в ухо: «Пасете, значит?» — и опять смеется. «Брось, говорю, про свои успехи расскажи». Шекспира он постановку делал, то ли «Сон в летнюю ночь», то ли «Двенадцатая ночь». Я его спросил на подначку: из нашей жизни ничего не хочешь поставить? «Нет, говорит, у меня дарование комедийное». Да, пожалуй, с комедийным дарованием надо что-нибудь из колхозной жизни или про ученых... Потом он еще «Ночной переполох» ставил спектакль. Наши обратили внимание, что ему нравятся названия, где слово «ночь» присутствует, словно память о тех временах, о молодости своей, когда ночью самая-то работа и была».

XI

«...Ты за окно посмотри... Нет, белая ночь для чего-то людям нарочно дана, может быть, это еще до конца и не понято.

Я своего первого как раз в белую ночь, в конце апреля доставлял. Работы было много, с транспортом тогда еще туго было, и кадров не хватало, дело прошлое...

Арест как проводится? Все зависит от личности, которую нужно арестовать, и от того, что можно найти у этой личности при аресте. Если он живет в какой-нибудь комнатухе, то двух человек вполне

достаточно. Ну, понятой еще. Если апартаменты или дача, дворец где-то, там целая бригада работает. Тут бригада не понадобилась.

Самый мой первый, даже фамилию помню, все помню до мельчайших подробностей, хоть сейчас с завязанными глазами пройду весь маршрут... Фамилия? Не суть важно, все у него было, была и фамилия. Шатен, рост средний, глаза стального цвета, глазницы глубокие, фигура, склонная к полноте, возможен темно-синий костюм, пиджак двубортный, из характерных примет — подергивание плечом, жест такой, будто птица ему на плечо села, а он хочет ее толчком с плеча согнать. Лицо круглое, подбородок скошенный, рот прямой, губы узкие... И так далее. А ведь сорок лет почти прошло! С трепетом приступал к самостоятельному заданию и ответственно. Волновался, конечно. Вообще-то мне как бы было не по чину идти старшим на арест, но, я говорил, народу не хватало, и хотелось все сделать самым лучшим образом...

Времени было в обрез, а я все-таки вырвался днем и успел маршрутик пробежать.

Что запомнилось? Днем, когда маршрут смотрел, около дома шестьдесят один на канале Грибоедова сильно гороховым супом пахло. А когда уже ночью его вел, на этом же месте, у дома шестьдесят один, вдруг грибного супа сильный такой запах... И оба раза подумал: вот она — мирная жизнь, люди суп варят, а я по приказу с оружием на врага иду...

Адрес такой: Большая Подъяческая, дом девять, вход с улицы, но неказистый, справа от подворотни, которая прямо посреди дома, небольшая дверь, вот тебе и парадный подъезд. Вошел, сразу направо три ступеньки вниз, дверь в дворничью, потом площадка, поворот налево, и сразу начинается довольно широкая лестница. На лестничной площадке два окна во двор, подоконники низкие. Мотаю на ус, бывало, что в окно делались попытки... От дома до Подъяческого моста через канал сто двадцать пять шагов, потом направо до Кокушина моста две подворотни, дворников я предупредил, чтобы были закрыты, от Кокушина моста до Сенного одна подворотня, от Сенного до Демидова тоже одна... Вполне приличный маршрут, вести можно. Самый ответственный участок — это от канала до Мойки, от Демидова моста, считай, до Мойки четыреста сорок шагов и семь подворотен, два сквозных парадных подъезда и четыре двойных двора, один с выходом на Столярный переулок, особенно нехороший. Ладно, вижу, что тебе неинтересно. Короче. Приходим. Третий этаж, этажи высокие, квартира старая, звонок интересный, сейчас таких нет, латунный такой набалдашничек в латунной такой луночке, за набалдашничек потянешь, в квартире молоточком по колокольчику... А были еще «Прошу повернуть!», металлические, вроде велосипедных. Два этих типа звонков самые распространенные в городе были, хотя приходилось и стучать. Стучать я не любил, другое дело звонок, культурно, аккуратно и нет лишнего шума.

Звоню. Открыли быстро, хотя была уже половина второго ночи. Я говорил, да? Открывает мужчина, роста небольшого, на голове платок носовой уголками подвязан, склонная к полноте фигура или не склонная, не поймешь, морда вытянутая, трусы, майка, на ногах валенки со срезанными верхами... Голова оказалась после бритья платочком завернута, в трех местах порезался. Смотрю на него и ничего не понимаю, зацепиться не за что. Неужели квартирой ошибся, перепутал от волнения? А то, что, кроме этого типа, еще в квартире полно народу может быть, к дверям сейчас припади, в голову не придит. Салажонок... Это мне сейчас смешно, а тогда было не до смеху. Стыдно. Хлопнет сейчас меня дверью по роже, и что тогда? А сердце подсказывает: нет, не ошибся... нет, не ошибся... На всякий случай спрашиваю: «Такой-то и такой здесь проживает?» Он молча показывает рукой на дверь, где за матовым стеклом с морозными на-

веденными цветами, красивый узор, свет горит... А квартира интересная: прихожая вроде зала, а из нее шесть дверей и никакого коридора нет. Открываю, вхожу. Комната большая, но пустынная, кровать железная, этажерка с остатками пиццы, на двух стульях чертежная доска положена вместо стола. Полное впечатление, что хозяин выехал, и совсем недавно. У меня душа упала. Опоздал! Пусто! Нет никого... А ведь только что был: койка помята, жильем пахнет, окурки, бутылки пустые, все на месте, а человека нет!.. Хорошо ты, братишка, службу самостоятельную начинаешь, бегать и бегать тебе еще на поводке... Но тут входит этот самый, с платочком на голове, дверь прикрыл и объясняет: я такой-то и такой... Представляешь! Вот как судьба иногда поворачивается! Ну, жилище такое, что обыск проводить одно удовольствие. Пока он одевался, мы уже все бумажки заполнили, протокольчик подбили. Оружие есть? Нет. Литература есть? Нет. Письма, ценные бумаги, деньги?.. Нет, нет, нет.

Только на этом впечатления не кончились.

Одевается мой крестник, смотрю — глазам не верю: костюм темно-синий, пиджак двубортный, фигура, склонная к полноте... И рост действительно средний. Когда я там, на лестнице, со своей высоты на него смотрел, конечно, он мелковато выглядел, а тут, когда я на стуле сидел, за столом его чертежным согнувшись над своим протокольчиком, смотрю — рост средний! Оделся он и вдруг плечом разраз, будто действительно птица ему на плечо села и он ее согнать хочет! А для меня это как расписка, как последний знак — тот самый! Не сомневайся, брат, шагай смело! Полный вперед! Выходим.

Направо на Садовой пожарная каланча, налево за каналом Исаакий — золотой шатер. Он хотел направо, на Садовую, а я его пускаю по каналу, у меня уже вымерено. Набережная чем лучше? Пути отхода вдвое подрезаются, проходных дворов, парадных, переулков, перекрестков вдвое меньше, чем на любой улице. А как он увидел, что я его через Подъяческий мост не перевозжу, а по этой стороне пускаю, потому что на той стороне подворотен больше, хотя путь и короче немного, он поворачивает ко мне растерянный взгляд: «Отход подрезаешь?» Я ему на это: «Не разговаривать», — а сам удивляюсь. Разговорились. И что оказалось! Оказался из наших... Не совсем из наших, но из прокуратуры... Почему он и побрился заранее, и в комнате пусто было, и семья от него как-то уж очень вовремя ушла. Явно человек готовился. В воду? Зачем ему в воду? Не смейся. Это сейчас — вода, а тогда вдоль всей набережной барки с дровами, плашкоуты с кирпичом, садки рыбные, лодки, плоты, черт знает что, так что свободной воды и посерединке-то было немного, не то что у берега...

Иду как-никак за старшего, волнуясь. Со мной всего один вертухай из деревенских. В смысле физической силы вроде и ничего, а в смысле соображения тут уж только на себя вся надежда.

Топаем по каналу, сзади вертухай подковками по белым пудожским плитам чиркает, а мы рядом, вроде как приятели или коллеги, только уж он-то поопытней меня был, куда там!..

Плечом, знаешь, отчего дергал? Пуля у него была в плече, испытывал неудобство. Говорил, что пуля лично от атамана Григорьева. Я припомнил, что кто-то у нас рассказывал, как метко Григорьев стрелял, ну и ввернул ему. Он мне возразил: «Стрелял бы, говорит, без промаха, так и пожил бы подольше...» И рассказал, как Николая Алексеевича Григорьева лично свалил с одного выстрела Махно Нестор Иванович в отместку за Максюту...

Вышли к Певческому мосту, остановились покурить, дослушать его хотел, он мне еще два случая поучительных привел, как доставлять без эксцессов. Он в штатском, мы в штатском, стоим, беседуем. Мост, вода, белая ночь... Может, и Пушкин с Онегиным на этом месте стояли, теперь мы стоим...

Молодость... Все в жизни важным кажется, все новое, все запоминается. Этого первого я часто потом вспоминал, не потому, что первый, не такой уж он в конце-то концов и первый. По правде-то говоря, первый мой, самый первый, застрелился, когда мы позвонили, а вот советы этого, с плечом простреленным, дельными оказались. И одно как бы жизненное наблюдение, рассуждение, тоже до сих пор вспоминаю, к специфике нашей не относится, можно и рассказать.

Он был старше меня, опытной, видит, что салажонок не в себе, напряжен, решил обстановку разрядить. Я, говорит, тоже сначала боялся палец с курка убрать, а потом бабахнул раз сдуру, чуть ногу себе не прострелил, да еще губы семь суток получил. После этого поумнел и успокоился. Теряешься отчего? Людей-то вон какая прорвища, и все разные, у всех свое на уме. Каждый со своей повадкой, физиономией, скрытыми мыслями, до которых другой раз так и не докопаешься... Как тут не растеряться! Я с ним согласился. «А вот пожил, посмотрел, побеседовал с людьми и так и на допросах и понял, что не такое уж и пугающее в людях разнообразие. Не так уж они друг от друга и отличаются. Из чего все инструкции исходят, наставления, методички? Да из того, что подавляющее число людей в одинаковых ситуациях ведут себя похоже...» Заметил — не одинаково, а «похоже». Это он меня от шаблона предостерег. «А тех, говорит, которые действительно на других не похожи, к которым общий подход не годится, их за версту выдать — это раз, и по пальцам пересчитать — это два. В массе своей каждый человек есть хочет, спать хочет, жить хочет... Вот и соображай!»

Тогда я еще понять не мог, какой ключик передал мне мой первенький. В общем, был я тогда еще под впечатлением от человеческого многообразия, а со временем слова его всплыли у меня в памяти... Верно он подметил: каждый человек хочет есть, спать и жить...

А вот и конец этой истории с одним неизвестным. Докурили, это уже на Певческом мосту, я его спрашиваю: «Смешно получается, вроде у вас доставляю, а вы меня еще и натаскиваете. А?» Тогда он мне и открылся. «Я, говорит, когда увидел, что машины нет, что поведут меня, мелькнула мысль: прихлопнет меня эта оглобля с детским личиком... Без понятых же пришли...»

Тут я себя по лбу хлопнул: мать честная! От нервного напряжения так лопухнулся. Салага и есть салага!

Зашли тут же во двор Певческой капеллы, нашли укромное место, я планшетку достал, он сам за понятого расписался. Посмеялись, конечно, а потом уже серьезно потопали... Сдал я его без сучка без задоринки и больше наяву, как у нас говорится, не встречал. Интересный человек, образование высшее. А многие скрывали, даже справками запасались, что у них пять-шесть классов всего. А ребята потянут, разматают, глядишь — высшее. И чего скрывать? Все таятся, таятся, а потом удивляются, что к ним так строго. Я еще понимаю, мне свое неполное нечего выставлять... Кстати, у Пильдина шесть классов всего, а смотри-ка, я пропускаю стою проверю да, как бобик, территорию по три раза обхожу, а он в кабинете сидит с тремя телефонами, и это с шестью классами. Кое-кто у него в кадрах есть, я даже точно знаю кто...».

XII

«...Как в органы попал? Да по-смешному, и опять же белая ночь, крестная моя!

Нельзя сказать, что я судьбой к концу двадцатых годов был обласканный, но и в обиде не был. Родом я из Порожка, ходил пацаном на заработки в Ораниенбаум, там все больше в порту перехватить какую-нибудь работенку удавалось или на станции. Порт и

станция там на одной территории. Так к флоту и прибилсь. А какой в ту пору флот? Даже Балтийское пароходство чуть не через год вывески да названия меняло и не было сильным звеном в системе нашего водного транспорта.

Я и на «Декрете» был, и на «Франце Меринге», и на «Софье Ковалевской», парходики, надо сказать, изношенные до невозможности... Что я мог видеть? Кубрик, трюм, машина, палуба. Многого не увидишь, а были и легендарные успехи, и легендарная борьба, и факты, до сих пор составляющие украшение. Как «Ермака» после ремонта встречали!.. А каждый новый лесовоз!.. А как гремели «Красин», «Ян Рудзутак», «Смольный»... Все было. Уходят люди, и все забывается...

Тяжелое было положение на флоте, если уж с «морских кладбищ» суда стаскивали и пытались отремонтировать, если вместо кардиффа наш донецкий уголь пошел, и дороже и хуже, если вместо смазки — черт знает что... А с другой стороны, нездоровая бесхозяйственность была налицо... Вот и поплыли миллионы рабочих рублей сквозь пальцы в карманы иностранных пароходных компаний, часть этих денег, конечно, попадала и пролетариату капиталистических стран, мы им работу давали, это факт утешительный, но силы нашего государства от этого крепили слабо. Стали, как говорится, вскакивать гнилые прыщи на теле советского торгового флота. Среди правостова наметился у многих определенный уход в кабак. Пошли разговоры о том, что техническое состояние флота якобы вообще не позволяет выполнять план перевозок без угрозы судам и экипажам.

В ответ на эту капитулянтскую позицию выкинули такой лозунг: когда техническое состояние судов не очень хорошее, когда материальная база старая, тогда возрастает роль социалистической дисциплины. А на ряде судов и на отдельных участках береговой службы развал дисциплины имел место, я сам видел. Навалились всерьез на дисциплину и ответственность, тут и вскрылось, что главная причина аварийности, невыполнения плана перевозок и ремонта прежде всего в разболтанности личного состава и серьезной вине командного состава. С двух сторон и взялись... никто углублять преступную практику, конечно, не позволит. В общем, борьба пошла, как тогда говорили, кто кого.

Я дожидаться, пока история ответит на этот вопрос, не стал и, как только место подвернулось, ушел на берег. Пост у нас был у Толбухина маяка: вахты, дежурства, механизмов никаких таких нет, оборудования, считай, никакого, значит, и вредительству развернуться негде. Жить можно...

Любил я белой ночью вахту стоять, может, самое лучшее, самое светлое время во всей моей жизни...

Дело прошлое, я, с одной стороны, крестьянин, конечно, а ведь, с другой стороны, у меня папаша чайную держал деревенскую. Плохонькая, грязная, маленькая, тесная, вполизбы, а что делать? Сестер шесть штук, а земля — собака ляжет, хвоста не протянет... А всех накорми, всем приданое... Сначала, помню, зимой корзины плели, непосредственно в Петроград отец возил, брали их там здорово, для учреждений... А потом коровенку прикупили вторую, потом и третью. В поле девки какие работницы, но отец их гонял, ходили и за бороной и за плугом как миленькие, а на покос так не с грабелями, а с косой... Я последний был, сестры меня «баринком» дразнили, отец сильно баловал. Детство — вообще-то большая радость, только с детства у меня к крестьянскому обиходу сердце не лежало, я больше склонялся, если можно так выразиться, к пролетариату. В чайной отцовской только на людей ожесточился. Я мальчишка совсем, а на моих глазах сестер щиплют, тискают, отец будто и не видит, а я только что не в драку, даже кусаться насобачился... Уж наелся я «лакейского отродья» на всю жизнь. Нас, может, и раскула-

чили бы, не за такое «богатство» двадцать четыре часа давали, да Надюха к этому времени в суде секретарем работала и жила потихоньку с помощником прокурора Барсовым Андреем Ильичом. Человек он был очень цельный и собранный, здорово потом поднялся. Приходит он раз в суд, а Надюха лежит вот так вот, голову на руки, и льет слезы на какие-то протоколы. Барсов к ней: «Наденька, Наденька, что случилось?..» Струхнул. А та сквозь слезы: «Раскула-ачивают...» Чайную нашу прихлопнули, а самих трогать не стали, обошлось. Когда Андрей Ильич в Ленинград перевелся, Надька еще бывало, к нему наезжала...»

ХІІІ

«...Я заметил, что белой ночью все неустройство жизни будто замирает, наружу не прет, прячется, не видно его, покой и на людей и на природу сходит... В белую ночь даже дождик, ветер сильный, циклоны разные — большая редкость. А погодка питерская, сам знаешь!.. Или взять тишину... Может быть, самая мудрая вещь на свете. Я тогда богом немного увлекался, влюблен был в одну монашенку, так от тишины этой чего только не напридумываешь. Раз показалось: если затаю дыхание, услышу, как от земли к небу молитвы разных людей тянутся, тех, у кого в силу ограниченности сознания уже нет надежды на милость и справедливость на земле. Мелкая волна хлопает у прибрежных камней, а я в этом плеске слышу бабки-покойницы молитву, она подолгу на коврике у киота на коленках стояла и хлопала своим мокрым ртом слова молитвы. Сколько раз я ни пытался слова разобрать, ничего понять не мог, кроме «господи, помилуй...». Дразнил я ее, что непонятно говорит и милости ей не будет. Она зыркнет глазом и пальцем в меня: «Все бог слышит, все слышит!..» Раз, помню, на вахте подумал, что в такую ночь, наверное, отпускает бог из чистилища души праведников, чтобы могли они взглянуть на оставленный ими мир и утешиться: нет праведникам места на земле, их место в царствии небесном, — и представлял себе, как в умилении и скорби неизреченной возвращаются эти души на первых солнечных лучах в свою небесную обитель ожидать Страшного суда...»

Или чайку возьми. Глупейшая, ерундовая птица, в сравнение даже с воробьем не идет, а ночью и они в какую-то другую жизнь погружены, не вздорничают, на камнях стоят, как мраморные слоники на полочке. Взлетит вдруг одна, сделает кружок-другой, покрипит что-то свое и снова на камень... Привык я уже к этим ночным их коротеньким полетам, а тут вдруг одна снялась и пошла, и пошла, все выше, выше... Чайка только на перелете высоко идет, а так у них полеты вроде куриных, а тут — вверх, вверх! И кричит, кричит!.. Ну, думаю, душа чья-то... Только подумал, в этот миг она разом вся красной стала, словно сердце у нее лопнуло, и летит она, кровью облитая, криком исходит и все вверх, вверх, вверх... Ух ты черт, не по себе стало... А товарки ее стоят себе, не шелохнутся, сбизонились, носы подтянули... Поднял к глазам бинокль, а она уже вся белая. Да такая белая, будто внутри ее свет вспыхнул и стала она вся прозрачной, как святая душа, белизной светится... Чувствую, как у меня под форменкой колыхнулось что-то, словно сам я вырвался откуда-то и лечу, лечу, и нет мне ни запрета, ни помех, хочу — к солнцу, а захочу, так и еще дальше! Повел биноклем в сторону в одну, в другую... Вот и судьба моя! Этак кабельтовых в шестисеми что-то на воде болтается. То видно, то не видно. Ветерок легкий прошел, волны нет, а словно дрожь на воде, будто зябка ей... Вроде пропало. Стал опять чайку своюверху искать, сколько глаза ни пялил, как сгинула. На воду смотрю, вроде опять что-то такое... Голова не голова, может, и топляк, дело обычное. У нас двойки тут

стояли. Я Фролову говорю, мы вместе в ту ночь дневалили, схожу, говорю, посмотрю одно дельце. Пошел на двойке, даже поплутал немножко, створы взял приблизительно, а тут снова ветерок, да чуть уже порывистый... Нашел! Небольшой такой буюк. Потянул. Веревка тянется, шнур шведский. Длинная веревка. Мотал, мотал, потяжелело. Вытянул. На веревку пять банок привязано. Банки знакомые, эстонская контрабанда. Банки цинковые, запаяны, а в них деревянный бочонок. Чудесный спирт. Короче, четыре банки я в угольную яму пристроил, а одну понес и доложил. Так и так, обнаружена контрабанда. Доложили выше. Ждали поздравления и благодарности от трудового народа, как тогда говорилось. А оттуда, от лица руководящих товарищей, спрашивают: где еще четыре банки?

Оказывается, это они сами, сукины дети, устроили контрольную проверку нашему посту.

Вызвали меня, и началось. Я стою, только слушаю. Пока из матери в мать меня крестили, было время оглядеться и обдумать, сообразить. «Оборвались», — говорю. «Что оборвалось?!» — орут. «Контрольный груз, говорю, оборвался».

Приумолкли. Задумались. Стали при мне договариваться, как активировать пропажу. Друг на друга вскидываются. Тут один на меня уставился, Пизгун фамилия, человек с большим прошлым. Смотрел, смотрел и говорит: «Как же тебе, сукину сыну, удалось веревочку порвать?» «Зацепилась», — говорю, — за какой-либо предмет на дне...» «Нет, — говорит, — я про другое тебя спрашиваю, ты мне детские глазки свои не топорщи! Этой веревочкой можно барки чалить, как тебе порвать ее удалось?» «Вот так», — говорю и показываю руками рывок. «А мы сейчас посмотрим, как это ты руками такие веревочки рвешь!»

Я не из робкого десятка, а слегка от страха вспотел. Все на меня уставились, а Пизгун за веревкой пошел, принес моток шведского шнура. «Она?» «Она», — говорю. Я и сейчас еще не слабак, а тогда и моложе был, и росту во мне хорошо, кулаком мог гвозди забивать, а сдрейфил. Потянул веревочку руками, а ее тяни не тяни, и вдвоем не осилишь. «На рывок надо, как тогда...»

Стали смотреть, к чему привязать. А к чему в кабинете привяжешь? К несгораемому шкафу не привяжешь, к столу не привяжешь. Печка в углу стояла, за нее не зацепишься... Придумал один к дверной ручке привязать. Ручка мощная, то ли бронза, то ли чугун, дом старинный, дача бывшая, богатая. Ручка вполне солидная. Привязали. Стоят, на меня смотрят. Нет, думаю, меня за рупь за двадцать не возьмешь. «Зря, — говорю, — человеку не верите...» И рванул. От души рванул, себя не пожалел. Можешь себе представить, с одного рывка оторвал ручку вместе со значительной частью двери. Филенку снес начисто. Они онемели, а я смотрю как ни в чем не бывало и говорю для иронии: надо бы к чему покрепче привязать... Что поднялось!..

Думаешь, дело тем и кончилось? Если бы! К угольной яме подойти боюсь. Богатство такое под боком, а хожу, как ангел, трезвый. И нервничаю. Спать не могу. Как аврал угольный, только доглядывай... Как бункеровка, так сердце обмирает...

Все решилось простым способом. Подошел ко мне этот, который решил веревку испытать, Пизгун, и говорит так, будто мы с ним пайщики: «Мне, говорит, надо две банки, остальное не интересует. Не пожалеешь. Видишь пожарный ящик с песком?» «Ну вижу». «Завтра утром раненько-раненько я оттуда достану две банки. Две, понял?» — повернулся и ушел.

Стал я соображать. Попробуй к ящику — меня повяжут. Нехорошо. Не выполню просьбу — тоже плохо. Я не жадный. И спирт этот что мне, торговать? Но, с другой стороны, голову в петлю совать не хочется... Отозвал Фролова, говорю: так и так, есть припасец, но за

мной — глаза. Надо перепрятать. Идешь в долю. Две баночки я перепрятал сам, а на оставшиеся Фролова навел. В назначенный час были они в ящике с песком. Никто Фролова не останавливал. Мог бы и сам все сделать, только осторожность меня никогда не подводила. А крохоборить в таких делах нельзя. Месяц прошел, я уже стал думать, что меня на пушку словили. Нет, вызывают в этот самый кабинет, где я дверь порушил, и спрашивают, как я отношусь к службе в органах. Я отвечаю — как к высокому долгу и почетной обязанности каждого гражданина.

Стали спрашивать. «Главный лозунг периода реконструкции?» Отвечаю четко: «Наступление по всему фронту...» «Что есть смерть для наступления?» Отвечаю: «Огульное продвижение вперед есть смерть для наступления». «Что такое репрессии в области социалистического строительства?» И об этом во всех газетах полно. «Репрессии в области социалистического строительства являются элементом наступления, но вспомогательным». И последний вопрос помню: «Где живет и подвизается наша партия?»

А я как раз знал! «Наша партия живет и подвизается в самой гуще жизни, подвергаясь влиянию окружающей среды». «Чьи слова?» Впору пионера спрашивать... «Слова товарища Сталина».

Переглянулись, головами покивали, полистали личное дело мое тоненькое, и не подмигни мне товарищ Пизгун, я бы, честное слово, никакой связи с ящиком с песком не нашел бы...

Так вот и началась у меня новая судьба, новые странствия. Я же и на Севере был, и на Дальнем Востоке, хоть и немного, встречи были с разными людьми и множество разных неожиданных случаев. Может быть, и не ящик с песком свою роль сыграл. Я за год до того рейсом на Игарку ходил. В Питере безработица, так для порядка вывезли городских, полицейских бывших, проституток и привлеченных за принадлежность к дворянству. Там они все и остались. А рейс был по-своему забываемый... Вообще с моей биографии свободно можно роман писать...

Воробьи-то, воробьи-то расчивикались... Э-э... да скоро и трамвай пойдут. Слово за слово, и ночь пролетела.

Мне чем нравится под праздник дежурить? Под праздник всегда после зимы окна моют, и здесь, на фабрике, и в управлении. А занавески, заметил, не вешают. В стирке они еще, что ли? Только всегда дня три-четыре стоят окна вымытые и без занавесок. Лучшей красоты не знаю, чем хорошо вымытое окно! Будто не в стене, а в душе у тебя чисто и прозрачно. Через чистое стекло и жизнь за окном кажется и ясной, и веселой...

Нет, что ни говори, есть в ленинградских ночах что-то исключительное, мечта какая-то над городом разлита... Тишина. Будто и не было ничего ни худого, ни мрачного, будто все еще впереди, будто жизнь только еще начинается; облака, смотри, тоненькие, как бумага, лягут на землю, как чистые листы, садись и пиши жизнь на белом... А чтобы подумать, что делаем, куда идем, — белая ночь дана. Сиди и думай, не в потемках ночных, не в комнатах прокуренных, а вот так — в тишине и засветло, когда все кругом видно и день только еще наступит...

Это что ж, смена уже снизу звонит? Никак у нас часы с тобой поотстали? Смотри-ка, и вправду стоят!..»

Ленинград, 1988.

ВАДИМ СИКОРСКИЙ



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Об истории

Читаешь ты про Иоанна Грозного,
стеною неприступною времен
от царского допроса перекрестного,
от плахи и от дыбы защищен.

Вдруг спросят сыновья твои, отличники,
что было на Руси в то время там,
ты скажешь: казни, с метлами опричники —
российской древности державный срам.

И улыбнешься: это дело давнее,
то были варварские времена.
А что история? Мираж. Предание.
Подобье государственного сна.

Немало в этом смысла есть серьезного,
и ты во многом прав. Но что, как вдруг
железный посох Иоанна Грозного
пробьет века — и в дверь раздастся стук...

* * *

Наш мир тем зреее, чем старше? Молчи, мой декабрьский стих. Все помню военные марши и песни из фильмов былых.	А музыка детства лихая и нынче волнует меня. О юность, где вера без позы, где все полыхало весной, где сентиментальные слезы я лил над державой стальной!
И радиожизнь не стихая все длится, над ухом звеня.	

Совесьть

Он не любит симфоний, противен хорал...
Фильм серьезен? Не нужен билет!
Ни к чему воскрешать то, что видел и знал,
что забылось за давностью лет.

Не исправишь теперь, это было давно.
Государственных буден грехи...
Хороши оперетта, смешное кино...
Прочь симфонии, драмы, стихи!

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

★

ИЗОЛИРОВАННЫЙ БОКС

Диалог

Для удобства читателей обозначим беседующих как А. и Б.

А.— 43 года.

Б.— 60.

А. А мне как сказали, я пошла на утренний сеанс в кино. Прихожу, там полтора человека, все бабуся, один молодой человек, одна я.

Б. А я в кино уже не хожу никогда.

А. Я думаю, бедные вы люди, ходят на утренний сеанс в кино, совсем некуда податься людям. Ладно хоть я, меня только что приговорили, я пришла развлечься.

Б. А я совсем не могу развлекаться. Маруся старается, ходит в гости, по знакомым, туда, сюда, молодого человека привела еще. Курил.

А. А этот молодой человек, он в кино в буфете стоит, пиво пьет. Кино начинается, а он еще две бутылки взял. А это он, оказывается, пришел пиво пить. Правильно, так в зал и не пришел. Сидело десятка полтора бабуся и я. Билет на утренний сеанс стоит копейки, он купил билет выпить в кино пива. А в зал не показывался.

Б. Этот молодой человек, правильно, пришел к нам посидеть, да недолго выдержал. Ирочкина карточка на стенке висит с черным бантом. Конечно, оно ему нужно. И он ушел. Маруся в слезы. Никому мы не понадобились. Зачем ты, мама, про Ирочку рассказала? Я виновата. Ирочка виновата.

А. А в кино, как сейчас помню, какую-то чепуху показывали, про пионеров. Кому нашли показывать. Все пионеры в школе давно, только если прогуляют, в кино забредут. А остальное — взрослый состав. Но делать нечего. Совсем край света пришел, вот и про пионеров посмотреть пришли. Я-то думаю, ну хорошо я, приговоренная к смерти. Хорошо я, я куда хочешь зайду, только чтобы было тихо и на меня не глазели. А Ваня мой ничего не знал, я ему ничего не сказала. Ваню бы еще поддержать, поднять бы два годочка! Ну? Два годочка. Ему исполнится шестнадцать лет. Все-таки уже работать пойдет.

Б. Мне два года дают.

А. Мне десять лет дают при благоприятном течении. Ремиссий если много будет, тогда. Я постараюсь. Десять да четырнадцать — ему будет двадцать четыре.

Б. А мне зачем эти два года?

А. А тут, говорят, один фанатик лечил вытяжкой из акулы. Фанатик, денег не берет, ему важен метод. Вылечил почти одного старика семидесяти пяти лет. Нашел кого. Тут молодежь с копыт валится. А он чтобы риска меньше было. Так я бы пошла на риск. А кто за меня хлопочет? Ваня бы пошел хлопотать, но адрес не дают. Но ему некогда. Он в интернате имеет полную загрузку, его и ко мне отпускают через пень-колоду, в будние дни приемов.

Б. А зачем мне хоть день, хоть два? Марусе я не нужна, я уберусь, Маруся будет свободно водить кого надо. Заведет себе новую жизнь, родит ребеночка. Вот тогда обо мне совсем забудет, нас с Иришкой забросит, а мы вместе пролежим, нам мало надо. Тридцать пять лет пролежим и Марусю дождемся, глубокую старуху.

А. Ему будет, Ване, уже двадцать четыре года, он женится, я так мечтаю. Женившись, я ему опять буду не нужна.

Б. Тридцать пять лет только дают на кладбище, потом ликвидируют. Только Марусю к нам вложат, опять перетасовка. Бульдозером сровняют с лицом земли. Новостройку построят, храм Спаса на костях. А нам с Ирочкой будет не все ли равно. Я своего мужа могилку с одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года забросила. Ходить слезы лить. Мертвые беспокоятся. Как сейчас Ирочка беспокоится: ну что ты, бабушка, по мне плачешь? Живи, пока живется, придешь ко мне, успокоишься. Живи, живи, бабушка, живи, бабуленька, приказала долго жить. Долго не выйдет, сколько дадут поживем. Может, и десять лет, зачем только.

А. Мне дают десять лет, вчера Лагутин дал, меня везут сюда на каталке, историю болезни положили на грудь. Я посмотрела, стоит: еще десять лет.

Б. Лагутин?

А. Санитары у лифта ждали, пошли выяснять. Я и посмотрела, своим глазам не верю; написано: еще 10 л. Зачем, почему, обычно доктора не пишут срок жизни. А на меня написали. Редкая вещь. 10 л.

Б. Десять литров, что ли?

А. Лет, лет. Каких литров? Пьяные тут, что ли?

Б. Мне десять лет, так Маруся за эти десять лет таких делов наворочает, может двойню родить, троих мужей притаранить. А я с Ирочкой останусь, кто о ней подумает. Ну, не буду, не буду. Бабуля, не плачь. Бабуля, не ходи ко мне часто, не плачь. Деточка, как же часто, когда я прикована уже месяц. Все там у тебя былшем заросло. Маруся ведь работает, в семь кончает, в субботу ко мне ходит, в воскресенье ей же надо обстираться, вздохнуть. Она не может к тебе ходить, у мамы сердечко болит, головка разламывается. А я к тебе приду, приду, моя травочка. Бабуля, не приходи, пока не поправишься.

А. При чем здесь литров? Десять лет. Первые три года нам школу кончить, это раз. Ванечка отлично учится, золотую медаль. И без золотой медали тоже в институт ходят. Можно вечером. В армию его не возьмут, я инвалидка, он будет единственный кормилец, так? Вечером и будет учиться. Как раз в двадцать четыре года он закончит, и я закончу. Я ему открою все дороги, у него будет своя комната, мальчик будет большой, взрослый. Как хорошо все-таки, что я инвалид! Я в любой момент к людям брошусь на колени: возьмите моего Ванечку, у меня рак, рак, я недолго проживу, а он один. И справку с диагнозом, Нина Ивановна обещала дать на руки.

Б. Тебе Нина Ивановна сказала?

А. Нет, мне в консультации доктор Гогоберидзе. Тогда, когда я в кино ходила. А вам?

Б. А я сама догадалась, зачем сюда кладут. Нина Ивановна только Марусе сказала, Маруся начала трястись, заплакала, только еще этого не хватало, говорит: что же мне теперь, еще, что ли, хоронить? Только похоронила, опять новости. Я же, кричит, хватит того, что дочь похоронила. Кричит, с ума они там посходили, что ли? Не слишком ли много на одного человека? А я лежала в реанимации как раз, все слышно.

А. А мне доктор Гогоберидзе сразу сказала, говорит, тащите себя за уши, держись сама, никакие силы не укрепят. Если хочешь вырастить сына, мужайся. Вот я после этого и пошла в кино на пионеров смотреть. Не могу я на детей смотреть; так их жалко, маленьких ведь

в детские дома берут, из города усылают. Там хлеб счетом дают, по два кусочка, я ездила с шефской помощью от предприятия, слезами умылась. Но Ваню уже не возьмут, он большой. Они в наш автобус двое забрались, колбасу развернули. Шофер погнался: детдомовские всю колбасу нанюхали. Не ели, правда. Но Ваню туда не возьмут, он большой, четырнадцать лет. Двадцать четыре года, куда ему в детский дом! Пока еще четырнадцать. Но мне лично все равно что уже двадцать четыре, годы летят как птицы, и не заметишь. А ему у меня много не надо. Моя пенсия, а я по больницам постараюсь. Чтобы я ушла, а ему было уже не в новинку. Не было, не было, а вдруг ушла совсем. Ну и одно и то же получается. А деньги все ему. Пусть тренируется жить самостоятельно. Он и сейчас уже самостоятельный, на субботу вечер и воскресенье ходит сам домой, сам варит, мне передачи носит, все самостоятельно. Зачем, сынок, тратишь денежку? Мне не надо ничего, тут кормят. Надо, надо, мама. У него деньги сейчас есть. За месяц моя пенсия да в интернате бесплатное питание.

Б. У Маруси тоже моя пенсия да ее зарплата, а куда она деньгами кидается? Ничего у ней не остается. Как меня нет, она опять швырнулась. То она в Таллин, то она в Прибалтику завьется. На месте не сидит. Ходит, где ее не знают. Где ее знают, там шарахаются. Ищет, видно, где подцепить мужа. А как ни скрывай, ведь муж придет все равно в твой дом, увидит всю подноготную, Иришку-то не скроешь, ведь выболтаешь сама! Через каждые два слова у нее Иришка выскакивает. А люди пугаются. Люди, конечно, не хотят слушать. Их с души воротит. Маруся, говорю, не суйся к людям. А куда же ей соваться? Ко мне соваться тот же результат, что сама с собой. Она к другим. Везде один позор.

А. А я не стыжусь рака. Пусть другие стыдятся. А я не стыжусь. Я знаю свою ситуацию, а другие же не знают! Не знают, на мне не написано. Я ведь напрасно не размахиваю, я только из-за Вани. Мне из-за Вани надо долго жить. Моя задача всех растолкать, да. А у них свои дети, конечно, они за своих борются. А мне плевать на их детей, у меня свой есть. Так и боремся, кто кого. Называется жизненная борьба.

Б. А мне ничего не надо. В очередях я не стою. Маруся тем более. Нам ничего не надо. Она только за билетами стоит на самолет. Живет-живет, накопит — и бряк на самолет. Летает «Аэрофлотом».

Стук в стену.

А. и Б. Кого? Меня? Вас. Меня?

Б. Меня. Ой, что это? Ох, халатик. Ой, я же не встаю. Маруся пришла, моя деточка. Не плачь, бабушка. Не плачу, ангел мой, нет.

Выходит. А. сидит, закрыв лицо руками.

Б. входит с пакетами, сумками. А. сидит, закрыв лицо руками.

Б. раскладывает принесенное.

Б. Вот так, не ходит, не ходит, потом всего закупит. Куда столько, куда? А она улетала в Прибалтику, там она купила. Чувствует мое сердце, что она скоро мне внучонка заимеет из Прибалтики. Там ее не знали, там ее не боялись. А нам не все равно кого, нам не все равно откуда? Бабушка, не мучай мое сердце, не ходи ко мне часто. Где часто, деточка, я же прикована к больнице. Скоро к тебе мамочка на-вернется, чувствует мое сердце, скоро она успокоится и придет к тебе, всю травку выполет, цветочки польет. Бабушка, мне и так неплохо под травкой.

А. С ума сошла, что ли. С ума сошла. Бабка наша рехнулась совсем.

Б. Вот сколько всего нанесла, радость хочет мне доставить и доставила. Мама, говорит, тут мне премию выдали. Тут тебе чулочки теплые венгерские. Тут тебе чистый лифчик. Это яблочки. Это вренье.

А. Ваня мальчик, я его в такие вещи не ввожу: лифчик. Он стесняется. Он учится на отлично. *(Закрывает лицо руками.)*

Б. А к тебе придут, придут еще, не беспокойся, мамка. Ты у сына одна, он к тебе прибежит, в магазинах суета, ведь суббота.

А. А он еще только из школы пришел. Я и не беспокоюсь. Ты ведь не знаешь, а он ко мне все время бегаёт. Ты ведь не знаешь, я ведь тебя первый раз в глаза вижу. Меня привезли в твою палату, и я села, и все. Ваня еще не знает, где я. Это выздоравливающая палата. Я и Ване ничего не говорю про болезнь, пусть не знает этого.

Б. Прямо! Выздоровливающая. Кто до тебя здесь был, за тем все утро сегодня мыли.

А. Ты откуда знаешь?

Б. Я тут живу.

А. Давно?

Б. Да уж месяц.

А. Ну и выздоравливающая.

Б. Прямо! Это заканчивающая палата.

А. Заканчивающая лечение палата. Мне вчера перестали давать таблетки, назначили уколы.

Б. Ну.

А. Нина Ивановна сказала выздоравливающая.

Б. Та до тебя тоже все выздоравливала. До сего утра. Теперь увезли с полотенцем на глазах.

А. Мне дали срок десять лет.

Б. Десять лет? Десять литров.

А. Пьяница, что ли? Литры мерещатся.

Б. Десять литров из тебя спустили жидкости.

А. Вчера, что ли?

Б. Значит, вчера.

А. А как же Ваня?

Б. Он придет сегодня?

А. Он-то да. Он да.

Б. Придет, все ему скажи. Все распорядись. Все. Напиши, вызови тетку. Бабку. Мужа какой есть. Всех зови.

А. А сколько дней?

Б. Да пиши сразу сейчас. Я ведь тоже ждала на днях, а все еще тут.

А. Нет. Выздоровливающая. Нина Ивановна сказала.

Б. Это бокс!

А. Что?

Б. Ну, это бокс. Изолированный бокс для нас. Чтобы их не пугать. Мы в хорошей больнице. Не пугать же людей.

А. А как же Ваня?

Б. А как Маруся? Ты что, мать не хоронила?

А. Нет.

Б. Тогда ее и зови. Твое счастье.

А. А я вообще без отца и без матери. Отец бросил их, а мать уехала вообще. Погибла, что ли.

Б. Ну вот, а они переживут нас. Вместе с нами не умрут. Пиши, пиши кому попало. Они остаются жить. Ну ты дура. Ну ты подумай, ты бы пережила Ваню. Похоронила бы Ваню. Ну? Что лучше? Маруся похоронила Ирочку, теперь меня. Ну-у, я ей не завидую. Нет. Как у нас в доме в одной комнатке умирали мать и сын, оба Сатановские, в однокомнатной квартире. Так спасибо она умерла днем раньше, как и полагалось матери раньше ребенка. Ему двадцать семь, ей пятьдесят, вот так.

А. Зачем это мне, у меня своя жизнь, у них своя.

Б. Нет. Я тебя слушала, теперь терпение лопнуло. Он у тебя самостоятельный, хвала Господу. Напиши на предприятие свое, пусть его берут учеником. Какие люди из учеников выходят! Ты что! А мы как росли? Чего ты опасешься?

А. Пусть образование получит, я так мечтаю.

Б. Опять еще! Родные есть?

А. Есть сестра в деревне.

Б. Выпиши сестру.

А. Выпишешь. У нее дом, хата, корова. У нее дети. Выпишешь ее.

Б. Пусть тогда его заберет.

А. А комната наша пропадет?

Б. Ну ты переборчивая. Все не по тебе. Комната в крайнем случае не пропадет. Здесь есть юрист, вызови к постели юриста.

Стук.

А. Кого? Кого, меня? Иду! Иду. Слава Богу, слава Богу. Он, он пришел. Он-то жив, а ты говорила, бабка. Жив.

Уходит. Б. закрывает лицо руками.

Б. Не надо, бабушка, не надо, миленькая. Не буду, детка. Мамочка у нас есть. Мамочка нам родит... братика... а хоть бы и сестренку...



ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ



«НЕ УНЫВАЙ, ЗИМОЙ ДАДУТ СВИДАНИЕ...»

Недавно по телевизору прозвучала давно знакомая песня — «Товарищ Сталин, вы большой ученый...». Прозвучала полным текстом в документальном фильме про Туруханский край — тот самый, помянутый в песне. Исполнил ее паренек с гитарой на палубе теплохода, плывущего по Енисею. Имени автора песни в фильме названо не было, и поначалу стало обидно тому, кто знал это имя, но тут же почувствовалось, что и правильно это, что имя не названо, — песня звучала с экрана так, как жила, а жила она без имени автора. Мы знаем примеры подобных явлений в прошедшем веке — «Среди долины ровныя...», «Не слышно шуму городского...», «Степь да степь кругом...». В XIX веке — «Среди долины ровныя» да «Степь да степь кругом...», а в нашу эпоху — «Товарищ Сталин, вы большой ученый...». Новое время — новые песни...

Песня про «большого ученого» стала подлинным фольклором нашего времени: имя поэта было потеряно, текст дополнялся новыми куплетами. Для поэтического произведения судьба завидная и верное свидетельство того, что была уловлена народная потребность. Песню стали приписывать то Высоцкому, то Галичу, то кому-то еще, но была она рождена до Высоцкого и Галича, в 50-е годы, и имела автора. Затем он создал новые песни, которые также пошли расходиться в поющем народе, хотя и не так широко, и обычно автора уже знали по имени.

В те 50 — 60-е песни Алешковского были среди первых свободных голосов нового исторического времени; это была рождающаяся свободная форма творчества, не имевшая никаких претензий на место в официальной словесности. Песни эти несли в себе преодоление исторического кошмара, который только что был осознан. Конечно, автору послужил его собственный опыт, но ведь лагерные песни Алешковского шире личного опыта, такой лирозпос, как «Личное свидание», — разве это не о народной судьбе?

В те 60-е бывало так, что за одним столом исполняли свои песни Юз Алешковский (при этом авторским аккомпанементом была не гитара, а такт, отбиваемый по столу ладоными) и Николай Рубцов, и надо сказать, что тексты песен Рубцова («Потонула во мгле отдаленная пристань...», «Стукнул по карману — не звенит...») отличались от тех, что затем печатались в сборниках. Аудиторию же составляли Владимир Соколов, Ваим Кожин, Елена Ермилова, Андрей Битов, Герман Плисецкий, Анатолий Перегудов, Станислав Куняев, Владимир Королев, Георгий Гачев, Серго Ломидзе...

В настоящее время автор песни о товарище Сталине пишет прозу, знакомство с ней еще ждет нашего читателя.

Сергей БОЧАРОВ.

Песня о Сталине

Товарищ Сталин, вы большой ученый —
В языкознание знаете вы толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, воистину не знаю,
 Но прокуроры, видимо, правы.
 Сижу я нынче в Туруханском крае,
 Где при царе сидели в ссылке вы.

В чужих грехах мы с ходу сознавались,
 Этапом шли навстречу злой судьбе,
 Но верили вам так, товарищ Сталин,
 Как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае,
 Где конвоиры, словно псы, грубы,
 Я это все, конечно, понимаю
 Как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
 А мы в тайге с утра и до утра,
 Вы здесь из искры разводили пламя —
 Спасибо вам, я греюсь у костра.

Мы наш нелегкий крест несем задаром
 Морозом дымным и в тоске дождей
 И, как деревья, валимся на нары,
 Не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
 И в кителе идете на парад,
 Мы рубим лес по-сталински, а щепки,
 А щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов,
 Тела одели ярким кумачом,
 Один из них был правым уклонистом,
 Другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,
 Вам завещал последние слова:
 Велел в евоном деле разобраться
 И тихо вскрикнул: «Сталин — голова!»

Дымите тыщу лет, товарищ Сталин,
 И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
 Я верю: будет чугуна и стали
 На душу населения вполне.

Личное свидание

Я отбывал в Сибири наказание,
 Считался работающим мужиком
 И заработал личное свидание
 С женой своим трудом, своим горбом.

Я написал: «Явись, совсем соскучился,
 Здесь в трех верстах от лагеря вокзал...»
 Я ждал жену, жрать перестал, измучился,
 Все без конца на крышу залезал.

Заныло сердце, как увидел, бедную,
 Согнулась до земли от рюкзака,
 Но на нее, на бабу неприметную,
 С барачной крыши зарились ЗК.

Торчал я перед вахтою взволнованный,
Там надзиратель бабе делал шмон,
Но было мною в письмах растолковано,
Как под подол притырить самогон.

И завели нас в комнату свидания,
Дуреха ни жива и ни мертва,
А я, как на судебном заседании,
Краснел и перепутывал слова.

Обоев синий цвет изрядно вылинял,
В двери железной кругленький глазок,
В углу портрет товарища Калинина —
Молчит, как в нашей хате образок.

Она присела, милая, на лавочку,
И я присел на старенький матрас —
Вчера здесь спал с женой карманник Лавочкин,
Позавчера растратчик Моня Кац.

Потолковали. Жажнул самогона я
И самосаду закурил... Эх, жисть!..
Стели, жена, стели постель казенную
Да, как бывало, рядышком ложись.

Дежурные в глазок бросают шуточки,
Кричат ЗК тоскливо за окном:
«Отдай, Степан, супругу на минуточку,
На всех ее пожиже разведем».

Ах, люди, люди, люди несерьезные,
Вам не хватает нервных докторов.
Ведь здесь жена, а не быки колхозные
Огуливают вашенских коров.

И зло берет, и чтой-то жалко каждого,
Да с каждым не поделишься женой...
.....
На зорьке, как по сердцу, бил с оттяжкой
По рельсе железякою конвой.

Давай, жена, по кружке на прощание,
Садись одна в зелененький вагон,
Не унывай, зимой дадут свидание,
Не забывай —
да не меня, вот глупая,—
Не забывай, как тырить самогон.

Окурочек

Из колымского белого ада
Шли мы в зону в морозном дыму,
Я заметил окурочек с красной помадой
И рванулся из строя к нему.

«Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный,
Злобный пес разодрал мой бушлат.
Дорогие начальнички, будьте спокойны,
Я уже возвращаюсь назад.

Баб не видел я года четыре,
Только мне наконец повезло —
Ах, окурочек, может быть, с «Ту-104»
Диким ветром тебя занесло.

И жену удавивший Капалин,
И печальный один педераст
Всю дорогу до зоны шагали, вздыхали,
Не сводили с окурочка глаз.

С кем ты, стерва, любовь свою крутишь,
С кем дымишь сигареткой одной?
Ты во Внукове спяну билета не купишь,
Чтоб хотя б пролететь надо мной.

В честь твою заводил я попойки,
Всех французским поил коньяком,
Сам пьянел от того, как курила ты «Тройку»
С золотым на конце ободком.

Проиграл тот окурочек в карты я,
Хоть дороже был тыщи рублей.
Даже здесь не видать мне счастливого фарту
Из-за грусти по даме червей.

Проиграл я и шмутки и сменку,
Сахарок за два года вперед,
Вот сижу я на нарах, обнявши коленки,
Мне ведь не в чем идти на развод.

Пропадал я за этот окурочек,
Никого не кляня, не виня,
Господа из влиятельных лагерных урок
За размах уважали меня.

Шел я к вахте босыми ногами,
Как Христос, и спокоен и тих,
Десять суток кровавыми красил губами
Я концы самокруток своих.

«Негодяй, ты на воле растратил
Миллион на блистательных дам».
«Это да,— говорю,— гражданин надзиратель,
Только зря,— говорю,— гражданин надзиратель,
Рукавичкой вы мне по губам».



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИВАН ЕЛАГИН
(1918—1987)



ТЯЖЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

В конце 20-х годов, переходя Сухаревскую площадь, Федор Панферов случайно взгляделся в лицо беспризорника, вместе с другими десятилетними оборвышами ждавшего, не заведется ли торговка бубликами. Мальчик был ему знаком, он мальчику — нет, но изловить отощавшего парнишку оказалось несложно. Как и думал Панферов, это оказался сын поэта-футуриста Венедикта Марта, переселившегося в Москву с Дальнего Востока. Все было просто: за несколько недель до встречи на Сухаревке Венедикт Март — как сам он изложил версию этого события в сохранившемся письме к художнику П. В. Митуричу, — «находясь в невменяемом состоянии, выразился о ком-то неудобным образом»; проще говоря — в нетрезвом виде повздорил с каким-то обладателем «мандата», был арестован и выслан в Саратов, сын оказался среди беспризорников. Тот самый сын, которого Март ласково называл в письмах к Митуричу зайчиком. Панферов навел справки, посадил мальчика в вагон и отправил к отцу в Саратов.

В начале 60-х годов, посещая Лондон, Панферов просматривал труднодоступные в СССР номера выходящего в Нью-Йорке на русском языке «Нового журнала» и в частной беседе отметил, что лучшее в этом журнале — стихи часто печатающегося, но совершенно ему неизвестного поэта Ивана Елагина. Кажется, до самой смерти Панферов не подозревал, что беспризорник с Сухаревки и русский поэт из-за океана — одно лицо.

Иван Венедиктович Матвеев родился во Владивостоке 1 декабря 1918 года: «Я родился при шесте справок, анкет, паспортов, в громыхани митингов, съездов, авралов и слетов...» — напишет он в 1975 году. Родился в семье, причастной литературе не только по гальневосточным меркам: дед его, Н. Матвеев, писал стихи, в 1915 году издал их толстым сборником; отец, Венедикт Март, издал одних только поэтических сборников четырнадцать наименований (не считая разнообразной прозы). Братья Венедикта тоже писали стихи, тоже брали псевдонимы: Николай взял псевдоним Богрый, Гавриил — Фаин. После 1918 года В. Март с семьей несколько лет прожил в Харбине, в 1923 году вернулся в СССР, жил с семьей на даче в подмосковном Томилине. А в конце 20-х начались те самые хождения по мукам, о коих речь шла вначале: высылка в Саратов, невозможность возвращения в Москву, наконец вся семья собралась в Киеве. Но еще до того юный Иван перезнакомился с близкими его отцу литераторами (безобидная общительность Венедикта Марта была в те годы чуть ли не поговоркой): он слушал, как отец беседует с Пильняком, с Клюевым, с молодым Хармсом. А в 1937-м, в Киеве, Венедикт Март был повторно арестован: следов его гальнейшей судьбы найти не удалось. Провинностей за ним числилась тьма-тьмущая: бывал в Японии, жил в Китае, знался с «врагами народа», отбыл ссылку — в те годы хватило бы и меньшего. Сын его, двадцатилетний Иван, однако, остался на свободе, поступил во Второй киевский медицинский институт: с его анкетой на литфак поступать было бессмысленно, а в медицину брали всех охотно. Иван женился, хорошие стихи писала его первая жена, Ольга Анстей, чей почти итоговый, незадолго до ее смерти изданный в США сборник «На юру» с дарственной надписью я храню на полке и сейчас. Перед самой войной Иван Матвеев-Елагин взял тетрадку своих стихов и тетрадку стихов жены и поехал в Ленинград — показать их Ахматовой. Ахматова принять Ивана не смогла: шла к сыну в тюрьму, передачу несла. Так, вместо отзыва о своих стихах и сохранил Иван Елагин до конца жизни воспоминания об Ахматовой, несущей узелок с передачей. «Был счастлив, что вашу руку дважды поцеловал», —

напишет он об этой встрече уже в 80-е годы. Довоенная жизнь поэта в СССР была как-то даже слишком богата событиями. Когда в советских вузах была, к примеру, введена плата за обучение, деньги на обучение Ивану (в память о его отце) давал не кто иной, как Максим Рыльский.

Потом пришла война. Иван и его жена оказались в оккупированном Киеве, попали в Германию в числе «ди-пи» — перемещенных лиц. Потом оказались в числе тех сотен тысяч советских граждан, которые были освобождены американскими и прочими союзными войсками и ждали встречи с родной землей, на которой им, совершившим преступление (а плен считался очень тяжелым преступлением), предстояло лет в среднем по десять провести в таких краях, где для поэтов суший рай — знай любуйся на полярное сияние да на звезды. А Иван к тому же был еще и сыном «врага народа» — кто его знает, чем. Иван Елагин с женой и родившейся в 1945 году дочерью Еленой (в будущем тоже поэтессой) остался на Западе. Там, в Мюнхене, вышли две первые тощие книжки его: «По дороге оттуда» (1947) и «Ты, мое столетие» (1948), сразу замеченные критикой русского зарубежья. Но замеченные по-разному: Бунин в письме к Елагину от 12 января 1949 года писал: «Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости». Георгий Иванов, напротив, был не в восторге: «Стихи Елагина, при всем их внешнем блеске, покуда всего лишь вексель, правда, размашисто выписанный на крупную сумму» («Возрождение», 1950, № 10). В 1950 году поэт с женой и дочкой пересек Атлантику и на всю оставшуюся жизнь поселился в США. Там поэт мыл полы в ресторане, работал в мастерской по склейке цветного стекла, служил клерком в транспортной конторе, стоял у станка, наконец на много лет пристроился в редакцию старшей за рубежом русской газеты «Новое русское слово», выходящей в Нью-Йорке с 1910 года. В 1953 году нью-йоркское Издательство имени Чехова выпустило первую серьезную книгу Елагина, итоговый по тем временам сборник и довоенных и написанных позже стихотворений, для которого поэт использовал прежнее название «По дороге оттуда». Когда в 70-е годы между мной и Елагиным завязалась переписка, оказалось, что достать эту книгу уже невозможно: поэт заказал ксерокопию и при случае передал мне — так и хранится у меня этот американский самиздат с автографом. Именно в этой книге напечатано самое известное произведение Елагина — маленькая поэма «Звезды», посвященная памяти Венедикта Марта.

С середины 60-х годов с Елагиным порой стали встречаться некоторые советские писатели, посещавшие США, — об одной такой встрече рассказывает Д. Гранин в послесловии к подборке Елагина в журнале «Нева» (1988, № 8). На предложения начать печататься в каком-либо из изданий советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом («Родина»), в журнале «Отчизна», к примеру, отвечал категорическим отказом. Почему? Выписываю — намеренно в строку, пусть поэзия разок послужит прозаическим документом — его стихотворение «Амнистия» (нерифмованное, кстати, что для Елагина крайняя редкость), написанное, судя по датам, вскоре после беседы с Граниним:

«Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве, в тридцать восьмом. Вероятно, на пенсию вышел. Живет на покое и дело привычное бросил. Ну а если он умер, наверное, жив человек, что пред самым расстрелом толстою проволокою закручивал руки отцу моему за спиной. Верно, тоже на пенсию вышел. А если он умер, то, наверное, жив человек, что пытал на допросах отца. Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел. Может быть, конвоир еще жив, что отца выводил на расстрел. Если бы захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня».

Елагин писал стихи, переводил американских поэтов, преподавал русский язык и литературу, занимался творчеством Лескова, растил вместе со второй женой сына Сергея. Писем писал мало, хотя из СССР писали многие незнакомые читатели — адрес поэта оказался отпечатан на вкладыше в сборник «Отсветы ночные», а творчеством его заинтересовались к тому времени многие. Мне, впрочем, Елагин в начале 70-х годов ответил, и с переборами переписка наша продолжалась до конца жизни поэта. Видимо, Елагина заинтересовало, что пишет ему не столько поэт, сколько свой брат переводчик, да к тому же занимающийся русской поэзией Дальнего Востока, а в том числе и Венедиктом Мартом. «Весь архив моего отца увезли вместе с ним в 37 году. У меня нет ни одной его строчки». И неизменно радовался, когда хоть что-то удавалось найти — стихи отца, письма. «Очень, очень был счастлив, получив письма отца. Это —

как встреча через 50 лет!» В последних письмах засквозила и другая нота. Обычно почитателям своего таланта Елагин не особенно верил, но доброжелательного читателя ему на Западе явно не хватало, оттого и возникла в одном из писем ко мне такая фраза: «Еще раз благодарю Вас за внимание ко мне — этим я не избалован, отношение ко мне как к поэту на Западе более чем тепло-прохладное».

Отношение и вправду было не лучшим. Сборники «Дракон на крыше» (1973) и «В зале Вселенной» (1982), книги «Избранного» — «Под созвездием Топора» (1976) и «Тяжелые звезды» (1986) ничего существенного к известности поэта не прибавили, как и немногочисленные переводы его стихотворений на западные языки. Он был всем известен и... не очень любим эмиграцией.

И написано строго
Было мне на роду,
Что торжественно в ногу
Я ни с кем не пойду.—

так писал он в поздние годы. Поэтикой Елагин был куда ближе к советским поэтам военного поколения, своим ровесникам, чем к наследникам «парижской ноты». А до возвращения своего в Россию поэт не дожил, он умер 7 февраля 1987 года, едва отпраздновав свой шестьдесят восьмой день рождения, — и в этом с судьбой военного поколения оказался он сходен. «Возвращение» состоялось теперь, в 1988 году («Огонек», № 21, «Нева», № 8). 1 декабря 1988 года поэту исполнилось бы семьдесят лет. Прощайте, Иван Венедиктович. Добро пожаловать в собираемую ныне по осколкам единую русскую литературу.

Е. ВИТКОВСКИЙ.

Звезды

Моему отцу.

Колыхались звездные кочевья.
Мы не засыпали у костра.
Шумные тяжелые деревья
Говорили с нами до утра.
Мне в ту ночь поэт седой и нищий
Небо распахнул над головой,
Точно сразу кто-то выбил днище
Топором из бочки вековой!
И в дыру обваливался космос,
Грузно опускался млечный мост,
Насмерть перепуганные сосны
Заблудились в сутолоке звезд.

— Вот они! Запомни их навеки!
То Господь бросает якоря!
Слушай, как рыдающие реки
Падают в зеленые моря!
Чтоб земные горести, как выщи,
Не кричали над твоей душой,
Эту вечность льющуюся выпей
Из ковша Медведицы Большой!
Как бы ты ни маялся и где бы
Ни был — ты у Бога на пиру...
Ангелы завидовали с неба
Нашему косматому костру.

За окном — круги фонарной ряби.
Браунинг направленный у лба.
На каком-то чертовом ухабе
Своротила в сторону судьба.
Рукописи, брошенные на пол.
Каждый листик — сердца черепок.
Письмена тибетские заляпал
Часового каменный сапог.
Как попало комнату забили,

Вышли. Ночь была уже седа.
В старом грузовом автомобиле
Увезли куда-то навсегда.

Ждем еще, но все нервнее курим,
Реже спим и радуемся злей.
Это город тополей и тюрем,
Это город слез и тополей.
Ночь. За папиросой папироса,
Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?
Или спишь, а поезд топчет версты
И тебя уносит в темноту...
Помнишь звезды? Мне уже и к звездам
Голову поднять не вмоготу.

Хлынь, война! Швырни под зубья танку,
Жерла орудийные тарашь!
Истаскало время наизнанку
Вечности принадлежащий плащ!
Этот поезд, крадущийся воров,
Эти подползающие пни...
Он скулил, как пес, под семафором,
Он боялся зажигать огни.
Чащами и насыпями заперт,
Выбелен панической луной,
Он тянулся медленно на запад,
Как к постели тянется больной.

В небе смерть. И след ее запутан.
И хлеща по небу на ура,
Взвили за шпигрутеном шпигрутен
С четырех сторон прожектора!
Но укryвшись тучею косматой,
Смерть уже свистит над головой!
Смерть уже от лопасти крылатой
Падает на землю по кривой.
...Полночь, навалившаяся с тыла,
Не застала в небе и следа.
Впереди величественно стыла
К рельсам примерзавшая звезда.

Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы.
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.
Чей-то вздох из глубины подвала:
— Господи, услышим ли отбой? —
Как мне их тогда недоставало,
Этих звезд, завещанных тобой!
Сколько раз я звал тебя на помощь,—
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.

Ну а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреба.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!

Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят.
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подыдем,
Потому что знаем: неба нет.

(«По дороге оттуда». 1953)

* *
* *

Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома,
Ни тополя. Но вдруг над головой
Я ощутил присутствие объема,
Что комнату звался угловой.

В пустом пространстве делая отметки,
Я мысленно ее воссоздаю.
Здесь дом стоял, и тополь был, и ветки
Протягивались в комнату мою.

Вот там, вверху, скрипела половица
И лампа вбок была наклонена,
И вот сейчас пропархивает птица
Сквозь пустоту тогдашнего окна.

Прошли года, но мир пространства крепок,
И у пространства память так свежа,
Как будто там, вверху, воздушный слепок
Пропавшего навеки этажа.

Здесь новый дом построят непременно
И, может быть, посадят тополь тут,
Но заново отстроенные стены
С моими стенами не совпадут.

Ничто не знает в мире постоянства.
У времени обрублены концы.
Есть только ширь бессмертного пространства,
Где мы и камни — смертные жильцы.

(«Отсветы ночные». 1963)

* *
* *

Я стою под березой двадцатого века.
Это времени самая верная веха.

Посмотри — на меня надвигаются ветки
Исступленнее, чем в девятнадцатом веке.

Надо мною свистят они так ошалело,
Будто шумно береза меня пожалела,

Словно знает береза: настала пора
Для берез и поэтов — пора топора.

Словно знает береза, что жребий наш черен
Оттого, что обоих нас рубят под корень,

Оттого, что в каминах пылают дрова,
Оттого, что на минах взрывают слова.

Я стою — и тоски не могу побороть я,
Надо мною свистят золотые лохмотья.

Вместе с ветками руки к потомку тяну я,
Я пошлю ему грамоту берестяную.

И правдиво расскажет сухая кора
Про меня, про березу, про взмах топора.

(«Дракон на крыше». 1973)

Невозвращенец

Эмигранты, хныкать перестаньте!
Есть где наконец душе согреться:
Вспомнили о бедном эмигранте
В итальянском городе Ареццо.

Из-за городской междоусобицы
Он когда-то стал невозвращенцем.
Трудно было, говоря по совести,
Уцелеть в те годы во Флоренции.

Опозоренный и оклеветанный
Вражескими ложными наветами,
Дважды по одним доносам грязным
Он заглазно присуждался к казни.
В городе Равенне, на чужбине,
Прах его покоится доньне.

Всякий бы сказал, что делу крышка,
Что оно в веках заплесневело.
Но и через шесть столетий с лишком
Он добился пересмотра дела.

Судьи важно мантии напялили,
Покопались по архивным данным.
Дело сочинителя опального
Увенчалось полным оправданьем.

Так в законах строгие педанты
Реабилитировали Данте!

На фронтонах зданий гордый профиль!
Сколько неутешных слез он пролил
За вот эти лет шестьсот — семьсот...
Годы пылью сыпались трухлявой.
Он давно достиг уже высот
Мировой несокрушимой славы.

Где-нибудь на стыке шумных улиц
В небольшом пыльно-зеленом сквере
Он стоял, на цоколе сутулясь,
Осужденный Данте Алигьери.

Думал он: в покое не оставят,
Мертвого потребуют на суд;
Может быть, посмертно обезглавят
Иль посмертно, может быть, сожгут.

Но в двадцатом веке, как ни странно,
Судьи поступили с ним гуманно.

Я теперь смотрю на вещи бодро:
Время наши беды утратит.
Доживем и мы до пересмотра
Через лет шестьсот или семьсот.

(«Косой полет». 1967)

* * *

Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой,
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,
Что я вытянул жребий удачный и славный... Постой —
Я родился под красно-зловещей звездой государства!

Я родился под острым присмотром начальственных глаз.
Я родился под стук озабоченно-скудной печати.
По России катился бессмертного яблочка пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.

Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов,
В громыхании митингов, съездов, авралов и слетов,
Я родился под гулкий обвал мировых катастроф,
Когда сходит со сцены культура, свое отработав.

Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный стиль.
Кто ответит, зачем эти звезды на небо всходили?
По вселенной куда-то плывет серебристая пыль,
И какое ей дело до нас — человеческой пыли.

Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я
И стою на холодном ветру мирового вокзала,
А звезда, что плыла надо мной, — не твоя, не моя,
Разве только морозный узор на стекле вырезала.

Оттого я на звезды смотреть разучился совсем.
Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной леденя,
Мне бы дружеский взгляд да очаг человеческий — чем
Ближе к небу — как Дельви́г говаривал, — тем холоднее.

(«Под созвездием Топора». 1976)

* * *

Родина! Мы виделись так мало
И расстались. Ветер был широк,
И дорогу песня обнимала —
Верная союзница дорог.

Разве можно в землю не влюбиться,
В уходящую из-под колес?
Даже ивы, как самоубийцы,
С насыпей бросались под откос!

Долго так не выпускали ивы,
Подставляя под колеса плоть.
Мы вернемся, если будем живы,
Если к дому приведет Господь.

(«По дороге оттуда». 1953)

ЕЛИС. ВАСИЛЬЕВА

★

«ДВЕ ВЕЩИ В МИРЕ ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛИ САМЫМИ СВЯТЫМИ: СТИХИ И ЛЮБОВЬ»

Романтическая окраска истории, связанной с Черубиной де Габриак, заслонила, отвлекла от поистине трагической жизненной и литературной судьбы героини этой истории, реального лица — поэтессы Елизаветы Васильевой. Отвлекла на многие десятилетия даже после ее смерти, когда, казалось бы, ничто уже не мешало раскрыть подлинную подопку происшедшего. Но, как зазубрившие школьники, все, кто писал о ней, повторяли одну и ту же версию этой истории, вовсе не желая докапываться до ее сути. Так иногда бывает, увы, с пишущими о литературе. Они идут по проложенному следу, проторенному пути, и не хотят с него сворачивать вброд.

Впрочем, в данном случае есть и некоторое оправдание им. Хотя многие литературные документы лежали как бы на поверхности и были доступны в разных наших архивохранилищах, — все же эти известные документы должны были быть соотнесены с другими, не выходящими на поверхность и до поры до времени недоступными исследователям.

Да и стоило ли, по мнению некоторых, до них докапываться, если многие придерживались той точки зрения, что у Черубины было очень скромное дарование и вся прелесть связанной с ней истории заключалась в так называемой мистификации? Приходится сознаться, что эта пустенькая точка зрения не умерла до самого последнего времени и по-прежнему мелькает в разного рода статьях и примечаниях.

Хотя мне и не хочется предварять непосредственное читательское впечатление от документов, входящих в настоящую публикацию, все же надо немного рассказать и о самой Елизавете Васильевой и об истории Черубины.

...Этот знаменитый эпизод, происшедший в жизни литературного Петербурга осенью 1909 года, надолго отложился в памяти современников и потомков.

В один из дней сентября того года редактор-издатель нового, только что возникшего журнала «Аполлон» Сергей Константинович Маковский получил по почте «письмо, подписанное буквой Ч, от неизвестной поэтессы, предлагавшей «Аполлону» стихи...» (здесь и дальше цитирую его мемуары из книги «Портреты современников». Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1955). Полные «автобиографических полупризнаний» стихи заинтересовали Маковского. А весь антураж этого и последовавших за ним посланий — без обратного адреса, на бумаге с траурной каймой, пропитанной запахами тончайших духов и переложенной засушенными травками (каждый раз другими!), — заинтриговывал бесконечно. Вскоре поэтесса позвонила сама («никогда, кажется, не слышал я более обвороживающего голоса», — вспоминал Маковский через много лет), и у издателя-редактора завязался с поэтессой, можно сказать, роман в письмах и телефонных звонках. В подробности романа Маковский посвящал только самых близких ему людей. Никому из них не было ведомо, кто она, но все они мечтали ее увидеть. В их воображении она рисовалась неземной красавицей, вынужденной вести по воле отца жизнь затворницы.

Нельзя сказать, что больше занимало аполононцев: ее образ или ее стихи. Пожалуй, и то и другое вместе. Ибо стихи дополняли создаваемый в воображении образ, а образ, сотканный из немногих известных штрихов, — стихи. «Стихами ее теперь здесь все бредят...» — писал В. Гофман А. Шемшурину 8 ноября 1909 года.

Тут бы полагалось сделать отступление и рассказать, что предшествовало письмам неведомой поэтессы, но поскольку в публикацию включены воспоминания одного из

двух главных участников этой истории, я не стану их перелагать. Скажу лишь, что «Черубина» родилась в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина, летом 1909 года, когда туда приехала молодая учительница Елизавета Дмитриева. Ей шел 23-й год, и в петербургском журнале «Остров» уже набирались ее стихи.

Стихотворения Черубины, которые Маковский получал по почте, восхищали не только издателя-редактора. Иннокентий Анненский, к мнению которого С. Маковский очень прислушивался, был едва ли не первый в восторге от стихов новой поэтессы. И знаем мы об этом не с чужих слов, не в мемуарных пересказах, а от самого Анненского. В статье «О современном лиризме» («Аполлон», 1909, № 3), написанной в свой последний год, он говорил:

«От озябшей и притихшей мэнады — к улыбающейся мученице — перейти не столь трудно, сколь оно — в данном случае — обидно для мужского достоинства. Я думал ведь, что Она только все смеет и все сметет... А оказывается, что Она и все знает, что Она все передумала (пока мы воевали то со степью, то с дебрями), это рано оскорбленное жизнью дитя — Черубина де Габриак.

Имя, италяно-испано-французское, мне ничего не говорит. Может быть, оно даже только девиз... Мне лень брать с полки Готский альманах. Да и зачем? Старую культуру и хорошую кровь чувствуешь... А кроме того, эта девушка, несомненно, хоть отчасти, но русская... Она думает по-русски...

Забуринки ее речи — сущий вздор по сравнению с превосходным стихом, с ее эмалевым гладкостильем.

...Она читала и Бодлера и Гюисманса, — мудрый ребенок. Но эти поэты не отравили в ней Будущую Женщину, потому что зерно, которое она носит в сердце, безмерно богаче зародышами, чем их изжитая, их ироническая и безнадежно-холодная печаль». И дальше все так же — по нарастающей.

К тому времени, когда в печати появился этот отзыв, Анненского уже не было в живых. Он умер внезапно — и так и не узнал тайны Черубины. Но еще при его жизни в «Аполлоне» были опубликованы стихи Черубины (1909, № 2), и предание гласит, что Ин. Анненский — впрочем, не без огорченья — уступил ей, этой незнакомой ему поэтессе («Пусть она даже мираж, мною выдуманный...»), свое место во втором номере журнала, предназначавшееся для его стихотворений. Во всяком случае одно несомненно: Маковский предпочел стихи Черубины стихотворениям Анненского.

Это лишь свидетельство того, что поклонение Черубине росло в среде аполононцев с каждым днем. Вслед за вторым номером, где появилось двенадцать ее стихотворений, в третьем номере 1909 года, кроме отзыва Анненского, журнал опубликовал критико-астрологический разбор М. Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак» — главного из посвященных в тайну Черубины лиц (поэтому так легко давался ему «астрологические» предсказания и так точны были черты описываемого им облика поэтессы).

«Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта, — вещал М. Волошин. — Это подкидыш в русской поэзии. Ивовая корзина была неизвестно кем оставлена в портике Аполлона...

Аполлон усыновляет нового поэта.

Нам, как Астрологу, состоящему при храме, поручено составить гороскоп Черубины де Габриак. Постараемся, следуя правилам царственной науки, установить его элементы», — и дальше в подробностях обо всем, что подсказывает «гороскоп», о сочетании созвездий, определяющем характер Черубины и дух ее творчества. «Оно (это сочетание. — Вл. Г.) говорит о любви безысходной и нестратегичной, о сатанинской гордости и близости к миру подземному. Рожденные под этим сочетанием отличаются красотой, бледностью лица, особым блеском глаз. Они среднего роста. Стройны и гибки. Волосы их темны, но имеют рыжеватый оттенок. Властны. Капризны. Неожиданны в поступках».

Впрочем, это все писалось для читателя журнала. Потому что в кругу самого «Аполлона» не надо было подогревать интерес к Черубине, — он и без того достиг накала. Особенно у С. Маковского. И даже почти полвека спустя он повествовал о своих чувствах и чувствах своих друзей так, будто это случилось вчера.

«Влюбились в нее все „аполлоновцы“ поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и положительно требовали от меня — те, что были помоложе, — чтобы я непременно „разъяснил“ обольстительную „незнакомку“... Убежденный в своей непобедимости Гумилев (еще совсем юный тогда) уж предчувствовал день, когда он покорит эту бронзово-кудрую колдунью; Вячеслав Иванов восторгался ее иску-

шенностью в „мистическом эресе“; о Волошине и говорить нечего. Барон Николай Николаевич Врангель, закадычный мой друг в ту пору, решил во что бы то ни стало вывести Черубину на чистую воду: „Если уж так хороша, зачем же прячет себя?“ Но всех неперпеливее „переживал“ Черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов. Ему нравилась „до бессонницы“, как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. „Скажите ей,— настаивал Сомов,— что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где живет“.

Явление Черубины было столь артистично и неожиданно, что ошеломило буквально всех. Впрочем, оставалась почва и для сомнений: существует ли Черубина на самом деле? «...По-русски еще так не писали»,— сообщал В. Гофман А. Шемшурину и продолжал: «Дело, однако, в том, что все это несколько похоже на мистификацию. Во-первых, начинающие поэтессы не пишут так искусно. А во-вторых, где же и кто же, наконец, эта Черубина де Габриак?» Но это было не больше чем подозрение в подвохе, поскольку в воздухе времени был пронизан розыгрышами, театрализацией, маскарадом.

Однако надо повернуть читателя к стихам Черубины. Потому что без них и не возникло бы это повальное увлечение. Мало ли красавиц на свете! Да и мог ли свести всех с ума фантом? Нет, власть его для аполлоновцев была прежде всего в том, что это была поэтесса.

В Черубину влюбляли ее стихи. Они звучали как поэтическая исповедь истово религиозной аристократки, наделенной редкой красотой и горькой судьбой. Она томится в своем одиночестве и страдает от неразделенной любви. Она сама пророчествует себе и мучается в своих пророчествах. «Лишь раз один, как папоротник, я /цвету огнем весенней, пьяной ночью... /Приди за мной к лесному средоточию, /в заклтый круг, приди, сорви меня!» Полные мистических предначертаний («И я умру в степях чужбин, /Не разомкну заклтый круг..»), они были проникнуты истинным лиризмом, доходящим до страсти, до иступления. Образ «заклятого круга» повторялся в стихах и был, как мы узнаем, невыдуманным. Романтическая приподнятость строк манила, завораживала, возводила поэтическое в символ. Образ Черубины приобретал таинственно-возвышенные очертания.

Из номера в номер журнал объявлял о новой поэтессе в числе своих постоянных соотрудников...

Звезда Черубины всходила высоко и прекрасно.

«В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал,— писала Марина Цветаева спустя годы.— Жил внутри, один, сжирая и сжигая...» И так же думала она не потом, не много лет спустя, а еще тогда, в 1909 году.

«Влюбился весь Аполлон — имен не надо... Их было много, она — одна. Они хотели видеть, она — скрыться. И вот — увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика — окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубинино-го замка — на мостовую прежнего быта, о которую разбились вдребезги.

— Елизавета Ивановна Дмитриева — Вы? — Я» («Живое о живом»).

Марина Цветаева по известным причинам не могла, конечно, знать истинное содержание этой истории, к тому же она доверчиво следовала единственной предложенной ей версии, но гениальным своим чутьем угадала психологическую схему события («Как лунатика — окликнули...»).

Может быть, только два-три человека на свете знали и понимали по-настоящему, что произошло на самом деле: это, кроме самой Елизаветы Дмитриевой,— ее подруга поэтесса Лидия Брюлова, секретарь «Аполлона», и Максимилиан Волошин. Даже Николай Гумилев, посвятивший Дмитриевой несколько своих прекрасных стихотворений («Царица» («Твой лоб в кудрях отлива бронзы...»), «Был вечер тих. Земля молчала...», «Я не буду тебя проклинать...») и косвенно причастный к событиям тех дней, знал не все.

Подлинный смысл происшедшего читатель узнает из предлагаемой публикации. Я лишь назову имя, которое в ней упомянуто мельком,— Иоганнес Гюнтер (1886—1973), немецкий переводчик и поэт, заведовавший в «Аполлоне» немецким отделом и друживший в ту пору с Николаем Гумилевым. Волею обстоятельств ему первому внезапно доверилась Елизавета Дмитриева (вспомните: «Неожиданны в поступках»), открыв свою тайну. Гюнтер дожил до глубокой старости, оставил мемуарную книгу «Жизнь под восточным ветром. Между Петербургом и Мюнхеном», в которой есть глава об «Аполло-

не» 1909 года и о Черубине. И в деталях рассказал в ней, как вдруг узнал страшную тайну от самой Дмитриевой. Он даже не поверил ей поначалу («Она сказала, что она Черубина де Габриак? Черубина, в которую новая русская поэзия вся поголовно влюблена? Это не может быть правдой! Она лгала, чтобы показаться интересной»). Но Гюнтер получил подтверждение, и с его помощью — через М. Кузмина — Маковский узнал наконец, что неземная Черубина — это многим знакомая молодая поэтесса Елизавета Дмитриева.

Он позвонил ей по телефону. «Голос, каким она ответила, был голосом раненной насмерть лани,— вспоминал Маковский.— Стоном вырвалось: „Вы? Кто вам сказал?“».

Тайны Черубины больше не существовало. Однако обаяние образа — и в глазах издателя-редактора и в глазах читателей — было столь велико, что даже год спустя «Аполлон» напечатал ее стихи, обрамленные блестящей графикой Е. Лансере.

Но поэтесса Черубина де Габриак замолкла навсегда.

В тот день, когда Маковский позвонил ей, они увиделись, и Черубина—Дмитриева будто бы сказала ему: «Сегодня, с минуты, когда я услышала от вас, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною «я», которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда уж не воскресну...»

Да, кончился ослепительный, но короткий век Черубины де Габриак. Но не кончилась жизнь 23-летней Елизаветы Дмитриевой, хотя соединенье трагедии любовной и трагедии поэтической стоило ей если не жизни, то без преувеличения литературной судьбы.

В последующие годы Елизавета Ивановна Васильева (в 1911-м она вышла замуж за инженера-мелиоратора Всеволода Николаевича Васильева) всецело посвятила себя антропософии. Кстати, антропософия была, кроме всего, одной из нитей, связывающих ее с Волошиным. С возникновением русского «Антропософского Общества» Е. Васильева входит в него и часто ездит по делам Общества в Германию, Швейцарию, Финляндию...

Года через три после трагического события возобновляется ее переписка с Волошиным. «Навсегда из жизни моей ушло искусство, как личное,— писала она ему 18 июня 1912 года.— Внешне иной стала я, <...> угасшей, так было эти почти три года. И томилась все время, но вот с этого года обрела я мой путь и вижу, что мой он. Узкий-узкий, трудный-трудный, но весь в пламени. И личного нет. И не будет».

Она, по счастью, ошибалась. Черубина никем не была забыта, и время от времени в провинциальных сборниках появлялись перепечатанные из «Аполлона» стихи,— скорее всего даже без ее ведома.

Лет через шесть она и сама вернулась к поэзии. Нет, это были уже другие стихи, не стихи Черубины. Но свойственная ее поэзии лирическая волна не умолкла. В стихотворениях 1915 года угадывался тот же поэт. «Но я ушла тропею горной /от розовеющих долин,— /о, если б мне дойти покорной /до белых снеговых вершин...» И позднее, в 1917-м: «Братья-камни! Сестры-травы! /Как найти для вас слова? /Человеческой отравы /я вкусила — и мертва». Она с горечью вспоминала свое поэтическое имя, хотя уже не печаталась. «„Черубина“ для меня никогда не была игрой... „Черубина“ поистине была моим рождением; увь! мертворождением»,— говорила она в письме к Волошину 26 мая 1916 года.

Не забыл ее и читатель. Уже в первые годы революции, разметавшей интеллигенцию по стране и за ее пределы, он хотел знать о многих поэтах, в том числе о Черубине. И, как было принято тогда, один из журналов сообщал, что Черубина де Габриак живет теперь в Екатеринодаре. Это было самое начало 20-х годов.

Здесь судьба свела ее с С. Маршаком. Люди одного возраста (Маршак родился в том же 1887-м году, что и Васильева), близкие духовно, ищущие в сложных условиях тех лет примененяя своему литературному дарованию и просто думающие, как заработать на хлеб, они затеяли в Екатеринодаре необычное дело — «Детский городок», с различными мастерскими, библиотекой, с детским театром. (Между прочим, он стал одним из первых детских театров в стране.) И оба — вместе и порознь — писали для него пьесы («Горе-злосчастье», «Молодой король», «Зеленый мяч» и другие). В 20-е годы их совместный сборник «Театр для детей» выдержал четыре издания, а иные из этих пьес ставятся на сцене до сих пор.

«...Мы,— писала она Волошину в 1923 году о себе, муже и общем с Волошиным друге поэте Борисе Лемане,— по-прежнему занимаемся антропософией. Все глубже и глубже я ее принимаю, хотя и с горечью: это единственное, что мне доступно; то, что для меня — «первая любовь» — искусство — закрыто для меня. У меня немые слова. Спасибо за отзыв о стихах, только тебе я верю здесь до конца, ты сказал, что я знаю сама, только говорю себе не так ласково. Я, конечно, не поэт. Стихов своих издавать я не буду и постараюсь ничего не печатать под именем Черубины, хотя меня очень просят о детских сказках, к<от>рые я пишу теперь...»

Театр в Екатеринодаре имел большой успех у детей и взрослых, в нем играли хорошие актеры — Д. Н. Орлов, его жена А. В. Богданова и другие, но Маршак уехал в Петроград и поступил там заведующим литературно-репертуарной частью Театра юных зрителей, который возглавлял А. Брянцев. И скоро туда же вызвал Елизавету Васильеву. Несколько лет они оба работали в ТЮЗе. Елизавета Ивановна — заместительницей Маршака.

В эти годы она писала пьесы («Золотое колесо» вместе с Маршаком) и прозу для детей, в Госиздате в 1926 году вышла ее книжка о Миклухо-Маклае «Человек с Луны». Она продолжала переводить с испанского и старофранцузского, которыми великолепно владела. (И до сих пор ее переводы входят в хрестоматии по европейской литературе.)

Но скоро у нее начались неприятности, связанные с ее антропософскими занятиями,— вернее, с принадлежностью к бывшему «Антропософскому Обществу». В 1926 году она перешла на работу в Библиотеку Академии наук, однако служила в ней недолго. В 1927-м году у нее дома сделали обыск, во время которого забрали все ее книги, дневники, рукописи и фотографии, затем последовали вызовы в ОГПУ и высылка из Ленинграда. Ее, хромого, погнали по этапу в ссылку. «Волею судьбы,— сообщала она 16 августа 1927 года Волошину,— я попала на три года в Ташкент». Она уже предчувствовала свой уход и писала Волошину в октябре 1927 года: «Мне очень надо быть дома (то есть в Ленинграде.— Вл. Г.),— я так устала, что сил у меня уже не хватает больше. Я думаю, что это последние годы моей жизни. Мне хочется быть «дома», с любимыми. Ты пойми меня, Макс. Здесь мне очень холодно и одиноко».

Она не ошибалась, что это конец. Шел последний год ее жизни.

Вдруг в какой-нибудь месяц она написала цикл небольших стихотворений «Домик под грушевым деревом» — от имени вымышленного поэта Ли Сян Цзы, высланного с Севера «в город Камня». Эти стихи полны, как всё у Черубины, тоски одиночества и любви, только они проще, прозрачнее. Нет, она и «горечь изгнания обратила в радость песни».

5 декабря 1928 года Елизавета Васильева умерла в Ташкенте, сорока одного года от роду.

Не было человека — из тех, кто знал Елизавету Ивановну и с кем мне пришлось о ней говорить,— который бы не вспоминал о ней с нежной любовью. И первый из них — Маршак. Для него с Е. Васильевой было связано начало писательства для детей. Может быть, она и натолкнула его на это.

Помнили Черубину и читатели. Я в своей жизни встретил несколько «черубинистов», тщательно собиравших ее строчки, всё, что можно было о ней узнать. И наверняка одна из самых удачных моих встреч — с Татьяной Борисовной Шанько, ныне покойной, которая подарила мне машинописную копию сборника стихотворений Черубины и записанный ею в Коктебеле со слов Максимилиана Волошина «Рассказ о Черубине де Габриак». («Рассказ» этот много раз пересказывали в разного рода статьях и обширно цитировали в различных примечаниях,— в частности в комментариях к «Ликам творчества» М. Волошина, Л., «Наука», 1988, но в полном виде он появляется впервые.)

Потом я обнаружил, что это совсем не обыкновенная машинописная копия, а один из экземпляров сборника стихотворений Черубины (с ее «Автобиографией»), составленный поэтом, библиографом и литературоведом Евгением Яковлевичем Архипповым (1882—1950). Это имя очень значительно для всех, кто изучает Черубину. Именно Архиппову мы обязаны тем, что у нас есть автобиографические заметки Е. И. Васильевой, автографы ее стихотворений, машинописный сборник ее поэзии и многие ценные для понимания ее поэтической биографии письма и документы.

Из этого сборника и взяты для настоящей публикации стихотворения Черубины, которые печатаются впервые, за исключением нескольких вещей, приведенных в заметках И. Куприянова, Вл. Лидина, а также в «Памятных датах» 1987 года и в «Седьмой тетради» «Невы» (1988, № 1).

И еще одна благодарность — покойной Марии Степановне Волошиной, вдове М. Волошина, предоставившей мне еще в 1974 году письма Васильевой к Волошину для публикации (хранятся теперь в Пушкинском Доме). Ответные письма Волошина, по видимому, пропали при обыске в 1927 году...

Когда погиб Н. Гумилев, в парижской газете «Последние новости» Алексей Толстой поместил некролог, в котором, возвращаясь памятью к эпизоду 1909 года — несомненно очень важному в биографии Гумилева, — назвал Черубину «одной из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе». И вовсе не только о Максимилиане Волошине вспоминая в очерке «Живое о живом» те же месяцы 1909 года Марина Цветаева окрестила их «эпохой Черубины де Габриак». Она писала о поэзии Черубины как о предшественнице своей поэзии и поэзии Анны Ахматовой («...образ Ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахматовой и до меня...»).

Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, Михаил Кузмин, Игорь Северянин, Николай Гумилев, Брюсов, Эренбург, Маршак... Разве этого мало, чтобы поверить в значение Черубины?

Пришла пора вернуть имя Черубины де Габриак русской поэзии, литературе, в которой не должно быть предано забвению ни одно сколько-нибудь значительное имя, — какая бы реальная судьба ни сложилась у самого поэта.

Владимир ГЛОЦЕР.

АВТОБИОГРАФИЯ

I

Родилась в Петербурге 31 марта 1887 года.

Небогатая дворянская семья. Много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощности в настоящем. Мать по отцу украинка, — и тип и лицо — все от нее — внешнее. Отец по матери — швед. Очень замкнутый мечтатель, неудачник, учитель средней школы, рано умерший от чахотки. Была сестра немного старше, рано — 24 лет — умерла. Очень трагично. Впечатленья на всю жизнь. Есть брат — старший.

Я — младшая, очень, очень болезненная, с 7 до 16 лет почти все время лежала — туберкулез и костей и легких; все это до сих пор, до сих пор хромаю, потому что болит нога.

Больше всего могу сказать сейчас о своем детстве и о любимых поэтах.

Мое детство все связано с Медным всадником, Сфинксами на Неве и Казанским собором.

Я росла одна, потому что я младшая и потому что до 16 лет я была всегда больна мучительными болезнями, месяцами державшими меня в забытьи. Мое первое воспоминанье в жизни: возвращенье к жизни после многочасового обморока — наклоненное лицо мамы с янтарными глазами и колокольный звон. Мне было 7 лет. Все, что было до 7 лет, — я забыла. На дворе — август с желтыми листьями и красными яблоками. Какое сладостное чувство земной неволи!

А потом долгие годы... я прикована к кровати и больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери Всех Скорбящих. А бабушка заставляла ночью целовать образ Целителя Пантелеймона и говорить: «Младенец Пантелеймон! Исцели младенца Елисавету!» И я думала, что если мы оба младенца, то Он лучше меня поймет.

А когда встала, то почти не могла ходить (и с тех пор немног хромаю) и долго лежала у камина, а моя сестра читала мне сказку Андерсена про Морскую Царевну, которой тоже было больно ступать¹. И с тех пор, когда я иду и мне больно, я всегда невольно ду-

маю о Морской Царевне и радуюсь, что я не немая. Люди, которых воспитывали болезни, они совсем иные, совсем особенные.

Мне кажется, что в 16—17 лет я знала больше и вернее. Мне кажется, что с 18-ти лет я пошла по пыльным дорогам жизни, и что постепенно утрачивалось мое темное *вѣдение* и вот *сейчас* я ничего не знаю, но только что-то слышу, и верю в то, что слышу, а им всем кажется, что у меня открытые глаза.

И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновение. Мне тяжело нести свою душу.

В детстве я больше всего любила сказки Кота-Мурлыки, особенно «Милу и Нолли»; я уже давно не читала их, но трепет до сих пор! А потом полюбила Гофмана.

Я никогда не любила и не буду любить Брюсова, но прошла через Бальмонта и также через Уайльда и Гюисманса, и мне близок был путь Дюртала ².

В детстве, лет 14—15, я мечтала стать святой и радовалась тому, что я больна темным, неведомым недугом и близка к смерти. Я целых 10 месяцев была погружена во мрак, я была слепой, мне было 9 лет. Я совсем не боялась и не боюсь смерти, я 7-и лет хотела умереть, чтобы посмотреть Бога и Дьявола. И это осталось до сих пор. Тот мир для меня бесконечно привлекателен. Мне кажется, что вся ложь моей жизни превратится в правду, и там, оттуда, я сумею любить так, как хочу.

Но я хочу задолго знать о том, что мне предстоит радость этого перехода, готовиться к нему... А мне грозит мгновенная и неожиданная смерть.

От детства я сохранила облик «Рыцаря Печального Образа» — самого прекрасного рыцаря для меня — Дон Кихота. Он один во всей толпе прекрасен, потому что Он не боится преувеличений, и Он *один* видит красоту. С детства он мой любимый герой, и я бы хотела написать «Венок»; «Мои герои» — венцом их был бы Дон Кихот.

И еще — мой любимый образ, я давно его ношу, но не смею о нем писать — Прекрасная Дама — Дульцинея Тобосская...

Гимназию окончила поздно, 17-ти лет, в 1904 г. с медалью, конечно. Потом поступила в Женский Императорский Педагогический институт и окончила его в 1908 г. по двум специальностям: средняя история и французская средневековая литература. В это же время была вольнослушательницей в Университете по испанской литературе и старофранцузскому языку. После была и училась в Париже, в Сорбонне — бросила. В 1911 (весной) — замужество и отъезд в Туркестан.

И вот до 1918 г., когда я из Петербурга приехала в Екатеринбург, — все время живя в Петербурге, к<a>к в основном моем месте, — ездила в Туркестан (Ташкент — Самарканд — Чарджуй), в Германию, главным образом в Мюнхен, в Швейцарию, Финляндию, Грузию и еще много куда по России.

Внешняя жизнь незначительна и бедна событиями. Лучше вспомнить знакомства, встречи и любимых поэтов.

II

Видели вы итальянок на картинах Карла Брюллова? С четким профилем, с блестящими черными волосами? — Вот такая моя Лида Брюллова, почти моя сестра, мою мать она называет «мама», — мы росли вместе, — она прекрасна и лицом и душой. Она ждет меня на Севере. Ее дети — почти мои дети, — Юрий и Наташа ³.

Мой очень близкий друг и даже учитель — Максимилиан Волошин, я его очень люблю.

Хорошо знакома с Андреем Белым. Я оч<ень> люблю, когда

А. Белый сам читает свои произведения. У него удивительный голос и то, что он из него делает.

Знаю Вячеслава Иванова, бывала и занималась у него на «Башне», он мне близок. Встречала Иннокентия Федоровича Анненского в год его смерти и люблю, конечно. Знала М. А. Кузмина, не очень люблю его. Ахматову иногда люблю, незнакома.

Только издали была знакома с Блоком, не хотела ближе, чтобы сохранить облик любимого поэта. В Вольфиле⁴ сейчас цикл памяти Блока, читают его письма. Прочла поэму «Возмездие». Я потрясена ею.

Не люблю Гиппиус — встречалась издали⁵. Совсем не знаю гр. В. А. Комаровского.

Всячески люблю, нежной любовью Елену Гуро, весь ее облик. Последнюю зиму ее жизни бывала у нее часто. У нее была обаятельная душа! У Гуро я больше всего люблю «Сон» — и неизданную рукопись философско-литературного дневника, называется: «Бедный или милый рыцарь». Напрашивается некоторое сближение с Александром Добролюбовым: «Из книги Невидимой».

Н. Гумилева встречала в 1907 и 1909 годах.

Больше, гораздо больше я знаю М. Волошина, видела его всю жизнь. Считаю его очень большим художником, с причудами, которые не мешают его *charm'u*. Он все же выше их. У него большая эрудиция и особое умение брать слово.

Мои встречи с Максимилианом Александровичем относятся к годам: 1909, 1916, 1919, 1923. В последний раз я видела М. А-ча в посту 1927 г., когда он был в СПб. Акварели М. А. похожи на жемчужины и на самые нежные работы японских мастеров. Если в его теперешних стихах — весь целиком его дух, то в его акварелях осталась его душа, которую мало кто угадывает до конца.

Я люблю «Венки», больше всего «Corona Astralis» и «Lunaria»⁶. Считаю М. Волошина непревзойденным в спаянности венков. Моя «Золотая ветвь» мне дорога. Она посвящена М. Волошину. Да ведь в поэзии Черубина его крестная дочь.

III

Я люблю мои стихи только пока пишу, а потом они к<a>к отмершие снежинки, оттого я их не собираю. Я всегда боюсь, что больше не буду писать, и всегда, когда пишу, думаю, что утратила способность писать.

Есть одно определенье, которое и меня всю жизнь мучило: Сивилла. Но какая Сивилла! Погас ее пламень для нас, современных сивилл, и мы только «помним имена».

С детства, лет с 13-ти для меня очень многим была Мирра⁷. То, что Д. Щербинский⁸ называет *сивиллиным* во мне, а я иногда считаю просто прозреньем средневековой колдуньи, — вот это влекло меня к Мирре.

Бойтесь, бойтесь в час полуденный
выйти на дорогу —
В этот час уходят ангелы
поклоняться Богу,
В этот час бесовским воинствам
власть дана такая,
Что трепещут силы праведных
у преддверья Рая...

Мирра оказала на меня очень большое влияние, — я в детстве (13—15 л.) считала ее недосягаемым идеалом и дрожала, читая ее стихи. А потом уже во втором периоде явилась Каролина⁹.

Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!

Обе они мне так близки, обе так бесконечно недосыгаемы.

Мирра, Каролина и еще вот... Кассандра¹⁰. Стихи Кассандры: они меня пленили, совсем пленили, особенно русские: «Моя любовь не девочка»... и о Финисте. В ней есть то, чего так хотела я и чего нет и не будет: подлинно русское, от Китежа, от раскольничьей Волги. Мне так радостно, что есть Кассандра... Но к<a>к всегда — боль не зависти, а горечи!). Все — поэты Именем Бога, а — я? Я — нет. Я — рассыпающая жемчуга.

Я мало могу сказать о своем отношении к современному литературному Петербургу, я ведь схимница и келья моя закрыта для всех. Да и кто помнит меня. «Черубина» — это призрак, живущий для многих призрачной жизнью.

В самой себе я теперь гораздо ближе к православию, дороже всего для меня Флоренский¹¹, как большая поэма, точно Дантов «Рай»... В нашей старине я очень, очень люблю русское, и все в себе таким чувствую, несмотря на то, что от Запада так много брала, несмотря на то, что я — Черубина. Всё пока... всё — покров... Я стану Елисаветой.

Между Черубиной 1909—1910 гг. и ею же с 1915 г. и дальше — лежит очень резкая грань. Даже не знаю — одна она и та же или уже та умерла. Но не бросаю этого имени, потому что чувствую еще в душе преемственность и, не приемля ни прежней, ни настоящей Черубины, взываю грядущей. Я еще даже не знаю, поэт я или нет. Может быть, мне и не дано будет узнать это. Одно верно — нечто от Сивиллы есть во мне — только это горечь уже: в наше время нести эту нить из прошлого, Сивиллину муку настоящего, потому что теперь ей не дано ясного прозрения, но даны минуты ясного сознания, что не в ее силах удержат истоки уходящего под землю ключа.

Так в средние века сжигали на кострах измученную плоть для вящей славы духа.

Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. И странно, когда меня называют по имени... И я знаю, что я уже давно умерла, — все вы любите умершую Черубину, которая хотела все воплотить в лике... и умерла. А теперь другая Черубина, еще не воскресшая, еще немая...

Не убьет ли эта теперешняя, кот<ор>ая знает, что колдунья, чтобы не погибнуть на костре, должна стать святой, — не убьет ли она облик девушки из Атлантиды, которая все могла и ничего не сумела? Не убьет ли?

Сейчас мне больно от людей, от их чувств и, главное, от громкого голоса.

Душа уже надела схиму.

1927.

В основу «Автобиографии» легли некоторые письма Елис. Васильевой (так она иногда подписывала свои письма) к Е. Я. Архипову.

¹ Имеется в виду сказка Андерсена «Русалочка».

² Дюрталь — герой романа Ж. Гюисманса «Там внизу» (1891, русский перевод — 1907 год).

³ Лидия Павловна Брюллова (1886—1954) — поэтесса, секретарь редакции журнала «Аполлон», мать поэта, участника ОБЭРИУ (Объединения Реального Искусства) Юрия Владимировича (1908—1931). Е. Васильева посвятила ей несколько стихотворений: «Одежда Ахен весь зелеными ветвями...» (1910), «Моей одной» («Есть два креста — то два креста печали...») и другие. Репрессирована в 1935 году. Умерла в ссылке.

⁴ «Вольфила» — Вольная философская ассоциация, существовала в Петрограде в 1919—1924 годах (отделение — в Москве, с 1921-го). Среди ее учредителей Андрей Бельй, А. Блок, Р. Иванов-Разумник, В. Мейерхольд, К. Петров-Водкин.

⁵ Речь идет о Зинаиде Гишпиус (1869—1945), русской поэтессе, прозаике, критике, мемуаристке

⁶ «Corona Astralis» и «Lunaria» — венки сонетов. Первый — с посвящением «Елизавете Ивановне Дмитриевой» и подписанный: «Коктебель. Август 1909 года» — вошел в сборник М. Волошина «Стихотворения. 1900—1910» (М., «Гриф», 1910). Второго — в сборник «Иверни» (М., «Творчество», 1918).

⁷ Мария (Мирра) Александровна Лохвицкая (1869—1905) — русская поэтесса. Далее строки из стихотворения М. Лохвицкой «В час полуденный». В оригинале последняя строка звучит так: «Что трепещут души праведных у преддверья Рая!»

⁸ Д. Щербинский — один из псевдонимов поэта, литературоведа и библиографа Е. Я. Архиппова. Е. Васильева имеет в виду неопубликованную статью Архиппова, подписанную этим псевдонимом. Е. Архиппову принадлежит первая «Библиография Иннокентия Анненского» (М., «Жатва», 1914).

⁹ Каролина Карловна Павлова (1807 — 1893) — русская поэтесса. Далее — строки из стихотворения К. Павловой «Ты, уцелевший в сердце нищем...» (1854).

¹⁰ Вера Александровна Меркурьева (1876 — 1943) — поэтесса и переводчица.

¹¹ Павел Александрович Флоренский (1882—1937?) — русский религиозный философ и ученый. Могу предположить, что Е. Васильева находилась под впечатлением труда П. Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» (М., «Путь», 1914).

М. А. Волошин

РАССКАЗ О ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК

Я начну с того, с чего начинаю обычно, — с того, кто был Габриак. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчйн. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле¹. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.

Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чортовских святцах («Демонология» Бодена²) и, наконец, остановились на имени «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чорта.

Лиле в то время было 19 лет. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве от всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: «Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки».

Примечание Е. И. Дмитриевой: «Брат был очень странный и необыкновенный. Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна сеновала. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала, но всякий раз, когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром.

Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, он завизжал, прибежали старшие и его освободили. Однажды мы бросили в воду мамин браслет и потом сами с плачем рассказывали о случившемся.

Сестра умела свистеть, но няня ей не позволяла и говорила, что когда девочки свистят, то Богородица с престола спрыгивает. Брату это нравилось. Он свистел и спрашивал: «Что, уже спрыгнула?» Учил меня, так как я была еще мала и свистеть не умела, и говорил: «Пусть прыгает!»

Когда мне было 5 лет, брат задумал творить чудеса, но чувствуя себя слишком грешным, обратился ко мне и потребовал, чтобы я поклялась, что не совершила ни одного преступления. Я поклялась. Тогда он взял воды и велел мне превратить ее в вино. Я преврати-

ла.— «Попробуй!» Я попробовала.— «Совсем вино!» Но так как я вина до тех пор никогда не пробовала, то он призвал сестру. Она сказала, что вино должно быть красным. Тогда брат очень рассердился, вылил воду мне на голову и остался в уверенности, что я утаила какое-то свое преступление.

Однажды, недели на две, брат стал «христианином». Они со школьным товарищем решили «бить жидов» и вырезывать у них на лице крест. Поймали мальчика еврея и вырезали у него на щеке крест, но убить не успели. Когда брату было 10 лет, он убежал в Америку. «Украл у отца денег и написал ему письмо: «Я беру эти деньги с тем, чтобы вернуть их через два года. Если ты честный человек, то никому не скажешь». Он доехал до Новгорода, учился сапожному ремеслу и ходил в полицию спрашивать: нельзя ли там купить фальшивый паспорт. Когда его вернули в Петербург, то домашние оставили его в покое, ни о чем не расспрашивали и не упрекали.

Когда мне было 10 лет, брат взял с меня расписку, что шестнадцати лет я выйду замуж и что у меня будет 24 человека детей, которых я буду отдавать ему, а он будет их мучить и убивать. Тоня, сестра, сказала: «А если никто не возьмет ее замуж?» — «Тогда я найду человека, который совершил преступление, и под угрозой выдать его заставлю на ней жениться».

Однажды он сказал мне таинственно: «Я узнал необыкновенную вещь, которую не знает еще никто. Взрослые еще об этом и не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону Дьявола, он всех тех, кто с Богом, будет мучить и убивать». Я была потрясена этим известием и несколько дней ходила сама не своя, а брат точно забыл обо всем этом. Наконец я спросила его: «А как же с Богом?» — «Ах, с Богом... Ему удалось спастись. Он удрал через форточку». На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу.

Лет до пяти меня одевали, как мальчика, в брюки и курточку. Брат посылал меня на дорогу и заставлял просить милостыню, говоря: «Подайте дворянину!» Деньги потом отбирал, бросал в воду и говорил, что стыдно тратить милостыню на себя.

Брат страдал нервными припадками. Я помню, когда мы остались с ним одни, без старших в квартире, он, чувствуя приближение припадка, ложился на диван и заставлял меня смотреть на него. Это, по его мнению, укрепляло нервы. Я должна была давать ему капли, но, наливая, испугалась и вылила ему всё в глаза, так что потом капель не было. Он сам нюхал эфир и давал мне. Мне тогда становилось страшно и приятно, и я ложилась где-нибудь на пол. Когда, недели через две, взрослые вернулись, брат все ходил по квартире и резал какие-то невидимые нити. Его отправили на несколько месяцев в больницу. Я тоже вскоре заболела дифтеритом, после которого год была слепая. Тогда я утратила воспоминание о предыдущей жизни, которые у меня в раннем детстве были отчетливы и яркие.

Когда брату было 16 лет, я, войдя в его комнату, застала его плачущим. Я была потрясена, так как раньше с ним никогда этого не было. Когда я спросила, что с ним, он ответил: «Я чувствую, что глупею». С тех пор он очень изменился».

Летом 1909 года Лиля Дмитриева жила в Коктебеле. Она в те времена была студенткой Университета, ученицей Александра Веселовского и изучала старофранцузскую и староиспанскую литературу. Кроме того, она была преподавательницей в przygotowительном классе одной из петербургских гимназий. Ее ученицы однажды отличились. Какое-то начальство вошло в класс и спросило: «Скажите, девочки, кого из русских царей вы больше всего любите?» Класс хо-

ром ответил: «Конечно, Гришку Отрепьева!» К счастью, это никак не отразилось на преподавательнице.

Лиля писала в это лето милые простые стихи, и тогда-то я ей и подарил чорта Габриака, которого мы в просторечии звали «Гаврюшкой».

В 1909 году создавалась редакция «Аполлона», первый номер которого вышел в октябре — ноябре. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него, и стихи Лили казались подходящими. В то время не было в Петербурге литературного молодого журнала. Московские «Весы» и «Золотое руно» уже начинали угасать. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо, умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактору «Аполлона» С. К. Маковскому удалось использовать Ушковых³.

Маковский, «Рара Мако», как мы его называли, был чрезвычайно аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мной — не внести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию «Аполлона» не иначе как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Рара Мако прочил балерин из петербургского кордебалета.

Лиля — скромная, не элегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.

Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу чорта Габриаха. Но для аристократичности чорт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу «Де»: Ч. де Габриак.

Впоследствии «Ч.» было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч., пока наконец Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины⁴. Чтобы окончательно очаровать Рара Мако, для такой светской женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение

Наш герб

Червлёный щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но верен он моей судьбе,
Последней — в роде дерзких волей...

Есть необманный путь к тому,
Кто спит в стенах Иерусалима,
Кто верен роду моему,
Кем я звана, кем я любима;

И путь безумья всех надежд,
Неотвратимый путь гордыни;
В нем — пламя огненных одежд
И скорбь отвергнутой пустыни...

Но что дано мне в щит вписать?
Датуры тьмы иль розы храма?
Тубала медную печать
Или акацию Хирама?

Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучом. На печати был девиз: «*Vae victis!*»^{*} Все это случайно нашлось у подруги Лили Л. Брюлловой.

Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотруд-

* Горе побежденным! (Лат.) [Peg.]

ников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон.

Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать⁵. Я только успел шепнуть ему: «Молчи. Уходи». Он не замедлил скрыться.

Маковский был в восхищении. «Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что Вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы!»

Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порываться в старых тетрадах и прислать все, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу, и на другой день Маковский получил белую тетрадь стихов.

В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля. Мы сделали Черубину страстной католичкой, так как эта тема еще не была использована в тогдашнем Петербурге.

Св. Игнатию

Твои глаза — святой Грааль,
В себя принявший скорби мира,
И облекла твою печаль
Марии белая порфира.

Ты, обагривший кровью меч,
Склонил смиренно перья шлема
Перед сияньем тонких свеч
В дверях пещеры Вифлеема.

И ты — хранишь ее один,
Безумный вождь священных ратей.
Заступник грез, святой Игнатий,
Пречистой Девы паладин!

Ты для меня, средь дольных дымов,
Любимый, младший брат Христа,
Цветок небесных серафимов
И Богоматери мечта.

* * *

Я венки тебе часто плету
Из пахучей и ласковой мяты,
Из травинок, что ветром примяты,
И из каперсов в белом цвету.

Но сама я закрыла дороги,
На которых бы встретилась ты...
И в руках моих, полных тревоги,
Умирают и пахнут цветы.

Кто-то отнял любимые лики
И безумьем сдавил мне виски.
Но никто не отнимет тоски
О могиле моей Вероники.

Затем решили внести в стихи побольше Испании.

Ищу защиты в преддверьи храма
Пред Богоматерью Всех Сокровищ,
Пусть орифламма
Твоя укроет от злых чудовищ...

Я прибежала из улиц шумных,
Где бьют во мраке слепые крылья,
Где ждут безумных
Соблазны мира и вся Севилья.

Но я слагаю Тебе к подножью
Кинжал и веер, цветы, камни —
Во славу Божью...
O Mater Dei, memento mei! *

Кроме того необходима была преступно-католическая любовь к Христу.

Твои руки

Эти руки со мной неотступно
Средь ночной тишины моих грез,
Как отрадно, как сладко-преступно
Обвивать их гирляндами роз.

Я целую божественных линий
На ладонях священный узор...
(Запеваает далеких Эриний
В глубине угрожающий хор.)

Как люблю эти тонкие кисти
И ногтей удлинненных эмаль,
О, загар этих рук золотистой,
Чем Ливанских полудней печаль.

Эти руки, как гибкие грозди,
Все сияют в камнях дорогих.
Но оставили острые гвозди
Чуть заметные знаки на них.

Так начались стихи Черубины.

На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скулал, ему не хотелось класть трубку, и он, вместо того, чтобы кончать разговор, сказал: «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам все, что узнал по Вашему?» И он рассказал, что отец Черубины — француз из Южной Франции, мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и т. д. Лиле оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.

Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Рара Мако избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: «Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук».

Он прибегал к моей помощи и говорил: «Вы мой Сирано», не подзревая, до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Рара Мако, например, говорил: «Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет. Я должен написать сонет di risposta**», и мы вместе с ним работали над сонетом.

Маковский был очарован Черубиной. «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать». А Лиля в это время жила на одиннадцать с половиной в месяц, которые получала как преподавательница приготовительного класса.

Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно.

Переписка становилась все более и более оживленной, и это было все более и более сложно. Наконец мы с Лилей решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешевое из того, что можно было

* О Матерь Божья, помяни меня! (Лат.) [Рег.]

** В ответ (ит.). [Рег.]

достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травки, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи. Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения просто. Она говорила по телефону: «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня». Маковский ехал на острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле... Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит на автомобиле, а только на лошадах.

Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьер балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: «Я уверена, что Вам понравилась такая-то». И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал как «выбивание шпаги из рук».

Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповедывалась у отца Бенедикта. Вот стихотворения, посвященные ему и исповеди:

Его египетские губы
Замкнули древние мечты,
И повелительны и грубы
Лица жестокого черты.

И цвета синих виноградин
Огонь его тяжелых глаз,
Он в темноте глубоких впадин
Истлел, померк, но не погас.

В нем правый гнев рокошет глухо,
И жечь сердца ему дано:
На нем клеймо Святого Духа —
Тонзуры белое пятно...

Мне сладко, силой силу меря,
Заставить жить его уста
И в беспощадном лике зверя
Провидеть грозный лик Христа.

Исповедь

В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.

В тихой мгле исповедален
Робкий шопот, чья-то речь.
Строгий профиль мой печален
От лучей дрожащих свеч.

Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.

Поправляя гребень в косах,
Я слежу мои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.

Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, —
Но так сладостно сознание
Первородного греха...

Вот образцы стихов Черубины.

Красный плащ

Кто-то мне сказал. твой милый
Будет в огненном плаще...
Камень, сжатый в чьей праще,
Загремел с безумной силой?..

Чья кремнистая стрела
У ключа в песок зарыта?
Чье летучее копыто
Отчеканила скала?..

Чье блестящее забрало
Промелькнуло там. среди чащ?
В небе вьется красный плащ...
Я лица не увидала.

Благовещение

О, сколько раз, в часы бессонниц,
Вставало ярче и живей
Сиянье радужных оконниц
Моих немислимых церквей.

Горя безгрешными свечами,
Пылая славой золотой,
Там под узорными парчами
Стоял дубовый аналой.

И от свечей и от заката
Алела киноварь страниц,
И травной вязью было сжато
Сплетенье слов и райских птиц

И, помню, книгу я открыла
И увидала в письменах
Безумный возглас Гавриила:
«Благословенна ты в женах!»

Наряду с этими были такие:

Лишь раз один, как папоротник, я
Цвету огнем весенней, пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточью,
В заклый круг, приди, сорви меня!

Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.

Были портретные стихи:

С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой.

Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона,

Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

Легенда о Черубине распространилась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Рара Мако. Правда, были подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского.

Нам удалось сделать необыкновенную вещь — создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать впоследствии, так как эта женщина была призрак.

Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи «Цветы» и письмо.

Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.

Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.

В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь черных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
И их греховные уста.

Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей,
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах

Акаций белые слова
Даны ушедшим и забытым,
А у меня, по старым плитам,
В душе растет разрыв-трава.

Когда я в это утро пришел к Рара Мако, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: «Я послал, не посоветовавшись с Вами, цветов Черубине Георгиевне и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!» Письмо гласило, приблизительно, следующее: «Дорогой Сергей Константинович! (Переписка приняла уже довольно интимный характер.) Когда я получила Ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов».

— Но право же, я совсем не помню, сколько там было цветов. Я не понимаю, в чем моя вина! — восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.

Перед Пасхой Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Рара Мако заключил, что она будет Христовой невестой.

Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину, хотя бы чужими глазами. Про-

сил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова⁶. Трубников на вокзале был, Черубины ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Рара Мако с накладной бородкой, но вместо него увидела присланного друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был восхищен: «Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале».

В Париже Черубина остановилась в специальном католическом квартале, в отеле возле Saint Sulpice. Она прислала несколько описаний квартала, описала несколько встреч. Эта часть — ее дневники — выпадает, так как погибла при обыске. Остались только стихи.

В отсутствие Черубины Маковский так страдал, что Иннокентий Федорович Анненский говорил ему: «Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истрайте сто,— ну вести рублей, оставьте редакцию на меня... Отыщите ее в Париже».

Однако Сергей Константинович не поехал, что лишило историю Черубины небезынтересной страницы. Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюллова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приговаривала его к мысли о пострижении Черубины в монастырь.

Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришел ее исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре, на каменном полу, возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких.

Кризис болезни намеренно совпал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведет на Маковского известие о смертельной опасности.

Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественного чтения, когда Вячеслав Иванов делал доклад, Маковского позвали к телефону. Иннокентий Федорович пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: «Она будет жить!»

Все это происходило в двух шагах от Лили. Как-то Лиля спросила меня: «Что, моя мать умерла или нет? Я совсем забыла, и недавно, говоря с Маковским по телефону, сказала: «Моя покойная мать» — и боялась ошибиться...» А Маковский мне рассказывал: «Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать ее жива и живет в Петербурге, но она отвергла мать и считает ее умершей с тех пор, как та изменила когда-то мужу, и недавно так и сказала мне: „Моя покойная мать“».

Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Черубине, к которому Рара Мако страшно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве и носил такое странное имя, что надо было быть так влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимание на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его вообще не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила пригласительный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дону Гарпию. В прихожей были положены

листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда «он» распишется. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине.

В высших сферах редакции была учреждена слежка за Черубиной. Маковский и Врангель⁷ стали действовать подкупом. Они произвели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов Маковский мне сказал: «Знаете, мы нашли Черубину. Она — внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что действительно Черубиной».

Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа. Вот два стихотворения, которые тогда, конечно, не были поняты Маковским.

Лиля о Черубине:

В слепые ночи новолунья
Глухой тревогою полна,
Завороженная колдунья,
Стою у темного окна.

Стеклом удвоенные свечи
И предо мною и за мной,
И облик комнаты иной
Грозит возможностями встречи.

В темно-зеленых зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон
Чуть отражен, и смутный страх

Мне сердце алой нитью вяжет.
Что, если дальняя гроза
В стекле мне близкий лик покажет
И отразит ее глаза?

Что, если я сейчас увижу
Углы опущенные рта,
И предо мною встанет та,
Кого так сладко ненавижу?

Но окон темная вода
В своей безгласности застыла.
И с той, что душу истомила,
Не повстречаюсь никогда.

Черубина о Лиле:

Двойник

Есть на дне геральдических снов
Перерывы сверкающей ткани;
В глубине амфилад и дворцов
На последней, таинственной грани
Повторяется сон между снов.

В нем все смутно, но с жизнью схоже...
Вижу девушки бледной лицо,
Как мое, но иное и то же,
И мое на мизинце кольцо.
Это — я, и все так не похоже.

Никогда среди грязных дворов,
Среди улиц глухого квартала,
Переулков и пыльных садов —

Никогда я еще не бывала
В низких комнатах старых домов.

Но Она от томительных будней,
От слепых паутин вечеров —
Хочет только заснуть непробудней,
Чтоб уйти от неверных оков,
Горьких грез и томительных будней.

Я так знаю черты ее рук,
И, во время моих новолуний,
Обнимающий сердце испуг,
И походку крылатых вещуний,
И речей ее вкрадчивый звук.

И мое на устах ее имя,
Обо мне ее скорбь и мечты,
И с печальной каймою листы,
Что она называет своими,
Затаили мои же мечты.

И мой дух ее мукой волнуем...
Если б встретить ее наяву
И сказать ей: «Мы обе тоскуем,
Как и ты, я вне жизни живу» —
И обжечь ей глаза поцелуем.

С этого момента история Черубины начинает приближаться к концу. Прямое развитие темы делает крутой и неожиданный поворот. Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от имени Черубины какие-то письма, написанные не нами. И мы решили оборвать

Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то гениально». Он рассчитывал на то, что «ворона каркнет». Однако я не каркнул. А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится».

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение. В нем были строки:

Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали...

Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже обо всем давно знал. «Я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму». Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.

Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилю давно и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. За год до этого в 1909 году летом, будучи в Коктебеле вместе с Лилей, он делал ей предложение.

В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стали расти сплетни.

Лиля, обычно, бывала в редакции одна, так как жених ее, Воля Васильев, бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Ганцу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили³. Она была в то время в очень нервном возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его стороне. Я почувство-

вал себя ответственным за все это и с разрешения Воли (который был вольноопределяющимся, в нижнем чине) после совета с Леманом⁹, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.

Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления «Фауста». Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников «Аполлона». В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, и в том числе Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шалапин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос Иннокентия Федоровича: «Достоевский прав, звук пощечины, действительно, мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но тут же сообразил, что это не вышло с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (То есть: поняли ли за что?)

Он ответил: «Понял».

На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной речки, если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе¹⁰, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, — боясь, по неумению стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.

После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы: мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить¹¹.

¹ Так называли Елизавету Ивановну Дмитриеву близкие.

² Имеется в виду сочинение французского мыслителя и социолога Жана Бодена (Bodin), 1530—1596, «Демонomanия» («De la démonomanie des sorciers», pt. 1—2, 1580).

³ Ушковы — меценаты; М. К. Ушков — издатель «Аполлона» с 1911 года.

⁴ Героиня рассказа Брет-Гарта «Тайна Телеграфного Холма», но сюжет рассказа — иной.

⁵ В некрологе Н. Гумилева (парижские «Последние новости», 23 и 25 октября 1921 года) А. Толстой писал: «Помню, в теплую звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте, на полу, на ковре, лежала Д. и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной».

⁶ Александр Александрович Трубников — искусствовед и эссеист. Автор книг и статей об итальянских и французских художниках.

⁷ Николай Николаевич Врангель (1880—1915) — историк искусства и художественный критик. Один из авторов «Истории русского искусства» под редакцией И. Грабаря.

⁸ В мемуарной книге «Жизнь под восточным ветром» (1969) Йоханнес (Йоганнес, в мемуарах — Ганц) Гюнтер (1886—1973), немецкий писатель и переводчик, подробно рассказал о Черубине и своем вмешательстве в эту историю.

⁹ Борис Алексеевич Леман, псевдоним — Б. Дикс (1880—1945), поэт, критик и переводчик, друг М. Волошина и Е. Васильевой. В дальнейшем один из руководителей Петербургского антропософского общества.

¹⁰ Александр Константинович Шервашидзе (1867—1968) — живописец и театраль-ный художник.

¹¹ М. С. Волошина рассказала мне 19 мая 1974 года: «...В двадцать первом году судьба их столкнула в Феодосии... Одна из дочерей Спендиарова прибежала и сказала, что на пароходе какой-то петербургский поэт — она перепутала: Гумилевский (а Макс

был очень чуток к поэтам),— и Макс побежал, а я за ним — в порт. И когда Макс уже подходил,— парходик этот уже должен был отплыть И Макс заволновался... И сказал: «Николай Степанович, уже прошло столько времени и столько событий,— теперь мы можем подать друг другу руки». Макс протянул руку, и тот протянул. Но почти не обменялись словами. И загудело, и сходни подбирали.. И Макс был обескуражен: зачем он бежал? Он был разочарован: ничего даже не сказали друг другу. Что произошло? Зачем это так?.. Но когда Макс прочел в газетах (он газет вообще-то не читал)... он сказал: «Ну теперь мне понятно,— в этой жизни земной мы должны были подать друг другу руки»...»

ПИСЬМА К М. А. ВОЛОШИНУ

1

$\frac{8}{21}$ XI.08. StPtsbrg.

Уже давно от Вас нет письма, я совсем не боюсь и знаю, что оно придет. Но мне скучно без Вас, милый Макс Александрович. У меня теперь очень много занятий и уроков, и разных ненужных работ, т<ак> ч<то> целые дни я сижу в Публ<ичной> Библ<иотеке>, а по утрам даю уроки. Встаю для меня непривычно рано и очень устаю. Людей не вижу. Не вижу и себя. Когда есть свободное время, то перевожу испанские легенды, думаю о том, что когда Вы приедете, я расскажу их Вам, и они Вам понравятся. Мне — невесело. У мамы последнее время опять плохие нервы, и это тяжело. Мне хочется это написать Вам, п<отому> ч<то> я никому не говорю об этом. Но на весь декабрь мама уедет к брату, и я буду одна — отдыхать. А Вы не больны? Это мне почему-то сейчас пришло в мысли и мне не хочется этого. Вы много работаете теперь и хорошо ли Вам? Я совсем одна весь день, и в уроках, и в П<убличной> Библ<иотеке>, и вечерами в моей комнате; и читаю Брюсова, я его мало знала. У Вас нет Вашей карточки, большой и хорошей, а то на маленькой не разобрать черты лица.

Я о Вас много думаю. И грустно, что нет Вас.

Лиля Д.

2

$\frac{7}{20}$ го. XII.08 г.

У меня сегодня на душе как-то темно и смутно, но все же хочу придти к Вам, чтобы говорить с Вами; Ваше сегодняшнее письмо подошло прямо к глубинам моим, и где-то в сердце от него заболело. Я чувствую себя сейчас безмерно одинокой и покинутой; около меня нет людей, смотрящих в меня; а все мои виденья не приходят больше; минутами я не верю в них. А в то же время никогда еще у меня в душе не было так много любви и нежности, но я не умею передавать ее. Она накапливается в моем сердце и теснит его, и нет сил и знаков, чтобы выразить ее. У меня сейчас спутались все мысли, все их ветви и вихри кружатся вокруг меня. Я думаю, что это окончится тем, что я найду выражение для моей любви, какое-нибудь общее выражение, и тогда будет настоящий путь, а не искание, и тогда глаза перестанут плакать, а губы дрожать; и сейчас в минуту ужаса, которая во мне, мне так близко, так дорого Ваше стихотворение; спасибо за него и за «Счастье», но оно еще не близко мне, хотя и тянет к нему, но думаю, верю, что оно станет близким.

Мне вдруг стало светло и радостно от сознания, что Вы есть и что можно быть с Вами.

Вы всегда были таким, какой Вы теперь?

Все то, что пишете Вы о теософии — глубоко-верно и о искусстве; но ведь путь его ценен только тогда, когда зароненное семя чу-

жого творчества отразится в побегах личного творчества. Путь искусства — путь избранных, людей, умеющих претворить воду в вино. А для других — это путь постоянной горечи; нет ничего тяжелее, как невозможность творчества, если есть вечное стремление к нему. Понимать, но не проникаться, — ведь это проклятие! Мне это понятно, п<отому> ч<то> во мне этого так много; у меня так много жажды творчества и так мало творчества, т. е. нет его совсем. Меня так тянет писать, и я так часто пишу, но ведь я знаю, хорошо знаю, что это не то, что этого не нужно писать, что все это бледно и серо и по содержанию <и> по форме. Чувство моей обездоленности <нрзб.> меня очень мучает. Я сейчас пересмотрела все мои стихотворения, и ни одно не выражает того, что я хочу. Я посылаю Вам последнее по времени, п<отому> ч<то> Вы хотите знать их. Оно Вам не может понравиться. Только, пожалуйста, милый, хороший, думайте обо мне, как и раньше, и пишите мне. Что теперь делается с Вашим бюстом¹? Где он теперь? А теперь Вам спокойно, Вы работаете?

Лиля Д.

¹ Речь идет о бюсте М. Волошина работы польского скульптора Эдуарда Виттига (Виттиха, 1879—1941), который с 1900 года жил в Париже. Будучи там, Волошин позировал скульптору. Бюст установлен в одном из дворигов в Париже.

3

13 мая [1909]. Среда.

Дорогой Макс,

я уже три дня лежу, у меня идет кровь горлом, и мне грустно.

А Ваше письмо пришло сегодня, оно — длинное, ласковое и в нем много стихов.

Стало лучше. Ваш сонет «о гиене» лучший из трех; на Ваш я попробую ответить. Когда я приеду, буду рассказывать об образцах к лекциям Вяч. Иванова, а то записать все очень много. Теперь в субботу последняя лекция, но она будет носить характер *conférie*, т<ак> ч<то> о ней не буду писать, а расскажу.

У нас холодно. Думаю о Вас много, и скучно от здешнего. Читаю Шекспира. Если достану билеты, то выеду 24-го в воскресенье; в первый день, когда могу. Марго¹ ждать не стану, очень мне здесь плохо.

В Москве ко мне, м<ожет> б<ыть>, присоединится Гумилев, если ему не очень дешево в III кл.

Но я бы лучше хотела ехать одна.

Хочется видеть Вас, милый Макс.

Вам очень кланяется Лида². Мы теперь переплетаем книги в ситцы, большой простор для творчества. У Вяч. Иванова было решено воскресить альбомную поэзию 20-х годов. Мы все заводим альбомы и пишем в них стихи; вышла «Ограда» Пяста³.

Теперь я очень устала, потому кончаю; как хорошо «Делос» — напоминает по стилю «Пал Приамов град священный...»⁴.

Привет Е. О.⁵.

Лиля.

¹ Маргарита Васильевна Сабашникова (1882—1973) — художница, первая жена М. А. Волошина. Автор книги воспоминаний «Зеленая змея».

² Л. П. Брюллова.

³ Первый сборник стихотворений Владимира Алексеевича Пяста (1886—1940) «Ограда» вышел в 1909 году (СПБ, Т-во М. О. Вольф).

⁴ Первая строка баллады В. Жуковского «Торжество победителей» (1828).

⁵ Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (1850—1923) — мать М. А. Волошина.

4

Пятница 22 мая [1909].

Дорогой Макс,

уже взяты билеты и вот как все будет: 25 мая в понед. мы с Гумилевым едем, с нами Майя и ее отец¹. В Москве мы останемся до 27-го

вечера, а потом уже с Марго едем дальше, по моим расчетам мы приедем в субботу в 7 ч. утра в Феодосию, п<отому> ч<то> едем в III кл.

Это ничего, Макс, что я больна, у Вас все станет хорошо. Я привезу Одиссею и <нрзб.> би-би-бо.

О Вашем сонете я буду говорить с Вами; он — чудесен. Теперь уже через неделю; так хорошо. Гум<илев> напросился, я не звала его, но т<ак> к<ак> мне нездоровится, то пусть. Уже больше писем не будет, а будет Коктебель.

Я Вас оч<ень> хочу видеть и оч<ень> люблю.

Лиля.

¹ Неустановленные лица.

5

15 марта [1910]. Утро. Понед.

Но я все тверже и тверже знаю это, я не хочу, чтобы ты этого не знал. Я всегда давала тебе лишь боль, но и ты не давал мне радости. Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов: я *никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя*.

Макс, мой милый, видишь, так много, так много я ждала от моей любви к тебе, такого яркого, такого ведущего, но ты не дал. Я ждала раньше всего, что ты научишь меня *любить*, но ты не научил. Ты меня обманул. Это не упрек, ты сам не знал, я слишком много хотела и слишком мало умела сама.

Виновата я, если бывают виновные. Я стою на большом распутии. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе.

Я сказала все.

А за этот год я благодарю тебя. Ты отрезал меня от прошлого. Прощай, Макс. Если б для счастья твоего я могла отдать жизнь! Не кляни меня! Мы встретимся когда-нибудь нежно и дружески. Ты ведь тоже стал моим любимым ребенком, моим самым близким поэтом. Сердце рвется, Макс. Прощай, мой горько-любимый.

Лиля.

6

В. О. 7 л., д. $\frac{62}{1}$ к. 14.

$\frac{16}{29}$ XI.910. СПБ.

Дорогой Макс, уже много времени прошло с тех пор, как мы не встречались. Кто знает, когда и где встретимся. Я бы хотела, чтобы Вам стало хорошо и светло, чтобы Вы взяли жизнь и любовь. *Настоящую*, чтобы Вы перестали мучиться мною; я бы хотела взять всю Вашу боль на себя, хотела бы, чтобы я не оставалась больше в В<а-шей> жизни.

Мне хорошо, светло и спокойно.

Я знаю куда и зачем.

Тот путь искусства, к<отор>ый был близок для меня раньше, теперь далек навсегда. Ничего моего в печати больше не появится.

Я-художник умерла. Но это меня глубоко радует. У меня не тот путь. И теперь в начале его, когда я уже знаю, что нам долго не встретиться — я Вам говорю: спасибо за все, прощайте и простите. Я благословляю все, что было; все ложное, все не мое вывело меня на свет. Спасибо Вам, не кляните меня, забудьте и будьте радостны. Ваш путь, Ваша жизнь всегда мне близки.

Лиля.

7

[Канун 1910?]

Макс, мне прислала свои стихи Марина Цветаева из Москвы — Вы, наверное, знаете, кто она; я бы хотела переслать ей это письмо; сделай же это. Макс, *пожалуйста*.

А Вам — с Н<овым> Годом.

Лиля.

Если ее адрес не знаете — *напишите!*¹

¹ В мемуарном очерке «Живое о живом» (1933) Марина Цветаева писала: «И последнее, что помню:

О, суждено ль, чтоб я узнала
Любовь и смерть в тринадцать лет! —

и магически и естественно перекликающееся с моим:

Ты дал мне детство лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!

С той разницей, что у нее суждено (смерть), а у меня — дай. Так же странно и естественно было, что Черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, из всех них, в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов, черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем привлекившие. Ибо я-то, и трижды: как женщина, как поэт и как везетг любила не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школьную учительницу Димитриеву — с душой Черубины. Но дело-то ведь для Черубины было — не в моей любви».

8

26 мая [1916].

Милый Макс, спасибо. Не знаю, сумею ли ответить тебе по существу и, конечно, не в качестве «Garant'a», а как Лиля.

<...> Теперь о дружбе. 6 лет тому назад, когда ты ушел, я знала ясно одно: я умерла для искусства, я, любящая его болью отвергнутой матери, я сама убила его в себе.

Я это знала ясно и отчетливо. Но было и еще одно: боязнь Безумия, которое для меня тогда стояло рядом с Искусством и, преломляясь в Любви, делало ее безумной и невыносимой по жгучести. У меня странная душа, Макс, и никто, кроме тебя, не приоткрывал ее. Тебе это просто было дано, п<отому> ч<то> ты имел ключи: искусство. «Черубина» для меня *никогда* не была игрой<...>. «Черубина» поистине была моим рождением; увы! мертворождением. Все твое «признание» не было для меня тайной, я так и знала. И тогда 6 л<ет> тому назад я провожала не только тебя, это я знала. Говорила ли я тебе когда-нибудь, что я видела во сне, как ты надел мне на шею золотую *цель* из лавровых почти прозрачных листьев? И одна ветка свешивалась на грудь. Это не только сон, это была возможность.

Видишь, Макс, я все понимала, и видишь, слышишь ли ты, *какая* во мне душа? Все эти 6 лет я *молчала*, в январе 1913 г. мне показалось, что молчание превратилось в огромную любовь, молчание стало пламенем (Борис Леман). Но не было дано и этого. Только на сердце легла тяжесть огромной любви и еще большего молчания. Что я тебе скажу дальше, Макс? Где мое освобождение, где исцеление и в чем души? Что мне в ней, умершей для творчества?

Я только стала внешне твердой и старой. Я знаю, что *мой* путь я отбросила, встала на чужой и узурпировала его. Но я сделаю его *своим* или умру раньше, Макс.

Но пойми, пойми, Макс, милый, как тяготит меня мертвое творчество, как изнасилована моя душа!

Только тебе говорю я об этом и только потому, что встал как-то остро вопрос о дружбе, а я буду честной с тобой: ты теперь знаешь, какие нити еще вяжут меня с тобой, что я несу в себе все, что было

6 л<ет> назад, как зарытый талант, какая у меня душа и как я жалка, жалка своей ослепленной душой. Принимаешь ли ты меня?

Макс! прошу тебя ответить, и не бойся написать одно слово «нет», ведь я все принимаю с любовью, за все благодарю. «Твоя любовь в моих воспоминаньях»¹.

Не бойся ответить «нет», Макс, п<отому> ч<то> пойми, какая я мертвая.

Лиля.<...>

¹ Перефразированная строчка из венка сонетов Черубины де Габриаки «Золотая ветвь», посвященного «Моему учителю» (М. Волошину). В венке: «Твоя печаль в моих воспоминаньях...» («Аполлон», 1909, № 2).

9

Английская наб. 74, кв. 7.
12/VII.[19]22. Петербург.

Милый Макс! Вот уже я вернулась назад и теперь долго буду в Петербурге. А о тебе я ничего не знаю! Писала из Е<катеринода>ра раза три-четыре, узнав о твоей болезни.

Но ты не отвечал — значит — не доходили письма. Твое последнее письмо от 19 г., когда ты писал поэму о св. Серафиме¹.

Написал ли ты ее? Ты знаешь, как я люблю твои стихи и как им радуюсь. Пришли мне их, Макс, и напиши о себе, п<отому> ч<то> мне трудно долго не знать о тебе. Кто около тебя? Кто тебя любит и кого любишь ты? Что Елена Оттоб<альдовна>? Все так же трудно?

<...> М<ожет> б<ыть>, как раз теперь я совсем выросла, и мы с тобой могли бы говорить вместе уже совсем по-настоящему. Сейчас есть много такого, что заставляет меня с радостью думать о тебе, и очень тебя любить. Но обо всем этом потом. Только одно скажу тебе, милый, одно, в чем мне нужны и твоя дружба, и твой совет. Я опять стала писать стихи, Макс! Я иногда стала думать, что я — поэт. Говорят, что надо издавать книгу. Если это будет, я останусь «Черубиной», п<отому> ч<то> меня так все приемлют и п<отому> ч<то> все же корни мои в «Черубине» глубже, чем я думала. Ты говорил, что надо бросить этот псевдоним.

Я чувствую необходимость его оставить. Ты не думаешь, Макс, что мы не имеем права ни от чего отречься?

Я посылаю тебе немного моих стихов. Напиши мне о них совсем правду, главное в том, в чем они — плохи. Ты знаешь, я не боюсь твоей правды, а без нее мне трудно писать. Когда я получу ответ — я пошлю тебе стихи моих друзей и потом расскажу о них.

Макс! Ты скорее ответь, а лучше всего приезжай сам. И побольше напиши о себе.

Целую тебя.

Лиля.

¹ Поэма «Святой Серафим Саровский» — часть триптиха, посвященного трем праведникам Земли Русской: прстопопу Аввакуму, иноку Епифанию и Святому Серафиму Саровскому.

10

9.VII.[1926?]

Милый, милый Макс!

Знаешь — никуда я так не хочу, как в Коктебель, даже во сне его вижу и слышу соленый запах ветра.

Но я не приеду, нет у меня денег совсем и не будет. — Скучно об этом писать.

Но в сердце все зреет и зреет желанье «вернуться» в Коктебель. Самое главное в нем для меня — ты.

После этой мимолетной встречи ты стал для меня еще ближе и дороже.

И в тебе я знаю — много есть разгадок для меня.

И тебе надо побыть со мной.

Но, вероятно, и это желанье надо выстрадать, и я буду ждать часа, который меня пустит к тебе надолго.

Ты только верь и жди меня, родной мой!

Тебя целует Воля и Борис¹. Воля очень тебя любит.

Привет от Юлиана и Лиды². Лида тоже нищая.

Целую тебя крепко, крепко.

Лиля.

Поцелуй Марусю³.

¹ Всеволод Николаевич Васильев, муж Е. Васильевой, и Борис Алексеевич Леман, их друг.

² Юлиан Константинович Щуцкий (1897—1946) — известный китаист и переводчик китайских поэтов («Антология китайской лирики VII—IX вв по Р. Хр.», Пг., «Всемирная литература», 1923), друг и адресат многих стихотворений Е. Васильевой в 20-е годы, репрессирован в 1937 году, погиб в лагере, и Л. П. Брюллова.

³ Мария Степановна Волошина, урожденная Заболоцкая (1887—1976), жена М. А. Волошина.

11

30.X.[19]27.

Дорогой мой Макс! Я так рада, что Вы оба с Марусей живы. Телеграмм во время землетрясения отсюда в Крым не принимали. Я стороной узнала о вас. Молюсь за вас, к<а>к могу. Ты ведь знаешь, Макс, как ты дорог мне. Твою старушку навещу через недельку — пока был припадок печени и я — желта и невыходима. Увидав ее, напишу тебе. Я перевожу Д. Кихота (Саша Смирнов¹ позвал) и немного пишу стихи. Воля здесь — но часто уезжает — скоро уедет в Фергану. Я очень люблю Туркестан, но я очень до боли тоскую и хочу домой. Я никого не вижу здесь, всего ведь не напишешь, но так я нахожу нужным, п<отому> ч<то> так лучше для других, к<а>к ты понимаешь? У меня — запрет в городах, в остальные места я могу свободно ехать с разрешения местных властей. Но это уже результат хлопот, п<отому> ч<то> на Урале я попала сначала этапом и в ссылку. В Екат<еринбург>е было очень трудно. Теперь же я так хочу домой. Иногда пиши мне. Я тебя очень люблю, родной Макс. Целую М<арусю> и тебя.

Лиля.

¹ Александр Александрович Смирнов (1883—1962) — литературовед-медиевист и переводчик. Уже после смерти Е. Васильевой он включал ее поэтические переводы в издания, которые редактировал (Пайен из Мезьера. «Мул без узды», М.—Л., 1934, и другие).

12

3.I.[1928].

С новым годом, милый Макс!

Спасибо за акварель и за стихи. Они лучше многих, даже тех, к<отор>ые тоже очень хороши. Нет в них растянутости, к<отор>ая иногда у тебя бывает, чудесные ритмы и так хорошо про Туркестан. Я их послала Юлиану.

— Вот ты и замкнул свое кольцо — изгнание — революция — землетрясение. Поистине апокалиптическое время!! Я хотела бы, чтобы ты поправился в Кисловодске, и так бы хотела к тебе весной, но это сложно очень; вот я регистрируюсь в ГПУ и вообще на учете. Очень, очень томлюсь. Рада за Бориса, ему будет там лучше, п<отому> ч<то> жена его туда поедет. След<ующий> раз пошлю стихи. Целую Марусю. Тебя всегда ношу в сердце и так бы хотела увидеть еще раз в этой жизни. Целую нежно.

Лиля.

Е. Я. АРХИПОВУ

При жизни моей обещайте «Исповедь» никому не показывать, а после моей смерти — мне будет все равно.

Ч.

СПБ. 1926, осень.

В первый раз я увидела Н. С.¹ в июне 1907 г. в Париже в мастерской художника Себастиана Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила.

Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Ром <антических> цветов»²). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет; а уже поздно ночью мы втроем ходили вокруг Люксембургского сада и Н. С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и всё.

Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он. Весной уже 1909 г. в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств, — был М. А. Волошин, который казался тогда для меня недостижимым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С., но мы вспомнили друг друга. — Это был значительный вечер моей жизни. — Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, пот<ому что> я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Ник. Степ. отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» «Да, всегда», — ответил М. А. — Я пишу об этом подробно, пот<ому что> эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. — Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча» и не нам ей противиться.

«Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людям, я нашел себе подругу из породы лебедей», — писал Н. С. на альбоме, подаренном мне³. Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню»⁴ и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, *никогда* не соглашалась я на это; — в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. Степ. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не зная. *Всей* моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство — желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край плаття.

В мае мы вместе поехали в Коктебель. Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», — а он меня, как зовут дома меня, «Лиля» — «имя похоже на серебристый колокольчик», так говорил он.

В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. Ст. Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе: его, меня и М. Ал. — потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недостижимая это был Макс. Ал.

Если Н. Ст. был для меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М. А. для меня был

где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.

Была одна черта, которую я очень не любила в Н. Ст., — его нежелательное отношение к чужому творчеству, он всегда бранил, над всеми смеялся, — а мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он еще не был таким.

Он писал тогда «Капитанов»⁵ — они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы.

Но он ненавидел М. Ал. — мне это было больно очень, здесь уже с неотвратимостью рока встал в самом сердце образ Макс. Ал. То, что девочке казалось чудом, — свершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно, — к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Г-ву — я буду тебя презирать». — Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попросила Н. С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал, а я до осени (сент.) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина.

Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. — А я собиралась выходить замуж за М. А. — Почему я так мучила Н. С.? — Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!

Наконец Н. Ст. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз — выходите за меня замуж»; — я сказала: «Нет!» Он побледнел — «Ну, тогда Вы узнаете меня». — Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на «Башне» говорил Бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павл. Брюлловой, там же был и Гюнтер⁶. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня М. А. ударил его, была дуэль⁷.

Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени.

Больше я его *никогда не видела*.

Вот и всё. Но только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Н. С. отомстил мне больше, чем я обидела его. После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль; — я так и не стала поэтом — передо мной всегда стояло лицо Н. Ст. и мешало мне. Я не смогла остаться с Макс. Ал. — В начале 1910 г. мы расстались, и я не видела его до 1917 (или 1916-го?).

Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку. А мне? До самой смерти Н. Ст. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.

Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им — он увел от меня и стихи и любовь...

И вот с тех пор я жила не живой; — шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом. Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли всё: а я не смогла остаться ни с кем.

Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь.

И это было платой за боль, причиненную Н. Ст.: у меня навсегда были отняты и любовь и стихи.

Остались лишь призраки их...

Ч.

¹ Н. С., Н. Ст., Н. Степ., Ник. Степ., Г-в — Николай Степанович Гумилев. М. А., М. Ал., Макс. Ал. — Максимилиан Александрович Волошин.

² Второй сборник стихотворений Николая Гумилева (Париж, 1908).

³ Альбом погиб во время одного из обысков: 1921 или 1927 года.

⁴ Так в кругу молодых поэтов называли квартиру Вяч. Иванова на Таврической, 25, где весной 1909 года читался курс лекций по поэтике. Потом, с осени, собрания были перенесены в редакцию «Аполлона». Эти занятия посещала и Е. Дмитриева. Когда имя Черубины было раскрыто, она написала Вяч. Иванову: «Мне очень жаль, Вячеслав Иванович, что после всего происшедшего я не могу бывать в Вашем доме. Но думаю, что Вы не будете жалеть об этом. Елиз. Дмитриева» (письмо 21 ноября 1909 года. Цитирую по комментариям А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика в ежегоднике «Памятники культуры. Новые открытия. 1981». Л., «Наука», 1983, стр. 123).

⁵ Цикл стихотворений Н. Гумилева, написанный летом 1909 года в Коктебеле, вошел в его сборник «Жемчуга» (М., «Скорпион», 1910).

⁶ Иоганнес Гюнтер, по его словам, пытался примирить Гумилева и Дмитриеву. «Я знал, что мой друг Гумми мечтает жениться, чтобы обрести самостоятельность, и я решил их опять соединить. Поскольку я встречался с ним ежедневно, мне было совсем нетрудно однажды сказать ему:

— Ты бы женился!

— На ком?

— На Дмитриевой!

Как мне пришла в голову такая мысль?

— Вы составите прекрасную пару, как Роберт Браунинг и его Елизавета, бессмертный союз поэтов. Ты должен жениться на поэтессе,— только настоящая поэтесса может тебя понять и вместе с тобой стать великой.

Он пожал плечами.

— Как ты на нее попал?

Но мне показалось, что он слушал внимательно...» («Жизнь под восточным ветром», стр. 293).

⁷ Дуэль между М. Волошиным и Н. Гумилевым состоялась на Черной речке 22 ноября 1909 года.

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

«Когда выпадет снег!» — ты сказал и коснулся тревожно
моих губ, заглушив поцелуем слова.
Значит, счастье — не сон. Оно — здесь! Оно будет возможно,
когда выпадет снег.

Когда выпадет снег! А пока пусть во взоре томящем
затаится, замолкнет ненужный порыв!
Мой любимый! Все будет жемчужно блестящим,
когда выпадет снег.

Когда выпадет снег и как будто опустятся ниже
голубые края голубых облаков,—
и я стану тебе, может быть, и дороже и ближе,
когда выпадет снег.

Париж, 1907.

Конец

С. Маковскому.

Милый рыцарь! Дамы Черной
Вы несли цветы учтиво,
власти призрака покорный,
Вы склонились молчаливо.

Храбрый рыцарь! Вы дерзнули
приподнять вуаль мой шпагой...
Гордый мой венец согнули
перед дерзкою отвагой.

Бедный рыцарь! Нет отгадки,
ухожу незримой в дали...
Удержали Вы в перчатке
только край моей вуали.

СПБ, 1909.

* * *

Братья-камни! Сестры-травы!
Как найти для вас слова?
Человеческой отравы
я вкусила — и мертва.

Принесла я вам, покорным,
бремя темного греха,
я склонюсь пред камнем черным,
перед веточкою мха.

Вы и всё, что в мире живо,
что мертво для наших глаз,—
вы создали терпеливо
мир возможностей для нас.

И в своем молчаньи — правы!
Святость жертвы вам дана.
Братья-камни! Сестры-травы!
Мать-земля у нас одна.

СПБ, 1917.

* * *

Есть у ангелов белые крылья.
Разве ты не видал их во сне —
эти белые, нежные крылья
в голубой вышине?

Разве ты, просыпаясь, не плакал,
не умея сказать, почему?
Разве ночью ты горько не плакал,
глядя в душную тьму?

И потом, с какой грустью на небо
ты смотрел в этот солнечный день!
Для тебя было яркое небо —
только жалкая тень.

И душа быть хотела крылатой,
не на миг, не во сне, а всегда.
Говорят,— она будет крылатой,
но когда?

1917.

* * *

Где б нашей встречи ни было начало,
Ее конец не здесь!
Ты от души моей берешь так мало,
Горишь еще не весь!

И я с тобой все тише, все безмолвней...
Ужель идем к истокам той же тьмы?
О, если мы не будем ярче молний,
То что с тобою мы?

А если мы два пламени, две чаши,
С какой тоской глядит на нас Творец...
Где б ни было начало встречи нашей,
Не здесь — ее конец!

1921.

* * *

Уж много кто разгадывал,
смотрел мою ладонь...
В церквах не пахнет ладаном,
по всей земле — огонь...

Не ангельскими грозами
пылают алтари,
а в сердце — воздух розовый
невидимой зари...

А в сердце, что орешина,
глядится в высоту...
Была я неутешная,
а вот опять цветую...

И церкви все затворены,
пойдешь — проходишь зря...
Моя — нерукотворная,
закреть ее нельзя...

Ходи по ней, как по саду,
один или вдвоем...
Из сердца прямо к Господу
возносится псалом.

Пускай и дым и полымя
по всем земным церквам...
Нашла я друга-голубя,
а прилетел-то сам...

к Успенью Богородицы...
Не знала, не ждала...
Теперь и радость спорится,
два сердца — два крыла.

Чужим-то уж не верится,
гадать уж недосуг...
Цветет весною деревце,
а в сердце — милый друг...

8.IX.1921.

* * *

Как горько понимать, что стали мы чужими,
не перейдя мучительной черты.
Зачем перед концом ты спрашиваешь имя
того, кем не был ты?

Он был совсем другой и звал меня иначе,—
так ласково меня никто уж не зовет.
Вот видишь, у тебя кривится больно рот,
когда о нем я плачу.

Ты знаешь все давно, мой несчастливый друг.
Лишь повторенья мук ты ждешь в моем ответе.
А имя милого — оно умерший звук:
его уж нет на свете.

11.IX.1921.

Памяти Анатолия Гранта *

Памяти 25 августа 1921.

Как-то странно во мне преломилась
пустота неоплаканых дней.
Пусть Господня последняя милость
над могилой пребудет твоей!

Все, что было холодного, злого,
это не было ликом твоим.
Я держу тебе данное слово
и тебя вспоминаю иным.

Помню вечер в холодном Париже,
Новый Мост, утонувший во мгле...
Двое русских, мы сделались ближе,
вспоминая о Царском Селе.

В Петербург мы вернулись — на север.
Снова встреча. Торжественный зал.
Черепеховый бабушкин веер
ты, читая стихи мне, сломал.

После в «Башне» привычные встречи,
разговоры всегда о стихах,
неуступчивость вкрадчивой речи
и змеиная цепкость в словах.

Строгих метров мы чтили законы
и смеялись над вольным стихом,
мы прилежно писали канцоны
и сонеты писали вдвоем.

Я ведь помню, как в первом сонете
ты нашел разрешающий ключ...
Расходились мы лишь на рассвете,
солнце вяло вставало меж туч.

Как любили мы город наш серый,
как гордились мы русским стихом...

* Один из псевдонимов Н. С. Гумилева, ставший прозвищем в кругу друзей.

Так не будем обычною мерой
измерять необычный излом.

Мне пустынная помнится дамба,
сколько раз, проезжая по ней,
восхищались мы гибкостью ямба
или тем, как напевен хорей.

Накануне мучительной драмы...
Трудно вспомнить... Был вечер... И вскачь
над канавкой из Пиковой Дамы
пролетел петербургский лихач.

Было сказано слово неверно...
Помню ясно сияние звезд...
Под копытами гулко и мерно
простучал Николаевский мост.

Разошлись... Не пришлось мне у гроба
помолиться о вечном пути,
но я верю — ни гордость, ни злоба
не мешали тебе отойти.

В землю темную брошены зерна,
в белых розах они расцветут...
Наклонившись над пропастью черной,
ты отвел человеческий суд.

И откроются очи для света!
В небесах он совсем голубой.
И звезда твоя — имя поэта
неотступно и верно с тобой.

16.IX.1921.

* * *

Там ветер сквозной и колючий,
там стынет в каналах вода,
там темные, сизые тучи
на небе, как траур, всегда.

Там лица и хмуры и серы,
там скупы чужие слова.
О, город жестокий без меры,
с тобой и в тебе я жива!

Я вижу соборов колонны,
я слышу дыханье реки,
и ветер, твой ветер соленный,
касается влажной щеки.

Отходит обида глухая,
смолкает застывшая кровь,
и плачет душа, отдыхая,
и хочется, хочется вновь

туда, вместе с ветром осенним
прижаться, припасть головой
к знакомым холодным ступеням,
к ступеням над темной Невой...

Декабрь 1921.

* * *

Парус разорван, поломаны весла,
 Буря и море вокруг.
 Вот какой жребий судьбою нам послан,
 Бедный мой друг.

Нам не дана безмятежная старость,
 Розовый солнца заход.
 Сломаны весла, сорванный парус,
 Огненный водоворот.

Это — судьбою нам посланный жребий.
 Слышишь, какая гроза?
 Видишь волны набегающий гребень?
 Шире раскроем глаза.

Пламя ль сожжет нас? Волна ли покроет?
 Бездна воды и огня.
 Только не бойся! Не бойся: нас трое.
 Видишь, Кто встал у руля!

[20-е годы?]

* * *

Это все оттого, что в России,
 оттого, что мы здесь рождены,
 в этой темной стране,
 наши души такие иные.
 Две несродных стихии они...
 И в них — разные сны...

И в них — разные сны... Только грозы,
 только небо в закате — всегда.
 И мой и твой...
 И не спящие ночью березы,
 и святая в озерах вода,
 и томление любви и стыда,
 только больше любви...

Только больше любви неумелой
 и мучительной мне и тебе...
 Две в одну перелитых стихии —
 они в нашей судьбе...
 Пламенеющий холод и белый,
 белый пламень, сжигающий тело
 без конца,
 обжигающий кровью сердца
 и твое, и мое, и России.

Петербург. VI.1922.

* * *

Чудотворным молилась иконам,
 призывала на помощь любовь,
 а на сердце малиновым звоном
 запевала цыганская кровь...

Эх, надеть бы мне четки, как бусы,
 вместо черного пестрый платок,
 да вот ты такой нежный и русый,
 а глаза — василек...

Ты своею душой голубиной
 навсегда затворился в скиту,—
 я же выросла дикой рябиной,
 вся по осени в алом цвету...

Да уж, видно, судьба с тобой рядом
 свечи теплить, акафисты петь,
 власть поклоны с опущенным взглядом
 да цыганскою кровью гореть...

СПБ. 1924.

* * *

Ах, зачем ты смеялся так звонко,
 ах, зачем ты накликал беду,
 мальчик с плоским лицом татарчонка
 и с глазами, как звезды в пруду.

Под толстовкой твоей бледно-синей
 кожа смуглой была, как песок,
 раскаленный от солнца пустыни.
 Были губы твои, как цветок,

за высокой стеною мечети
 расцветающий ночью в саду...
 Что могу я сегодня ответить,
 сам себе ты накликал беду.

9.XI.1925.

* * *

Я ветви яблонь поняла,
 их жест дающий и смиренный,
 почти к земле прикосновенный
 изгиб крыла.

Как будто солнечная сила
 на миг свой огненный полет
 в земных корнях остановила,
 застыв, как плод.

Сорви его, и он расскажет,
 упав на смуглую ладонь,
 какой в нем солнечный огонь,
 какая в нем земная тяжесть.

Июль 1926. Мальцево.

* * *

Фальшиво на дворе моем
 поет усталая шарманка,
 гадает нищая цыганка...
 Зачем, о чем?

О том, что счастье — ясный сокол —
 не постучится в нашу дверь,
 о том, что нам не ведать срока
 глухих потерь...

Из-под лохмотьев шали пестрой
очей не гаснувший костер
Ведь мы с тобой, пожалуй, сестры...
И я колдунья с давних пор.

Чужим, немилым я колдую.
Всю ночь с заката до утра,—
кто корку мне подаст сухую,
кто даст кружочек серебра.

Но разве можно коркой хлеба
насытить жадные уста,
не голод душит — давит небо,
там — пустота.

27.IX.1926.

ДОМИК ПОД ГРУШЕВЫМ ДЕРЕВОМ

Предисловие

В 1927 году от Рождества Христова, когда Юпитер стоял высоко на небе, Ли Сян Цзы за веру в бессмертие человеческого духа был выслан с Севера в эту восточную страну, в город Камня.

Здесь, вдали от родных и близких друзей, он жил в полном уединении, в маленьком домике под старой грушей. Он слышал только речь чужого народа и дикие напевы желтых кочевников. Поэт сказал: «Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, поет». И голос Ли Сян Цзы тоже зазвучал. Вода течет сама собой, и человек сам творит свою судьбу: горечь изгнания обратилась в радость песни.

Ли Сян Цзы написал сборник стихов, названный им: «Домик под грушевым деревом», состоящий из 21 стихотворения; всего в нем 147 стихов.

Из них первое:

Букет из павлиньих перьев

На столе синий-зеленый букет
Перьев павлиньих...
Может быть, я останусь на много, на много лет
Здесь в пустыне...
«Если ты наступил на иней,
Значит, близок и крепкий лед»...*
Что должно придти, то придет!

9.IX.[1927]

* Цитата из кит<айского> поэта Ч.

Из них третье:

Ивы

За домами, в глухом переулке,
Так изогнуты ветви ив,
Как волна на гребне застыв,
Как резьба на моей шкатулке...
Одиноки мои прогулки:
Молча взял уезжающий друг
Ветку ивы из помнящих рук.

12.IX.[1927]

Кит<айский> обычай: при разлуке давать ветвь ивы. Ч.

Из них четвертое:

Разлука с другом

Мхом ступени мои поросли,
И тоскливо кричит обезьяна;
Тот, кто был из моей земли,—
Он покинул меня слишком рано.
Он покинул меня слишком рано.
След горячий его каравана
Заметен золотым песком.
Он уехал туда, где мой дом.

20.IX.[1927]

Из них пятое:

Река

Здесь и в реке — зеленая вода,
Как плотная, ленивая слюда
Оттенка пыли и полыни...
Ах, лишь на севере вода бывает синей...
 А здесь — Восток.
Меж нами, как река, пустыня,
А слезы, как песок.

20.IX.[1927]

Из них шестое:

Китайский веер

На веере — китайская сосна...
Прозрачное сердце, как лед.
Здесь только чужая страна,
Здесь даже сосна не растет.
И птиц я слежу перелет:
То тянутся гуси на север.
 Дрожит мой опущенный веер...

23.IX.[1927]

Из них седьмое:

Старые книги

Как для монаха радостны вериги,
Ночные бденья и посты,—
Так для меня (среди этой пустоты!)
Остались дорогими только книги,
Которые со мной читал когда-то ты!
И может быть, волшебные страницы
Помогут мне не ждать... и поклониться.

26.IX.[1927]

Из них восьмое:

Домик под грушей

Домик под грушей...
Домик в чужой стране.
Даже в глубоком сне
Сердце свое послушай:
 Там — обо мне!

Звездами затканый вечер —
 Время невидимой встречи.

27.IX.[1927]

Из них двенадцатое:

Журавль

Нет больше журавля!
 Он улетел за другом,
 Сомкнулось Небо кругом,
 Под ним такая плоская Земля!
 О, почему вернуться мне нельзя
 Туда, домой, куда ушел ты,
 А следом за тобой журавль желтый.

3. X.[1927]

Из них тринадцатое:

Комната в луне

Вся комнатка купается в луне,
 Везде луна, и только четко, четко
 Тень груши черная на голубой стене,
 И черная железная решетка
 В серебряном окне...
 Такую же луну видала я во сне,
 Иль, может быть, теперь все снится мне?

12.X.[1927]

Из них четырнадцатое:

Бабочка

...И сон один припомнился мне вдруг:
 Я бабочкой летала над цветами;
 Я помню ясно: был зеленый луг,
 И чашечки цветов горели, словно пламя.
 Смотрю теперь на мир открытыми глазами,
 Но может быть, сама я стала сном
 Для бабочки, летящей над цветком? *

12.X.[1927]

* Образ из кит<айской> поэзии. (Прим. автора.)

* * *

Прислушайся к ночному сновиденью,
 не пропусти упавшую звезду...
 По улицам моим Невидимую Тенью
 я за тобой пройду...

Ты посмотри (я так томлюсь в пустыне
 вдали от милых мест...):
 вода в Неве еще осталась синей?
 У Ангела из рук еще не отнят крест?

12.VII.1928.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИЛЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ

★

ДОЛГИЙ ПУТЬ ЮГОСЛАВИИ

Трудно ли освободиться от сталинизма?

Первое, что поразило меня в Белграде,— молодой регулировщик в белой фуражке и длинных белых нарукавниках, стоявший на просторной, как поле, и шумной, как ярмарка, площади Республики, не столько управлял потоками машин и пешеходов, сколько санкционировал совершавшееся вокруг него движение. Похоже, что он даже не подозревал, что мог бы взобраться на тумбу и застыть там, как памятник самому себе, по примеру своих коллег из соседних стран, а метался между машинами и страстно свистел в свой свисток. Вот он попытался пропустить колонну длинных лимузинов, перевозящих какую-то официальную делегацию, но две машины, идущие в хвосте колонны, все же застряли среди случайных автомобилей, которые, ни с чем не считаясь, рвались вперед. А кончилось все это самым неожиданным образом: регулировщик вдруг выскочил из водоворота машин, перешел на тротуар и скрылся в густой уличной толпе. Он окончательно осознал всю тщету своих попыток управлять бурной уличной рекой?

Эту сцену я наблюдал в Белграде в середине 60-х, уже после нормализации наших отношений с Югославией, после бурных событий во внутренней югославской жизни, каскада реформ, преследовавших одну, главную цель: отойти от сталинской модели и найти свой собственный югославский путь. То, что я видел, было случайной уличной сценой или неким символом нового пути?

Мое первое знакомство с этой страной произошло еще раньше. 20 октября 1944 года, в день освобождения Белграда от гитлеровцев, он открылся моему взору с северного заболоченного берега Савы, где в невероятной тесноте и спешке готовились в дальнейший путь танки, самоходные орудия и грузовики Красной Армии. Над только что освобожденным городом густо валили черно-багровые клубы дыма еще не потушенных пожаров, а над Савой повис взорванный железнодорожный мост, уходящий как радуга в воду, но все еще каким-то чудом удерживающий на себе длинную цепь вагонов.

Время не стерло, не затуманило этот рисунок в моей памяти, как не забыла я югославских партизан, возвращавшихся в свою столицу в каком-то ошеломлении счастья. У Красной Армии не было, пожалуй, в ту пору более верных и горячих союзников. Но четыре года спустя под нажимом Сталина Информбюро коммунистических и рабочих партий объявило прославленных в партизанской войне руководителей Югославии убийцами и шпионами. Несмотря на всю неожиданность и абсурдность этих обвинений, мы теперь знаем, что они вполне вписывались в логику сталинских поступков и преступлений. Но интереснее сегодня другое: какие последствия это имело для самих югославов?

И вот лето 1988 года. Я снова в Югославии. Какой увидел я ее после долгого отсутствия?

«Как известно» — это один из самых расхожих штампов, употреблявшихся нашей печатью на протяжении многих лет. По мнению тех, кто им пользовался, он избавлял от необходимости что-то доказывать: сказано «как известно» или даже «общезвестно» — и читателю уже и беспокоиться нечего, больше ему ничего не нужно.

Из всего того, что у нас печаталось о Югославии до середины 80-х, почти невозможно было узнать, что происходит в этой стране. Труднее всего было понять, что такое югославское самоуправление, о котором в московских газетах я не раз читал, что, «как известно», это нечто сомнительное, неправильное, хотя никто в Москве толком не знал, что это такое.

Но вот парадокс: приехав в Югославию в первый раз после войны, когда принцип самоуправления там давно уже считался основой всего общественного устройства, я вскоре обнаружил, что ни один югослав не уверен, что принцип этот действительно применяется. Кого бы я ни спрашивал, мои собеседники обычно начинали с заявления, что «все очень сложно». При этом почти каждый из опрошенных говорил, что он хорошо знает, каким должно быть самоуправление, но в жизни, увы, этого пока нет.

Вот типичный разговор конца 60-х:

— Югославский социализм основан на принципе самоуправления. Вы его одобряете?

— Да. Принцип несомненно правильный, но у нас пока нет самоуправления.

— А что же есть?

— Все что угодно, но только не настоящее самоуправление.

— Там, где вы работаете, нет рабочего совета?

— Есть. Я его председатель. Но рабочий совет — это только первая ступень, арена первой баталии за самоуправление. У нас, дорогой товарищ, как на войне.

— А вы разве воевали?

— Нет, дорогой товарищ. Мне было десять лет, когда началась война. Но кое-что о войне я знаю. Четыре брата было в моей семье, а в живых остался только я. Пять братьев было у моего отца — в живых остались двое, только двое.

— Югославы храбро сражались.

— Да. Пятьсот лет мы воевали с турками. Чтобы выжить, нужна смелость — теперь она у нас в крови. Будем воевать и за самоуправление, за справедливость. Сам принцип самоуправления выбивает из-под бюрократов стул, отнимает у них все функции.

— Замечательно! Это, наверно, хорошо, когда нет бюрократов?

— Кто вам сказал, что их нет?

— Поскольку сам принцип самоуправления отнимает у них функции...

— Но они их не отдадут, дорогой товарищ. Они отдали самую малость. Самоуправление должно быть настоящим. Теперь идет за него главный бой.

...И в конце 80-х:

— В Югославии все основано на самоуправлении?

— В теории, только в теории. До настоящего самоуправления у нас еще далеко. Теперь как раз идет за него главный бой.

— Позвольте! То же самое я слышал здесь двадцать лет тому назад.

— Это как раз доказывает, что у нас никогда не было настоящего самоуправления. Теперь у нас созревает новая, радикальная реформа и даже готовится изменение конституции. Нам предстоит сделать решительный шаг вперед. Однако у нас еще не перевелись люди, предлагающие сделать два шага назад. Все очень сложно.

— Где я могу наблюдать, как работает самоуправление сегодня?

— Не знаю. Ищите. Смотрите. Слушайте.

И я искал, смотрел, слушал. Я видел, что Югославия — это не один, а несколько разных миров. Видел поразительную несхожесть югославских республик, разнообразие их природы, индустриальные пейзажи Хорватии и Словении, хлебные поля Сербии, дивную красоту адриатического побережья, Адрии, «берега тысячи островов», озаренного сильным и резким светом, дикий каменный мир с бесчисленными островками, похожими на каменные валы, вздымающимися над туманно-голубой равниной моря, с каменными городами, где каменные улочки столь узки, что обитатели верхних этажей могут, не покидая своих квартир, пожимать руки соседям, живущим в доме напротив. Я видел удивительное чередование сизого мертвого камня с нежной лиственной масличных деревьев, с высокими стеблями кукурузы, тоже как бы растущей из камня, и толстыми лозами винограда, подпертыми каменными столбиками. Вода и камень, запаха лаванды и жареной рыбы, карие глаза и улыбки девушек. И следы долгих и бурных веков истории: грубые плиты, вросшие в землю в ту пору, когда

здесь еще правили римляне, обломки колонн, увенчанные коринфской капителью, все еще прекрасные в своей мощи и благородстве, старинные церкви и базилики, соборы и мечети, построенные и перестроенные в разные века. Супетар, Бол, Хвар — островные города с почти одинаковыми бухтами и гаванями, переполненными шхунами, катерами и рыбачьими баркасами, покачивающимися над всплесками неправдоподобно синей морской воды. Набережные, замкнутые строгим фасадом францисканского монастыря и белой вышкой трехъярусной колокольни с колоннами на каждом этаже. И тут же, рядом, разложенные для просушки сети, и мальчики, ловко гоняющиеся друг за другом в опасной близости от воды, и столики кафе, расставленные вдоль туристских отелей, за которыми сидят фээргэшные туристы, старики в шортах, девицы в цветных брючках-эластик, костлявые, с нездоровыми лицами, томящиеся от безделья и жаждущие развлечений.

Однако меня прежде всего интересовал сегодняшний день Югославии, жизнь ее народа. На приезжего из Москвы жизнь эта на первый взгляд производила впечатление нормальной и даже вполне благополучной. Я видел рынки, заваленные овощами и фруктами, магазины, полные продовольствия и всевозможных товаров. Я видел, что в Югославии, как говорится, все есть и нет очередей, как нет и тех унижительных мучений быта и сервиса, к которым мы, москвичи, и особенно жители других наших городов, так давно и безропотно притерпелись. На белградской улице Кнезя Михайлова, закрытой для транспорта, как и на многих других улицах и площадях югославских городов, витрины магазинов предлагают товары на все вкусы, вещи и первой и сотой необходимости.

Но так как я не только видел, но и слушал, радужные впечатления от внешних аспектов югославской жизни иногда резко менялись. Я то и дело вздрагивал, когда слышал, как продавцы называют цены различных товаров: «Двести тысяч», «Полтора миллиона», «Три миллиона». В Югославии все еще считают на старые динары, хотя двадцать лет тому назад была денежная реформа, уменьшившая в десять раз масштабы цен. Астрономические цифры, которые теперь в ходу, возникли, однако, не вследствие привычки населения считать по-старому, а потому, что все эти годы развивалась инфляция, достигшая в последнее время пугающих размеров. Есть и другие признаки ухудшения экономического положения страны. Один из них, в сущности не новый, — это растущее число югославов, вынужденных искать работу на Западе. Тот факт, что эти люди имеют потом возможность приобретать дома, квартиры, автомашины легче других, приводит к новому неравенству, к новой социальной, психологической и идеологической конфронтации. Югославия переживает теперь и политический и экономический кризис, о котором говорят в печати, на заседаниях скупщины, на пленумах высших партийных инстанций. Экономический кризис больно ударил по трудящимся, прежде всего по людям, живущим на зарплату. Я видел в Белграде манифестацию многотысячного коллектива тракторного завода «Змай». И хотя в ней участвовали и официальные партийные деятели, демонстрируя свою солидарность с рабочими, а председатель скупщины, у здания которой собрались рабочие, вышел к манифестантам и многое им обещал, все это не меняет существа дела: предыдущие многолетние протесты коллектива «Змай» не возымели никакого действия, зарплата рабочих непрерывно падала, а их жизненный уровень снижался. Накал социальных конфликтов достиг такого напряжения, что после выступления завода «Змай» другие рабочие, придя к скупщине, прорвали кордоны и заняли здание.

Что же, в сущности, происходит в современной Югославии? Почему на протяжении уже многих лет одна реформа сменяется другой, но баталии продолжают и никто не доволен достигнутыми результатами?

Я не торопился с выводами. Я смотрел и слушал.

— У нас все было, как и у вас, — сказал мне генеральный директор «Железары» — рудного комбината в районе Смедерева, где я просидел несколько часов на заседании рабочего совета этого большого предприятия, радуясь, что вижу наконец югославское самоуправление в его рутинной будничной работе. Генеральный директор комбината, человек лет пятидесяти, круглолицый, в очках, любезно объяснил мне смысл происходящего. Его темные умные глаза, которыми он смотрел на меня поверх очков, улыбались. Он не член рабочего совета, а только входит в его исполком и сидел далеко от стола президиума, в конце зала. За столами, расставленными в форме русской буквы П, располагалось с полсотни рабочих, членов совета, среди

них и несколько женщин. На столах пепельницы, графины с водой, цветы. За столом президиума — стенографистка. Вопросов на повестке дня было много, и после трех часов работы объявили перерыв, а затем прения возобновились.

Дольше всего обсуждался вопрос о транспорте. Одна фирма-кооператив предложила доставлять рабочих на рудники по значительно более дешевой цене, чем комбинату обходится транспортный цех со своими автобусами. Но представители цеха не желали, чтобы их прикрыли, и у них нашлись сторонники на заводе. Дебаты перешли в горячий спор и ничем не закончились. Вопрос отложили.

Во время обеденного перерыва в просторной и светлой столовой «Железары» я беседовал с ее генеральным директором. Мы говорили о Югославии, о самоуправлении, о социализме. Директор начал с того, что раньше здесь, на комбинате, все было «как у вас»: «Тогда я был под министром и главком, а теперь под рабочим советом». Я спросил, когда было лучше, и он ответил: «Что значит лучше? Самый трудный вопрос в социализме — отношения между людьми. Как увязать идеологию с экономикой? Ведь люди разные и уровень у них разный. Вы видели, как они не сумели решить вопрос об автобусах. Через несколько месяцев я им докажу: мы теряем миллионы динаров, и если они хотят, чтобы эти деньги оставались в кармане предприятия, придется решать дело вопреки интересам шоферов из автоцеха. В Америке я видел, как у Форда учет производительности ведется на каждого рабочего, но прибыль идет Форду. Мы хотим сделать так, чтобы каждая единица комбината могла распоряжаться своей прибылью. Это и будет настоящее самоуправление. Но как этого добиться?»

Мнение директора, что администрация комбината мыслит на более высоком уровне, чем рабочие, тут же оспорил председатель рабочего совета, черноволосый широкоплечий мужчина лет сорока, тоже сидевший за нашим столом. По его словам выходило, что основная разница в мышлении существует между дирекцией и рабочим советом. Генеральный директор слушал его, улыбаясь, и напомнил недавний конфликт, возникший между ними, когда предприятию понадобился специалист по электронике, который потребовал высокий оклад, квартиру и должность для своей жены. Рабочий совет сказал нет, но они сами же вскоре пришли в дирекцию, признав, что ошиблись.

Потом генеральный директор заговорил о социализме, о том, как его понимал Маркс и как трудно поднять сознание людей «и у вас и у нас». Говорил и о бюрократях, которые есть «и у вас и у нас». «Но если, как вы утверждаете, в Югославии покончено с централизацией и упразднены министерства, где же сидят ваши бюрократы?» Все рассмеялись, а директор сказал, что бюрократы есть всюду, сама диалектика установления равенства такова: она рождает иерархию и бюрократию.

Разговор в Смедереве состоялся в одно из моих предыдущих посещений Югославии. Оказавшись там вновь в восемьдесят восьмом, я подумал: хорошо бы еще раз съездить туда и посмотреть, как идут дела. Вскоре я понял: это было бы лишней тратой времени. Мне объяснили, что за годы моего отсутствия смедеревская «Железара» залезла в неоплатные долги и теперь на грани банкротства; выяснилось, что это «политический завод», то есть завод, построенный без достаточных экономических обоснований. Только три таких завода — «Ферроникель» в Македонии, «Обровац» в Хорватии и «Железара» в Смедереве — принесли стране убытков на 5 миллиардов долларов. С самого начала они не нужны были народному хозяйству, удовлетворяя лишь местные политические интересы. Принцип самоуправления во всем этом, конечно, не виноват.

— Кто же виноват? Некомпетентность плановиков и местного начальства?

— Может быть.

— Политическое руководство?

— Возможно. Это зависит от ваших политических убеждений.

— Но все-таки? Где мне искать ответ?

— Может быть, у экономистов. Они знают всю кривую послевоенного развития Югославии.

И я отправился к экономистам.

«Экономска политика» — так называется экономическая газета, которую издает в Белграде паргийное издательство «Борба». Я был в этой редакции и долго разговари-

вал с одним из ее ведущих сотрудников, который и начертил мне кривую общего развития экономики Югославии. Он же назвал по имени одну из первопричин всех послевоенных югославских бед, и хотя она была мне давно и хорошо известна, ее актуальность здесь, на берегах Дуная и Савы, поразила меня.

— Наши поиски собственной модели социализма,— сказал сотрудник газеты «Экономска политика», человек уже не молодой, но и не старый, низенький, сухонький, в очках,— начались вскоре после того, как Сталин отлучил нас от мирового коммунистического движения, воплощавшегося тогда Коминформом. Первая мысль о самоуправлении возникла в 1952 году. Между прочим, это еще один пример «гениальности» Сталина — он сам полжизни начал распад своей системы. Мы ведь уже успели внедрить ее в Югославии и ничего другого не знали. Словом, с пятьдесят второго следует чертить кривую нашего нового развития. Несколькими годами мы топтались на месте, но потом дело пошло на лад, и в середине 60-х мы уже вполне ощутили благотворность нового пути. Насильственная коллективизация прекратилась, государственному хозяйству был положен предел, все шире внедрялись рыночные отношения, стала поощряться частная экономическая инициатива, и все это очень скоро дало видимые результаты — производство росло, жизненный уровень повысился. Не обошлось, разумеется, и без трудностей и серьезных проблем, но рынок вперед был несомненным. Однако в начале 70-х все застопорилось. Причина была не экономической, а политической. Руководство начало, как говорится, закручивать гайки, ни одну реформу не довели до конца, командный стиль управления оживился. Мотивировалось это необходимостью бороться с возрождением национализма. Такая проблема у нас есть, она имеет и исторические и экономические корни, поскольку республики, составляющие Югославскую федерацию, находятся на разных уровнях, что создает почву для всевозможных трений, в том числе экономических, и антагонизма. В последнее время очень обострилось положение в автономном крае Косово. Это теперь одна из самых горячих точек внутренней югославской политики. Но вернемся к тому, что произошло в начале 70-х. Вряд ли тогдашнее руководство страны было обеспокоено только ростом национализма, дававшего о себе знать далеко не всюду. Тут сыграл роль и другой фактор. В социалистических обществах всюду, не только у нас, есть немало людей, думающих, что ослабление командных методов и развитие денежно-рыночных отношений ставят под угрозу социализм. На самом деле под угрозой не социализм, но одна из существенных черт сталинской системы социализма — распределение благ согласно должности и месту, занимаемому в иерархии власти. Теперь, в конце 80-х, можно иногда услышать те же «предупреждения», что и в начале 70-х. Но теперь у нас уже есть опыт. Оглядываясь назад, мы ясно видим, что вмешательство внеэкономических сил в экономику немедленно отразилось на жизни страны, дела сразу пошли хуже. В начале 70-х это пытались компенсировать иностранными займами, создав на время видимость благополучия, жить стало лучше. Но потом наступила расплата. И еще раз подтвердилось: реформы ничем нельзя ни заменить, ни компенсировать. Корни нынешнего кризиса следует искать именно в том, что произошло в начале 70-х. Теперь созревает новая реформа в том же старом, давно найденном направлении: больше свободы товарно-рыночным отношениям и частной инициативе, отказ от догматического понимания, что такое капитализм, а что есть социализм, где кончается одно и начинается другое; поощрение и распределение бедности не есть социализм, так же как материальное благополучие какой-нибудь Швеции не есть результат капитализма. Многосекторная экономика не противоречит марксизму. Предстоит также сделать еще один решительный шаг в сторону демократии. Если в Союзе коммунистов Югославии восторжествует реальная демократия, умолкнут голоса, требующие многопартийности, не потребуются создавать другие партии, прекратится то, что многие у нас называют отрицательным отбором, то есть когда путь наверх, к командным постам в управлении страной, открыт не для самых талантливых и способных, а для тех, кто лучше умеет примазываться, выполнять правила аппаратной игры, выдавая себя за горячих приверженцев справедливых принципов. Совместима ли демократия с социализмом? Противники социализма отвечают — нет. А мы убеждены, что совместима при условии демократизации всех механизмов власти, отмены всех привилегий, дающих возможность паразитировать на должности или на красивых словах.

Потом ответственный сотрудник экономической газеты обрисовал мне результаты, уже достигнутые югославским самоуправлением. Если до войны страна была

отсталой и преимущественно сельскохозяйственной (72 процента населения было занято в аграрном секторе), то теперь этот процент сократился до 28. Даже «политические заводы» способствовали формированию нового рабочего класса. 60 процентов изделий югославской промышленности теперь конкурентоспособны на мировом рынке. Югославия стала открытой страной. В ней нет продовольственной проблемы. Словом, баланс несомненно положительный, несмотря на нынешний кризис. Но именно потому, что наше экономическое положение ухудшается, надо ясно видеть, что виноваты не реформы, а неумение довести их до конца. Ничто так не вредит, как половинчатость и нерешительность, — это один из главных итогов югославского опыта длиною в четыре десятилетия.

— А каков главный вывод, если говорить о факторах, тормозящих обновление? — спросил я. — Кто больше всего мешал на новом пути?

Экономист посмотрел на меня с несколько удивленной улыбкой и сказал:

— Ну, это, думаю, вы понимаете не хуже меня, особенно теперь, когда у вас началась перестройка. У наших стран разное положение и проблемы разные, но основная проблема — каким должен быть социализм — у нас общая, как и причина деформации социализма. Кто больше всего мешал нашему продвижению вперед? Это же ясно: Сталин!

— Но вы порвали с ним почти сорок лет назад. И тридцать пять лет назад он умер.

— Да, мы пошли против Сталина, но сталинским путем. И это имело последствия, которые ощутимы по сей день. Дело не в самом Сталине, точнее, не только в нем, а в феномене сталинизма в целом, в его системе. Система эта развивалась по-разному в разных условиях, но это одна система; у нас она проявилась в других пропорциях, но по существу точно так же, как и у вас. Управление, основанное на грубом принуждении, демагогии и сокрытии правды, попытка решить все вопросы только насилем, изощренная бюрократия, которая самой себе предоставляет материальные и социальные привилегии и совершенно равнодушна к жизни простого человека. Все это идет от туда, если хотите, от него. В народе это хорошо понимают, и каждого чиновника, который пытается что-то навязать сверху, у нас до сих пор называют маленьким Сталиным. Такие сталины у нас не перевелись. У нас даже есть ученый — Младен Корач, который сформулировал некую концепцию договорной экономики, как он ее назвал: руководители придумывают и решают, каков должен быть следующий шаг, а страна выполняет их планы. Все решается сверху, начальством. Когда Корачу указывают, что так уже было и ни к чему хорошему не привело, он отвечает, что мы не были последовательными и не довели принцип до конца.

...Это было неудивительно, но все же странно и тягостно. В какое бы место Югославии я ни попадал, я всюду слышал: Сталин, сталинизм... Иногда эти слова даже не произносились, но все равно угадывались в подтексте. И с кем бы я в Югославии ни разговаривал на политические темы, приходилось так или иначе вслух или в уме вспоминать и о Сталине. Знакомая зловещая тень, столь долго преследовавшая меня на других широтах, как бы преследовала меня и здесь, против моей воли будила старые воспоминания, погружала в уныние среди чудных пейзажей югославской природы, среди ее смелых и сильных людей, одержимых желанием построить жизнь по законам добра и справедливости, верящих в добро и справедливость вопреки всем бурям и бедам своей истории.

В Загребце столице Хорватии, городе с потемневшими от времени лепными фасадами, напоминающими стиль австро-венгерской сецессии, со средневековым Горним градом, чьи таинственные улочки и площади похожи на естественные театральные подмостки, на которых разыгрывались трагедии истории, с католическими часовнями, где дрожат желтые язычки свечей, пахнет воском и верой в чудеса, мне мерещились не местные исторические призраки, не тень Матии Губеца, вождя крестьянского восстания, на которого четыреста лет назад была надета раскаленная железная корона, а все тот же хорошо знакомый зловещий призрак. И я не удивился, когда один загребский интеллектуал, профессор истории, сказал:

— А чтобы лучше понять современную Югославию, не следует забывать тех опустошений, которые произвел в ней Сталин...

— С которым Югославия разошлась много лет назад?

— Да. Но как? Мы одолели наших сталинистов их же методами. Вот она, диалектика истории. Теперь об этом уже можно говорить открыто. Несколько лет назад у нас вышел роман Исаковича «Голи оток», то есть «Голый остров». Так называлась тюрьма на одном голом и прожаренном солнцем острове Адриатики, куда после сорок восьмого ссылали сталинистов без особых забот о правовых нормах. Страшная тюрьма, страшные годы. «Голый остров» — это наши Соловки, Магадан, Воркута, вместе взятые, разумеется, сохраняя пропорции. Размах сталинских репрессий и наших антисталинских мер сравнить нельзя, но есть одна особенность, которая в Югославии была ярче выражена: у нас приходилось иногда арестовывать и сажать своего же товарища по партизанской борьбе, с которым ты недавно еще воевал против гитлеровцев. Представляете, что это было? Все смешалось: антисталинисты прибегали к сталинским методам, чтобы одолеть сталинистов. Все это не могло не оставить следов в человеческом сознании. Беззаконие разлагает людей. Лично я давно пришел к выводу, что Сталин и сталинизм — это что-то роковое в истории социализма, это его ограничитель, его наручники, если хотите, его рак. Нужно это вырезать полностью, иначе опухоль снова разрастется. Но как вырезать — насилие соблазнительно, оно освобождает от необходимости работать, думать, искать. Трудно распутать узлы, возникающие при строительстве нового общества, куда легче их разрубить. Не следует забывать также, что мы, югославы, живем на Балканах, вблизи от средиземного морского пространства, традиционного региона коррупции и насилия. Сталинские семена, посеянные у нас в первые послевоенные годы, упали на благоприятную почву...

В Любляне, очаровательном уютном городе, сохранившем что-то от патриархального прошлого, в городе с тихими улицами, вдоль которых стоят могучие деревья с соединяющимися вверху кронами, сквозь которые дробится золотистое солнце, и где рядом с зеленой речкой Любляницей, отражающей старые мосты, фронтоны старинных зданий, купола старых церквей, можно увидеть и сверхсовременные постройки, украшенные пилястрами, фризами и барельефами в античном стиле, один местный переводчик русской литературы, преуспевавший не только на литературном, но и на общественном поприще (он депутат словенской скупщины), рассказывая о своей республике, говорил о том же, о чем я уже слышал в других местах, хотя и несколько иначе, как бы по-словенски:

— Отсюда, из Любляны, многое выглядит иначе. В первую очередь спор между юнионистами, федералистами, централистами, как называют у нас сторонников разных точек зрения на управление Югославской федерацией. Одни считают, что она должна быть строго централизованной, другие, наоборот, что надо еще больше расширить права республик. Словения, разумеется, придерживается именно этой точки зрения. Судите сами. У нас, пожалуй, самый высокий уровень жизни в стране, во всяком случае значительно выше, чем, скажем, в Македонии. Но зато и наш вклад в общесоюзный бюджет выше. При двухмиллионном населении мы покрываем 30 процентов расходов всей Югославии, а Македония не в состоянии покрыть даже свои собственные расходы. У нас, в Словении, умеют и хотят работать. Но тем членам Югославской федерации, которые не умеют или не хотят работать, не нужно беспокоиться: они знают, что кто-то покроет их расходы. Разумеется, надо помогать отстающим, но следует делать это не как теперь, а на основе определенной программы. Вероятно, надо готовить новую реформу, новые законы, но разве только в них дело? Я был единственным депутатом словенской скупщины, который голосовал против изменения конституции. Зачем? И нынешняя конституция не исполняется. Существует закон, который никем не писан и не утвержден, но он-то во многом и определяет жизнь: каждый чиновник, располагающий хоть какой-то толикой власти, не хочет ее отдавать. Что нам делать с этим законом? И что делать с наследием прошлого, с привычками и навыками навязывать людям то, чего они не хотят? Вы, разумеется, понимаете, что я говорю о наследии сталинского времени.

— Неужели оно все еще не преодолено?

— А у вас оно преодолено? Можно вам задать один вопрос? Вы не обидитесь? Я совсем недавно был в Москве и, между прочим, беседовал там с одним поэтом, довольно известным, но разрешите не называть его имени. Я сказал этому поэту, что собираюсь переводить Мандельштама и Слуцкого. Знаете, что сказал мой собеседник? Он сказал: «Разве они поэты? Они евреи». Объясните, как получилось, что у вас еще не перевелись такие люди? Сталинское время прошло. Но не думаете ли

вы, что в истории есть волны, а развитие социализма, похоже, тоже идет волнами — прилив и отлив? Люди, которых вытолкнула вверх сталинская волна, все еще держатся на плаву. Когда они уйдут? Обязательно ждать их биологического ухода? Знаете, я теперь по вечерам читаю «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына — у нас он давно переведен. И каждый вечер я ужасаюсь, долго не могу потом заснуть. Такое не может пройти бесследно. Трудно, очень трудно от этого освободиться, залечить все травмы, все раны.

В Белградском университете я разговаривал с одним известным славистом и критиком русской литературы, очень эрудированным человеком, который был в курсе всех наших перестроечных и даже доперестроечных дел... Славист сказал, что в воисторге от нынешних публикаций в советских журналах, ему кажется, что в духовной сфере советская перестройка копает глубже югославской; некоторые советские писатели прозрели уже в 20-х годах, например Андрей Платонов. Славист добавил также, что, внимательно следя за тем, как реагируют югославы на происходящее в Советском Союзе, можно убедиться в том, что главная проблема советской перестройки — преодоление сталинского начала — все еще актуальна и в Югославии.

— Хотите простейший пример? — сказал мой собеседник. — Извольте. Недавно на моем семинаре один студент высказал удивление по поводу призыва к милосердию, который он прочитал в одной советской газете. «А как же революционный гуманизм?» Это он, впрочем, тоже заимствовал из советской печати. Понять психологию моего студента можно. Юные умы, не имеющие жизненного опыта и лишь смутно знающие, к чему привело объявление кулака лидером в борьбе за добро и справедливость, легко поддаются соблазнам насилия и догматического мышления, оперирующего абстракциями и штампами. Мало кто теперь еще говорит у нас о Сталине, но вера в кулака жива, а ведь это основа основ сталинского понимания путей достижения социализма. В самой конституции у нас до сих пор есть понятие «словесное преступление», то есть и слово может быть наказуемо. С другой стороны, у нас же произошла и девальвация слов. Мы так давно злоупотребляем риторикой, словами, за которыми не следует действий, что это вызывает у многих, особенно у молодых, апатию, усталость, бегство. Куда? В рок-музыку, в секс, в абстрактное искусство. Наши поэты потеряли массового читателя, не замечая, что сами же этому способствуют своими модернистскими увлечениями, бессодержательными играми, которые они именуют авангардизмом. С интеллектуалами вы тут знакомы. А слышали ли вы, о чем говорят обыкновенные люди? Вы, кажется, понимаете по-сербскохорватски? К сожалению, вы здесь найдете все меньше людей, говорящих по-русски. Теперь и в школах русский уже не преподают, его заменил английский.

...Но Россия, русские конечно же живут в памяти народа. Множество раз мои собеседники-югославы рассказывали мне истории о русских, почти у каждого было что вспомнить о своем русском, чаще всего это был солдат Красной Армии или один из тех русских, что бежали из немецкого плена и пробились к югославским партизанам еще в первые годы давно ушедшей в прошлое, но все еще не забытой народной войны. Но связи с Россией не ограничиваются здесь историей последней войны. На острове Брач, в местечке Сельце, видел я удивительный памятник, о котором даже многие югославы никогда не слышали. Памятник этот, или, как говорят югославы, споменик, был поставлен Льву Толстому вскоре после его смерти, в 1911 году, — первый в мире памятник, воздвигнутый после смерти русского писателя. Было дивно и странно то, что я увидел на темени острова Брач, в селении, словно высеченном в каменной горе (каждый дом стоит здесь на каменном ложе): я увидел парк с хвойными деревьями, эвкалиптами, розовыми цветами олеандра и черными колоннами кипарисов; за ними на горизонте яркая синь моря и туманная линия далеких берегов. А в центре этого живописного мира — высокий постамент и на нем характерная голова Толстого, знакомое бородатое мужицкое лицо, высеченное из белого камня, высокие насупленные брови. Постамент с бюстом стоял на небольшой каменной площадке, кольцом охваченной каменной балюстрадой. Неподдалеку от нее каменная скамья, прислоненная к горе, сложенной из крупных гольшей, а над ней каменная доска с надписью «Парк Толстой — 1911». И парк этот и памятник вошли в жизнь селения и всего острова. Мне повезло при посещении споменика — я разговаривал не только со старожилками Сельца, но и с Боже Штамбуком из Сплита, который, будучи совсем еще молодым человеком, учеником школы местных каменотесов, помогал строить памятник. Работа велась тайно, по ночам. Устано-

вили памятник тоже ночью, чтобы поставить местных жандармов перед свершившимся фактом; Брач управлялся тогда австро-венгерской администрацией. Но, однажды установленный на постамент, Толстой оказался в центре той борьбы, которая не прекращалась ни на один день в этом селении. У памятника устраивали праздники, сходки, он вошел в жизнь целых поколений, разумеется, вместе с книгами Толстого, которые проникли в Югославию еще при жизни автора. «Толстой был здесь, в Сельце, бог,— сказал мне старожил селения.— А почему? Люди, которые его читали, знали, и даже те, кто не читал, слышали: Толстой — это совесть, добро, справедливость. Вы видите этот парк? Чтобы его посадить, нужно было выкорчевать камни. Нужна была и вода, много воды. А Толстой был нужнее воды — без совести душа вянет». А далеко от Брача, в Цетинье, старой столице Черногории, я видел еще один, совсем другой, но тоже характерный след давних русско-югославских связей: дом Петра Негоша, который правил Черной Горой в начале прошлого века как владыка — митрополит, объединивший в своих руках духовную и светскую власть. Но Негош был и поэтом. Современник Байрона, Пушкина, Гейне, Мюссе, он выразил в своей поэзии характер своего народа, горцев и пастухов, его судьбу, его мужество. И он много лет был связан с Россией. Побывал в ней дважды — в 1821 и 1837 годах, останавливался и в Святогорском монастыре и после этого написал стихотворение, посвященное памяти Александра Пушкина.

— Вы чувствуете себя в Югославии иностранцем? — поинтересовался славист из Белградского университета.

— О нет! До этого еще не дошло.

...Я и в самом деле не ходил по улицам югославских городов как иностранец. Я не забыл нужные во всех случаях слова и выражения, необходимые при уличном общении, в магазинах, в автобусах. А однажды, находясь в поезде, в экспрессе Любляна — Белград, я вдруг обнаружил, что слабое знание языка не мешает мне понять своих попутчиков.

... Я и в самом деле их понимал.

— Ой, страшно! — сказала вдруг молодая черноволосая женщина в красивом черном платье, которая сидела в купе напротив меня. Она сказала это по поводу какой-то истории, рассказанной ей соседкой.

В купе ехали и трое мужчин; двое из них, помоложе, смахивали на рабочих, третий, в аккуратном синем костюме, на пенсионера. Пока поезд, покинув Любляну, шел по Словении, мои спутники говорили мало, как и я, любуясь красивыми пейзажами, расстилавшимися за окном: круглыми холмами, покрытыми густым лесом, горными речушками и циклопическими камнями, разбросанными то здесь, то там. Поезд долго шел по узкому ущелью между почти отвесных скал; рядом с железнодорожной колеей бежала белая горная река. Через час-другой, когда пейзаж Словении кончился, разговор в купе оживился, пожилая женщина рассказала своей молодой соседке в черном какую-то историю, после чего та и воскликнула: «Ой, страшно!»

Поскольку я знал, что слово это на сербскохорватском означает не «страшно», а «ужасно», я стал более внимательно прислушиваться к разговору и вскоре с удивлением обнаружил, что мне понятно, о чем идет речь.

Мои попутчики говорили о скандалах и аферах, о которых в эти дни писала вся югославская печать, и я услышал уже знакомые названия «Агрокомерц», «Босния» и какую-то историю, в которой речь шла о трех вагонах ворованного мяса, кем-то вывезенного и распроданного в Болгарии. Выслушав это, пожилая женщина сказала: «Срамота!» — а молодая добавила: «Страшно!»

От финансовых афер и взятки разговор перескочил на другие темы, и пожилая женщина показала своим попутчикам словенский молодежный журнал, в котором подробно рассказывалась история трех люблянских журналистов, недавно арестованных по обвинению в разглашении военной тайны; их дело было передано в военный трибунал. Историю эту я знал и уже многое о ней слышал. В дни моего пребывания в Любляне в Союзе писателей Словении чуть ли не каждый вечер митинговали люди, убежденные, что готовится политический несправедливый процесс в старом духе, журналистам мстят за смелую критику сильных мира сего.

От истории с журналистами мои спутники перешли к обсуждению проекта изменения конституции, и разговор сразу же вылился в острый спор: мужчины, кото-

рых я принял за рабочих и не ошибся — они были мусульмане, то есть жители Боснии, возвращавшиеся домой, в Сараево, — поспорили с пожилым человеком из Белграда, который считал, что самая большая ошибка, сделанная в предыдущей конституции, — это расширение прав республик и автономных областей, именно на этой почве возник косовский вопрос. Боснийцы и женщины из Словении резко ему возражали. Поговорили мои спутники и о какой-то обанкротившейся «Железаре», но они называли не знакомый мне горнорудный комбинат в Смедереве, а другое предприятие, которое тоже принесло огромные убытки. После каждой астрономической цифры убытков молодая женщина восклицала: «Страшно, ой как страшно!»

Слушая этот типичный югославский разговор конца 80-х: об инфляции и кризисе, о коррупции и аферах, о демократии и социализме, о национальных антагонизмах, о необходимости новых экономических реформ, — я не только понимал, о чем говорили мои попутчики, но как бы ощущал их рассказы, угадывал характеры говоривших, их заботы, их жажду справедливости, их надежды. И думал, спрашивал себя: в самом ли деле жизнь в сегодняшней Югославии страшна, ужасна?

Нет, я бы этого не сказал. По мере того как я входил в эту жизнь и лучше ее понимал, я видел, что, несмотря на нынешний кризис и инфляцию, жизненный уровень здесь не так уж низок, а по меркам соседней Румынии, например, даже высок.

Наблюдая югославскую жизнь, я видел, что и те возможности, которые она дает для проявления личной инициативы и таланта, тоже подчас выгодно отличаются от того, что можно наблюдать в соседних с нею странах. Югославские города шумны, оживленны, многолюдны, трепещут от энергии и лихорадки перемен. Районы новых застроек — новый Белград и новый Загреб — не похожи на скопления скучных бетонных коробок и бесконечное повторение прямого угла, которое я часто видел в других местах. В югославском жилищном строительстве чувствуются те же беспокойство, искание, изобретательство, что свойственны ныне всей стране.

Но и в югославских селах не ощущается деревенской дремоты. Они очень разные в разных регионах, но для них всюду характерна многосекторная экономика. В деревне Неделя неподалеку от Загреба, где жители в основном уже не занимаются сельским хозяйством, почти у каждого есть и участок земли. Дома здесь каменные, двухэтажные, похожие на загородные виллы, а живут в них простые рабочие и служащие. У семидесятипятилетнего Иосипа, который по-прежнему занимается только возделыванием земли, 4 гектара пашни, огород и виноградник, 4 коровы, свиньи, свой трактор и свой небольшой грузовичок, на котором его сын отвозил в город молоко и сыр. Иосип согнут годами и тяжелым крестьянским трудом, но ум у него ясный, память отличная, он помнит даже крестьянского деятеля Радича, убитого террористами еще в 20-х годах. В рассуждениях труженика, вынесшего на своих плечах все бури и перемены последнего полувека югославской истории, чувствуется понимание сути, самое ясное выражение того, что надо сделать, чтобы иметь право сказать, что общественное устройство стало действительно демократическим и социалистическим: «Надо, чтобы труженик не был обязан обращаться за каким бы то ни было разрешением к нетруженику». В качестве примера Иосип привел случай с собственным сыном, который имеет свое подворье, но не может пока получить разрешение на постройку нового дома на собственной земле. Тут в разговор неожиданно вмешалась жена Иосипа — плечистая деревенская старуха с большими коричневыми руками: «Надо, чтобы было поменьше людей, которые не работают, а только бумаги пишут. Зайдешь в государственный магазин, а там один торгует, трое пишут».

Проблемы, создаваемые теми, кто «пишут», то есть бюрократией, управленцами, аппаратчиками, приобретают порой неожиданный аспект в рамках югославского самоуправления.

Что такое СИЗ? Впервые это слово я услышал в загребском издательстве «Полиграфическое предприятие Хорватии». Мне показали издаваемые им книги, и они поразили меня своим внешним видом, оформлением. Мне кажется, что они мало чем отличались от лучших мировых стандартов. Другие югославские издательства выпускают книги на том же уровне. И этих книг много, поразительно много для маленькой страны.

— А трудно ли югославскому литератору издать книгу?

— Нет. Издательств много. Помимо главных издательств есть еще и коопера-

тивные и частные. Даже два-три человека, купившие необходимое типографское оборудование (оно ведь все время совершенствуется, становясь все более компактным и легким), могут при желании организовать свое издательство. Проблема не в том, как издать книгу, а как ее продать. Издательская деятельность у нас освобождена от ненужной опеки всяких бюрократов. Словом, литератор, приносящий рукопись, может надеяться, что она станет книгой через год-полтора, а иногда и быстрее. Но все это не снимает главную проблему: у нас мало читателей, тираж в тысячу экземпляров для поэзии считается нормальным у прозы тиражи выше, но тоже небольшие, кроме отдельных случаев. При таких тиражах книга часто становится нерентабельной. Что делать? Наши издательства уже давно сами занимаются продажей своей продукции, имеют собственных коммивояжеров, иногда свои магазины — это все же лучше, чем отдать книгу в какой-нибудь книготорг. Однако и это не решает проблемы. Вот и приходится обращаться в СИЗ.

— А это что такое?

— Самоуправна интересна заедница. Примерный перевод. взаимвыгодная самоуправляющаяся ассоциация. Она помогает издавать книги.

— Государственная дотация?

— Нет, не государственная. СИЗ получает деньги не от государства: ей отчисляют процент из своей прибыли все предприятия одного профиля. Есть разные СИЗы СИЗ культуры получает деньги от предприятий, производящих как бы предметы культуры: типографии, издательства и т. п. Когда нам приносят рукопись, заслуживающую издания, но которая явно принесет убытки, мы обращаемся в СИЗ. И она обычно покрывает половину стоимости издания рукописи. В Сербии поступают иначе: СИЗ покупает половину тиража...

...Все это, по-видимому, совсем не просто. Я слышал в Югославии и такое мнение: СИЗ бюрократилась, она создала свой аппарат, который фактически все решает. Так говорят самые бескомпромиссные сторонники самоуправления, которые ищут идеального воплощения в жизнь идеального, по их мнению, принципа. Разумеется, аппарат, на который жалуются фанатичные сторонники самоуправления, невозможно сравнить с нашим Госкомиздатом. Тем не менее недовольство существует. А в главной проблеме, которая тормозит издание книг в Югославии и создает трудности издателям и авторам: узкий рынок, отсутствие массового читателя, который сделал бы издание книг всегда рентабельным, — никто в Югославии, вероятно, не виноват.

«На расстанку» — название народной югославской песни, которая обычно поется на прощание, когда предстоит длинная разлука. Однажды я слышал, как ее пели совсем юные девушки и мальчики. И я не умом, а сердцем ощутил растерянность тех югославов, которые вынуждены уезжать на заработки за границу. Этих людей много, очень много. Границы страны открыты, каждый может уехать, когда и куда ему нужно. И каждый может беспрепятственно вернуться. Миллионы югославов побывали на заработках в разных странах Запада. Многие вернулись, другие остались там, и к проблемам Югославии прибавилась еще одна — эмиграция и эмигранты. Она не способствует здоровью общества, несмотря на выигрыш в твердой валюте. Рабство у денег не лучше любого другого рабства.

...То, что я видел, произошло у берегов острова Корчула. Когда небольшой пароход, на котором я ехал, подошел к пристани Корчулы, я сразу же услышал пение и увидел стоявшую на пристани кучку юношей и девушек, одетых по-деревенски, только один был в сером городском костюме и в ярком галстуке. Они стояли, образуя небольшой круг, и пели какую-то строгую и печальную песню. Их обступили ребятишки, из открытых окон ближайших домов на них взирали свесившиеся с подоконников женщины. А они смотрели друг на друга и пели. Когда пароход, приняв новых пассажиров, был готов к отплытию, парень в городском костюме вдруг выбежал из круга поющих молодых людей, в два прыжка достиг пристани и вскопчил на уже отделившийся от бережной борт парохода.

Пароход начал медленно выходить в море, разворачиваться, и поющие молодые люди пошли по пристани, потом по молу и, протягивая руки, кидали вслед удаляющемуся пароходу слова своей песни. На корме стоял их товарищ и махал большим белым платком.

Эта песня была упоена печалью. Пели ее широко и громко, но в звучном пении слышались вздохи. Это была песня о расставании, она так и называлась: «На расстан-

ку» — «На прощание». Печаль расставания была не только в ее простых словах, но и в жестах поющих, в выражении лица того, с кем они расставались.

— Куда же он уезжает? — спросил пассажир, стоявший на палубе.

— Наверное, в Западную Германию, — ответил кто-то.

— Нет, в Новую Зеландию.

Через минуту все обступили уезжающего, и он подтвердил, что едет в Новую Зеландию.

— В город Уэллингтон. Сначала в Дубровник, а оттуда самолетом в Афины, потом Аден, Индия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия.

Все это он выговорил тихо и внятно. Он был еще очень молод, наверное, не старше двадцати. Он рассказал, что в городе Уэллингтоне у него есть дядя, который живет там уже много лет. Дядя и послал ему вызов и уплатил за дорогу 250 фунтов. И как не хочется уезжать из дому, но надо ехать, потому что здесь нет работы, а в Уэллингтоне ее можно найти.

Пароход шел, легко разрезая зеленые волны Адриатики. Я смотрел на парня, уезжающего в Новую Зеландию. Он был так молод, свеж и крепок, что путешествие за три моря, по-видимому, его не пугало. Сила его была в полном неведении всего того, что ожидает его в далекой, чужой стране. Бессознательно он был совершенно уверен, что вернется домой, что никто и ничто не сможет разлучить его окончательно с этим морем, с идеально голубым небом, с этими островами, чьи берега продолжали выгибаться по обе стороны парохода. Я понял, что те легкость, свобода и смелость, с которыми этот молодой человек начинает свое первое жизненное плавание, тоже выражают характер и душу этой древней страны. А печаль расставания, которому я был свидетель, выражает одну из печальных проблем нынешней Югославии, печальную необходимость для многих покидать родину в поисках подходящей работы, и печаль эту не может умалить даже уверенность, что они обязательно вернуться, никто и ничто не сможет их разлучить.

«Три шляпы» — название белградского кабачка, существующего уже сто лет. Я провел в нем свой последний вечер в Белграде в обществе двух литераторов и одного журналиста, пишущего на экономические темы.

«Три шляпы» — это три маленькие комнаты с низкими потолками; по стенам — потускневшие фотографии усатых мужчин в длинных сюртуках и турецких сапогах с закруляющимися кверху носками или в белых жилетах с узорной вышивкой и накинутах на плечи черных сермягах. Все это известные актеры и писатели, собиравшиеся здесь шестьдесят и восемьдесят лет назад. Теперь за столиками сидели безусые, гладко выбритые мужчины в белых рубашках с закатанными рукавами, черноволосые румяные дамы, тоненькие девушки в джинсах. За одним из столиков разместились и мы.

Мне очень запомнился этот последний белградский вечер, как бы ставший итогом всех предыдущих вечеров и дней. За столом, конечно, много говорили о том же, о чем теперь говорят всюду в Югославии, и, странное дело, хотя у моих югославских друзей были разные и порой противоположные мнения по многим вопросам, они почти одинаково оценивали опыт уже пройденного их страной пути. Они расходились в своем понимании того, что надо сделать, чтобы исправить нынешнее положение и выйти из кризиса, но были почти единодушны, когда заходила речь о том, чего делать не надо.

— Вот и у вас началась перестройка, — обратился ко мне Танасие, бывший партизан, темпераментный и молодежавый, несмотря на свои годы. — Я думаю, что это мировой процесс, он идет во всех социалистических странах, социализм должен обрести человеческое лицо, другого не дано. И поскольку у нас, в Югославии, перемены начались раньше, чем у других, я думаю, что именно у нас и вы можете найти примеры того, чего вам не надо делать. Хотите поконкретнее? Пожалуйста. Во-первых, не надо начинать ни одну реформу, если нет решимости довести ее до конца. Не надо нагромождать новые законы и постановления. У нас их уже миллион. Надо следить за тем, чтобы за словами и декларациями следовали дела.

— Совершенно верно, — сказал журналист, пишущий на экономические темы. — Не следует придумывать и новые умные схемы, втискивая в них живую жизнь. Сначала выдумать, изобрести систему, а потом строить ее, подгонять под нее жизнь — это грех не только сталинизма, но и нашего самоуправления. Мы его сами усложнили,

придумали разные комитеты и комиссии, наплодили новых посредников, то есть новых бюрократов. В принципе самоуправление упраздняет функции бюрократов. Это единственный способ избавиться от них, а не перевоспитание, не контроль, даже не сокращение. Однако на практике принцип никогда не осуществлялся, партийные комитеты, например, продолжают вмешиваться, без их санкции никто не может быть избран руководителем предприятия, что нередко приводит к тому, что директором оказывается не способный и компетентный человек, а номенклатурный товарищ. Не надо всем на свете управлять, это ведет к удушью не только инициативы, но и самой жизни. Надо не мешать ее естественному течению, ее все равно не вогнать в придуманную схему.

— И не надо без конца обсуждать, дискутировать,— сказал третий югослав, сидевший за нашим столом, человек уже немолодой, известный литератор и тоже бывший партизан.— Не надо обсуждать, что соответствует, а что не соответствует социализму, забывая о его конечной цели. Нужно помнить одно: социализм — это когда человек чувствует себя хорошо, когда максимальному количеству людей хорошо. Когда им плохо — это не социализм. И люди должны его ощущать уже сегодня, а не завтра или послезавтра, когда наступит светлое будущее, в котором нас уже не будет. Будущее поколение никогда не станет жить хорошо, если сегодняшнее живет из ряда вон плохо.

— Чего не надо делать, теперь ясно и ребенку,— сказал Танасие.

— Да,— подтвердил его сосед.— Но не забывайте: уже в Библии сказано, что истина, открытая детям, может быть сокрыта от мудрых.

— И от тех, кому она почему-то невыгодна,— сказал экономист.— Нельзя забывать об интересах. Никогда не признают истину люди, которым она может помешать. Потому и нужны полемика и конфронтация между группами с различными интересами. Пусть это происходит открыто, у всех на глазах, люди сами решат, кто прав. Не надо создавать разные партии, тратить деньги и силы на предвыборную борьбу. В законах о выборах не должно быть никаких лазеек, никаких возможностей протасовать людей, не поддержанных убедительным большинством голосов. Выборы обязательно должны быть тайными и прямыми, а кандидаты на любую должность обязаны изложить избирателям свои программы. Без этого нет демократии.

— Не надо никогда предаваться усталости,— вдруг сказал Танасие, хотя по его виду, жестам, манере говорить нельзя было и предположить, что ему это угрожает.— У нас немало уставших и равнодушных. Следует помнить, что путь к идеалу долгий.

— Идеал как солнце,— сказал второй бывший партизан.— Оно всегда впереди, если мы идем в его сторону.

...Я слушал и думал: считать ли все это выводом из того, что я увидел, услышал и понял в Югославии? Все, о чем говорили эти люди, было мне известно и прямо относилось к тому, о чем думал, чем жил теперь день за днем у себя в Москве. Я был здесь дома, среди своих.

В последний день я с утра опять услышал гулкий голос кукушки, проникающий в окна моего отеля сквозь шум и грохот уличного движения, и уже не удивился. Неподалеку текла Сава, и городу пока не удалось умертвить живую реку с ее зеленью и заводями. Вот и кукушка нашла подходящее для себя место и куковала, не считаясь с грохочущей и перенапряженной городской жизнью.

Спустившись в ресторан позавтракать, я тоже услышал что-то знакомое, забытое: тихую музыку, льющуюся из скрытого источника, попури из румынских, венгерских и, вероятно, сербских мелодий, напоминающее, что я на Балканах.

А последнее впечатление от Белграда резко напомнило мне то, что я видел здесь же в один из моих первых приездов.

В одиннадцать часов утра по людной и шумной Теразие шел человек в рабочей куртке и синем картузе, высокий, широкоплечий мужчина средних лет. Он шел не по тротуару, а по проезжей части улицы, не глядя на проносящиеся мимо автомобили. Он шел, смотря себе под ноги, думая о чем-то своем и не обращая внимания на пыхтение мотора идущего рядом автобуса, которому он явно не собирался уступать дорогу. Водитель автобуса с изумлением смотрел на этого странного человека, видимо, еще надеясь, что он опомнится и посторонится. И прохожие, идущие, как и положено им, по тротуару, уже заметили эту сцену и смотрели, чем все кончится.

Один из них что-то крикнул человеку в синей куртке, видимо, предостерегая его от опасности, но тот продолжал невозмутимо шагать вперед. Наконец шоферу автобуса это надоело, он высунул руку из окна своей кабины, схватил упрянца за ворот куртки, отшвырнул его в сторону и проехал вперед. На тротуаре раздались смешки, но человек в синей куртке не обиделся, он и сам рассмеялся и, укоризненно помахав рукой вслед удаляющемуся автобусу, продолжал свой путь как ни в чем не бывало и опять по проезжей части улицы. Сзади налетели другие машины, одни осторожно объезжали человека в синей куртке, другие плелись за ним, буквально наезжая ему на пятки. А он упрямо мотал головой и, улыбаясь, показывал жестами разгневанным водителям, что идет вперед, ему тоже нужно туда — вперед так что все в порядке. И пешеходы, вся улица, глядя на эту сцену, смеялись, а человек в синей куртке, дружелюбно улыбаясь, показывал всем, что он ни в чем не виноват: он идет вперед!

Глядя на эту сцену, я, конечно, вспомнил того белградского регулировщика который много лет назад не справлялся здесь с бурным натиском уличного движения. Теперь регулировщики исчезли с белградских перекрестков, их заменили светофоры. Но и они иногда бессильны. Значит, я в этот раз я увезу отсюда видение беспорядка? Этого я не думал. Мне кажется, что теперь я лучше понимал то, что видел. В этих двух не представимых в другом месте сценах тоже выразилась специфика страны, характер ее народа, его одержимость верой в свободу, его постоянная готовность неумолимо и бесстрашно экспериментировать, бороться, наступать ради достижения своей цели.

Белград — Москва.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ

★

РЕПОРТАЖ ИЗ-ПОД РЕДАКЦИИ

Метро возводится на основе самых передовых достижений науки и техники...

Московский Метрострой... является базой и школой кадров для других метрополитенов СССР...

Из книг о московском метро.

«Куда катится голубой вагон», «Метро ждет помощи», «Поезд идет в завтра».

Из заголовков газет последнего времени.

В последний день августа 1987 года я остановился у порога редакции и сделал полтора шага налево: у самой двери, заслоняя окна первого этажа и причиняя немалые неудобства секретариату и отделу публицистики, устроились довольно основательно два вагончика — стандартные походные домики кочующих строителей. Подымаюсь по выскобленным добела деревянным ступенькам первого из них. Стучусь. Дверь открывается, и я тут же оказываюсь непрошеным гостем у тех, кто загордил на Пушкинской площади все ходы и выходы, а наш Малый Путинковский просто превратил в задворки крупнейшего столичного строительства.

Я на Метрострое.

О метро и метростроевцах написано немало. Издано много книг, придумана не одна легенда, сочинены песни, оратории и даже оперетты, фильм «Добровольцы» обошел по второму, а может быть, даже по третьему кругу экраны всей страны. И я на стороне тех, кто воспевал когда-то наше метро и считает его чуть ли не одним из реально существующих чудес света. Увидев своими глазами метрополитен в столицах зарубежных стран, скажу, что в самых восторженных оценках нашего метро нет никаких преувеличений. Что есть, то есть.

Но скольким из нас, из числа тех восьми с половиной миллионов, кто, опуская пятак в прорезь электронного автомата, пользуется услугами метрополитена «сколько душе угодно», известно, что там — за мраморными плитами, за позолотой и бронзой, за нарядными художественными панно и легкими колоннами?

На мой стук в обитую жестью дверь стоящего, как уже сказано, в полутора метрах от подъезда редакции вагончика ответил густой мужской бас: «Войдите!» Крепкий, плечистый, загорелый и чуть лысоватый мужчина приподымается с обитого клеенкой дивана, кладет на соседний столик раскрытую книжку «Роман-газеты», кивком отвечает на мое приветствие. Узнаю, что его имя Вячеслав, по бабушке Матвеевич, а фамилия Подмарков — истинная московская, как он утверждает. На Метрострое за дизелями компрессорами смотрит вместе со своими товарищами уже лет двадцать. А у дверей «Нового мира» занял площадку с декабря 1986 года. И с тех пор первый стук в двери вагончика — мой, свои обычно заходят без стука, а посторонние — им-то зачем сюда ходить? Как только выдается десяток-другой свободных минут, Матвейч берет за книгу, очень любит читать. Вот сейчас Леонова читает, «Роман-газету», а так просто это издание не купишь. Тут же делится со мной мыслями о «творцах художественных книг», так он называет писателей: «Дело-то какое трудное — книгу написать... Тут вот письмо не всегда сочинишь, покладней чтоб получилось, а книгу! Что тут говорить: слово к слову, строчка к строчке, да еще чтобы и мысль и образ получились...»

Узнав о моем намерении познакомиться с работой Метростроя, а может быть, если получится, что-нибудь написать, хозяин вагончика настораживается: «Для этого

уж вы с нашим начальством согласуйте, оно-то уж знает о том, кого подымать, а кого туда...» Улавливаю в голосе Подмаркова определенную иронию. А тут резко открывается дверь и вихрем врываются трое, один постарше, двое совсем молоденькие, лет по восемнадцать — двадцать. На них метростроевские спецовки и каски в серой, цементной, еще недолностью высохшей эмульсии. Измеряют меня чуть настояренными взглядами: гражданский, с черным дипломатом, «не свой». Подмарков объясняет:

— Товарищ из редакции...

Ребята здороваются со мной за руку, старший называет себя:

— Анатолий Рудометов, бригадир чеканщиков с наклонного, заглянули к Матвейчу сказать, что мы с ребятами заступаем в ночь... — Обращается к хозяину вагончика: — Ты уж нам, Матвейч, воздух сегодня не режь! Лады?

— А когда это было? — улыбается Подмарков. — Все будет путем, не беспокойтесь.

С воздухом все ясно (что это такое, я узнаю позже), и разговор принимает совсем неожиданный для меня оборот. Бригадир чеканщиков интересуется, был ли я когда-нибудь там, внизу. Отвечаю, что нет. Кто меня туда пустит?

— Он пустит, — как что-то само собой разумеющееся замечает Подмарков, а молоденькие парни подхватывают:

— Мы пустим! Проведем!

Собирается идти вместе с нами и Вячеслав Матвеевич. Он, правда, направится к своим дизелям-компрессорам, которые день и ночь равномерно и звонко оглашают Пушкинскую площадь и округу несмолкаемым шумом. Они легкие всей работающей тут сжатым воздухом техники. Прощаясь с нами, Матвейч советует:

— Ты, Толя, возьми у кого-нибудь каску для товарища, так ведь не пройдешь.

— Ясное дело, — отвечает Толя и тут же снимает каску с головы знакомого проходчика. — Пока так походи, здесь, на поверхности, можно! — Подавая мне оранжевую каску, улыбается: — Сойдете за «черта». — И тут же объясняет, что это такое.

Оказывается, что в нашем Малом Путинковском среди вагончиков строителей два принадлежат самым отчаянным и смелым на Метрострое ребятам — проходчикам. Чтобы получить право быть в их рядах, нужно согласие строжайшей медицинской комиссии, чуть ли не такой же строгой, как та, что отбирает космонавтов. Еще строже отбор тех, кому приходится нередко работать в кессоне.

Так, на ходу получая отрывочные сведения о совершенно незнакомом мне деле, оказываюсь перед доской, на которую девушка клеит листовку. Читаю:

«Метростроевцы!

За последнее время на объектах произошло значительное количество случаев производственного травматизма, в том числе с тяжелыми последствиями.

Главными причинами происшедших несчастий являются низкая трудовая и производственная дисциплина, незнание или нарушение разработанных проектов производства работ, по которым они не были обучены и не имели соответствующих прав.

Постоянно помните, что шахта, строительная площадка — объекты повышенной опасности. Строго соблюдайте требования правил и инструкций по технике безопасности. Заметив какие-либо нарушения, неисправности, немедленно сообщите об этом бригадиру, руководителям смены или участка.

Первейшей обязанностью руководителей производства, инженерно-технических работников является обеспечение полной безопасности труда на каждом рабочем месте.

Дружными совместными усилиями добьемся полной ликвидации в каждом метростроевском коллективе причин производственного травматизма!

Управление московского Метростроя».

Вот, оказывается, во что превратились Пушкинская площадь и наш родной Малый Путинковский переулочек с декабря 1986 года: объект повышенной опасности!

А Толя Рудометов шагает крупно, размахисто, как будто для него не существуют спущенные здесь автокраны и автосамосвалы, не плывут над головами путающих размеров бадья с жидким бетоном, связки строительного леса, трубы, балки, ковши с землей, детали будущих метростроевских механизмов. Для него это привычная рабочая обстановка. Даже гигантский «козел», опирающийся ногами по обе стороны

площади и доминирующий уже столько месяцев над Пушкинской, не пугает его. Вдруг из этого хаоса возникают легкие ступеньки сползающего в бездну трапа. Перед нами черная пасть крутого наклонного тоннеля — прорытое людьми будущее продолжение нашего Малого Путинковского, огромная чугунная труба, теряющаяся в глубине земли. Редкие тускловатые лампочки-светлячки лишь подчеркивают циклопические размеры трубы и мрак. Как все это не похоже на то, что будет здесь через считанные недели: лестницы-чудесницы, море света и поток торопливых и задумчивых пассажиров.

А пока...

Пока отчетливо раздается дробь работающих на сжатом воздухе аппаратов, словно прицельно бьют десятки разнокалиберных пулеметов. Деревянный трап спускается круто — наклон тридцать градусов. Глаза постепенно привыкают к мраку, начинаю различать детали. Над головой — свод из геометрически правильных темно-серых прямоугольников. Такие же прямоугольники справа, и слева, и под ногами. Это кольца из массивных чугунных тубингов, каждый весом около полутора тонн и больше. Установлены они и временно скреплены болтами. Расстояние между противоположными точками наклонного тоннеля, предназначенного для монтажа четырех лент движущегося эскалатора, девять с половиной метров. Сейчас сквозь щели между тубингами хлещут с оглушительным свистом десятки и десятки малых и больших ручейков, мчащихся единым потоком вниз, туда, откуда еще не убрана вся проходческая техника. Рудометов предлагает остановиться, чтобы передохнуть. Мы на середине крутого спуска, вход остался там, позади, виден лишь круглый участок пасмурного неба над Пушкинской, ни городского шума, ни грохота строительной площадки не слышно: здесь своего шума предостаточно.

— Вот тут, где мы стоим, — объясняет Рудометов, — гигантский слой пльвуна, сквозь который можно пройти только заморозкой. Видели там, наверху, торчащие трубы, похожие на орудийные стволы? Так это трубы заморозки, после завершения проходки их обрезали автогенем, что загнано в землю, там и остается, что торчит — на металлолом. Но как только заморозка отключается, пльвун тает и часть проклятой жижи сочится сквозь швы тубингов. Вот мы и боремся с ним.

Раздается голос:

— Толя, будет воздух?

— Будет, будет! — отвечает Рудометов. — Сегодня Матвейч дежурит, будет!

Там, наверху, под самым сводом, сражаются с водой ребята из бригады Рудометова, чеканщики. Они сегодня должны зачеканить два кольца. Это рассказывает мне бригадир. Но я еще не понимаю, о чем он говорит.

Слово «чеканщик» для меня пока что применимо скорее всего к тем мастерам, что превращают металлы в предметы искусства, а с недавнего времени и в довольно примитивный ширпотреб, а здесь вроде не до ширпотреба.

Чеканщики Метростроя — это большой отряд первоклассных специалистов, главная и единственная задача которых обеспечить все подземные сооружения столицы водонепроницаемой оболочкой, круговой крышей, отверстие в игольное ушко в этой крыше может привести к неожиданным неприятностям, крупным затратам по ремонту. Поэтому чеканщик Метростроя не имеет права на ошибку.

Чуткое ухо Рудометова снова уловило обращенный к нему голос: зовут на помощь. Отвечает: «Сейчас подойду!» — извиняется, что оставляет меня одного, но это ненадолго, минут на тридцать, и тут же исчезает среди лестниц, площадок, перил и ограждений. В общем грохоте «пулеметных» очередей и шипения время от времени бухает что-то вроде тяжелого вздоха. В двух шагах от меня около высокого баллона замечаю сидящего спиной ко мне человека. Одной рукой он держит баллон, другой — шланг, через каждые две-три минуты он загибает его под прямым углом, шипение на миг прерывается, а затем снова ритмичный тяжелый вздох. Объясняет — в баллоне вода и песок. Под давлением в 6 атмосфер воздух, поступающий от компрессоров Матвейча, смешивается с водой и по другому шлангу подается под самый свод, куда сейчас и поспешил Рудометов, его задача пескоструить пространство между тубингами, расчистить каналы для будущих свинцовых швов. Минут двадцать работы, и канал блестит серебром, пескоструйный аппарат надо перезаряжать. Рудометов, весь мокрый, переводит дыхание. Его не узнать, забрызганные грязью защитные очки, приобретенное песчано-оранжевый цвет лица. Вьезшийся в кожу песок со снимаемой от чугуна ржавчиной можно очистить разве что при помощи жесткой мочал-

ки под душем Глаза Толи горят, голос изменился:

— Вот так миллиметр за миллиметром... Свод — самое трудное место, все льется и сыплется на лицо, для защиты ничего не придумано... Ну зато моим товарищам открыт фронт работ, они будут чеканить.

Фронт работ — до блеска очищенные промежутки между смонтированными тьюбингами. Их-то и предстоит законопатить наглухо и навечно толстым свинцовым шнуром, намотанным на здоровенные катушки, лежащие неподалеку от входа в нашу редакцию. Его разрезают, пропускают через валики своеобразного прокатного стана, придают ему определенную ширину, складывают в полутораметровые пучки килограммов эдак по 60 каждый («Ребята у нас силачи!»), затем на плечо и через будущий вестибюль станции «Чеховская» — в наклонный. Кроме этого груза чеканщикам нужно перетаскивать к месту работы весь необходимый инструмент, хранящийся тут же, в Малом Путинковском, в огромном железном сундуке, ключи от него в кармане у бригадира. Заступая на смену вместе с ребятами Рудометова, я однажды прихватил с собой ручные весы. Интересно, сколько весит оснащение чеканщика? Вот достоверные данные:

отбойный молоток — 8,5—10 килограммов;
чеканочный молоток (без чеканов) — 6,5 килограмма;
ключ ручной для болтежки и разболтежки — 10 килограммов;
взбалчиватель — 16 килограммов;
ручной цементоукладчик — 8 килограммов;
перфоратор — от 22 до 32 килограммов.

Подчеркиваю, что этот инструмент ручной и им приходится пользоваться на весу, в том числе и под самым сводом. К началу смены, как сказано, его нужно принести с собой к месту работы, к концу — отнести.

— К тому же инструмент довоенного образца, — отвечает на мой недоуменный взгляд Рудометов, — только гораздо хуже, чем довоенный, особенно отбойные молотки. Другого просто нет, часто ломается.

— А почему так?

Рудометов поднимает плечами и признается, что к концу рабочей смены и для этого движения у него уже не хватает сил. Особенно тяжело, когда приходится брать перфоратор «на пупок».

— А это что такое?

Объясняет:

— Вслед за проходкой укладываются тьюбинги и временно скрепляются болтами, это так называемое первое забалчивание. Посредине каждого тьюбинга — большое отверстие, через него между внешней стороной тьюбинга и породой нагнетается цементно-песчаный раствор, его уходят ой-ой сколько, это для того, чтобы тьюбинг и земля соединились в единое целое. Раствор этот становится самым настоящим бетоном. Вот его-то и нужно убирать перфоратором, а отверстия закрыть стандартными пробками. Так вот и приходится взять перфоратор «на пупок». Если встретится метростровец, особенно из пожилых, с большим животом, то знайте, что это не от избытка харчей, а следствие работы с перфоратором.

Пока бригадир объяснял мне все это, мы и не заметили, как к нам подошел невысокого роста плечистый мужчина, сурово посмотрел на меня, одетого не по форме, да еще с дипломатом, но замечания не сделал, поздороваться тоже забыл. Обратился непосредственно к Рудометову:

— Толя, собери ребят к трем там, у ящика. Будет важный разговор.

— Ясно, — ответил бригадир. — Будем.

— Кто это? — спрашиваю.

— Начальник смены СУ-5, которое отвечает за наклон.

Ровно в три часа, как было сказано, отработавшие смену чеканщики и те, которым сейчас заступать на вторую, ждут у железного сундука. Все стоят. «За смену так устанешь, что и садиться нет сил...» Подходит тот же мужчина.

— Так вот что, мой дорогой, я принес вам просьбу руководства СМУ, и в особенности главного инженера, — нужно поднажать с чеканкой наклонного... Сколько колец осталось? Сорок? Ну, тогда еще четыре кольца возьмете у переходного зала. Ладно? Вы когда рассчитывали закончить?

Бригадир отвечает:

— Месяца через полтора... Если все будет...

— Все будет! — восклицает начальник смены. — Все будет! Только просьба, чтобы вы, ребята, напряглись и сделали это не за полтора месяца, а за две недели... Две недели, — нажимает он, — иначе не успеем сдать все... Две недели...

Рудометов смотрит на своих товарищей. В их глазах заметна растерянность: то ли от усталости, то ли от неожиданного поворота разговора они не знают, что и ответить, ведь кому как не им представить весь объем предстоящей работы! Начальник смены опытным оком улавливает, что отказа не будет, и нажимает:

— Одно только имейте в виду — качество, самое высокое качество. И если оно состоится, то вам будет все. — Считает, загибая пальцы: — Наряд весь ваш, премия вся ваша, дополнительная премия из фондов Метростроя гарантируется, сам Кошелев обещал.

Еще одна-две минуты раздумий. Рудометов спрашивает:

— Ну что, беремся?

Одобрительные кивки, притом никто не произносит ни слова.

— Ну, беремся, — наконец отвечает Рудометов начальнику смены, — только при одном условии — должны быть подведены леса и убрана грязь к завтрашнему дню, обеспечен подвоз всех материалов, при этом условии беремся.

Начальник смены рад завершению разговора, обещает, что все будет, это само собой разумеется. Он смотрит на часы, уже четверть четвертого, а у него через пять минут в другом месте с другой бригадой предстоит такой же разговор.

У меня вопрос: почему рабочие молча, без возражений, так легко согласились с предложением администрации, что кроется за этим?

Рудометов объясняет скупо: во-первых, не подготовят фронт работ, вопрос о лесах — узкое место, и так уже бригада из-за отсутствия лесов фактически простаивает несколько дней, своим прямым делом не занимается, а убирает грязь, делает что дадут, а то закрывать наряды будет нечем; во-вторых, не принимать такое заманчивое предложение начальства нельзя, ведь предлагают все, по максимуму. Откажись, и тут же отыщется другая бригада, переведут с другого объекта, и ты окажешься там, где менее сложно, но и менее денежно; а в-третьих, фронта работ все равно не будет, и отказ явится поводом для упрека — мол, вот от трудной работы в трудный час для управления отказались. Поэтому ребята не шумели, они уже всему научены. Как все...

Если от нашей редакции пересечь Пушкинскую площадь, выйти на Пушкинскую улицу и свернуть в Козицкий переулок, сразу заметишь молодых парней — реже девушек — в рабочих спецовках Метростроя и обязательно в касках. Тут эстакада, подъемный кран, железнодорожные пути, упирающиеся в массивный чугунный цилиндр, — это шахтный ствол, ведущий в недра самого центра Москвы, в галереи крупнейшего в истории нашего метростроения узла из трех станций. Две из них — «Пушкинская» и «Горьковская» — уже действуют, на «Чеховской» идут решающие предпусковые бои.

Пульт управления шахтного ствола. Официально он называется пультом управления механизированной эстакадой, а в обиходе короче — рукояткой.

Голубоглазая молодая женщина Валя, Валентина Федоровна Седых. Она старшая над 12 рукоятчиками и рукоятчицами и при их помощи спускает и поднимает работающих в шахте людей, всю выбираемую из забоев породу, остатки использованных материалов и тару, все необходимые строительные и облицовочные материалы. У эстакады круглосуточный цикл, и члены бригады Валентины Седых и она сама работают в три смены.

Опускаются и поднимаются клетки, зажигается сигнальная лампа, сообщая, что в клетки люди или груз. Время от времени рукоятчица переговаривается с дежурным на нижнем горизонте, то есть на дне шахты. Бывает, переговариваются по самой обыкновенной, приспособленной для этого водопроводной трубе. Это когда выходит из строя телефон или электрическая звуковая связь. Счет опускаемых и поднимаемых вагонов ведется по деревянной доске, на которой сделаны зарубки, означающие — 10, 20, 50, 100. Напротив каждой цифры отверстие, в него вставляется крохотный деревянный штырек. Девушки смеются — «наш метростроевский компьютер». На уровне этой техники и другая аппаратура, которой оснащен пульт управления. Техника первых пятилеток, без малейших изменений. При ее помощи бригада механизированной эстакады поднимает в напряженные часы, когда идет порода, до 600 вагонов

в сутки, не считая спуска и подъема степен рабочих. Нередко случается, что довольно примитивный толкатель вагонов в клеть или механический захват нагруженного вагона не срабатывают или недорабатывают, и тогда молодые женщины вооружаются ломом, которые тут же, под рукой, и помогают механизмам.

— Опять становится холодно, — как бы предвидя неизбежное, бросает Надя Чивкина Люде Нестратовой, они сегодня в одной смене с Валей. Валя подымает голубые глаза к потолку, оглядывает всю знакомую до единого болтика территорию эстакады. Да, тепла не жди. Дошатый, неутепленный гигантский купол крыши над ствол и окружающей его площадкой, сбитые из досок стены, в них двери, незаделанные проломы, щели. Дует со всех сторон, укрыться можно только в узком закуточке. Но женщины есть женщины, они даже здесь повесили зеркало. В свободные минуты закуток набит, но больше 4 человек в нем не помещается — он меньше салона «Запорожца». И им ограничивается вся «зона отдыха» людей, работающих на этом посту круглосуточно. Пост не на семи ветрах, а на семидесяти. А в зимнюю пору еще и с густым паром, идущим из недр земли, тоже из-под нашей Пушкинской площади.

Валентина Федоровна Седых работает на эстакаде с начала строительства станции «Чеховская». Восемь лет. Насмотрелась и насышалась всего. Но самое горькое, считает она, это когда метростроевцы с довоенным стажем упрекают нынешнюю метростроевскую молодежь, что она, мол, не такая, какими были они в годы первых пятилеток. Куда делась тогдашняя романтика, куда ушел энтузиазм, почему утасли песни и потускнели оды того времени? Что же случилось?

Эти вопросы приходилось и мне слышать не раз в беседах с ветеранами Метростроя.

Однозначных ответов нет.

...Резкий голос сирены, словно безнадежный ночной крик коростеля. Вся смена на эстакаде оживилась. С нижнего горизонта сигналият, что стрелка исправлена, на путях ожидает эшелон породы, ждут на эстакаде вагоны с долгожданным цементом.

Одна клеть вниз, другая вверх. Уходит вглубь груз, подымаются вверх порода, грязь, остатки подземной стройки. Во дворе шахты стоят самосвалы. Они повезут все это «добро» на свалки.

Наблюдая, как один за другим подымаются вагоны и направляются на опрокидку, не удержался от вопроса: неужели все, что выкапывается из будущих тоннелей, переходов и подземных дворцов, так вот подымается, опрокидывается и вывозится? Да, все. С одной только разницей — до войны на вывозку породы привлекались наряду с машинами трамвай, конки. Да, у Метростроя были конюшни, сенокосы и «друзья старинные», воспетые Утесовым. Пожалуй, впервые попавшему в метро человеку трудно себе представить, что миллионы и миллионы тонн земли, камня, глины — все, что носит название «порода», подается на-гора, принимается опрокидчиками и опрокидчицами и отправляется на свалки. Ею, этой бесплодной породой, заравниваются овраги, засыпаются русла бывших речек и ручейков, пруды и сады, бывшие когда-то картофельные и капустные поля, нерестилища карпов, щук и карасей, луга, сенокосы и выпасы, кусты смородины и малинники, яблоневые и вишневые сады. Глубинная, никогда не видавшая солнечного света порода, глина и пльвун навечно похоронят под толстым слоем бывшие богатые почвы, созданные трудом человека, а затем станут основой для фундаментов будущих многоэтажных Чертановых и Теплых Станов, Коньково-Деревлевых и Черемухек, Измайловых, Одинцовых и Бирюлевых... И новоселы этих мест будут все настойчивее требовать: метро, метро, метро...

Поднятые же в поднебесные этажи жители бывшего крестьянского Подмосковья вначале застенчиво, а затем все основательнее и основательнее будут множить число тех, кто уже привык занимать очереди за египетским луком, болгарскими помидорами, кубинской картошкой, польской капустой, венгерскими яблоками, австралийской бараниной, финским сервелатом, океанической рыбой, добытой за десятки тысяч километров от когда-то богатейших подмосковных речек и прудов. Построенный неподалеку от засыпанной метростроевской породой бывшей плодородной долины речки Котловки фирменный магазин «Колобок» объединения «Молоко» притянет со всей Первопрестольной коренных москвичей, не забывших вкус свеженькой сметанки, сливок и варенца, и тут же родится горькое присловье «вереницей за

варенцом». Вереница растет, а варенца подвозят все меньше и меньше... Московские же свалки рождают у очевидцев только что высказанные горькие мысли. Возникают еще и другие, более горькие раздумья. На эти свалки отправляются ежедневно миллионы и миллионы, заработанные в поту и доставленные в Москву богатства, чтобы затем гнить и быть захороненными. Только один миг из этой непрерывной «похоронной процессии» был схвачен кинокамерами и показан всей стране в программе «Время». Я видел это. Предстояла сдача в эксплуатацию станций метро «Теплый Стан» и «Коньково». Бульдозеры утюжили «могилы», в которые только что были свалены бетонные плиты, трубы, кабели,— короче, все то, что остается после крупного строительства, а рабочие во весь голос жаловались репортеру, что под землю уходит их заработок...

К месту показались мне и некоторые соображения относительно безразмерности городов. Что за целесообразность раздувать города до таких размеров, когда любая проблема их жизнеобеспечения становится практически неразрешимой? Можно ли предположить, что этот рост когда-нибудь остановится? И есть ли надежда, что хотя бы транспортные проблемы городов-гигантов могут быть решены? Будь это Москва, Париж, Рим или Нью-Йорк.

Бурный рост городов в нашей стране вызвал к жизни, кроме московского, метрополитены Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку, Харькова, Ташкента, Еревана, ведется строительство подземных электрических дорог в Минске, Горьком, Новосибирске, Куйбышеве, Свердловске, Днепропетровске, на повестке дня строительство метро в Омске, Перми, Ростове, Алма-Ате, Риге. Общественность Латвии, каким бы это ни казалось ретроградством, выступает самым решительным образом против строительства метро, считая, что предназначенные для этого колоссальные ассигнования с большей пользой можно направить на развитие наземных видов транспорта.

Не на последнем месте среди аргументов против метро — опасность безудержного роста городов.

В Москве метро строится уже около шестидесяти лет, намечена перспектива его развития до 2010 года, чтобы довести к этому времени протяженность линий до четырехсот шестидесяти километров. Только до завершения нынешней пятилетки метростроители столицы должны сдать свыше тридцати девяти километров новых линий! Это в два с половиной раза больше, чем в состоянии сегодня с огромным напряжением прокладывать Метрострой. Но установлены, как принято говорить, директивные задания, намечены сроки, и надо приступать к делу. А это, оказывается, чрезвычайно трудно, несмотря на такой огромный опыт метростроения. Выполнение задания потребует увеличения численности работников Метростроя с 14 до 34 тысяч человек. И снова наращивание рядов так называемых лимитчиков, их придется разместить, обучить, прокормить, сделать настоящими рабочими и к тому же многолетними очередниками за остродефицитным столичным жильем.

Мы устали уже от критики оторванного от реальности, волевого, непродуманного планирования. Критикуем и критикуем. А толку...

В дни осенне-зимнего штурма 1987 года на строительстве станции «Чеховская» можно было встретить молодого человека с печатью особой озабоченности на лице. Спецовка на худых плечах, как на вешалке, выпирающие лопатки акселерата-подростка, воспаленные от недосыпа глаза, густые пшеничные усы, под которыми улыбка редкий гость. Белая, чуть надвинутая на лоб каска — свидетельство тому, что это не простой человек, а бугор¹, причем немалый. Белые каски носят только руководители стройки от начальника участка и выше. Белая каска — пропуск всюду и знак особой власти. Во время шахматных баталий в Севилье метростроевские «гроссмейстеры» называли владельцев таких касок «белыми королями». В отличие от королей Владимир Михайлович Родин — начальник первого участка СМУ-14 Метростроя — ходит без свиты. В семь утра — каждый день, без выходных! — он уже, схватившись обеими руками за голову, сосредоточен над чертежами в комнате на третьем этаже ветхого здания в Козицком, где приютилась контора. Сверяется то, что должно было быть сделано по графику за ночную смену, с сообщением стоящего рядом начальника этой смены. За считанные минуты должно быть уточнено, что сделано за ночь, и определено задание на дневную смену.

¹ Буграми называют в обиходе строительное начальство.

А начальник дневной Владимир Павлович Булычев сидит за соседним столом, напряженный, хмурый, по всему видно, что он делает сейчас что-то вынужденное, надоевшее и бесполезное: он проводит незаконный директивный инструктаж по технике безопасности индивидуально, с каждым заступающим на смену. Рабочие подходят один за другим и поспешно, почти не глядя, ставят крючок напротив своей фамилии на странице стандартного журнала «Инструктаж по месту работы». Наблюдаю, насколько эта процедура бессмысленна. Интереснось:

— И это каждый день?

— Каждый, перед началом смены.

— Что она дает?

— Ровным счетом ничего... Бюрократическая церемония. И если бы только она. — Начальник смены указывает мне взглядом на другой, лежащий тут же на столе журнал.

Читаю: «Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда». На самом видном месте указано, что форма журнала разработана отделом пропаганды охраны труда института «Оргтрансстрой», согласована с отделом по технике безопасности Минтрансстроя и отделами охраны труда ЦК профсоюзов рабочих автомобильного транспорта и шоссежных дорог. В приводимой в журнале инструкции указывается, что на первой ступени — ежедневный контроль, на второй — еженедельный, на третьей — ежемесячный. Следует за сим разъяснение, что трехступенчатый контроль оказывает существенную помощь администрации и инженерно-техническим работникам в обеспечении безопасных и безвредных условий труда на стройках и предприятиях. Далее выводится «критерий оценки охраны труда и установления коэффициента безопасности» (?!), который, как сказано, «определяется отношением количества рабочих, работающих в условиях полного соблюдения требований охраны труда, к общему количеству работающих на данном участке». Например, в день проверки количество работающих в условиях с нарушениями требований охраны труда составило 4 человека. Коэффициент безопасности, при общем количестве работающих 82 человека, будет равен:

$$K = \frac{P - H}{P} \times 100 = \frac{82 - 4}{82} \times 100 = 95\%.$$

При этом K — коэффициент безопасности, P — количество работающих на участке, H — количество рабочих, работающих в условиях с нарушениями требований охраны труда. В заключение подводится итог — «коэффициент безопасности определяется на третьей ступени контроля за состоянием охраны труда».

Пытаюсь вникнуть в смысл этого, с моей точки зрения, образца доведенного до абсурда бюрократизма под многозначительным видом заботы о рабочем человеке. Владимир Михайлович Родин оторвался от чертежей, спрашивает:

— Разобрались?

— Мудрёно!

— О, если бы только это! Горы бумаг, горы инструкций и указаний, а затем — отчетность, только и успевай писанину гонять...

Преодолевать путь от редакции к наклонному тоннелю с каждым разом становится все трудней. Убраны леса, Пушкинская площадь перед зданием Госкомиздата ушла вглубь на добрых два десятка метров и превратилась в огромный котлован, он станет верхним вестибюлем станции «Чеховская». Забила вода, и от нее спасаются при помощи сложнейшей установки водопонижения. Мощные механизмы отсасывают воду и по огромным трубам гонят ее к коллекторам городской ливневой системы. А в наклонном тоннеле продолжается трудная, изнурительная и опасная работа. По проложенным рельсам медленно ползет вверх нагруженная до предела тележка: инструмент, демонтированные электродвигатели, кронштейны, балки, болты, резное, уже ненужное там, внизу, железо. А бригада Рудометова ждет обещанного фронта работ, после совещания прошла неделя. Когда тележка окажется наверху, дежурный метростроевец просигналил красным флажком отбой. Что-то случилось. Туда спешит Рудометов. Он знает — снова соскочило колесо с рельса, — это случается нередко, а вчера плохо закрепленная балка сорвалась и с грохотом полетела вниз, все сокрушая на своем пути. Благо чеканщики успели отскочить, зацепиться за боковые леса, а то быть бы беде. Вмиг оказавшись наверху, Рудометов помогает вернуть колесо на колею. Трое из его бригады пристроились на небольшом помосте почти под самым

сводом, там горит лампочка поярче, и чтобы не тратить зря время, один из них достает из кармана спецовки газету: «Заметил, что тут вроде про нас написано», остальные двое тоже склонились над страницей «Московской правды», сморщили лбы. «Подожди нас!» — раздаются голоса с других сторон. Возникает непредусмотренная политминута. Один громко читает:

«ТЯЖЕЛЫЕ КИЛОМЕТРЫ МЕТРО

Всего полтора года прошло с тех пор, как у кинотеатра «Россия», на небольшой площадке с правой стороны, обосновались строители. Скоро здесь появится новая станция метро... В середине декабря прошлого года начали рыть наклонный тоннель. Разработка грунта — операция трудоемкая, особенно зимой. Кроме отбойного молотка, у строителей ничего нет (здесь и далее разрядка мая.— Ф. В.). Около шести тысяч кубических метров грунта были подняты наверх вручную, если не считать допотопной вагонетки вместимостью в полтора куба... Задача осложняется еще и тем, что к началу строительства на 22 километра линий не было технической документации...»

Наконец вагонетка, названная в «Московской правде» допотопной, двинулась, Рудометов вернулся к своим товарищам.

— Обошлось на этот раз без шума... — сказал он коротко.

— Без шума, — иронически вторит ему читавший газету. — А тут вот газета снова кроет Метрострой.

— Читал я, — вздыхает Рудометов, — кто нас сейчас не кроет? Все... и не Метрострой, а всех нас... — Он сбрасывает на помост длинный, метра в два прут с нанизанными черными кругляшами. — Вот шайб раздобыл, давай перебалчивать.

В процессе перебалчивания временно скрепленные при проходе тьюбинги соединяются навечно. Порыжевшие от ржавчины монтажные болты заменяются новыми, обработанными антикоррозийным составом, снаряжаются с обоих концов битумными шайбами и закручиваются — нередко вручную — так, что их уже не открутить. Подсчитано, что одних этих болтов на строительстве метро использовано уже около 15 миллионов. Битумных шайб, следовательно, 30 миллионов, а добыча их для чеканчиков превратилась в одну из немалых проблем. Рудометов, как и большинство других бригадиров, выступает в роли добытчика дефицитных материалов, и ребята сейчас обрадовались — будет чем закрывать сегодняшний наряд, ибо обещанный фронт работ до сих пор остается обещанием.

Затарахтели болтежные машины, затрещали пулеметные очереди чеканки, и постороннему человеку здесь уже делать нечего.

Из наклонного тоннеля, преодолевая вертикальные лестницы, помосты, леса, настоящие водопады и образованные ими настоящие подземные реки и водоемы, скупо освещаемые пунктиром электрических огней, сквозь сложнейший лабиринт, где не мудрено затеряться, можно попасть в главный зал будущей станции «Чеховская». Если повезло и вы заметите белую каску Владимира Михайловича Родина — спешите за ним, и нить Ариадны в ваших руках.

После распределения всех заданий, после получения всех распоряжений сверху и если нет сообщения о прибытии какой-либо очередной проверочной комиссии, начальник участка быстро переодевается, венчает свою голову белой каской и шагает к рукоятке. Перед этим постом все равны — хочешь спускаться в шахту, жди своей очереди и не суетись. У рукоятчиков свои правила, и они неукоснительно соблюдаются. Здесь есть возможность обменяться словами, бросить реплику просто так, заметить опоздавшего на работу, увидеть уже в который раз допотопность и несовершенство всех окружающих механизмов и устройств и — тоже в который раз! — не обратить на все это внимания, потому что ничего не изменить: все окостенело, застыло. А работа есть работа, ее нужно делать, план есть план, и его необходимо выполнять.

Загрелма подымающаяся клеть, рукоятчица Надя дергает три раза болтающуюся ручку, чем-то напоминающую цирковой снаряд, внизу сигнал принят. Резкий толчок вверх, затем клеть опускается медленно вниз, среди оранжевых касок рабочих — белая каска начальника участка. Внизу, у подошвы ствола — он сооружен из таких же тьюбингов, как и тоннель, — другое дежурное звено, оно отправляет грузы из шахты и принимает те, что подадут сверху. Здесь начало рудного двора, напоминающего

миниатюрный железнодорожный узел с расходящимися путями, стрелками, стоящими на путях нагруженными составами и порожняком. Над головой тянется толстый провод — троллей, напряжение 250 вольт, горящие красные буквы — «троллей под током». А сверху льется поток воды, резиновые сапоги тонут в куда-то текущей подземной реке. Цепочки тусклых огней и отдаленно не напоминают море света, в котором купаются нарядные станции и вестибюли действующего метро. На строительстве все бедно.

Начальник участка, на узкие плечи которого давит весь груз ответственности за то, что делается сейчас под Пушкинской площадью, шагает широко, привычно, не обращая внимания на глубину водного потока, который запросто может залить высокие голенища. Родин то и дело останавливается. Его все знают и понимают с полуслова. Чего не услышишь здесь, под землей, — это демагогической болтовни. Что расходуется самым экономным образом — это слова. Правда, иногда эти слова тяжелые, как булыжники, и горькие, как желчь.

— Подойди к нам, начальник! — зовет зычный голос с подчеркнутым восточным акцентом.

Родин подходит.

— Обещали еще вчера тельфер исправить, ни хрена не сделали, вся бригада стоит, чем закрывать день будешь?

Тельфер — это подъемный механизм — замер, еще вчера утром сгорел двигатель, ремонтников не прислали, а бетонные плиты для платформы лежат неустановленные, время уходит впустую, рабочие нервничают. Один из них горько шутит:

— Я, начальник, так спешил, даже штаны не успел зацепить булавками, вот так и хожу. — Демонстрирует под хохот прислонившихся тут же кто к чему товарищей по бригаде изношенные до дыр хлопчатобумажные штаны метростроевской спецовки, затем снимает резиновый сапог, показывает голую ступню — портянок не выдали.

Начальник участка хмурит брови, сутулится, будто ему нагрузили на плечи новую тяжесть. Ничего не обещает, но через два часа тельфер заработал.

Оказавшись в главном подземном зале будущей станции «Чеховская», невольно думаешь: а как ты отсюда выберешься, если вдруг останешься один? Если у наклонного тоннеля есть выход на улицу, то здесь все замкнуто! А над тобой три арочных свода: один — огромный — над главным залом, по сторонам два поуже, они над будущими путями, по которым будут подъезжать поезда. Здесь чеканка завершена, вода остановлена, идет монтаж так называемых зонтов из легкого синтетического материала. Эта новинка, давшая возможность обходиться без оштукатуривания гигантских сводов, на что ушли тысячи тонн цемента и тратился поистине нечеловеческий труд штукатурщиков. Но это не освобождает и сейчас от мастерка и привычного ведра с раствором. Вот они, молодые, крепкие, в ладных, отутюженных спецовках девушки, тащат нелегкие ведра с раствором, поднимают их на леса, туда, где зонты не достают, в промежутках и архитектурных закоулках. Те же принадлежности штукатурки, как и сотни лет назад, та же необходимость наводить последний марафет мастерком. В век научно-технической революции как-то странно видеть, как девушки размешивают в ведерках раствор и тащат его туда, на самый верх, по шатким лесам.

По путям, где вскоре должны появиться голубые экспрессы, дергающийся старый электровоз доставил платформы с грубо сбитыми ящиками, в них мраморные и гранитные плиты для облицовки станционных колонн и пола платформы. К ним спешат отделочники. Плиты различных размеров и конфигураций, нередко весом от 60 килограммов и выше, переносятся и фиксируются на место тоже вручную — и здесь ведерки с раствором и мастерки. Чтобы ускорить дело, облицовщик пытается заполнять пустоты между стенками колонн и плитами из того же ведра, подымая его на многометровую высоту.

У соседнего пилона, пока что не одетого в мрамор, а лишь обтянутого сеткой из толстых железных прутьев, пожилой человек, прислонив целый сноп фигурного железа, остановился передохнуть.

— Это что?

Смотрит удивленно, еще не понимая, что я тут посторонний, отвечает неохотно:

— Арматура, не видишь...

— Откуда вы ее несете?

— С верхней площадки... Пришлось подождать у рукоятки, сейчас спешить надо.

— И все время так на себе тащите? Тяжело ведь...

— Тяжело, а что поделаешь. Привыкли уже, а если плечи немощные — сюда не лезь...

Александр Акиндиновичу шестьдесят лет, тридцать из них на Метрострое, получает пенсию. Говорит: «Дома посидишь дня три, и опять сюда тянет».

Разговор прерывают резкие свистки, Александр Акиндинович быстро прощается со мной (я и фамилию не успел записать), подымает свою тяжелую ношу и теряется в полумраке слабо освещенной станции. Свистки сигналият непрерывно, на лесах прекращают работу, из левого тоннеля выбегают рабочие. Дежурные подрывники размахивают красными флажками. Наступает тишина. Оглушительный взрыв. Потом я узнаю, что на отдельных участках будущих переходов остались после ручной проходки каменные глыбы и их можно взять только динамитом. И тогда гремят под Пушкинской площадью взрывы. Их раскаты слышны далеко под землей, а на площади голубь, устроившийся на бронзовой шевелюре Александра Сергеевича, испуганно срывается с места.

Осела пыль от взрыва, рассеялся дым, все продолжают работу в прежнем темпе, молча, делая только самые необходимые движения. Доносится стрекот молотков чеканщиков — где-то там, на одном из переходов, сквозь кольцо тьюнгов еще сочится вода. Необходимо ее остановить, все высушить, сдать под монтаж кабелей. Кабельные панели монтируют здесь, на станции, они будут спрятаны за мраморными панелями, за мозаичными панно редчайшей красоты, «каких столица еще не видела». Это говорит мне Евгений Дмитриевич Мартынов из племени каменотесов. Он только что завершил монтаж такого панно и показывает его не без гордости. В минуту передышки этот шустрый, невысокого роста крепыш с легкостью белки двигается по строительным лесам, тоже горько сетуя на то, что слишком уж много ручного труда на всех процессах строительства метро и что никакого движения в облегчении труда метростроевского рабочего не видно. Признается: «Я поступил сюда безусым свыше тридцати лет тому назад, бороду вот уж какую отрастил, она и поседеть успела, а условия работы те же, что и сразу после войны, а на некоторых процессах даже хуже... Сколько говорено и где только не говорено, а дело — ни с места. Ведерко, мастерок, лом, здоровые руки-ноги да шея крепче — вот и вся механизация. Я еще все хорохорюсь, а большинство молчат, смеются над моими воплями, кто их отсюда услышит?» Евгений Дмитриевич подымает взор к потолку станции, над нами почти стометровая толща глухой земли. Ее пробивать легче, чем устоявшуюся пирамиду порядков, а точнее, беспорядков управления нашим строительством. Попробуй пробейся, кричи, чтоб тебя услышали!

Когда готовился к сдаче тоннель между «Чеховской» и «Боровицкой», я застал ребят бригады Рудометова на коротком отдыхе. Кто курил, а кто просто сидел на ледяном, пока что мертвом контактном рельсе. Задумчивые, усталые лица, какая-то отрешенность от всего на свете.

— Случилось что-нибудь?

— Да так, все вроде непонятно, — отвечает за всех Рудометов. — Вы не удивляйтесь — всегда так перед сдачей...

— Что-то не доделано, боитесь?

Ребята оживились:

— Да не боимся мы! Все сделано как надо!

— Тогда что?

— Да так...

«Да так»... — пытаются они мне объяснить. Это когда завершается большая работа и одолевают заботы о другом, о дальнейшем. Здесь уже вроде привыкли, притерлись, и вот все завершено, стучится сдача, отдадут рапорты, пойдут поезда — «Осторожно, двери закрываются!». А их, строителей, ждут следующие перегоны, следующая станция — все с самого начала. Эх, если бы порядка было хоть чуть-чуть больше, чем здесь! Уж который раз вздыхает Рудометов. Как радостно и легко на душе, когда хотя бы одну смену отработаешь нормально, а если одну неделю! Счастье! Ты видишь, что твои руки сделали, не бездельничали вынужденно...

— Вы знаете, вот ребята подтвердят, если бы у нас было организовано все как надо и, главное, снабжение всеми необходимыми материалами, добрым инструментом, мы в три раза больше могли бы сделать... Я правильно говорю? — обращается Рудометов к бригаде.

Все в один голос:

— Какой разговор!

— Так вот... Работа-то ведь что? — продолжает бригадир. — Это государству польза, всем нам, да? И себе деньги, ведь деньги ой-ой как нужны, семью кормить и готовить себе здоровую смену. Нужно создать на Метрострое такой костяк кадров, какой был раньше... Об этом разговор не первый день, и надо, чтобы он был услышан...

Сижу на ледяном рельсе, один из ребят подает мне свои рукавицы:

— Подложи, батя, а то радикулит прихватишь и станешь настоящим метро-строевцем.

Шутка расшевелила ребят, разговорились. И суть этого разговора сводилась к тому, что голос рядового рабочего о его нуждах пробивается «наверх» очень трудно. Тот парень, что подал мне рукавицы, стоял и пытался изобразить на бетоне между шпалами лестницу, ступеньки которой должен брать рабочий, вознамерившийся добиться чего-либо посушественнее. Одна ступенька, две, десять. Получался весьма внушительный ряд. Воспроизведем его для наглядности. Председатель Госстроя СССР, его заместители, министр транспортного строительства, его заместители, начальник Главтоннельстроя, его заместители, главный инженер Главтоннельстроя, его заместители, начальник Метростроя, заместители начальника Метростроя, главный инженер, заместители главного инженера, начальник СМУ, заместители начальника СМУ, главный инженер СМУ, начальник участка, начальники смен, бригадир, звеньевой, рабочий².

Это, так сказать, прямая подчиненность со ступеньки на ступеньку. Но куда вы денете параллельно существующие примерно такие же пирамиды общественных организаций, советских? А еще есть контролирующие органы, финансовые, Госкомтруд...

Не зря в газете «Правда» в самом начале этого года задавался вопрос: «Что же случилось со структурой управления в строительстве? Не в пример другим отраслям она отнюдь не упростилась, а усложнилась, появились лишние промежуточные звенья. Чтобы рядовому бригадиру добраться до Госстроя СССР, надо преодолеть пять весьма крутых ступеней лестницы управления».

Газета, как видите, назвала лишь пять ступеней на пути рядового бригадира к Госстрою, но зато в сьма крутых.

И не странно ли, что при таком количестве организаций, созданных, разумеется, чтобы облегчить труд строителей, им приходится от этого туго. За время моего многомесячного общения с рабочими и инженерно-техническим персоналом самых разных ступеней на вопрос: «Был ли у вас хотя бы один рабочий день нормальной работы?» — ответы были отрицательные. Начальник СМУ-14 Борис Владимирович Феденев, на чью долю выпала ответственность завершить начатое восемь лет назад строительство станции «Чеховская», на этот вопрос ответил так: «После института ни одного спокойного дня». Добавляю, что институт он закончил почти двадцать лет назад.

Главный инженер этого же СМУ Павел Петрович Соболев, когда только начинался штурм на «Чеховской», выглядел крепким, почти двухметровым тридцатилетним атлетом, а после всех утренних, дневных, ночных, а потом и почти круглосуточных авралов в конце сдачи станции выглядел как десятиклассник-акселерат.

— Что с вами, Павел Петрович?

Пожимает плечами, чуть шурит красные от бессонницы глаза:

— Очередная комиссия шею намылила...

² Во время работы над этим очерком мне довелось побывать во Франции. Я интересовался управлением строительства в этой стране, где началась прокладка тоннеля под Ла-Маншем. Вот схема, с которой меня ознакомил заместитель главного редактора газеты «Юманите» Серж Лейрак:

manoevre	чернорабочий,
ouvrier	рабочий,
chef d'equipe	бригадир,
conducteur de travaux	руководитель работ, прораб,
directeur des travaux	начальник стройки, директор работ (на очень больших стройках),
president-directeur general	ПГД — президент, генеральный директор.

Государство или компании выступают только в роли заказчиков. Каких-либо правительственных ведомств, занимающихся строительством, нет.

Да, и я насмотрелся за эти месяцы на «мылящих шей», пытался разговаривать с ними, но они тоже, похоже, были после очередного «намыливания», им явно было не до бесед с литераторами.

Каждому ведомо, что такое мастер. Один приходит к нам, вызванный по телефону из ДЭЗа, другой приглашен через знакомых, третий просто заявит о себе кратким объявлением, «не нужны ли вам форточки?» например. И если мы уж получили к себе мастера, то, как умеем, обласкаем его, стелемся перед ним. Ведь его и пригласили потому, что он мастер, а мы не умеем делать то, что он умеет. И пообедал ли он, поинтересуемся, и рюмочку нальем, и отблагодарим как принято. А если случится, что он хорошо обои наклеит, или коробку дверную против воров заштырит, или ванную и соседнее с ней помещение импортной плиткой облагородит, то мы, замороженные, и телефон запишем и своим знакомым телефончик этот порекомендуем. Ведь мастер волшебник, он способен осчастливить. И к нему надо хорошо относиться, иначе он скалтурит, а с калтурщиками — горе. Кстати, это слово и даже близкое к нему не встречается в других языках государств — членов ООН, это наше. Но я отвлекся. Речь идет об отношении к мастерам.

Так метростроевцы — наши мастера. Они делают для нас всех то, без чего мы за очень редким исключением просто жить не сможем. Исключите из своей жизни хотя бы мысленно метро, и я посмотрю, как вы доберетесь до работы или чем вы удивите впервые пожаловавшего в столицу дальнего родственника. Ну а как мы к ним относимся? Москвичи уже привыкли, что к Октябрьским праздникам и к Новому году им преподносится подарок — один или даже несколько подземных дворцов и хотя бы десять минут сэкономленного на дорогу до службы и обратно времени. На подарки принято отвечать. Хотя бы добрым, хорошим отношением.

Толя Рудометов посоветовал мне, одетому в форму метростроевца, купить что-нибудь подкрепиться в магазинах, кафе, постучаться в двери учреждений, для удобства которых, собственно, и строится на Пушкинской третья станция метро.

Я воспользовался его советом.

В кафе «Лакомка», где столько лет торгуют стандартными пирожными, а чашечка какао преподносится высокомерными буфетчицами как величайшее благодеяние, на меня посмотрели словно на марсианина. Убирающая грязную посуду толстуха бесцеремонно попросила меня выйти вон: «Посетителей в спецодежде не обслуживаем!» Ретируюсь и осторожно открываю стеклянные двери соседнего продовольственного магазина самообслуживания. Объясняя, что хочу купить банку не пользующихся спросом ивасы. Строгая кассирша-контролер свободным от банкет большим пальцем молча указала на дверь. Попытка форсировать пост охраны у входа в ресторан Всесоюзного театрального общества была пресечена сообщением, что без пропуска сюда не пускают даже знаменитых народных артистов, а не то что какого-то лимитчика. Не пустили меня и в магазин «Цветы». Сквозь многоликую и многосумочную толпу просачиваюсь в Елисеевский. Пристраиваюсь к очереди приезжих за «безразмерной» колбасой, но краснощекая продавщица, подняв синие глаза на мою оранжевую каску, одарила очередным сообщением, что таким, как я, путь к «собачьей радости» заказан — одежда не по форме. Решаюсь на штурм входа в новое здание родного издательства «Известия», находящегося под строгим призором ведомственной охраны. Но и оттуда прогнали, усмотрев в моем намерении невиданное нахальство — «ишь куда вознамерился!». Булочная рядом с Театром имени Ленинского комсомола оказалась тоже негостеприимной, и я, еще не потеряв надежды, пробираюсь на Пушкинскую улицу. Там, где когда-то был мебельный магазин, теперь кафе. Раньше здесь продавали вино-водочные, сейчас самообслуживание, но тоже только для «чистых». «Постричься, что ли...» — промелькнула мысль, и заглядываю в парикмахерскую. Но оттуда уже меня выпроваживает удивленная моим нахальством клиентура — массовый пассажир метрополитена.

На Пушкинской площади, чуть дальше редакции газеты «Московские новости», выросла мгновенно внушительной длины очередь, что-то похожее на ставшие приметой нашего времени очереди у винных магазинов. Но чтобы продавали здесь вино — не верится, его даже в Елисеевском нет, на что горько сетует не один метростроевец. Но что же все-таки дают? О, кажется, консервированные сосиски, привозные! Из Китая. Становлюсь не мешкая. Передо мной две молодые дамы, по одежде явно из Театра мод Вячеслава Зайцева. Одна вся в фиолетовом — от подошв до

макушки. Свисают из-под фиолетовой шляпы-горшочка фиолетовые миндалевидные подвески, фиолетовый сапожок сверлит асфальт фиолетовым каблучком, модное широкоплечее манто, пальцы мелко жестикулирующих рук в кольцах из белого золота с пунктиром то ли алмазов, то ли имитации. Фиолетовые губы процеживают секреты в ухо неоднотонной модницы чуть пониже ростом. Слова тихо свистят и затрагивают и мое нелюбопытствующее ухо: «Какое везенье, какое везенье! В таких случаях даже не знаешь, кого и благодарить. Китайские сосиски! Ты знаешь, как их обожает моя Джоконда! Привыкла к ним там,— называется далекое государство,— и без них форменно тоскует. Привезли с собой небольшой запас, как только закончился — мука одна, знаешь. Только и ищут, кто туда едет, богом прошу, чтоб привезли хотя бы баночку. Но okazji такие редкие. И не всегда допросишься. Ой, неужели нам не хватит? — Свистящий шепот внезапно переходит в крик: — Эй, продавец, отпускайте только по две банки! Что за люди, что за люди, особенно эти...» — и указывает сложенными в презрительную трубочку губами на стоящих впереди девушек в аккуратненьких спецовках Метростроя. Одна из них повернулась всем корпусом и нечаянно задела рукавом фиолетовое манто. Хозяйка Джоконды бросила на нее убийственный взгляд, пытаясь сбить пальцами с сантиметровыми фиолетовыми ногтями только ей одной померещившуюся грязь, но, видимо, чтоб отвлечься, вернулась к разговору о собаке: «С тех пор как оценилась — я тебе дам щеночка,— капризничает с едой, спасу нет... А завтра собираем ее друзей на день рождения, и представляешь, какая будет радость, какой подарок, любимые сосиски!.. Эй, продавец, сказано же, чтобы только по две банки отпускать!.. — Заметив, что стоявшие перед нею метростроевки уходят, прошипела им вслед: — Лимитá проклятая!..»

Я не стал дожидаться, пока дойдет до меня очередь за китайскими сосисками, и пошел за девушками в спецовках.

Догнав девушек, спросил:

— Что это вы не дождались сосисок?

— Обеденный перерыв кончается, отец,— ответила одна из них. Они меня приняли за ветерана Метростроя и пригласили с собой на обед в буфет своего строительного управления.

В последние месяцы штурма на «Чеховской» было освобождено помещение для временного буфета метростроевцев в Козицком, а затем и на Пушкинской площади. Один буфет действует и в самой шахте. Ночная смена обедает в два часа ночи. За буфетной стойкой две женщины разливают суп, подают второе блюдо — обычную котлету, именуемую шницель рубленый, есть компот из сухофруктов, какой-то ви-негрет, «фанта». В длинной очереди, почти такой же, как за китайскими сосисками, стоят метростроевцы всех специальностей. Времени на обед по распорядку дня смены предусмотрено сорок девять минут. А стоять в очереди приходится час, а в дни, когда станция наводнена субподрядчиками, простоишь за тарелкой не очень наваристого супа и за пресловутой котлетой часа полтора. А если работа торопит и ты где-то под землей за двадцать — тридцать минут ходьбы от буфета, обойдешься и тем, что прихватил рано утром из дома. Такова пока что картина укоренившейся системы питания работников подземелья.

Когда обед был роздан, а пустые термосы с грохотом погружены в готовящуюся к подъему на поверхность клеть, я подошел к одной из буфетчиц, которая раздавала еду с ласковыми, добрыми словами, и казалось мне, эти поистине материнские слова хоть отчасти снимали с людей напряжение, смягчали их злость за без толку потерянное время.

— На Метрострое давно?

— А вы?

— Да, собственно, я не метростроевец... так просто...

— Из начальства?

— Нет, что вы! Я из постоянных пассажиров метро. Знакомлюсь с теми, кто его строит, и интересуюсь, как их кормят.

— Так вот и кормим...

— А лучше можно?

— Лучше? — Не пойму, почему она вдруг так ответила, искренне, без тени лукавства: — Лучше у нас только иностранцев кормят... И не на Метрострое, тут у нас иностранцев нет, не подумайте, это в «Интуристе» иностранцы, там их кормят, о! —

Предвидя вопрос, она тут же отвечает: — Я там работала, отбирали как-то туда кадры, я тоже попала, но не понравилось мне, со своими работягами проще. А потом даже противно как-то. Хорошо бы это не знать и не видеть. Потому что хочешь не хочешь, а подумаешь — за нашими-то почему нельзя так же ухаживать? Я что-то не заметила: вы обедали или нет? Нет, конечно, а то бы запомнила. Яишенку поджарить?

От яичницы я отказался, поинтересовался, не торопится ли куда собеседница, не отрываю ли от дела занятого человека.

— Да дел-то всегда хватает... А вы присядьте, может, кольцо хоть возьмете с чайком, а?

Запиваю посыпанное крошкой миндального ореха кольцо жидковатым чаем, а собеседница, узнав, какими судьбами я оказался в подземелье, смотрит на меня с плохо скрываемой укоризной и не удерживается от вопроса:

— Так опять что-нибудь плохонькое будем читать?

— Откуда вы взяли?

— А кто же о нас теперь хорошее пишет?.. Может, и поделом... Только работяг уж очень жалко... Они ведь так трудятся, наверху там, наверное, никто и не знает... Загремела клеть. По громкой связи знакомый мужской голос предупреждал:

— Пустую посуду — наверх, быстро! Следующим пойдут люди!

— Бородатый торопит, попейте чайку, я сейчас...

Собеседницей моей в подземном буфете, около которого гремела клеть, скрипели на стрелках эшелоны и лил бесконечный поток потесненной с наклонного тоннеля воды, оказалась одна из тех женщин, которые пришли на Метрострой в войну. «Враг подошел к Москве — два десятка верст от Белорусского, а мы строили. Сперва на откатке, потом на проходке, чеканщицей тоже была, это для меня самое трудное было, штукатурщицей, плиточницей, что здесь делается — все умела, в семнадцать лет все кажется дюжимое...»

Я молча слушал, стараясь все запоминать, но редкое слово «дюжимое» занес в блокнот.

— Сюда-то, за прилавок, как?

— На подземке нам, женщинам, — десять лет. Я пятнадцать отработала. И всегда видела и на себе испытала, как трудно здесь, под землей, с питанием. За всю войну, да и после один раз только видела буфет под землей. Это на Маяковке, когда Сталин выступал в сорок первом. Тогда по обе стороны платформы стояли составы с открытыми дверьми, а там на месте сидений — столы и всякая вкусотища. И немцы прямо под Москвой... Так вы спросили, как я за прилавок встала? Уж очень люблю людей кормить, чтобы вкусно, чтобы ласково, чтобы кусок поперек горла не застрял. Мне очень жалко ребят этих, здесь работать очень трудно... Но помочь я разве что словом могу... Когда меня в «Интурист» направили, там однажды на автобусы посадили и повезли на комбинат питания Аэрофлота, обмен опытом. Так что мы там увидели?! И во сне не приснится! Человек садится в самолет, и ему прямо к мягкому креслу подносик, а там и закуски тебе, и первое в термосе, и второе, да к столу же гарнир всякий, да приправы — перец, горчица, соль, а еще розеточки со сливочным маслом и джемом, обязательно пирожное к чаю или кофе вам по желанию, фруктовые соки, а иностранцам обязательно коньяк, водку или вино. И все безо всякой платы! Это все там молоденькие девочки укладывают, а потом в небе стюардессы подадут, да обязательно с улыбкой, да к тому же обязаны поинтересоваться, не желает ли уважаемый пассажир что-нибудь еще...

— Вы летали когданибудь на таком самолете?

— Я?! Куда там мне летать? Меня самолет не подымет... Куда мне летать-то... Готовить еду для тех, кто летает, — дело другое... После этого аэрофлотского комбината я возьми и скажи однажды у нас на собрании, что хорошо бы подать подземельному работнику еду вот так, как тому, что по небу летает в мягком кресле.

— Ну и что? — полюбопытствовал я.

— На меня посмотрели, как на тех, что будто шастают на летающих тарелках... А перед тем собранием я подумала, сколько же времени для наших подземельцев можно было сохранить, подай им эти подносики, да еще бесплатно, как тем небесным путешественникам! А потом, чтобы комната для отдыха была для них всюду, где работают, да банька или как это сейчас баньку-то называют? Сауна эта... Вы понимаете, сколько рабочему от этого пользы будет? А государству? Не удивляйтесь,

если я скажу, что вот наши работяги, которые это метро делают, это ведь не хуже космонавтов, правда ведь? А подумать только, какие условия для космонавтов и какие для нас? А ведь ничего не скажешь — и там на земле, и там в небе — тот же космос. И еще неизвестно, где большая опасность и от чего человеку больше пользы...

Резко загудела сирена: верхняя площадка сигналила, что всем ожидающим внизу необходимо подняться, пойдет поток грузов и не успешему к подъему очередной лэбти придется добираться по вертикальной лестнице.

— Станете писать о нас, моей фамилии не упоминайте, — попросила собеседница, — мы — obsлуга...

Алексей Александрович Просветов работает у рукоятки в бригаде Валентины Седых. Это он — борода. К нему я и спешил.

Человек с редкой фамилией Просветов и с весьма примечательной шкиперской бородой знает работу на Метрострое, как говорят здесь, «от лопаты до ЭВМ». Правда, лопата — суровая реальность, компьютер — светлая перспектива. В редкие минуты между сменами или в вагонах электрички от Ярославского вокзала до Пушкина, где он живет, Алексей Александрович заносит в свой блокнот, а затем десятки раз переписывает стихи. О взрывах, о перегонах, о морщинах на лицах тридцатилетних парней и еще о многом.

Вначале дрогнет тишина
И раздробится до куска.
И, как басовая струна,
Забьется жила у виска.
И затерявшийся впотьмах,
Уже не нужный и смешной,
Вдруг выползет наружу страх,
Струей сквозящей, ледяной...
И сердце на момент замрет
И вздрогнет, новый ритм начав...
А мы продвинулись вперед,
Вперед — у взрыва на плечах.

Как и многих других ветеранов, да и не только ветеранов, Алексея Александровича Просветова беспокоит проблема человека на строительстве. Да, видно, это касается не только Метростроя. Горько об этом говорить, но за полгода общения с метростроевцами на разных ступеньках приведенной лестницы, на разных собраниях, совещаниях, летучках, планерках и прочее мне приходилось слышать о всех непорядках нашего планирования, снабжения, управления, обо всем, но только об одном не было речи — о том, как же чувствует себя человек в этой обстановке. Он, этот человек, как-то проскальзывает сквозь проблемы, словно песок между булыжниками. Вот и сегодня пишу эти строки под впечатлением только что увиденного. 30 января 1988 года «Чеховская» уже месяц как работает, сдана в эксплуатацию, а доделки, догонки продолжают, и, как говорит Рудометов, ой-ой сколько они продолжатся. Наш Малый Путинковский переулочек по-прежнему завален строительным мусором, у дверей редакции появился еще один вагончик. В нем обитают слесари и сварщики, пристраивающие к нашему дому огромный короб вентиляционной системы «Чеховской». Стужа — 20°, а вагончик обогревается немощной электропечью, рабочие без теплой спецодежды, без валенок, в резиновых сапогах. Ожидают, пока закипит вода в алюминиевом чайнике, на перевернутом ящике из-под облицовочной плитки на газете высиживается горка булок, уже двенадцать часов — время обедать. Ребята жалуются, что после штурма заработка совсем упали — на руки рублей по 7 в день на брата. Причина — не подготовлен фронт работ, и приобретшим навык, притершимся друг к другу придется искать другую работу.

Какое наглядное подтверждение тому, что говорили чеканчики из бригады Рудометова, как сходится все с тем, о чем рассуждал Алексей Александрович Просветов!

К тридцати годам на лбу морщины.
Может, трудный год тобою прожит?
Ты смеешься: есть тому причины —
Каска давит, вот и след на коже...

К тридцати годам на лбу морщины?!
Не рановато ли?

Алексей Александрович во время передышек между сменами тихим голосом, взвешивая слова, с болью говорит о бедах своей организации, о своих личных бедах. Он говорит о молодых ребятах, заманиваемых в Москву строить красивейшее метро. Многие едут после службы в армии. Их принимают по лимиту, с временной пропиской, предлагают работу, о которой чаще всего они ничего не знают.

Ни в отделе кадров, ни у начальника СМУ точную зарплату им не назовут, за одну и ту же работу в разных СМУ платят по-разному. Пообещают техническую школу, высокий разряд. А для начала надо пройти комиссию. Анализы, флюорография, масса специалистов... Но вот получен допуск на подземные работы. В ожидании клетки у рукоятки они присмотрятся к готовым к спуску проходчикам, послушают их рассказы и постепенно поймут, что работа эта тяжела и осложнена теми пороками нашего строительства, против которых мы боремся не одно десятилетие.

С первой получкой молодой парень, как многие его сверстники, пришедшие на Метрострой ранее, пристроится к винной очереди и поспешит к общаге, чтобы продолжить «культурный отдых». Кто помогает этим ребятам строить себя?! Да никто! А они еще двадцатилетние юнцы. И в большинстве случаев тылами прикрыты плохо. Из их разговоров можно понять, что сегодняшняя деревня не так уж бедна, как нам кажется, и даже разбалована рублем. Но технику — дай, людей на уборку — дай, запчасти — дай, закупочные цены — повысь!

Алексей Александрович ни разу не слышал, чтобы деревенские ребята говорили с горечью о трудностях села. Вообще подобных разговоров нет.

Вот тут и встает вопрос, сетует Просветов, ради чего они оказались в Москве? Чтобы избежать тяжелых работ на сельской ниве? Но ведь и здесь они не за столами бумажки перебирают! Чтобы быть ближе к культуре? Но ведь «храмами» для многих стали ГУМ, ЦУМ, Елисеевский магазин... А примитивность техники, однотонность процессов постепенно гасят первоначальный энтузиазм. Да и оплата с потолка скорее возвращает, чем поощряет. Нередко, когда не подготовлен заранее фронт работ, чтобы не развалить бригаду, не дать уйти хорошим работникам, начальники идут на прямой обман, платят за несделанную работу. Вот случай, которому я оказался свидетелем. Начинали стройку. Двор пустой, досок кубометров пятнадцать для забора завезли, а ничего другого нет. 10 человек гуляют без дела. Они пришли на работу, им платить надо, а за что? Вот и написал им начальник переноску этих досок, чистку дорожек от снега, которого и в помине тогда не было, по 8 рублей наскреб. Не заплати им — завтра же уберут. Это опытные, осевшие прочно в Москве. Проще со свеженьким лимитчиком. Ему прописка нужна, квартира, которую он надеется когда-нибудь получить. На лимитчиках и держимся. Тому и меньше заплатишь — смолчит.

На эстакаде, у клетки, предупреждение: «Рабочие, соблюдайте правила техники безопасности, спускайтесь в шахту в исправной спецодежде». Но мало кто соблюдает это требование, и практически никто не следит за тем, чтобы оно соблюдалось. Рванные сапоги, худые телогрейки — это сплошь и рядом. И чтобы их заменить, тоже нужно пройти целую лестницу, терять рабочий день, а то и два. Склад далеко, и не каждый сможет после работы ехать куда-то ради телогрейки или сапог, а потом везти спецовку на стройку. В одиннадцать часов клеть заработала на полную мощь. Разговор наш с Просветовым на время был прерван — окончившие смену выходили из шахты, заступающие ожидали спуска. Знакомый проходчик подошел ко мне, поздоровался, достал из нагрудного кармана спецовки квадратик синей бумаги: «Прочитай, писатель, может, пригодится!»

И я ознакомился с еще одним удивительным документом. Его разовый тираж 120 тысяч экземпляров!

«ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

Спецодежду из тканей с пропиткой и без нее рекомендуется подвергать химической чистке.

Спецодежду из хлопчатобумажных и смешанных тканей стирают в растворе, содержащем 5 г/дм³ моющего препарата ОП-7 или ОП-10 при 40°С в стиральной машине в течение 10 мин. с последующей промывкой.

Для восстановления водоотталкивающих свойств спецодежду из хлопчатобумажных и смешанных с капроном или с лавсаном тканей после стирки тщательно промывают теплой, а затем холодной водой, отжимают на центрифуге до 60% остаточной влаги и обрабатывают в бачке из нержавеющей стали раствором, содержащим в 1 дм³

холодной воды 60 г хромолана, 8 г 10%-ной уксусной кислоты и 60 г 13%-ного раствора уротропина (7,8 г уротропина растворяют в 60 см³ воды).

Обработку спецодежды производят при температуре не выше 25°С в течение 5—10 мин.

Спецодежду отжимают на центрифуге, высушивают на воздухе или воздушной сушилке при 80°С и проглаживают утюгом или гладильным прессом: из хлопчатобумажных тканей при 180°С, из хлопчатобумажных тканей с вложением химических волокон при 120°С».

— А кое-кто позволяет себе говорить об отсутствии заботы о рабочих,— иронизирует Просветов.

В разговорах с ветеранами Метростроя, с молодыми инженерами и рабочими непременно присутствует одна тема — необходимость коренного пересмотра отношения к кадрам, что вынудит наконец идти на крутые меры в техническом оснащении стройки. Строить образцовое столичное метро могут только образцовые, грамотные рабочие и инженеры. Я задал десятерым метростроевцам разных возрастов один и тот же вопрос: «Что бы вы сделали, если бы оказались во главе строительства метрополитена?» Независимо друг от друга ответы были одинаковыми: «Коренным образом изменил бы положение инженера!» А Рудометов сказал так: «Я бы заплатил им больше, но и потребовал бы инженерных результатов».

Когда выдается свободная минута, метростроители обсуждают, порой очень горячо, события нашей истории и нынешней жизни. Нередки разговоры, временами довольно жесткие, о причинах срывов родной экономики, откуда, как говорят строители, всеобщее «дерганье». Инженеры сетуют на укоровившееся безразличие рабочего человека, на заметный рост дефицита совести. В рабочей среде не снижается уровень выпивок, прогульщик жив и всячески хитрит, то тут, то там обнаружишь несуну, много времени уходит на очереди у винных магазинов, кое-кто уже примеривает эти очереди к длине земного экватора.

Рабочие склонны видеть причины расхлябанности в оторванном от реальной жизни планировании, в безобразном материально-техническом снабжении, в просчетах иных проектов, даже самых грандиозных. И конечно, у всех на памяти трагедия Чернобыля. При этом не преминут напомнить, что в практике метростроения есть свои чернобыли, разумеется, не таких масштабов.

В конце февраля ни одна метростроевская сходка на перекурах не обходилась без обсуждения горькой судьбы метромоста, бывшей гордости столицы. Грандиозное сооружение, пущенное в эксплуатацию 12 января 1959 года, уже разрушается. «История, приключившаяся с этим московским мостом,— цитировали рабочие «Советскую Россию»,— похожа, к сожалению, на другие, в которых взяли верх спешка, желание отрапортовать, неумение по-хозяйски просчитать полную бесперспективность сиюминутной выгоды...»

Действительно, станция метро «Ленинские горы», расположенная на нижнем ярусе красавца моста, уже шесть лет как вычеркнута из цепи станций юго-западной трассы столичного метрополитена, и там, где когда-то проходили голубые экспрессы, сейчас гуляет ветер, покачивая юные березки.

В свое время пресса много и вдохновенно писала о проявленном авторами проекта В. Г. Андреевым и Н. Н. Рудометовым и одобренном на «самом верху» новаторстве, о постройке моста с большим применением предварительно напряженного железобетона и что это дало возможность сэкономить 30—40 процентов стали, а сроки строительства, рассчитанные на три-четыре года, сократить до пятнадцати месяцев. Проект оценивался тогда как достижение не только в советском мостостроении, но и в мировой практике, ценный опыт рекомендовалось широко применить в дальнейшем строительстве городских и железнодорожных мостов. И вот плачевный результат: стальная арматура начала корродировать изнутри, увеличиваться в объеме, распирает бетонную оболочку. Назovem вещи своими именами — еще одна трагедия. Потребуются миллионы, чтобы мост ожил. А точнее — 35 миллионов. На ремонт. Первоначальная же сметная стоимость исчислялась 160 миллионами в старом масштабе цен. К тому же на разборку уйдут шесть лет, оптимисты полагают, что объявление: «Следующая станция «Ленинские горы» — прозвучит не ранее 1996 года.

Андрею Павловичу Савелькину двадцать восемь лет. В детстве мечтал быть музыкантом, учился на дирижера, в армии руководил хоровым коллективом. Но отслужив срочную, круто изменил свои планы. Он пошел в Московский институт инженеров транспорта и получил диплом мостостроителя. «Я понял, что крупным дирижером мне не быть, а на стройке я принесу больше пользы». По сравнению с тем, что проходили в институте, на Метрострое для Савелькина все оказалось новым, незнакомым и порой даже страшным. «Глубина, представляешь, сколько над тобой земли, улиц, домов, машин! — Показывая на свод еще не достроенной «Чеховской» рукой с длинными пальцами пианиста, Андрей добавляет: — Над нами две действующие линии метрополитена, мы на самом нижнем этаже». Постепенно это становится местом работы, кажется будничным, обычным. Мечты сделать что-то особое, оригинальное тонут в повседневности. На «Чеховской» Андрей Савелькин стал сменным инженером и последние три-четыре месяца вместе с начальником участка Владимиром Родиным перенес все тяготы пускового объекта особой сложности. И тот и другой, конечно, мечтали не о такой инженерской доле, когда девять десятых времени уходит не на обдумывание и принятие и н е ж е н е р н ы х решений, а на выбивание то одного, то другого. При существующей ныне системе снабжения всегда не хватает именно того, что нужно в данную минуту. Выбивать, доставать стало нормой.

— Почему, вы думаете, инженеры, и этот вот прекрасный парень Андрей Савелькин, и Володя Родин, да и почти все они не занимаются тем делом, которым они должны заниматься, чтобы оправдать свое действительно высокое звание? Ведь при нынешнем уровне техники нет такого вопроса, которому не нашлось бы технического решения. Инженер все должен предвидеть, предусмотреть. Мыслимо ли, чтобы в самом центре столицы на строительстве самого красивого в мире метро было столько лопат и столько ломов?

Просветов смотрит на меня и вроде бы ждет ответа, а откуда я знаю, что ответить? Отвечает он же.

— До тех пор, пока будет продолжаться приток дешевой рабочей силы, пока не будет положен конец зазыву в столицу так называемых лимитчиков, резкого повышения технической вооруженности строительства не жди. Невозможность заменить механизм живыми мускулами заставит высокое руководство думать: без уменьшения численности рабочих, без производства и внедрения передовой техники не обойтись.

Завонил внутренний телефон, Просветов взял трубку. Его предупреждали, что из шахты пойдут один за другим вагоны с мусором — ночная смена будет чистить платформу от всякого хлама, наутро ожидается какая-то комиссия. Тут же заревела сирена — нижняя клеть уже пошла с первым вагоном. Алексей Александрович встал у рукоятки, мне сделал знак пойти в так называемое помещение для отдыха. На крохотном столике открытая тетрадь.

Эх, Россия!
 Детство, грезы,
 Завиральная страна...
 До небес твои березы —
 Грусть твоя, печаль моя,
 Самовары и отвары,
 Электричество в окне
 И любой курносый парень —
 Словно память обо мне.
 Топят печи.
 Над деревней
 Сто хвостов от ста котов..
 И лежит порядок древний
 Из мосточков и мостов...

Эшелон грязи отправлен на свалку, и пока подадут второй, мы с Алексеем Александровичем продолжаем беседу.

— Стихи — это так, больше для себя... К тому же, — говорит он, — мне они помогают там, в литобъединении, у нас в Пушкине. Вот придет сменщик, и — на Ярославский. Десять лет уже как курсирую... Электричка — неотъемлемая часть жизни.

Понимаю, где родились только что прочитанные строки:

Уж ничего меня не держит,
 И тело, словно утлый челн.
 Как будто бы потерял стержень —
 К стене вагона жмусь плечом.

Прочна холодная опора.
Соседей отрешенный взгляд.
И молодые, без разбора,
Теснят. Иль вытеснить хотят?!

Им белизна волос — пустое,
Как незаполненность листа.
У них одно желание — с боя
Занять удобные места.

Пришла шумная, напористая ночная смена. Богатыри один к одному, широкие плечи, мощные руки, из-под касок озорные взгляды, рассыпают шутки-прибаутки, и — чего греха таить — то и дело из молодых уст прет густой, бесстыдный, ставший обыденностью мат.

— Вы потише, помягче,— пытается их укоротить Алексей Александрович,— а то оштрафую...

Несколько ехидных голосов:

— «Оштрафую!» За это в нашем царстве-государстве еще никогда и никто не штрафовал. Отправь нас быстрее, а то лопаты потеряют товарный вид...— Клеть затахтела, и сквозь грохот механизмов доносится веселое ржание идущих на смену. А те, что закончили смену, вспотевшие, в мокрых и грязных спецовках, устало и бесшумно идут в душкомбинат. Никто не разговаривает, слышна только поступь тяжелых шагов по деревянным ступенькам приствольной лестницы. Идем и мы с Просветовым тем же путем, нужно переодеться.

В душкомбинате чисто, все отдраено, как на палубе образцового корабля. Гардеробщицы приветливы, жалуются только, что вешалки двухэтажные, и им, немолодым уже, трудно иногда по две, а то и по три сотни костюмов и пальто за одно переодевание подавать. Ребята сами снимают одежду, и случаются пропажи. Но что поделаешь? Теснота, неустройство и здесь. В предбаннике замечаем женщину за странным занятием — она разрезает большие куски хозяйственного мыла на мелкие прямоугольники.

Рядом стопка так называемых полотенец — вроде небольших кухонных прихваток. Мыло не пенится, полотенца хватает разве на то, чтобы лицо промокнуть. А остальное? Отсутствие нормального мыла, шампуней, приличных мохнатых полотенец объясняется необходимостью строжайшей экономии... Здесь экономят, а если поглядеть, что вывозится на свалки и хоронится навечно в подмосковных оврагах, как говорит Алексей Александрович,— волосы дыбом. Доски, распиленный крепежный лес, арматурное железо, покореженные трубы, бетонные детали, погубленный при разгрузке цемент — да всего и не перечислишь. И экономия на мыле, на портянках, на теплой обуви и одежде для рабочих. «Душа болит, хоть криком кричи,— вздыхает Просветов,— только кто тебя услышит?!

А почему не услышит? — думаю. Был ведь такой крик в самом высоком собрании нашего государства, на XXVII съезде партии. Бригадир проходчиков Герой Социалистического Труда Александр Сергеевич Суханов говорил, что многое в жизни и труде метростроителей осталось на уровне, отраженном в фильме «Добровольцы» почти полвека назад: 40 процентов метростроителей заняты ручным трудом, тот же отбойный молоток, только качеством похуже... Прославленный метростроитель взывал к совести министров, называл их по именам.

Со дня того выступления прошло более двух лет, а теми, к кому оно было обращено, сделано так мало!.. И по-прежнему «неорганизованность, всевозможные недостатки в строительстве не только снижают эффективность и качество нашего труда, но и его общественный авторитет». Это слова Суханова из его выступления на XXVII съезде.

Общественный авторитет труда строителя! Как здорово сказано! О нем в свое время писали очень много. Два замечательных писателя, прославившихся в довоенные годы не восторженными песнями, а эпопеей о великом комбинаторе, не устояли перед соблазном вписать свою строку в летопись метрополитеновской эры. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции в фонде 7952 хранится рукопись Ильи Ильфа и Евгения Петрова, содержащая удивительные картины начала строительства метрополитена в Москве и проявлявшегося тогда интереса к его создателям.

Ильф и Петров любовно описывают московского жителя, который рассматривает в иллюминированных витринах «проекты подземных станций, вестибюлей, видит разрезы тоннелей и выглядывающие оттуда вагоны приятной обтекаемой формы». Житель тогдашней Москвы раскрывал газету и с нетерпением искал заметки и статьи о метро. Он хотел знать, «где изготавливают эскалаторы, кто строит вагоны, какой архитектор оформляет станцию «Красные ворота», какая шахта впереди и какая отстает...». И от нетерпения скорее спуститься под землю москвич подходил к заборам шахт и смотрел в щелку.

Предки нынешних москвичей были крайне любопытными.

Мы с Алексеем Александровичем покинули двор СМУ-14 около одиннадцати. В кинотеатре «Россия» только что закончился сеанс очередного зарубежного кинодетектива, и публика на ходу делилась впечатлениями, у входа в метро толпа юнцов с бритыми висками и гребнеобразными прическами, по-своему понимая расширяющуюся в стране демократию, время от времени исторгала тарзаньи вопли, словно здесь не центр столицы нашей державы, а пустынные берега озера Титикака. В подземном переходе юноша и девушка поочередно баритоном и сопрано приглашали желающих в разворачивающий свою деятельность новый театр абсурда на спектакль «В ожидании Годо», чуть подалее от них под звуки речитатива впервые посетившей цирк супружеской пары («Ой, Вань, гляди, какие поугайчики!») не очень молодой супермен предлагал за трешку фотографические изображения недооцененного при жизни барда...

Автоконтролер проглотил мой пятак, и я удивился тому, что Просветов тоже прошел по пятаку.

— У вас что, нет документа на бесплатный проезд в метро?

— Нет.

— А ведь недавно печать сообщила, что существуют двести видов пропусков на бесплатный проезд в метрополитене лиц, никакого отношения к существованию этого вида транспорта не имеющих. Вам, строителям метро, на самом деле не предоставлена хотя бы эта льгота?

— Нет, не предоставлена...

Завершаю эти записи, дающие возможность, как мне кажется, хоть в самой малой степени заглянуть за мраморную роскошь наших подземных дворцов, прикоснуться к тем, кто их строит и облегчает этим нашу жизнь. Мы платим за это пять копеек, они — те же пять, но и кое-что другое. И им, сегодняшним строителям «лучшего в мире метрополитена», очень нелегко.

Не так давно снова вернувшийся к руководству Метростроя истинный герой прокладки подземных трасс Юрий Анатольевич Кошелев встретился со мной по первому звонку без какой-либо проволочки, поделился своими тревогами о судьбе Метростроя и его людей. Он говорил мне о том, что Метрострой — это организация, строящая город под землей в сложной и весьма пестрой геологической обстановке. На земле людей окружает воздух, обычная для человека среда, под землей — неизведанный космос, где все враждебно, все давит, заливают и угрожает. И туда дорога только бесстрашным, сильным и очень смелым людям. И если «трус не играет в хоккей», то каким должен быть человек, отправляющийся трудиться под землю не час и не два? Ведь истинные метростроевцы связывают с подземельем всю свою жизнь. И эти люди заслуживают не только спускаемых сверху заданий, но и созданных всеми нами условий для нормального труда и жизни...

Поначалу мне дамалось побеседовать и с лицами более высокого ранга в пирамиде руководства строительством. Но потом отказался от этой мысли. Я донесу до них голоса подземелья. Пора к ним прислушаться.

Москва, Малый Путинковский пер.
Июнь 1987 — февраль 1988.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

★

МЛАДШАЯ ДОЧЬ*

Х

«ВОСКРЕСЕНИЕ». ЗАМУЖЕСТВО ТАНИ. ОТЛУЧЕНИЕ

В 1898 году отец неожиданно взялся за художественную работу — начал писать «Воскресение». Против обыкновения отец был заинтересован размером гонорара. Вырученные деньги нужны были отцу для переселения духоборов в Канаду. Правительство продолжало их преследовать за отказ от военной службы, и они решились эмигрировать в Канаду.

Право первого напечатания «Воскресения» было продано издателю «Нивы» Марксу по тысяче рублей за лист.

Внизу в столовой московского дома весь стол был завален рукописями и корректурами. Переписывали все: Таня, мамá, гости. Отец изредка спускался из своего кабинета вниз и делал указания.

Я смотрела на всех с завистью, мне тоже хотелось принять участие в общей работе. Таня, должно быть, почувствовала это, пожалела меня и дала копировать на прессе письма отца. Я старалась изо всех сил. Напрягая мускулы, обливаясь потом, я зажимала пресс с такой силой, что стол под ним трещал. Сознание, что я делаю что-то для него, для отца, наполняло мое сердце счастливой гордостью.

Помню, отец уже совсем закончил роман и Маркс прислал ему последние корректуры. Он их взял наверх посмотреть и снова все переделал! Полетели телеграммы с просьбой задержать издание. Тем не менее вновь сделанные отцом поправки не успели попасть в заграничное издание, русское же было сильно исковеркано цензурой. Таким образом, полного, точно установленного текста «Воскресения» в печати не было.

Сережа уехал в Англию хлопотать об отправке духоборов, и он, Ефросинья Дмитриевна Хирьякова и Леопольд Антонович Суллержицкий сопровождали их в Канаду.

О Сереже беспокоились, ему писали, ждали от него известий, и когда он вернулся, и привез оттуда большую меховую канадскую шапку, и рассказывал про свою поездку, он приобрел в моих глазах еще большее значение.

В этом же году вышла замуж Таня. Ей было уже тридцать пять лет. Михаил Сергеевич Сухотин — ее будущий муж — был много старше ее. От первой жены у него осталось шесть человек детей, двое из них старше меня.

Она долго колебалась.

— Ну, как ты, Сашка, думаешь, — спросила она меня, — выходить мне замуж или нет?

Я ничего не ответила. Уткнувшись в подушку дивана, я громко заревела. Сестра засмеялась, а потом и сама заплакала.

Не было человека в доме, который сочувствовал бы Таниному замужеству. Все были против. Мамá всегда мечтала о блестящей партии для своей любимицы. Ей хотелось, чтобы Таня вышла замуж за Михаила Александровича Стаховича или за графа Олсуфьева, у Тани не было недостатка в женихах. И вдруг она выходит замуж за вдовца с шестью детьми! Даже старая прислуга ворчала:

— И что это с Татьяной Львовной сделалось? На таких детей идти!

Подготовка текста и примечания С. А. РОЗАНОВОЙ.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

В церкви я не могла удержаться от слез, хотя и боялась, что Таня заметит и обидится. Отец тоже плакал.

Я конфузилась, когда после свадьбы Михаил Сергеевич предлагал мне называть его на «ты».

— Говори мне «ты Михаил Сергеевич». Это будет и по-родственному и почтительно,— уговаривал он меня.

А я смотрела на седого, почтенного старичка с круглым брюшком и не решалась. Только много позднее я привыкла к нему и стала называть дядей Мишей.

С течением времени все полюбили Михаила Сергеевича. Веселый, остроумный, с прекрасным характером, он всегда вносил оживление. Отец любил говорить с ним, играть в шахматы. Мы подружились и с его семьей. Ближе всех я сошлась с Наташей и моим ровесником Мишей.

Таня хворала, у нее постоянно был насморк и головные боли. Болезнь то улучшалась, то снова ухудшалась, наконец головная боль настолько усилилась, что она лежала сутками не в силах двигаться и говорить. Доктора определили нагноение в лобной пазухе, так называемый фронтит. Надо было сделать трепанацию черепа.

Операцию делал профессор фон Штейн в клинике. В это время у меня был урок. Учитель истории ни за что не соглашался отпустить меня. Но я не могла заниматься, я ежеминутно смотрела на часы, елозила на стуле, не слушала его, и он понял, что толка от меня все равно не будет.

Я пустилась со всех ног по переулку и вдруг вспомнила, что в клинику меня не пустят. Я осталась ждать на улице. Мимо меня поспешно прошел отец. А вечером мамá с возмущением рассказывала про профессора. Отец сидел рядом с операционной и ждал. Вдруг дверь открылась и с засученными рукавами, в белом халате вышел фон Штейн.

— Лев Николаевич, хотите посмотреть на операцию?

На столе захлороформированная, без сознания лежала Таня, бледная как смерть. Кожа на лбу была разворочена, череп пробит, лицо в крови. Отец побледнел и зашатался. Его подхватили под руки.

Операция кончилась благополучно, Таня выздоровела. Некоторое время на лбу был заметен некрасивый шрам, но затем выбритая бровь отросла и осталась чуть заметная складка, похожая на морщинку.

Тане так же, как и Маше, предстояло пережить много тяжелого в связи с их семейной жизнью. С мужьями они были счастливы, но обе страдали одной и той же необъяснимой болезнью. Они донашивали детей до семи, иногда до восьми месяцев и рожали мертвых.

Не только сами сестры, их мужья, но и все мы мучительно ждали конца их беременности. Об этом боялись говорить, боялись спрашивать. По отчаянию, по безнадежной тоске на лицах сестер мы догадывались, что движения ребенка становились слабее, а затем и совсем прекращались. Тогда страх за ребенка сменялся беспокойством за сестер, ужасом перед предстоящими бесплодными страданиями, связанными с опасностью для жизни.

Я помню ощущение физической боли, когда я представляла себе роды. «Чтобы я когда-нибудь вышла замуж,— думала я, содрогаясь,— ни за что, ни за что на свете!»

С замужеством Тани мы осиротели еще больше. В сущности, теперь семья состояла из отца, матери, Миши и меня. Но и Миша, отслужив свой срок вольноопределяющимся в Сумском полку (учебного заведения он так и не окончил), вскоре женился на Глебовой, прекрасной девушке, которую он любил чуть ли не с одиннадцати лет.

Но дом не пустовал. Такая же шла суетолака, прислуга не убавлялась.

Обычно люди по своему вкусу выбирают себе друзей и знакомых. В нашей семье это было не так. Благодаря имени отца часто тщеславные пустые люди стремились попасть в наш дом. Семья наша отличалась большой покладистостью. Появляется человек раз, два. Он мало всем симпатичен, но в массе народа его не замечают. Он упорно продолжает приходить, старается оказывать мелкие услуги, постепенно к нему привыкают, перестают стесняться, иногда, забывшись, говорят при нем о личных, семейных делах. Он считает себя своим человеком. Через несколько лет оказывается, что он был близким другом семьи, а иногда и самого Толстого и написал мемуары.

Я знаю, что некоторые люди имели серьезные вопросы к отцу, интересные и для него, но по деликатности боялись его потревожить.

Много лет спустя после смерти отца мне пришлось работать над его архивом

в Румянцевском музее. Вместе со мной работал один литератор. Он часто с интересом и любовью расспрашивал меня об отце и сокрушался, что ему не удалось поговорить с ним по ряду мучивших его вопросов.

— Почему же вы не приехали в Ясную Поляну? — спросила я.

— Был, — ответил он, — вошел в усадьбу через въездные ворота, свернул в парк, сел на скамеечку, просидел несколько часов в страшных колебаниях и уехал. Не решился. Когда поезд уносил меня из Ясной Поляны — я плакал.

Среди «друзей» была барышня, одна из тех, которые, оставаясь в глубине души равнодушными решительно ко всему — к музыке, литературе, политике, даже любви, — изо всех сил стараются показать, как сильно они все воспринимают. При этом они неизбежно теряют чувство меры — смех выходит неестественным, выражения восторга преувеличенными, шумными, в их обществе делается душно.

Девушка имела пристрастие к богатству и титулам. Мама она называла графиня мать, сестру Таню — графиня дочь. Скоро она сделалась необходимой моей матери. Ездил с ней к портнякам, за покупками, помогала в расчетах с артельщиками, разбирала бумаги.

— Нет, вы и представить себе не можете, графиня мать, как вы молодежы! — говорила она часто, усвоив с матерью фамильярный тон, от которого меня коробило. — В вашем возрасте ни одной морщины, ни одного седого волоса!

Девушка прекрасно знала, что мама употребляла hair restore¹, от которого у нее чернели волосы.

— Да что вы?! — говорила мама, радостно улыбаясь и принимая комплимент за чистую монету.

— Честное слово! А это платье вам особенно идет!

Мама искренне ей верила. Когда приходил Танеев, барышня вносила в разговор оживление. Крикливо, возбужденно она говорила о любви и, слегка задевая Сергея Ивановича, мило с ним кокетничала.

Мне часто хотелось сказать матери, что она подлизывается, что она фальшивая, но мама так сердечно к ней относилась, что я не решалась. Да и все равно она не поверила бы мне. Я молчала и остро ненавидела эту барышню.

Только много позднее, узнав про ее бесчестный поступок, мама убедилась в том, что я уже давно знала.

Тяжелую повинность — хождение по симфоническим и квартетным концертам — я больше не несла. Девушка уверяла мать, что музыка — самая большая ее страсть и что Танеев величайший в мире композитор!

Также случайно застряла в нашем доме Юлия Ивановна Игумнова. Но это был совершенно другой человек. Она была чрезвычайно полезна нам в то время, когда сестры вышли замуж, а я еще недостаточно подросла, чтоб помогать отцу. Юлия Ивановна была товаркой Тани и Суллера по школе живописи. Она гостила в Ясной Поляне со своей подругой, писала портреты. Подруга уехала, а Юлия Ивановна так и осталась у нас на долгие годы. Таня звала ее Жюли, но французское имя так мало шло к ней, что мы сейчас же переделали в Жули, а потом в Жули-Мули.

У Юлии Ивановны была привычка, подражая кому-то, повторять слова, заменяя первую согласную буквой «м»: собака — мобака, тарелка — марелка и т. д.

Жули-Мули была спокойная, добродушная, но с сознанием собственного достоинства девушка. Она беспрестанно хохотала, причем скалила свои большие, лошадиные зубы, обнажая десны и встряхивая короткими волосами. Она любила острить, мягким баском пела частушки, любила масляными красками писать лошадей. Часами, полулежа на кожаной кушетке в зале, она могла с тягучей ленью разговаривать неизвестно о чем. Иногда я приставала к ней:

— Жули, нарисуйте мой портрет!

— Твой портрет? Здравствуйте пожалуйста! Кому же это интересно?

Время шло. Надвигались важные события. В феврале 1901 года Святейший Синод отлучил моего отца от церкви. В то время правительство особенно свирепствовало. Смертными казнями, ссылками, цензурой оно все больше и больше раздражало общество. Студенческие сходки, протесты, запрещенная литература были на это ответом.

Когда отца отлучили от церкви, русская интеллигенция точно обрадовалась поводу для выражения своего негодования против правительства. Со всех сторон посы-

¹ Восстановитель волос (англ.).

пались письма, телеграммы, адреса, даже подарки. Студенты, рабочие, крестьяне, высшая интеллигенция, учащиеся, женщины, серые обыватели — все спешили выразить отцу свое восхищение и преданность. По рукам ходили стихотворения «Лев и ослы» и «Голуби», в которых высмеивалось правительство. На улицах отца останавливали, приветствуя восторженными криками. Студенты приходили толпами к нашему дому.

Если бы Святейший Синод предвидел последствия своего поступка, вряд ли он совершил бы его.

К самому факту отлучения отец был совершенно равнодушен. Зато мать, считавшая себя православною, а отца неверующим, почувствовала себя оскорбленной. Всем, кто только хотел ее слушать, она высказывала свое возмущение против Синода и духовенства и со свойственной ей горячностью написала письмо митрополиту Антонию².

Помню, как, громко восхищаясь, читал это письмо Александр Никифорович Дунаев.

— Идиоты! — кричал он, потрясая кулаками. — Дураки! Неужели они не понимают, что не могут оскорбить Толстого!

То там, то тут вспыхивали беспорядки. В Петербурге на Казанской площади казаки нагайками избивали народ. Князь Вяземский, присутствовавший при этом, останавливал их, но был грубо отстранен. За свой поступок он получил выговор от государя³. Отец был тронут поступком Вяземского и написал ему письмо, под которым все подписались⁴.

Вслед за этим правительство закрыло «Союз писателей» за протест против избивания народа на Казанской площади⁵. Снова писали адрес, под которым подписывался отец и знакомые. Революционное настроение захватывало всех. Но как только я хотела принять участие в общем оживлении, мне говорили:

— Молода еще! Не твоего ума дело!

Даже адресов не позволяли подписывать. И только с Мишей Сухотиным, пасынком сестры Тани, жившим у нас в доме, я отводила душу. Его также отовсюду отстраняли. Нам не позволили подписаться под письмом князю Вяземскому, и мы сочинили другое, восторженное письмо, но послать не решились.

Наконец, забросив уроки, мы занялись распространением запрещенной литературы. Бесконечное количество раз мы переписывали от руки басни «Лев и ослы» и

² С. А. Толстая 26 февраля 1901 года направила письмо обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву и митрополитам, подписавшим «Определение» об отлучении Толстого от церкви, с обвинениями в нарушении христианского «закона любви, всепрощения».

³ Л. Д. Вяземский, генерал-лейтенант, член Государственного Совета, не только получил «высочайший выговор», но и был выслан из Петербурга.

⁴ «Уважаемый князь Леонид Дмитриевич! Мужественная, благородная и человеколюбивая деятельность ваша 4-го марта перед Казанским собором известна всей России.

Мы надеемся, что вы так же, как и мы, относите выговор, полученный вами от государя за эту деятельность, только к грубости и жестокости тех людей, которые обманывают его. Вы сделали доброе дело, и русское общество всегда останется вам благодарным за него.

Вы предпочли отдаться чувству негодования против грубого насилия и требованиям человеколюбия, а не условным требованиям приличия и вашего положения, и поступок ваш вызывает всеобщее уважение и благодарность, которые мы и выражаем вам этим письмом».

Ответ князя Вяземского (даты нет): «Глубокоуважаемый граф Лев Николаевич. Позвольте мне от всей души поблагодарить вас за письмо ваше. Оно вместе с другими многочисленными знаками сочувствия, конечно, облегчит тяжесть кары, меня постигшей, так как теперь за меня уж не одна моя собственная совесть, а совесть множества людей, чувства которых мне дороги. Меня радует и то, что огромное большинство моих сослуживцев думает и чувствует, как я. Все они поступили бы так же, как и я, а если не им, а мне выпало на долю исполнить долг свой, то это почти случайность, за которую я благодарю Бога. Если же поступок мой поставлен мне в тяжкую вину, то это единственно потому, что недобрые, чисто личные чувства нескольких людей одержали верх над разумом и добром, затмив их, я надеюсь, только временно. Когда наступит прозрение, я не знаю, но верю, что оно наступит, и чем темнее теперь ночь, тем ближе, значит, пробужденье. Государь поступил со мной очень строго, но он сделал это по незнанию правды. Он не мог сознательно желать ни того, что случилось, ни того, из-за чего все это случилось. Еще раз благодарю вас, высокопочтимый граф, благодарю графиню и всех тех, которые пожелали сказать мне, что они со мною. Искренно и душевно преданный вам». (Письмо Л. Д. Вяземскому от середины марта 1901 года опубликовано в полном собрании сочинений Л. Н. Толстого. М. 1954, т. 73, стр. 49.— *Прим. А. Л. Толстой.*)

⁵ Комитет Союза взаимопомощи русских писателей при русском литературном обществе был закрыт в марте 1901 года.

«Голуби» и раздавали их своим знакомым с надписью крупными буквами: «Просим распространять». Пытались мы переписывать статьи отца «Ответ Синоду» и «Царь и его помощники»⁶, но это оказалось настолько кропотливой работой, что я одолела только одну копию «Ответа» и передала ее своей учительнице истории для дальнейшего распространения.

Мы с Мишей стали искать средства более продуктивной работы. Один раз Миша, вернувшись из гимназии, таинственно мне сообщил, что достал гектограф и, как только стемнеет, привезет его.

Весь вечер я не находила себе места. Услышу звонок и бегу со всех ног по темному коридору посмотреть, кто пришел. А сердце так стучит, что в груди больно.

Миша привез ящик поздно вечером, и мы тихонько через буфетную перетаскивали его к нему в комнату. Когда все улеглись спать, у нас началась работа. Надо было переписать статьи гектографскими чернилами, сделать оттиск на желатине, а потом уже печатать. Первые листки мы испортили, работа не клеилась, но постепенно наладилась, и дело пошло. Зараз выходило около ста экземпляров, работали мы несколько ночей. Выпустили одно, как мы важно называли, издание «Ответа Синоду», несколько изданий басен и приступили к печатанию статьи «Царю и его помощникам». Но закончить его нам не удалось. Кто-то из домашних проследил и сказал матери, что мы по ночам не спим и, наверное, занимаемся чем-нибудь нехорошим.

Мы были так увлечены работой, что не слышали, как кто-то подошел к двери и толкнул ее.

— Что вы здесь делаете?

Мы оглянулись. На пороге стояла мамá. Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза сверкали гневом.

— Мы... мы... печатаем...

— Что?

— Печатаем.

Миша пробовал напустить на себя беспечный вид, он стал говорить о том, что мы не могли не принять участия в общем деле протеста Синоду, что мы хотим распространять идеи Льва Николаевича и т. д. Но моя мамá только еще грознее сдвинула брови. Мне показалось, что все задрожало, когда над нами разразилась буря ее гнева... Мишу она хотела выгнать из дома, меня запереть, гектограф выбросить.

— Как вы смели, — кричала она, — вносить в дом гектограф? Вы же знали, что это запрещенная вещь?! А если бы сделали обыск и нашли эту мерзость, из-за вас все попали бы в тюрьму! А?

Наутро Миша увез гектограф. Мне было запрещено входить к нему в комнату. Но мы спасли от уничтожения «Ответ Синоду» и отдали его отцу для распространения.

Он не сердился, а только добродушно посмеялся над нашей попыткой подпольной работы.

XI

ТЕТЕНЬКА

Я почувствовала себя взрослой. Вот как это случилось.

С письменного стола мамá в гостинной я взяла карандаш и забыла положить его на место. Мамá рассердилась, бранила меня и, схватив за плечо, хотела ударить.

Все мое существо взмутилось, кровь кинулась в голову.

— Не смей, не смей! — крикнула я ей, не прячась, а, наоборот, подступая ближе и подставляя лицо. — Не смей! Слышишь, я за себя не ручаюсь!

Мамá была поражена, рука опустилась, и она отступила от меня.

Я выскочила и побежала вниз, на двор, в темноту парка. Должно быть, вид у меня был странный, Андрюша и Сережа Сухотин бросились в сад у меня искать. Я слышала их голоса, но не откликалась. Когда я немного успокоилась и мне надоело сидеть в темноте, я пошла домой и в дверях столкнулась с отцом. Он что-то говорил мне о прощении, но я не слушала его.

— Я не позволю, не позволю больше себя бить, — повторяла я, уверенная, что в этом и заключается самое важное, а не в том, что говорил отец.

— Мамá самой тяжело, простить надо, помириться...

⁶ Имеются в виду статьи «Ответ на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма» и открытое обращение к Николаю II «Царю и его помощникам».

С тех пор мамá уже не била меня, но иногда ей трудно было сдерживаться.

В этом году мисс Вельш приехала гораздо позднее, ко мне поступила м-ль Котинг. Затянутая в корсет, с седеющими кудельками на лбу, короткими, узловатыми руками с просвечивающими лиловыми жилаками, м-ль Котинг внушала мне страшное отвращение. Я не могла видеть ее, меня раздражал ее скрипучий голос, желание молодиться, затянутая талия — все.

И вот один раз старая дева расчувствовалась и рассказала мне, что она влюблена, что ей очень хочется поскорее на родину, потому что там ждет ее жених. Я с трудом удерживалась от смеха. Мне казалось невероятным, что такая старуха (ей было лет под сорок) могла думать о женихах и романах, но я терпеливо ее слушала и рассматривала карточку жениха — плотного пожилого немца с усами à la Vilhelme⁷.

Вдруг мне захотелось подразнить ее.

— Que ditez vous, mademoiselle, si moi aussi je suis amoureuse?⁸ — спросила я с вызывающим видом.

М-ль Котинг передернуло.

— Oh! mais je dirai que c'est un peu trop tôt!⁹

Но на меня уже напал задор, и я не могла остановиться.

— Mademoiselle Koting, — заявила я торжественно, — je suis amoureuse!¹⁰

— Tiens, tiens, racontez moi ça!¹¹

Я, забыв, что она гувернантка, приставленная следить за моей нравственностью, рассказала ей, что я влюблена в одного гимназиста и он в меня тоже.

— И вы с ним целовались? — с ужасом спросила м-ль Котинг.

— Нет, он хотел меня поцеловать, но я не согласилась, — отвечала я с гордостью.

На этом разговор о романах кончился. Через несколько дней, когда я проходила мимо темной комнатки, где мамá проявляла фотографии, она окликнула меня. В страшно резких выражениях она стала меня бранить:

— Нечего сказать, хорошие ты подаешь надежды, если в пятнадцать лет целуешься со всякими шалопаями, дрянная девчонка, мерзкая!

Мамá кричала, топая ногами. Это было ужасно страшно. В промежутках между криками я пробовала оправдываться:

— Это неправда, мамá, я не целовалась!

Но мамá не слушала, она так разошлась, что еще немножко — и она ударила бы меня. В этот момент вошла гостившая у нас тетенька Татьяна Андреевна Кузминская.

— Что это ты кричишь, Соня? — спросила она.

И, узнав, в чем дело, сказала:

— Надо же разобраться, спросить Сашу, может быть, это все еще неправда.

Идем ко мне, — сказала она тоном, не допускающим возражения.

Я с радостью пошла за ней.

— Ну садись, рассказывай всю правду, слышишь, только не ври, все равно узнаю, по глазам узнаю, если вздумает скрывать!

Я рассказала тетеньке про свой роман. Гимназист за мной ухаживал, и мне казалось, что это очень весело, как один раз мы очутились вдвоем и он стал перебирать бусы у меня на шее. Я отстранилась от него, а он спросил: «Можно тебя поцеловать?» — и как мне стало страшно, и я сказала «нет» и убежала от него.

— И все? — спросила тетенька.

— Все.

— Постой, а что же ты наговорила мадемуазель?

— Тетенька, я рассказала ей меньше, чем тебе. Она отвратительная, мерзкая, старая лгуныя! — с жаром воскликнула я. — Она же первая мне рассказывала про какого-то швейцарца, за которого она собирается замуж.

— Не врешь? — спросила тетенька.

Но это она спросила уже для очистки совести, своим чутким, добрым сердцем она прекрасно понимала, что я говорю правду. Легкой, чуть подпрыгивающей походкой она побежала наверх к мамá.

Котинг уехала. Тетенька настояла на этом.

⁷ Как у Вильгельма (франц.).

⁸ Что вы скажете, мадемуазель, если я тоже влюблена? (франц.)

⁹ Я скажу, что это немного рановато! (франц.)

¹⁰ Мадемуазель Котинг, я влюблена! (франц.)

¹¹ Ну-ну, расскажите мне! (франц.)

— Дрянь такая,— говорила она,— сама Саше про свои романы рассказывала, а потом на нее же Бог знает что напелла.

У меня остался горький осадок от этой истории, мне казалось, что мамá так и не поверила мне.

А потом приехала милая мисс Вельш.

Светлым, ярким лучом прошла тетенька через всю мою жизнь — с раннего детства и до последних тяжелых революционных лет, когда она была для меня единственным близким человеком в Ясной Поляне!

В моем раннем детстве Кузминские каждое лето приезжали в Ясную Поляну. Бывало шумно, весело, у них была почти такая же большая семья, как наша. Тетенька — первая затейщица: то за грибами, то купаться, то пикники, то друг к другу обедать.

Высокого, красивого, важного крестного моего Александра Михайловича Кузминского мы боялись, тетеньку — обожали. «Тетя Соня», «тетя Таня» — слышалось постоянно. Иногда мы путали и тетю Таню называли мамá, а мамá тетей Соней.

Тетенька любила радость и веселье. Все, что было нерадостно, она с негодованием откидывала. Она терпеть не могла ссор, неприятностей, злобы — они нарушали радость — и старалась скорее все уладить. Как только ссорящиеся с ней сталкивались, она мирила их и вкладывала в это столько жара, что всегда достигала цели. С детьми она вовсе не церемонилась, если кто-нибудь поссорится или подерется, она сейчас же схватит их за шиворот и стучает головами друг о друга, сердито приговаривая: «Ну целуйтесь же, дряни вы этикие, целуйтесь, говорят вам!» А если это не действовало, она и подзатыльник даст, чтобы поскорее помирились, и тогда делалось так смешно, что пропадала злость.

Как-то младший сын тетеньки, любимец ее Митечка, захворал желудком, и надо было ему дать касторового масла.

— Митечка,— говорила ему тетенька, ласково-просительно подавая ему касторку в рюмку, края которой были обмазаны лимонным соком,— Митечка, милый мальчик, выпей касторку.

— Нет, нет, нет,— с какой-то недетской уверенностью тянул Митечка, в такт каждому «нет» отрицательно помахивая рукой.

— Митечка,— уже несколько строже говорила тетенька,— выпей касторку!

— Нет, нет, нет,— с еще большей настойчивостью тянул Митечка.

— Митечка,— грозно воскликнула тетенька,— выпей касторку!

— Нет, нет, нет! — В голосе Митечки слышались уже капризные нотки.

— Да, да, да! — вскрикнула тетенька, давая Митечке три подзатыльника и опрокидывая рюмку с касторкой опешившему мальчику в горло. Он глотал, морщась, захлебываясь, а тетенька запикивала ему в рот ложку малинового варенья на закуску.

Бывало, придут к тетеньке гости, а она их угощает:

— Кушайте, пожалуйста, кушайте, все равно собакам бросится.

И никто не обижался, все смеялись.

Я, к сожалению, не помню ее молодой, но помню, что она пела так, как никто на свете. Я спала в детской за две комнаты от залы. Прогонят спать, а я знаю, что тетенька будет петь, и жду. И вот слышу, первые аккорды на фортепиано берет папá или брат Сережа. Сердце стучит. В ночной рубашке я крадусь в гостиную.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...

Я знаю каждую ноту, дыханье захватывает, мне кажется, что я сама, все вокруг приобретает новое, особенное значение, внутри делается что-то странное, я чувствую в себе новые возможности, силу, которая растет, распухает, томит...

Тетенька кончила. Похвалы, восклицания кажутся ненужными, нарушают очарование. Но вот она снова начинает любимый романс отца:

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Сердце как птичка
В клетке запрыгает,
Встречу ль глаза твои
Лазурью глубокие,

Душа навстречу им
Из груди просится.
И так-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
К тебе б я кинулся!¹²

— Превосходно, превосходно! — слышится голос отца. — Чудесно!

Я стою в ночной рубашке, меня трясет, и внутри растет и ширится что-то, чего словами я назвать не умею.

Помню освещенную залу. Мамá и тетенька, взявшись за руки, придерживая юбочки, танцуют старинную польку. Па вперед, па назад. Они расходятся, опять сходятся, обе покраснелись, глаза горят. Тетенька тонкая, стройная, мамá немножко портит большой, выдающийся живот, но они обе прекрасны в эту минуту. Когда они, запыхавшиеся, сконфуженные, но довольные, садятся, все аплодируют.

Бывало, отец посмотрит на тетеньку, такую сияющую, жизнерадостную, и скажет:

— Таня, а ведь ты умрешь!

— Вот глупости какие! — восклицала она с негодованием. — Никогда!

Отцу это нравилось, он смеялся до слез.

Тетенька осталась одна. Разлетелись дети, умер дядя Саша Кузминский. После Октябрьской революции в его петербургскую квартиру ворвались рабочие, стали чего-то требовать... Он встал во весь свой громадный рост, что-то громко крикнул и упал без чувств. У него сделался удар. Тетенька приехала в Ясную Поляну.

В годы тяжелые, голодные, страшные жила она в Ясной Поляне и была для меня единственным утешением.

Избалованная, привыкшая ни в чем себе не отказывать, тетенька жевала кормовую свеклу и радовалась, когда доставала себе кусочек мяса или сыра. Она делалась худа, как могила, я легко поднимала ее и, когда у нее ослабевало сердце, носила ее на руках наверх.

Бывало, раздобудешь в Москве или в Туле кофе или шоколад, привезешь ей, она радуется, как ребенок. Я выхлопотала ей пенсию в сорок рублей, из которых она мало того что посылала сыну, но помогала ему еще и тем, что взяла своего внука в Ясную Поляну и воспитывала его по-старинному, главное внимание уделяя изучению языков.

Последние годы тетенька писала свои воспоминания, которые теперь читаются с таким интересом, выдержали уже два издания и переводятся на другие языки. Она торопилась, боялась, что умрет, не допишет¹³.

Бывало, зайдешь в комнату, она улыбнется радостно так, сдвинет очки на лоб, глаза у нее блестят, видно, что она только что жила в другом, давно ушедшем мире.

— Все пишешь, тетенька? Устаешь очень?

— Нет, нет, ничего, а то скоро помру, не успею кончить, — говорила она.

Ей было уже семьдесят пять лет. 12 января (Татьянин день) она писала своему сыну, что ей грустно. Сегодня ее именины, она ото всех скрыла. Денег нет, купить нечего. Но мы все прекрасно помнили, что тетушка именинница. С утра я уехала в город и привезла оттуда пропасть вкусных вещей. В кухне пекли пироги.

— Что в кухне делается? — спрашивала тетенька приставленную к ней старушку.

— Да ничего, — отвечала она (мы посвятили ее в наш секрет), — Николаевна обед готовит.

Вечером, обычно мертвая, зала музея ожила. Стол накрыли белой скатертью, зашумел старый толстовский самовар, расставили конфеты, цветы, пироги, фрукты, даже бутылку портвейна. На другом столе разложили подарки. Все служащие принесли что-нибудь: почтовую бумагу, одеколон, кофе, кусок ростбифа — все, что могли найти по тогдашним голодным временам. Когда все собрались, пошли за тетенькой. В зале было темно.

¹² Стихотворение М. Ю. Лермонтова (цитируется неточно), на музыку было положено М. И. Глинкой, А. Г. Рубинштейном, М. А. Балакиревым и другими.

¹³ Т. А. Кузминская в последние годы жизни напряженно работала над начатой еще в 1914 году книгой «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Книга у нас неоднократно переиздавалась (осталась незаконченной).

— Вот удивительно,— говорила она,— позвали меня и даже огня не потрудились зажечь!

В эту минуту залу осветили. Увидев всех нас в нарядных платьях, накрытый стол, подарки, тетенька разволновалась, расплакалась, бросилась всех по очереди целовать, благодарить и побежала надевать светлое платье.

В этот вечер она пела! Моя двоюродная сестра Елена Сергеевна Денисенко аккомпанировала ей. Голос тетеньки дрожал, некоторые ноты она не могла вытянуть. Она раскраснелась, разволновалась. В тех местах, где надо было ускорить темп, она толкала в спину Елену Сергеевну — сила жизни была в ней еще огромная!

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый...

Я слушала ее, и мне хотелось плакать. Когда она кончила, я обняла ее.

— Милая тетенька,— говорила я ей,— ты только не умирай! Что я буду без тебя делать?

— Нет, нет,— утешала она меня.— Нет!

А через несколько дней, когда все собрались в столовую к обеду, пришла тетенька, тихо села на диван ждать одного из сотрудников, собиравшегося ехать в Тулу.

Вдруг кто-то сказал:

— Что это с Татьяной Андреевной?

Я вскочила. Она тихо склонилась на один бок. Ее взяли на руки и понесли наверх, безжизненно болталась правая рука, отнялся язык.

Через несколько дней она умерла¹⁴.

И когда мы выносили гроб из яснополянского дома и слезы помимо моей воли текли по щекам, я вдруг вспомнила: «Таня, а ведь ты умрешь!» — «Вот глупости! Никогда!»

ХП

ИСПОВЕДЬ

Впервые я подошла к отцу, когда мне было пятнадцать лет. Это время я считаю началом моей близости с ним. С годами она все увеличивалась.

Была шестая неделя поста. По всей Москве слышался звон колоколов, только что отошла всенощная. Несмотря на пост, в воздухе чувствовалось что-то праздничное — и в журчащих вдоль тротуаров ручейках, и в веселом перезвоне, и в заходящем солнце, бросающем красно-желтые отблески на окна дома.

Я шла от всенощной из небольшой церкви на Пречистенке, где пел прекрасный хор слепых девушек. Пели очень хорошо, особенно одна из них, со светлыми волосами и грустным лицом. От ее голоса было даже немножко жутко, столько печали и тоски слышалось в нем.

В ранней молодости часто бывает состояние какого-то восторженного умиления, когда кажется, что всех любишь и что ты сам такой добрый, хороший, что и другие не могут не любить тебя.

Именно это чувство я испытывала, когда шла из церкви. Мне было легко, весело, внутри все пело и радовалось. Рядом со мной в церкви стояла горбленная, нищенски одетая старушка с трясущейся головой. Я оказывала ей мелкие услуги — ставила за нее свечи к иконам, приносила стул, помогала сходить с приступок. От черного, позеленевшего салопа старушки пахло затхлостью, и, стоя за ее спиной, я наблюдала, как по желтовато-серым волосам ее и по салопу ползали крупные вши. «А я все-таки, несмотря на то, что она такая грязная и от нее скверно пахнет, люблю ее и помогаю ей,— думала я, все более и более на себя умиляясь.— Завтра пятница, я пойду к исповеди и очищусь от всех грехов». Я старалась припомнить, в чем надо было покаяться священнику.

Я быстро шла по улице, громко стуча каблуками по высохшему уже тротуару, как вдруг лицом к лицу столкнулась с отцом. Он шел не спеша, с палочкой, в мягкой серой шляпе и расстегнутом пальто, из-под которого виднелась белая полотняная блуза.

— Ты откуда? — спросил он меня.

— Из церкви.

¹⁴ Ошибка памяти. Т. А. Кузминская скончалась на семьдесят девятом году жизни 8 января 1925 года.

Его серые, глубокие, всепонимающие глаза на минуту остановились на мне. Я внутренне сжалась от этого взгляда.

— Почему это на тебе такой ярко-красный галстук?

Я молчала.

Он еще раз внимательно, точно заглядывая в душу, посмотрел на меня и пошел дальше.

«Почему на тебе такой ярко-красный галстук? — повторила я. — Ярко-красный, да, очень яркий, нескромный, нехороший галстук». Стало грустно, в сердце что-то сжалось. «Нехороший галстук, а я... хорошая? Нет, нехорошая, нехорошая. Какая-то фальшивая, неискренняя».

Я шла домой в глубоком раздумье, тело отяжелело и казалось безобразным, неуклюжим. Я была противна самой себе и все старалась понять, что же такое случилось. Не было следа того восторженно-умиленного состояния, в котором я только что находилась. Я бичевала себя, подвергая все свои поступки и переживания самой строгой критике. «А ну-ка, — говорила я самой себе, — отдала ли бы ты все, что имеешь, грязной старушке? Нет? Чего же стоят твои сентиментальные ухаживания, твое умиление?»

Иногда в душе помимо желания, неведомо для нас происходит сложный душевный процесс, и достаточно самого незначительного толчка, чтобы дать иное направление мыслям, чувствам... Может быть, именно это и случилось со мной? Я не могла уже ни к себе, ни к тому, что меня окружало, относиться просто. Я все замечала, все анализировала.

В таком возбужденном состоянии я пошла на другой день с матерью исповедаться. После коротенькой вечерни священник стал вызывать прихожан к исповеди. Мы стояли позади всех. Старушка была впереди. Она опиралась на палочку, переминалась с ноги на ногу, вздыхала, и голова ее тряслась больше обыкновенного. По-видимому, она очень устала.

Вышел священник. Старушка двинулась вперед, но священник обошел всех и подошел к моей матери.

— Пожалуйста, графиня, — сказал он, почтительно кланяясь и пропуская нас вперед.

Старушка покорно попятилась назад. «И это священник, служитель Божий!» — подумала я с возмущением.

Когда я пошла на исповедь, я уже не чувствовала, что священник может освободить меня от грехов. Я видела в нем обыкновенного, грешного человека, такого же, как все. Мне было противно отвечать на его вопросы: бранила ли я кого-нибудь? врал ли? слушалась ли старших? «Какое ему дело?» — думала я, односложно отвечая: грешна, батюшка, грешна.

Я пришла домой в еще более смутном состоянии. Здесь меня ожидало большое огорчение. Когда я вошла в комнату, меня сразу охватило ощущение пустоты. Я взглянула на клетку — она была пуста. Куда же девался мой чиж? Он был ручной, летал по всей комнате и нередко затягивал свою песенку, сидя у меня на плече или на голове. Где же он?

В комнате я его не нашла и пошла к горничной спросить, не видела ли она чижа. За ширмами я услышала хруст, на кровати сидела серая кошка Машка и блаженно мурлыкала, доедая остатки моего чижа. По одеялу были разбросаны желтенькие перышки.

Я схватила палку и в испуге начала бить кошку, носясь за ней по всей комнате. Я убила бы ее, если бы она не ухитрилась шмыгнуть в форточку.

Злоба спирала дыхание, сердце учащенно билось. И вдруг я вспомнила, что только что исповедовалась. «Вздор, пустяки все!» Но на душе стало еще мучительнее, еще нестерпимее. Я упала ничком на подушку и зарыдала.

На другой день на меня надели белое платье и мы с матерью отправились в церковь причащаться. Когда мы вошли, церковь была уже полна народу. Мы с трудом пробрались вперед. Началась обычная длинная служба.

С критическим вниманием следила я за ходом обедни, ловила каждое слово священника. Его выходы, движения, громкие возгласы, чтение Евангелия, в котором ничего нельзя понять, — все возбуждало во мне сомнение.

Во всем этом я видела что-то фальшивое, неискреннее. «Вот и причастие, кто больше положит на тарелку, тому дают больше вина и просфоры», — думала я.

В вербную субботу, когда мать крикнула, чтобы я собиралась с ней в церковь, я сказала, что не пойду. Она не сразу меня поняла.

— Почему? Ты нездорова?

— Нет, я здорова, а в церковь больше не пойду.

— Да почему же?

— Не хочу. Не нужно, фальшиво все это.

Мама была так потрясена, что сразу не нашла, что мне ответить. Мое заявление было для нее страшным ударом. Две старшие дочери уже давно отошли от церкви, проникшись учением отца. Меня мать старалась воспитать в православии, часто водила в церковь, она надеялась, что хоть одна из ее дочерей не собьется с истинного пути и останется православной. В раннем детстве она сама учила меня Ветхому завету и радовалась, что я хорошо занимаюсь. А меня очень забавляли истории Иосифа, Давида, Голиафа и Ионы, которого проглотил кит, хотя и тогда уже я знала, что отец считает Ветхий завет сказками, в которые нельзя верить. Помню, рядом с нашим домом за высоким забором был клинический сад для душевнобольных. Сидя на высоком заборе, болтая ногами, я философствовала с сумасшедшими на религиозные темы.

— Вот папа говорит, что Ветхий завет — глупости, я думаю, что он прав. А вот он еще говорит, что мясо есть нельзя. Этому я не верю, мяса, по-моему, можно есть сколько угодно.

Больные, улыбаясь, смотрели на меня.

— А я и в Бога не верю,— сказал один из них.

— Нет, я верю! — ответила я.

По-видимому, взгляды отца в какой-то примитивной форме уже коснулись моего детского сознания, но мама не подозревала этого. Теперь, когда я отказалась идти в церковь, она решила, что отец говорил со мной и повлиял на меня.

Мама тотчас же пошла к нему в кабинет объясняться. Они говорили долго. Когда она, шурша шелковой юбкой, спустилась вниз, щеки ее горели, а глаза были красны от слез.

— Тебя отец зовет! — сказала она.

Я побежала в отцовский кабинет.

Он сидел за круглым столом в большом кожаном кресле с книгой в руках.

— Ты что же это мать огорчаешь? — спросил он, строго и пристально глядя мне в глаза. И снова, как и тогда при его вопросе о красном галстуке, я почувствовала, что он все видит и понимает.— Почему в церковь не хочешь идти?

— Не могу! — сказала я, чувствуя, как слезы подступают к горлу.

— Не плачь,— сказал он мягко. Но я заплакала.— Прежде чем бросать старое,— сказал он,— надо твердо знать, есть ли у тебя что-нибудь новое, чем ты можешь заменить. Есть у тебя это?

— Не знаю.

— Тогда почему же ты мать огорчаешь, не идешь с ней в церковь?

— Ложь, фальшь там одна, не могу! — выкрикнула я сквозь душившие меня рыдания.

Лицо отца еще больше смягчилось, глаза стали ласковыми, добрыми.

— Вот как. Да ты не плачь, голубушка.

Почувствовав его ласку, я поняла, что должна все рассказать ему. И, запинаясь и захлебываясь, я рассказала про слепых, про старушку, про свое умиление, почему оно кончилось, рассказала про священника, про чижа, которого съела кошка.

Отец казался взволнованным. Он уже не сидел, а ходил по комнате, засунув руки за пояс, а я следила за ним, ловя выражение его лица.

— А все-таки пойдешь с матерью в церковь сегодня, можешь? — спросил он и ласково и вместе с тем многозначительно, как на взрослую, взглянул на меня.

Я поняла его взгляд.

— Хорошо.

Он нагнулся и поцеловал меня в лоб. Глаза его весело сияли. Я быстро сбежала вниз, оделась и, к удивлению и радости моей матери, сказала ей, что иду ко всеобщей.

С этого дня отец уже никогда не был для меня недоступным, чужим...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Р. ГАЛЬЦЕВА, И. РОДНЯНСКАЯ



ПОМЕХА — ЧЕЛОВЕК

Опыт века в зеркале антиутопий

...нельзя так отупить, чтобы ко всему привыкнуть.

Ф. Кафка, «Замок».

1. Пейзаж после битвы

Долгожданное, когда оно наконец является, имеет свойство разочаровывать. Вот уже вышли в текущих журнальных номерах «Мы» Е. Замятина, «О дивный новый мир» О. Хаксли, «Приглашение на казнь» В. Набокова, «Замок» Ф. Кафки, «Скотный двор» Дж. Оруэлла, не за горами — его же «1984», уже вошедший в наш культурный обиход. Книги, которыми у нас целых полвека пугали детей. Но выросшие за это время дети — те из них, кто раньше не сумел добраться до запретного, — скользнули глазами по недокументированным фантазиям и со страстью отдались документальным историко-политическим сенсациям века.

Для всего мира, прочитавшего эти книги в свой час, они исполнили роль пророчеств, чем и были красны. Что ж, выходит, мы, живущие в 80-х, мы, для кого напророченное будущее отчасти превратилось в прошедшее, обрели сокровенные тексты, чтобы их, по существу, тут же утратить?

Однако есть и в нашем запоздалом знакомстве с классическими антиутопиями свое преимущество: эти картины «нового мира» уже не ошеломляют нас, не бьют по чувствам; после того, как не одно поколение пережило их в некотором смысле опытно, заведомая фантазийность данного литературного жанра при сегодняшнем чтении позволяет сосредоточиться на бестрепетном анализе: как все это могло оказаться близким к правде? То, что пронеслось на поверхности исторических событий, имеет корень, который настало время извлечь.

И еще, быть может, в том наша грустная привилегия, придающая антиутопиче-

ским фантазмагориям дополнительную, жизненную объемность, что мы сегодня читаем эти задержавшиеся книги в общем ряду с другими, припозднившимися по тем же известным причинам: с книгами не умственного эксперимента, а личного переживания реальных событий и обстоятельств. Только демон истории мог соединить, переплести в умах «поколения внуков» «Колымские рассказы» Шаламова и «1984», «Чевенгур» Платонова и «О дивный новый мир», «Факультет ненужных вещей» Домбровского и роман «Мы», «Жизнь и судьбу» Гроссмана и «Приглашение на казнь», «Московскую улицу» Ямпольского и «Замок».

И вот то, что совмещено, казалось бы, лишь внешними условиями внезапно дарованной гласности, засвидетельствовало существенную принадлежность к одной картине мира. Своего рода «пейзаж после битвы» — с разрушенными жилищами, необрушенными трупами, незамолкшими стенами!..

Это единство панорамы дает о себе знать не только схожими чертами существования в несвободе и безличности, но и совпадениями специфических черточек. Распорядок служебных помещений Замка, измышленный обитателем Праги начала 20-х годов, как бы до мелочей обнаруживает себя на совершенно иных по жанру и колориту страницах «Факультета...», где по следам жизни зафиксировано таинственное дело-производство 1937 года в алма-атинских карательных органах. Одна и та же противостественная рутинная, ночные допросы (процедура, угаданная Кафкой!) и дневная бумажная круговерть, пасторальные развращения должностных лиц вперемешку с исполнением суровых обязанностей; красотки-службистки, декорирующие мрачную дея-

тельность заведения; благодушное слияние частной и официальной сфер для господ положения при аннулировании всех проявлений частной жизни у жертв. Мелкие дела превращаются канцелярией Замка в крупные по тем же законам, по каким в романе Домбровского из мелкой деловой неувязки канцеляристами застенка вырастает «вредительский заговор» в масштабах целого края.

Не меньше общего в парадоксальной ситуации, в которую равно попадают: автобиографический герой «Факультета ненужных вещей» Зыбин; смоделированный А. Кёстлером в «Спящей тьме» тип подсудимого на «открытых» процессах тридцать седьмого и тридцать восьмого годов — Рубашов и, наконец, почти бесплотный Цинциннат Ц. в аллегории Набокова; от них от всех палачи требуют «добросовестного» сотрудничества, встречной догадливости по части того, что нужно машине их же унижения и уничтожения, превращая самоё юриспруденцию в «ненужную», как сказано в названии романа Домбровского, вещь. Примечательно, что у Набокова адвокат и прокурор должны быть, оказывается, не только братьями-близнецами, но и прямыми подручными палача, во главе с которым они образуют, так сказать, знаменитую «особую тройку». Везде — и в реально описанных изоляторах у Домбровского и Гроссмана, и в «1984», и в «Приглашении на казнь» — истязаемый обязан продемонстрировать свое единомыслие с властью и готовность перевоспитаться даже на пороге гибели.

И еще пример. Всегда антиутопический мир, ввиду своего разрыва с естественным и органическим, имеет подчеркнuto индустриальное лицо. Общество «Мы» родилось из войны города с природой и деревней и победы над ними: деревня погибла от голода, город же наладил искусственное, «нефтяное» питание, обретя таким образом независимость от земли. Но ведь и в «Чевенгуре», идущем по стопам реальности, лирически опозитизированный герой, строитель новой жизни, испытывает едва ли не такую же неприязнь к крестьянскому хозяйству и быту: его отпугивает подозрительно уютный запах гретого молока и овчины.

Не меньше способны изумить совпадения в стилистике, тождественности словесных оборотов — в сценах, вынесенных художниками из жизни, и в экспериментах, произведенных литературно-философской мыслью. В «Чевенгуре» коммуна «Дружба бедняка» решила соорудить памятник своему

торжеству «среди усадьбы на старом мельничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру», — это место по своему нарочито-му примитивизму и сочувственному юмору звучит как цитата из сказки Оруэлла о «ферме животных». «Однородный товарищ», мелькнувший у Платонова, заставляет вспомнить об одном из девизов мира Хаксли — «одинаковости». А вошедший в международную политическую науку оруэлловский термин «старший брат» (ранний синоним «культы личности») фигурирует опять-таки в «Чевенгуре», притом самый смысл его в точности предвосхищен.

Более того, романы жизни и судьбы, словно признавая зависимость изображенной в них действительности от контроверз утопизма, включают в сюжет почти невероятные встречи идейных оппонентов, типичные как раз для умышленного мира антиутопий. Это — непременный диспут между героем-нонконформистом, не приспособившимся к «счастливному» миру, и тем вдохновителем и апологетом нового жизнеустройства, чья родословная восходит к фигуре великого инквизитора, адвоката дьявола в предсмертном творении Достоевского. Подобные ситуации вводят и Гроссман, и Домбровский, видимо, ощущая потребность в выяснении зловещих основ победившей действительности. В «Факультете ненужных вещей» ту же роль, что вдохновенный гид по ужасам оруэлловского «1984» О'Брайен, или Главноуправитель из «дивного нового мира» Мустафа Монд, или Богдетель из «Мы», играет не менее много-речивый сотрудник следственных органов Нейман, а у Гроссмана — старый чехист, поэт лагерной системы Каценеленбоген, не прекращающий проектировать ее, даже оказавшись за решеткой.

Если мы убеждаемся в общности предмета у реалистов и фантастов, то тем более есть резон сквозь сравнительно однородные образцы условного искусства разглядеть контуры некоей единой сущности. Замечательный немецкий социолог Макс Вебер, с чьими сочинениями наши соотечественники, в отличие от читателей остального мира, пока могут познакомиться только по редкому и малотиражному изданию¹, предложил понятие «идеальный тип». Это то, чего в социальной истории непосредственно наблюдать нельзя, но что в качестве обобще-

¹ «Макс Вебер и методология истории (Протестантская этика)». Вып. 1—2. М. ИНИОН АН СССР. 1985. Макс Вебер. Исследования по методологии науки. Ч. 1—2. М. ИНИОН АН СССР. 1980.

ния извлекается из ряда ее явлений, объединенных одной логикой, одним принципом.

Мы, конечно, понимаем разницу между жанрово «строгой» антиутопией Замятина, который задал тут некий эталон, а также Хаксли, который за ним сознательно последовал, и, с другой стороны, притчами визионеров Кафки и Набокова или, наконец, реалистической фантазмагорией Оруэлла. Но мы считаем возможным взглянуть на эти произведения не со стороны их своеобразия, а как на ценный материал для извлечения отсюда «идеального типа» общества несвободы. Правомерность такого обобщающего взгляда удостоверяется текстуально. Например, сопоставляя Единую Государственную Науку в мире, придуманном Замятиным, и Ангсоц («английский социализм») в оруэлловской Океании, мы можем умозаключить, что в данном типе общества должно наличествовать учение, которое всецело организует сознание граждан, не будучи притом доктриной религиозной. И здесь не важно, что у Замятина действие происходит через тысячу лет, а у Оруэлла — в 1984 году, который человечество как-никак миновало: типология остается в силе.

Точно так же единообразно, в какой опус ни загляни, отношение «нового мира» к старой, книжной, индивидуальной культуре. В «Мы» гибнут исторические памятники и не читаются «древние» книги; в романе Хаксли подобные книги заперты в сейфе Главногоуправителя как в своего рода спецхране, в «Приглашении на казнь» они сосредоточены в тюремной библиотеке и классифицированы таким образом, чтобы нужное нельзя было разыскать; в давно известной у нас антиутопии Р. Брэдли «451° по Фаренгейту», где изображено потребительское общество, «мирно» доросшее до тоталитаризма, книги сжигаются ради уместной гигиены граждан; в «1984» их переводят на «новояз», навсегда разрушая их смысл.

Кстати, о «новоязе» (или «новоречи»), помогающем перевертывать все существенные для человека понятия с целью подчинить сознание людей официальной картине мира. В государстве Оруэлла эти приемы разработаны с последовательностью инструкции, но фрагменты той же методики неожиданно обнаруживаются у других упомянутых здесь авторов, не ставивших перед собой оруэлловской аналитической задачи. «Я восстанавливаю честь Амалии», — говорит в «Замке» отец воспротивившейся бесчестью и тем опозорившей себя в глазах односельчан девушки, надеясь своим унижением искупить этот ее «проступок». Тут «бесчестье» и

честь поменялись местами точно так же, как в «1984» — «война» и «мир», «ненависть» и «любовь»...

Не будем утомлять читателей попытками исчерпывающе определить антиутопию как жанр. Для нашей задачи важно одно: антиутопический роман — это нашедший себе литературное выражение отклик человеческого существа на давление «нового порядка». Если утопии пишутся в сравнительно мирные, предкризисные времена ожидания будущего, то антиутопии — на сломе времен, в эпоху неожиданностей, которые это будущее преподнесло. У начала цепочки антиутопий XX века стоит, конечно, Достоевский; он полемизировал с утопиями, владевшими еще умами, а не жизнью, — с видением «хрустального дворца», с шигалевским прожектерством и особенно с метафизической ложью великого инквизитора, наиболее импозантного глашатая переустройства человечества «по новому штату». Как и у Достоевского, у создателей ранних антиутопий, находившихся под обаянием его мысли, еще просвечивает доверительная связь с утопиями прошлого, пусть и оспариваемыми; еще не ставится под сомнение материальный достаток и блеск будущего возможного общества, так сказать, хрустальность «хрустального дворца» — тесного для жизни духа, словно «курятник» или «казарма», но тем не менее надежно выстроенного и предлагающего всем свои богатства. Замятин и Хаксли рисуют стерильный и по-своему благоустроенный мир «эстетической подчиненности», «идеальной несвободы» (формулировки из «Мы»). Но, как выясняется, несвобода не может быть ни благоустроенной, ни изобильной — она может быть лишь утрюмой, убогой, замусоренной и серой. От нее мир оскудевает благами, «вещество устает» («Приглашение на казнь»), ей сопутствуют унылое рационарование и дефицит, когда даже служащий аппарата бессилён достать бритвенные лезвия и горсть натурального кофе («1984»).

Однако известная разница в прогнозах не мешает любым антиутопическим построениям сохранять свой главный стержень. В утопиях рисуется, как правило, мир «всех», представляющий восхищенному взору стороннего наблюдателя и разъясняемый пришельцу местным «инструктором»-вожатым. Это мир, который созерцается гостем с безопасной дистанции и населен «дальними». В антиутопиях выстроенный на тех же предпосылках мир дан изнутри, через чувства его единичного обитателя, претерпевающего на себе его законы и поставленного перед нами в качестве «ближнего». Выражаясь по-

научному, утопия социоцентрична, антиутопия персоналистична. Недаром в прародительнице современных антиутопий, Поэме о великом инквизиторе, узнике и одновременно судьей спроектированного мира несвободы оказывается личность личностей — Иисус Христос.

Распросим же антиутопистов, что происходит с лицом и существом человека в условиях такого «проекта».

2. Мир без слез?

Особенность этого общества, которое, по собственной его аттестации, существует для счастья человека, состоит в том, что человек в его прежнем виде воспользоваться счастьем не может — все формы его жизни оказались непригодным строительным материалом для возведения нового общественного здания. Выходит, чтобы осчастливить человека, его надо в корне переделать. Утопист в этом случае заговорил бы о «перевоспитании». Но вьедливые антиутописты показывают: логика переделки такова, что одним воспитанием, прививкой навыков «сознательности» тут не обойтись.

Вехи человеческой жизни — рождение, обучение, труд, дети, смерть. Теперь все это должно происходить по-новому. Нужны человеку кров, пища, одежда. Теперь это все станет другим. Настолько другим, что вы не узнаете сами себя.

Прежде всего придется примириться с тем, что мы попадаем в общество централизованной евгеники, поскольку общечеловеческое, дорожащее стабильностью как основой общественного счастья и стремящееся исключить непредвиденное будущее, не согласится пустить на самотек количество и качество своих членов. Такое приходило в голову еще Платону — сочинителю праутопии «Государство», а у Замятина, Хаксли и отчасти Оруэлла мы имеем случай прочитать, как это в действительности может осуществляться. Путем разрешения браков по специальному партийному мандату — умеренный вариант регламентации, описанный Оруэллом. Путем отбора и подбора родителей: трогательная О-90, одна из героинь романа «Мы», не имела права на желанного ребенка, ибо ростом не дотягивала десяти сантиметров до «материнской нормы». В «дивном новом мире», у ироника Хаксли, имеющего смелость идти до конца, производство потомства поставлено на конвейер и по принципу инкубатора полностью отделено от человеческой четы. Хаксли догадался, что тотально планируемому обществу есть резон делать госзаказ на кадры еще на эмбриональной их стадии, без зазора под-

гоняя будущих работников к месту в производстве, — чтобы не иметь треволений, связанных с их индивидуальными прихотями, с недовольством своим положением. Самым остроумным способом английский сатирик раздвинул границы плановости, призванной, как известно, излечить наш несовершенный мир от погрешностей и диспропорций. Поэтому если прекраснодушные классические утопии обычно открываются картинами цветущих полей и садов, сверкающих стеклом и алюминием фаланстеров, то антиутопия Хаксли с самого начала ехидно направляет наше внимание на источник этой гармонии, будь она возможна, — на Центральный Инкубаторий, где методами угнетения зародышей, прокрустовой их формовкой серийно выводятся годные в дело недочеловеки. Замятинское общество только в финале романа догадывается застраховать себя от потрясений биоинженерным путем, вторгаясь скальпелем в организм. У Хаксли недосмотры замятинской системы как бы учтены исходно и человек обезвреживается в начальном пункте своего бытия.

Миру, который осуществил «национализацию» деторождения, необходимо обуздать и зрос, обезоружить страсть. Риск и ответственность любящей пары, связанные с перспективой появления ребенка, могут быть устранены фармацевтически, и Хаксли, опубликовавший свой роман в 1932 году, оказался тут удивительным провидцем (не сбудутся ли, учитывая успехи генетики, и более угрожающие его предсказания?). Но куда хуже поддается управлению сама любовь двоих, которая «свободно век кочует» и в то же время «сильна, как смерть». Здесь благодетелям человечества приходится идти на прямые санкции и запреты. Длительные связи расцениваются как нарушение порядка и оскорбление общественной нравственности, а в качестве лучшего средства от любовной страсти поощряется сексуальная свобода (Замятин и Хаксли); в застойно-упадочном мире «Приглашения на казнь» бездумный, автоматический разврат Марфиньки, жены героя, — признак того, что от глубокого индивидуального чувства тут уже избавились. У Оруэлла же в «1984» на стадии агрессивного утверждения новых нравов эротический порыв карается как уголовное преступление.

Ведь если не принять этих мер, не ввести пресловутое *Lex sexualis*: каждый принадлежит всем остальным («Мы»), — или принципы неограниченного «взаимопользования» (термин из «Дивного нового мира»), то не удастся стандартизовать участь граждан,

одни неизбежно будут счастливее других, и зависть станет угрожать идеалу стабильности; а главное — каждый будет предан избраннику или избраннице, отнимая тем самым часть своей преданности у Единого государства. Конечно, дом и семья в старом смысле слова тут исключены — человек не имеет права быть особенным и не имеет места, чтобы обособиться.

Коллективистский труд принимает формы поточно-конвейерные (ведь Замятин и Хаксли писали во времена повального увлечения фордизмом и тейлоризмом) и вместе с тем ритуально-патетические — как средство поглощения личности целым. Предполагается, что труд перестал быть проклятием (в поте лица добывая свой хлеб) и превратился в почти биологическую потребность, как поведано в легенде о печальном конце трех отлученных от труда «отпущенников» (роман «Мы»). Но притом нет и следа трудовой самостоятельности, независимости творческого замысла — недаром у Хаксли Главноуправитель Моад признается, что наука стала «перечнем кулинарных рецептов».

Искусство... С искусством происходит вот что. Оно наконец избавляется от своей автономии, от своей «постылой свободы», обретенной было в новоевропейские времена, и возвращается, как о том мечтали «теурги»-символисты, к некоему общенародному действию. Государственные Поэты (таких их официальный титул у Замятина), эти Пиндары будущего, сотрясают площадь гигантского города «божественными медными ямбами» и разящими хорейми на «празднике победы всех над одним». У Набокова искусные артисты-декораторы устраивают феерическую иллюминацию на веселом массовом гулянье. Можно сказать, сбылась мечта о выходе искусства за свои границы, к прямому «творчеству жизни». Только с одной оговоркой. Центральное событие этих обслуживаемых художниками торжеств — казнь несчастных безумцев, выпавших из общего единения. Иными словами, искусство, ставшее циничной «технологией чувств» (Хаксли), как бы пародируя архаику, принимает псевдоритуальные, псевдокарнавальные, псевдофольклорные формы, весь смысл которых — мобилизовать душевные силы в пользу монолита и заглушить голос отдельной человеческой души.

Казалось бы, «новый мир» вынужден отступить перед явлением смерти; ведь утопическая распорядительность бессильна осласливать своими благами того, кто уходит в мир иной. Но и тут пыгается она овладеть ситуацией, не допустить никакой брешы в своей тотальности. В «Мы» ужасу смерти

противопоставлен энтузиазм слияния в общем марше, в «Дивном новом мире» страх смерти анестезирован комфортом «умиральниц» и целенаправленно притуляется с детства, в «Приглашении на казнь» смерть игнорируется через ее предельное опошление, превращается в пустяк, который всегда происходит не «со мной», а с другим. (Но в наиболее жизнеподобной антиутопии «1984» жизнь так ужасна, что смерть не страшна, и насилие вынуждено опираться на нечто, своим кошмаром превышающее обычный страх перед ней.)

За смертью следует утилизация трупов; и тут наши публицисты осудительно сравнивают такого рода прикиды прожектера Вермо из платоновского «Ювенильного моря» с общеизвестными деяниями наци. Однако со здравопозитивистской точки зрения, которая, собственно, и должна быть принята в окончательно «рационализированном» обществе, такая промышленная процедура не включает в себе ничего бесчеловечного и безнравственного. В мире Хаксли с его мягким, отнюдь не истребительным режимом лояльные граждане от души радуются, что человеческие останки удаётся наконец полностью, без потерь объять химической переработкой. (У Домбровского — знаменательное совпадение и с Платоновым, и с Хаксли: врачаха, служащая в системе лагерей, вовсе не садистка, исходя исключительно из мотивов эффективности, вносит предложение об использовании трупной крови в качестве донорской — благо сырья хватает.) Таким образом человеку обеспечивается не только умирание нового типа, но и новое посмертное существование — с пользой для общества.

Можно наперед предположить, что этим обществом, изменившим все константы человеческого существования, владеет пафос самочинности: оно должно гордиться тем, что само себя породило. И действительно, в очерченных антиутопистами мирах родительский принцип исключен — тем или иным путем. Герой Оруэлла, как и бесчисленное множество его сверстников, теряет мать в раннем детстве во время великих чисток; Цинциннат Ц. из романа Набокова, по происхождению подзаборный ребенок, ощущает «неподлинность» своей матери, когда та как бы из небытия появляется перед ним накануне казни. В романе «Мы» воспитание, конечно, государственное, своих родителей дети не знают, самovolное материнство карается смертью; в наиболее отлаженном «дивном мире» Хаксли дети появляются, как мы уже знаем, не из чрева матери, а «из бутылки», и даже слова «отец

и особенно «мать» считаются непристойными. Поистине «пес безродный» — такой, а не старый мир!

В каждом из этих случаев работают как бы свои объяснимые причины отрыва от родительского корня. Но за ними стоит общий замысел — начинать с нуля, разрывая с кровной традицией, обрывая органическую преемственность; ведь родители — это ближайшее звено прошлого, так сказать, его «родимые пятна». «Что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями?» — задаются вопросом герои чевенгурской утопии...

Чуть ли не мистическое чутье подсказало Оруэллу даже вопреки питавшему его историческому опыту — ведь в 1948 году, когда писался его роман, Сталина называли отцом народов, — что верховного тоталитария «1984»-го «отцом» все же именовать не следует. Ничего патриархального не должно проникать в эту систему принципиальной безотцовщины. Но также и материнское начало подлежит упразднению на высшем, символическом уровне. Нарочито забывается традиционное почитание земли как общей матери и утверждается культ синтетических, не порожденных ни ее недрами, ни ее плодоносным покровом продуктов. Только «дикие христиане упрямо держались за свой „хлеб“», — презрительно замечает представитель общества, навсегда отгородившегося от матери-природы стеной из непробиваемого стекла («Мы»).

3. Рай и ад антиутопии

Итак, новое общество, воссозданное антиутопистами, всячески отказывается от наследства — ему не подходит ни то, что считалось вечным, ни то, что рождалось во времени. Однако есть одно кардинальное заимствование, которое оно радо бы, да не может скрыть. Это старая идея «спасения»². Свои неизменные и окончательные решения во всем, что касается человека и мира, не подлежащие обжалованию судом истории (ибо сама всемирная история кончилась, сказано коммунарами-чевенгурцами и подписано идеально бездвигным миром Хаксли), утопия предлагает расценивать как спасительные. Это рай, достигнутый в новом, последнем зоне (веке) и отменяющий течение времени.

Рельефнее всего травестия христианства,

связь с новозаветным обещанием Царства Небесного просматривается в творении религиозного безбожника Платонова — в «Чевенгуре». Здесь выплеснулись чаяния никак не меньшие, чем переход к жизни не по законам мира сего, избавление человека и матери от мук подъяремного бытия. Трудовое заменено даровым (вернее, трофейным, а потому неизбежно иссякающим, имуществом побежденных классов, оставшимся после «разборки гражданской войны»). Несяные поля родят сами собой, и кормить человека им уже не в тягость: под лучами «всемирного пролетария» — солнца, освобожденные от утилитарных тисков хозяйствования, «братски растут» пшеница, лебеда и крапива — «интернационал злаков и цветов», дарующий новую, самородную пищу чевенгурским переселенцам. А те в определенном смысле являют собой избранный народ священной истории, не знавший покоя («У каждого даже от суточной оседлости в сердце споклялась сила тоски»), пока не вселился он в землю обетованную, очистив ее от «буржуев»-абorigенов. Покорители Чевенгура на свой лад воплощают и евангельскую притчу о званых «на пир Царствия», со всех дорог сзывая в свою коммуно убогих и бездомных.

Можно подумать, что эти переключки так настойчивы, потому что «Чевенгур» впитал в себя черты русской народной утопии, переработавшей церковные предания. Но приглядевшись к постройкам, возведенным на совсем иной почве, без труда заметим тот же заимствованный каркас. Так, везде присутствует идея нового, второго рождения и «крещения» новыми именами. Опять-таки находим ее и в «Чевенгуре»: в прямой, наивной форме она заявляет о себе у «перекрещенцев»-коммунаров, которые восхотели утвердить свое обретенное достоинство, назвавшись Христофорами Колумбами и Федорами Достоевскими; а в форме философски многозначительной — у самого автора, ибо его герой Дванов как бы переродился из прежнего Иванова, словно библейский Аврам, переименованный в момент избрания в Авраама посредством изменения одного звука. Но и у Хаксли — едва ли не то же самое! Обитатели «дивного нового мира» носят обновленные имена, отсылающие к знаменитостям, которые жили в эру промышленной и пролетарской революций, к тем, кто, по мысли автора, создавал основы научной мощи будущего (Дарвин, Гельмгольц, Бернар) и его идеологического вооружения³.

³ В романе Хаксли эмблематика имен в высшей степени принципиальна, Дело в том.

² Согласно Философской энциклопедии (М. 1979, т. 5) спасение — «предельно желательное состояние человека, характеризующееся избавлением от зла — как морально-го... так и физического».

Крайняя разновидность того же символического акта — отказ от собственных имен как таковых, в романе «Мы» заменяемых «нумерами». У нас этот способ регистрации людей неизбежно вызывает в памяти учетную практику сталинского и гитлеровского лагерных «архипелагов». Такое опережение реальности писательским воображением, впрочем, поразительно только на первый взгляд. Здесь имеет место не историческое ясновидение, а скорее логическая дедукция из отлично известных Замятину демонстративных переименований. Выявляются их закономерные плоды. Произвольно отрекаясь от себя прежнего и присваивая атрибут другого лица, человек подготавливается и к безымянности — к тому, чтобы отождествиться с нумерованным местом в коллективном строю.

Наконец, оказывается, что новое общество Замятина — Хаксли — Оруэлла не обходится и без перелицовки центральной христианской мистерии. Для сплочения своих членов и погашения их метафизической тоски оно устраивает обязательные массовые радения, доводящие участников до самозабвенного экстаза. Герой Замятина, Д-503, так и называет это действо: Пасхой. В прагматическом, комфортабельном мире Хаксли и то предусмотрено нечто подобное: группы в двенадцать человек (апостольское число!) сходятся на своего рода «вечери», где причащаются наркотической «сомой» и переживают упоительное единение. Трезвый Оруэлл понял, что в этих оргиях единства «вселюбие» менее вероятно, чем всезлобие: у него люди забывают себя и сливаются в общем порыве на «двухминутках ненависти», объединяемые «образом врага».

Даже вступив на стезю мятежа, Д-503 все еще испытывает блаженство растворе-

что фактически автор «Дивного нового мира» выступил как провозвестник «теории конвергенции»: ему представлялось, что на описанное им грядущее должны работать обе временно враждующие силы: «Господь наш Форд» налаживает производство, а «Маркс» ставит задачу формирования нового человека. Отсюда — два равноправных ряда имен, знаменующих технологические и идеологические святыцы нового общества. К сожалению, читатель русского перевода, опубликованного «Иностранной литературой», не сможет в этом до конца разобраться. В первом ряду имен пропущен наш физиолог Павлов (его рефлексология в 20-х годах обратила на себя мировое внимание, и в оригинале романа зал выработки рефлексов у дрессируемых младенцев называется «неопавловской комнатой»). Во втором ряду англоязызированной транскрипцией до неузнаваемости искажено имя юной героини: она ведь не Линайна, а Ленина.

ния в «мы», когда его подхватывает общий поток. Это-то фиктивное блаженство наряду с отменой жизненного риска позволяет «благотетелям» и «старшим братьям» рекомендовать возглавляемый ими социальный порядок в качестве земного рая. В обмен на такой рай они предлагают пожертвовать свободой — источником беспорядка и разобщения. В кульминационный момент своего бунта герой антиутопии, как правило, встает перед альтернативой, которую слышит из уст главного идеолога «нового мира»: свобода или счастье. И стоит ему поверить этой лживой дилемме, как он оказывается в плену у невыносимого для него порядка не только физически, но и интеллектуально. Если таков рай, он выбирает ад и адские средства освобождения.

В отличие от Достоевского, у которого слушатель Поэмы о великом инквизиторе, Алеша Карамазов, немедленно распознает обман, Замятин и Хаксли, подхватившие тот же сюжет, не опровергают эту дьявольскую аргументацию. У Замятина последнее слово остается за героем, приравнявшим райское состояние к застою, скуке, энтропии; все живые начала жизни — динамичность, непредвиденность, увлекательность, «солнечная лесная кровь» — достаются тут на долю «ада». Свобода, которая предпочтена унылому раю, мыслится исключительно как «адская», разрушительная, влекущая к мировому катаклизму. Борцы с властью Благотетеля и с его раем объединяются в романе под девизом «Мефи», заявляя себя адептами «прекрасного юноши» — Мефистофеля, демона, Люцифера. Д-503, столкнувшись с «математическим доказательством» конечности мира и, значит, ограниченности его динамических сил, переживает форменный идейный крах, обратный по своим причинам тому, который испытал «логический самоубийца» в «Дневнике писателя» Достоевского, уверившийся в дурной бесконечности Вселенной и решивший, что жить в таком адски-бессмысленном мире не стоит. Хаксли, подобно Замятину, тоже не оспаривает противоположности «свободы» и «счастья», когда приговаривает своего выбравшего свободу героя к сокрушительному поражению — и в роли возлюбленного, и на попроще политического борца, и в аскетическом подвиге. И тем самым экспериментально подкрепляет лукавый маневр Главноуправителя Монда, который в решающем диалоге с мистером Дикарем умолчал о жизненных и творческих радостях, невозможных без свободы, а представил ее чем-то вроде ключа к ящику Пандоры: вместе со свободой, дескать, в мир

врываюются одни болезни, горести, пороки, социальные потрясения.

Зато Оруэлл объяснил, в какую ловушку попадает человек, возненавидевший тоталитарное общество, но остающийся под гипнозом его идеологии. Мятые герои «1984» дают «адскую клятву» не останавливаться ни перед каким преступлением в борьбе за свободу от ненавистного им Ангсоца, и этот же Ангсоц в лице своего теоретика О'Брайена деморализует их, когда в решающий миг ловит на слове: вы не лучше нас!

Итак, борцы против «дивного нового мира», по существу, разделяют философию этого мира. Вслед за своими оппонентами они не мыслят иного благоденствия, кроме как в неволе, иного «я», кроме обособленного и мятежного, иной соборности, кроме лагерного сосуществования. А ведь это регресс от гуманизма, завоеванного христианской цивилизацией, к архаическим, массивным, доличностным эпохам человеческой истории. Недаром трудовые массы в «Мы» движутся поступью ассирийских воинов. (О. Мандельштам почти одновременно с Замятиным тоже обращался к образу ассирийского мира, желая передать угрозу, нависшую над нашим веком: «...ассирийские крылья стрекоз, переборы коленчатой тьмы».) Правда, представленный в антиутопиях коллективизм держится больше на сыске и взаимной слежке, чем на культовой монолитности, свойственной древним деспотиям.

И если цивилизации седой древности еще не открыли для себя идею человеческого братства, как не выработали они идею личного достоинства каждого из братьев, сыновей одного отца, то «сироты земного шара», чевенгурцы, несмотря на удивительную близость в их сообществе, уже перестают считать себя братьями.

Невозможно переоценить всю значительность реплики, брошенной вождем чевенгурцев Чепурным: «Товарищи! Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь: у всяких братьев есть отец, а многие мы... безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи, ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества».

Это спор не о словах. Не случайно община, которая в других отношениях взялась исполнять максималистские чаяния, унаследованные от верующей психологии, именно здесь предлагает такую замену. И не случайно Платонов, последователь многих идей Н. Федорова, как раз тут, в своем грустном сочувствии чевенгурцам, отказывается от центральных понятий федоровской «фи-

лософии общего дела» — от «сыновства» и «братства».

Что же из этого вытекает? Не имея «отца», чевенгурцы целиком, «как товар», переходят в собственность друг друга: каждый без остатка вручен другому. У имя товарищества у каждого отчуждается даже не жизнь, полагаемая «за други своя», а «самость», составляющая человеческое лицо. В чевенгурской общине подобная взаимопринадлежность действует напрямую, без посредников: еще никто не заведует распределением этого нового вида имущества. Такой неорганизованный и непосредственный «коммунизм жизнью» только примечтался создателю «Чевенгура»; Платонов не мог примириться с барьером собственности, разделяющим людей, и доводил это чувство до последнего напряжения.

В отличие от него авторы антиутопий очерчивают тип общества, в котором сформировалась посредствующая инстанция, «внутренняя партия» (Оруэлл). Она ведает не только материальными благами, но в первую очередь «живым товаром», предавая каждого в руки соседа, а себе оставляя власть над всеми.

И вот на этапе, следующем за чевенгурской идиллией, в эпоху «большого террора» право всех на каждого осуществляется не по линии интимных и душевных отношений, а в области массовых политических доносos («Тюремщиками... были все» — «Приглашение на казнь»). В виде подачки из административного фонда подвластным выделяется доля власти над жизнью и благополучием друг друга, но эта подачка с лихвой возвращается назад в верховную инстанцию, приращивая ее мощь. В результате каждый, как это изображено в романе Набокова, становится «имуществом» не своего товарища, а палача.

Появление этой инстанции неизбежно, потому что абсолютное равенство и обобществление, когда человек перестает принадлежать самому себе, не может стать ни добровольным, ни привычным: чтобы это состояние сохранялось, кто-то должен поддерживать режим насилия. Впрочем, и Платонов намечает самозарождение в безвластной чевенгурской коммуне начатков организованной принудительности: «Организация — умнейшее дело, — размышляет кандидат в инквизиторы местного масштаба Прокофий Дванов, — все себя знают, а никто себя не имеет» (разрядка наша. — Р. Г., И. Р.). Такая «организация» продемонстрирована затем в платоновской «Шарманке» — там кучка добравшихся до власти управленцев не хуже «внутренней

партии» Оруэлла морит голодом целый край, осуществляя над ним идеологическое руководство.

«При организации можно много лишнего от человека отнять», — слышим мы далее от Прокофия, и хотя это говорит начинающий хапуга, формулу его не следует понимать в чисто материальном смысле. Ведь гут же Прокофий указывает на возвышенную, жертвенную, так сказать, сторону желанного ему положения: «Только одному первому плохо — он думает». Всего сладостней отнять у человека его самостояние, «лишнее» при чевенгурском устройстве, и к тому же высшую сладость господства над личностью выдать за бескорыстное несение бремени — трюк, регулярно повторяемый всеми «первыми», начиная опять-таки с самооправданий великого инквизитора.

4. Тайна «внутренней партии»

Прокламируемая цель социальных утопий — общее благоденствие, но затеянная ради него переделка человека вскорости открывает себя как единственно реальной целью. В этой переделке есть своя методическая последовательность, которая может быть принята за рациональность. В погоне за организованным добром утопия по ходу дела превращает хаотическое и бессистемное присутствие зла в мире в единый мир организованного зла. Так, очевидно, надо понимать эпиграф к антиутопии Хаксли, найденный писателем у Бердяева (и почему-то потерянный русским переводчиком): утопии страшны тем, что они сбываются.

Хаксли вместе со многими другими готов поверить, что «дивный новый мир» с его плановой системой выстроен научно-техническим разумом, неудержимым порывом техницизма к реализации своих возможностей. Однако по ряду признаков можно заключить, что этот мир строили не инженеры и философы-рационалисты, но идеологи власти. На поверхности он вроде бы идеологически нейтрален, не то что замятинское общество с его преданностью Идее и пафосом космических завоеваний. Тут царит идол гедонистического благополучия, обеспеченного прогрессом, — и никакого фанатизма!

Но представим себе, как такое общежитие могло возникнуть. Чтобы стало возможным столь безнаказанно месить человеческую глину, формуя из нее нужные заготовки, должен произойти ценностный переворот, убирающий с дороги помехи, которые ограничивали посягательства власти

на личность; как написано у Хаксли, помехи эти — «христианство», «либерализм» и «демократия». Отныне открыт путь для «рациональной» утилизации человека: он рождается как рабочая сила и по смерти используется как сырье.

Но можно ли такое обращение с человеком назвать рациональным, разумным, соответствующим его телесным и духовным данным? Конечный результат оказался, как видим, иррациональным в полном смысле слова! И пусть у Хаксли мы этого не прочтем, но проступающую здесь абсурдность приходится объяснять *libido dominandi*, о которой писал еще Августин, — иррациональной волей к власти над миром.

Новизна заключается в том, что прежде она никогда не выступала в чистом виде.

Обычное восхождение по общественной лестнице совершается при наличии некоторых признаков и качеств, независимых от желания занять верхнее место. Это может быть наследственное право, компетентность, умение расположить к себе народ или массы, прошлые заслуги, в том числе военные, готовность защищать интересы того или иного слоя; это может быть, в конце концов, заразительная одержимость идеей. При «новом порядке», отметающем все эти критерии, отбор и возвышение начинают идти по одному-единственному принципу: наверху оказывается тот, кто хочет быть наверху больше всех остальных. Например, хряк Наполеон в «Скотном дворе» Оруэлла.

Сформированная таким иррациональным образом, власть не выглядит законной ни в духе традиционного авторитарного государства, ни в духе современного правового. Она кажется как бы навязанной извне, хотя сложилась изнутри, и переживается — как нечто предельно самопротиворечиво — как самооккупация. «Диалектика» эта просвечивает в названии романа Замятина: «мы» означает и массы, и коллективного субъекта, диктующего им свою волю.

Фильтр, который исключал бы отбор выдвиженцев по любым иным признакам, помимо пресловутой *Will zur Macht*, описан автором «1984» в виде уже упоминавшейся «внутренней партии» (синоним «аппарата»), а Кафкой — предвосхищен в образе Центральной канцелярии Замка. Принято считать, что в «Замке» отобразилась система Австро-Венгерской империи, помещичье-административная «камарилья», и что, доведя ее изображение до гротескного предела, писатель предсказал рождение больших бюрократических структур будущего, управляющих массами людей на про-

изводстве и в быту. Преимущества нашего позднего опыта позволяют нам все же оппорить этот трюизм. Если в «Замке» и есть что-то похожее на традиционную бюрократию, скорее это каста не чиновников, а их слуг — функционеров, посредничающих между властью и народом в качестве производных ремней. Пусть они беспардонно пользуются преимуществами служебного положения, когда совершают свои набеги на зависимую от Замка Деревню, но их влияние производно от верховного источника господства. Они, как положено бюрократам, действуют по поручению, хотя и нагнетают от бесконтрольности.

Что же касается самих чиновников, то те смаивают на «номенклатуру», которую после чтения Кафки уже не спутаешь с самой дурной бюрократией. Во-первых, это социальное новообразование исключает обратную связь со стороны подвластных, без чего не могла бы работать даже наименее эффективная бюрократическая организация. Все дела движутся только в одном направлении — из Замка в Деревню, а проситель «совершенно разумно» считается несуществующим. Во-вторых, несмотря на бесперебойное испускание инструкций, деятельность здешнего чиновника не формализована и не соотносена с буквой законоуложения; официальную функцию он ощущает как свое жизненное отправление и свою частную собственность. Практика ночной работы в могущественных канцеляриях, язвительно изображенная Кафкой и слишком известная из жизни, предпочитается не только из-за покрова тайны, но и как сугубо домашнее, небюрократическое, свойское дело. Так что слово «бюрократия», в котором все чаще стали находить отгадку сегодняшних драм, не слишком уместно в отношении абсурдной действительности Замка, — от нее закон буквы и закон стола (*bureau*) были бы спасением.

В-третьих, эта власть не ограничивается сферами, которые достижимы для бюрократии, даже предельно коррумпированной и погрязшей в злоупотреблениях. Человек достается Замку целиком. Мы с детства помним, как в опере Пуччини «Тоска» крупному бюрократу из чужеземной австрийской полиции приходится покупать любовь героини обещанием освободить ее возлюбленного. В мире «Замка» «женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание, более того, они уже любят чиновников заранее». Образцового бюрократа Каренина могли не любить, между тем как у членов загадочной кафкианской корпорации, скромно име-

ющих себя чиновниками, «несчастной любви не бывает». «Мы все принадлежим Замку» (слова коренной жительницы Деревни) — это не отношения управляемых с управленцами, это и не податно-хозяйственная зависимость: это рабствование. Но поскольку речь идет о рабстве у Центральной канцелярии, то есть у системы, каждый член которой сам по себе — ничто, а в целом она есть все, перед нами рабовладение нового типа⁴.

В-четвертых, анонимная и трансцендентная власть Замка, как она описана в романе, вообще не регулирует устройство жизни в Деревне, за счет которой она бесплатно живет, — то есть не несет никаких упорядочивающих обязанностей, возлагаемых на бюрократию. Ее голос доносится из телефонной трубки как некий нерасчлененный, хотя и мощный гул, как запредельное пение без слов. Ее делопроизводство — деятельность мистифицированная, лишенная иного смысла, кроме закрепления и освящения бытия самой властвующей группы. Назначение этого фантазмагорического бума — внушить страх и покорность. То, что чужаку-землемеру кажется «врожденным» трепетом перед администрацией, на самом деле не врождено, но внушено методами скрытого террора и поддерживается всеобщей уверенностью, что «за тобой постоянно наблюдают».

Словоизъявления такой власти разгадывать бесполезно. Они рассчитаны не на понимание, а на устрашение. В самой безымянности того, кто стоит на вершине этой пирамиды, — Графа, Благодетеля, Старшего брата, Гениалиссимуса (из новейшей сатирической антиутопии В. Войновича), — мнится какая-то нечеловеческая сила, с которой человек не может и не должен вступать в диалог. Неискушенный герой Замка, одуроченный кажущейся связностью поступающих оттуда сигналов, напрасно тратит свою жизнь в надеждах установить контакт с хозяевами положения. Думается, испытанный антагонист такой системы стал бы руководствоваться девизом «не верь, не бойся, не проси», о котором нам было поведало в «лагерном» цикле Солженицына и

⁴ В реальной жизни такое господство над телами и душами было бы невозможно без тотального экономического отчуждения, признаков которого не видно в самодетельно промышленяющей Деревне. Но в антиутопии — как в мысленном социальном эксперименте — всегда, намеренно или невольно, не учитываются то одни, то другие параметры, без каких моделируемый мир не мог бы состояться. Зато до упора доводятся избранные для анализа тенденции.

следуя которому побеждает Зыбин в «Факкультете ненужных вещей» Домбровского.

5. Чудеса застенка

В «Замке» землемера К. окружает «почти неправдоподобный мир»; в «Приглашении на казнь» Цинциннату Ц., человеку с неусеченной душой, обступающая его среда представляется какой-то дурной копией настоящего мира. На то есть две причины: вырождение мирового вещества под гнетом ложных идей и необходимость заклонить подлинный космос фиктивной действительностью, без чего эти идеи не могли бы господствовать над умами. Перед Цинциннатом виднеются «наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями самолет, который еще иногда пускался по праздникам, — главным образом для развлечения калек». Материальная цивилизация, отрезанная от духовного источника, пережив краткую стадию некоторого мускульно-технического дерзновения, ветшает и становится как бы призрачной⁵. Но (узнаём мы из парадоксальной фантазии «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, созданной в начале 40-х годов) эта призрачность — именно то, что требуется для нужд утопической реорганизации жизни.

В рассказе «Тлён...» (он назван так по имени ирреальной планеты, подставляемой вместо Земли) международное общество заговорщиков исподволь внедряет представление об иллюзорности материи и, навязав такую картину бытия, противоречащую человеческому опыту, продвигается к власти над человечеством. Согласно остроумной выдумке Борхеса, сама реальность, поддавшись соблазну «человекобожеского» переупорядочения, уступает вторжению фантастического элемента и постепенно самоупражняется. Мир становится Тлёном, тленом. Этот, так сказать, крайний случай капитуляции реальности проливает свет на гносеологические корни тоталитаризма.

У Борхеса представлен «заговор» философов-солипсистов. Но внедрить представление о несуществующей реальности нужно им не потому, что они сторонники иде-

ализма, а потому что они заговорщики против жизни. Не обязательно быть субъективным идеалистом или махистом, чтобы стремиться к такому результату⁶, достаточно быть утопистом тоталитарного толка⁷.

Конечно, властители весьма жизнелюбивой оруэлловской Океании не в состоянии вытеснить данную человеку реальность своей собственной, как оно происходит в прихотливой философе Борхеса. Да этого им и не требуется. Ведь можно выйти из положения путем «удвоения» действительности. За привычной действительностью объективный статус признается в той мере, в какой это необходимо для практических нужд существования — проще говоря, затем, чтобы не пронести ложку мимо рта. Но высшие области — исторического и культурного бытия — подменяются произвольными фикциями, образующими как бы вторую реальность, которой верхи могут манипулировать, а низы обязаны верить.

Читателю предстоит в деталях постигнуть всю эту диалектику, когда он познакомится с системой «двоемыслия» и принципами «новояза» в романе «1984». Пока отметим, что главные рычаги здесь — ликвидация коллективной памяти, контроль над прошлым, управление временем. «...Государственная мощь создала новое прошедшее, по-своему вновь двигала конницу, наново назначала героев уже свершившихся событий... Государство обладало достаточной мощью, чтобы наново переиграть то, что уже было однажды и навеки веков совершено, преобразовать... отзвучавшие речи, изменить расположение фигур на документальных фотографиях» — так пишет автор «Жизни и судьбы», знаменательно совпадая с Оруэллом, который описал аналогичные фокусы в «Скотном дворе», а в «1984» изобразил кипучую деятельность целого Министерства правды, занятого непрерывным переписыванием истории. Тут можно вспомнить, что и платоновский персонаж из «Чевенгура» «прошлое... считал навсегда уничтоженным и бесполезным фактом».

«Живешь по крашеному времени», — думает у Набокова узник Цинциннат, видя, как тюремный сторож каждые полчаса смывает нарисованные стрелки часов и опять рисует новые. Такие часы с бездействующим циферблатом можно считать сим-

⁵ Физики пишут: «Установлено, что в замкнутой системе, которая не имеет контакта с внешним миром, происходит постепенная потеря порядка до достижения в конце концов равновесного состояния с максимальным беспорядком» (Карл-Эрик Эрикссон, Сейфул Камаль Ислам, «Первый день творения». — «За рубежом». 1984, № 22).

⁶ ...заметим мы отчасти вопреки взгляду на этот предмет, который выражен в статье А. Гангнуса «На руинах позитивной эстетики» (Новый мир, 1988, № 9).

⁷ Противоположное, позитивное отношение к утопии см на стр. 248—249 настоящего номера. (Прим. редакции.)

волом остановившегося настоящего, которое при подложном порядке вещей господствует и над прошлым, и над будущим. Прошлое оно изображает как собственную неотвратимую предысторию и заодно списывает на него свои противоречия и дефекты. В будущее оно проецирует свою несокрушимость и правоту, представляя его как все то же неизменное настоящее, но возросшее в количестве и мощи. Прошлое — зона отбросов, будущее — зона окончательных достижений. Лучше всех это, может быть, понял и описал Оруэлл, но не он первый. У Хаксли один из столпов нового общества внушает молодежи, как ужасно жили раньше: подумайте только, сидели семьями, запертые в собственных домах, опутанные унижительными узами родства. Не так ли отгалицивающий образ капиталиста в цилиндре предназначен символизировать в сознании жителей оруэлловской Океании несправедливый мир до победы Ангсоца?

Таким образом, с действительностью в мире антиутопии происходят форменные чудеса: ведь обратить «рабство» в «свободу», не смягчая его ни на йоту, а «войну» в «мир», не прекращая ее вести, — никак не меньшее чудо, чем превратить воду в вино. А сделать бывшее небывшим, чем поминутно занимаются разнообразные «министерства правды», — под силу, как полагают, например, Данте, одному Богу.

Чудеса эти, впрочем, были обещаны еще великим инквизитором из «поэмы» Ивана Карамазова, возвестившим, что новый порядок будет покоиться на трех китах — чуде, тайне и авторитете. Однако бытийственного чуда новые маги, естественно, сотворить не могут, если не считать превращения бытия в ничто, подобно тому, как в романе «Мы» Благодетель с помощью специальной установки распыляет казнимого человека на атомы. Полигон инквизиторских чудес — это незащищенное человеческое сознание. Только в нем могут найти себе место и утвердиться спускаемые сверху фикции.

Сюжеты антиутопий совпадают между собой в том, что для полной победы над свидетельствами чувств, над показаниями опыта и здравого смысла, для полной перезарядки сознания одного лишь пропагандно-педагогического штурма оказывается недостаточно. Поэтому в сюжетах такого рода: и в «Мы», и в «Дивном новом мире», и в романе К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», — заостряется тема биоинженерии, хирургического вмешательства в мозг и наркотического гипноза. (Многоступенча-

тые фармацевтические средства обеспечивают полную замену катастрофической реальности усадительными галлюцинациями и в недавно напечатанной у нас повести С. Лема «Футурологический конгресс».)

Но тут выясняется, что, каковы бы ни были возможности, предоставляемые чудесами науки, те, кто хочет овладеть внутренним миром человека, не обходятся без старых испытанных способов. Главным «чудом» светских последователей великого инквизитора оказывается все-таки страх, точнее — устрашение, или террор, гарантирующий собою и «тайну», и «авторитет». Страх втягивает человека в «ложную логику вещей» («Приглашение на казнь»). Без его силы вся остальная «педагогика» недействительна — не будем на этот счет обманываться. Как умозаключает в романе Гроссмана высокопоставленный гестаповец, «основой вечной правоты партии, победы ее логики либо нелогичности над всякой логикой, ее философии над всякой другой философией была работа государственной тайной полиции. Это была волшебная палочка! Стоило уронить ее, и волшебство исчезало — великий оратор превращался в болтуна, корифей науки в популяризатора чужих идей». От себя продолжим: без этой волшебной палочки война снова окажется войной, а не миром, ненависть — ненавистью, а не любовью, бесчестье — позором, а не честью; все постепенно станет на свои места.

Пытки и казни — непременные спутники антиутопического мира. Если они незаметны на поверхности тамошней жизни, значит, они были пережиты этим обществом в прошлом. На взгляд новоприбывшего землемера К., свежего человека, у жителей Деревни были «словно нарочно исковерканные физиономии... казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого битья». И можно поверить, что именно в том и состояла предварительная обработка их покорного теперь сознания.

«Душа и тело — сообщающиеся сосуды», — размышляет Гроссман об уязвимости человеческого духа, к которому подбираются через телесные ворота. В финальных сценах «1984»-го вся победительная риторика О'Брайена не имела бы воздействия, если бы его слушатель в этот момент не был прикручен к ложу пыток и если бы оратор не подкреплял свои тезисы болевым электрошоком. Существующие в лагерном жаргоне образные выражения «достать» и «расколоть» родились из буквального смыс-

ла этих глаголов: человека раскалывают физически и достают его душу.

В антиутопиях Замятина и Хаксли, где изображается научно усовершенствованное и устоявшееся общество далекого будущего, казалось бы, прочность достигнута на путях абсолютного согласия всех между собой и с директивной Скрижалью. Но по ходу повествования авторы недвусмысленно дают нам понять, что и здесь существует множество способов внушить страх и сокрушить сознание, уязвляя человеческую плоть. Рядом с любым благонадежным конформистом безотлучно находятся сыщик, хирург и палач.

6. Я сам, или Человек непрозрачный

В «Приглашении на казнь» Набоков вводит символическую тему «непрозрачности» главного героя — единственного подлинного человека среди «призраков». Возможно, этот образ был навеян любимым писателем Набокова — Гоголем: в «Майской ночи» среди прозрачных русалок-утопленниц у одной только преступницы панночки недобрая душа выдавала себя темным пятном. Мир «Приглашения на казнь» переворачивает эту метафору в соответствии со своей извращенной оптикой. Тут непрозрачность тоже означает аномалию, порок, но такими считается не злая воля, а душевная глубина, трехмерность, наличие «внутреннего человека» — «одинокое темное препятствия в этом мире прозрачных друг для друга душ».

С ним-то и идет борьба в утопических обществах, стремящихся сделать всех, по слову Набокова, «сквозистыми», пронцаемыми друг для друга и для власти. В «Мы» все живут в комнатах с прозрачными стенами и к тому же большую часть суток отдают публичным мероприятиям. В «Дивном новом мире» уединение, конечно, тоже не поощряется. В романе Оруэлла человек круглосуточно находится под наблюдением всевидящего и всеслышающего телеустройства. В чевенгурской общине тот же принцип, мы уже знаем, выразался в пожелании, чтобы каждый был «имуществом» и «товаром» для другого, а расселение по отдельным домам воспринималось как вынужденный компромисс. Наконец, фигуры, окружающие набоковского Цинцинната, — это перерожденцы, уже «просквоженные», изначально лишённые своего человеческого ядра и выгалькивающие из жизни закрытую от их взоров полноценную личность. Ведь преступление Цинцинната Ц., совершенная им «гносеологическая гнусность», в том и заключается, что он не до

конца познаваем для общества, не весь отдается, предается ему.

«Непрозрачность» — синоним уникальности и неподатливости души. Когда в Д-503 пробуждаются любовь, фантазия, рефлексия, жажда уединения и свободы, врач, занятый профилактикой отклонений, говорит ему: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа». Теперь об этом пациенте можно сказать словами мятежной героини: «Человек — как роман, до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать» («Мы»).

Но палач, в чьих руках последний и самый страшный аргумент тоталитарного мира, наперед знает, чем все кончится. И он имеет больше всего оснований вообразить, что добрался-таки до той «последней, неделимой, твердой, сияющей точки... я есмь!», которую ощущает в себе герой «Приглашения на казнь», как и любой протагонист антиутопии. У палача возникает иллюзия, что через «окончательное решение» участи жертвы он полностью овладевает ее душевным содержанием, таким несложным в последние секунды, так запросто сводимым к страху боли и смерти. Эсэсовец Кейзе («Жизнь и судьба» Гроссмана), ликвидирующий узников пулей и шприцем, уверен, что эта элементарная манипуляция раскрывает перед ним секрет человеческого существа. Точно так же в романе Набокова артисту своего дела палачу мсье Пьеру кажется, что после нескольких сеансов садистской обработки приговоренного — после инсценировки побега, бросающей узника от надежды к отчаянию, после оскорбительно-пошлых рацей об удовольствиях жизни, которых обреченному предстоит лишиться, — он наконец добирается до нутра Цинцинната, до его сокровенной «точки». «Строение души Цинцинната, — заявляет он, — так же известно мне, как строение его шеи», — и заверяет своего подопечного: «...Ни один ваш душевный оттенок не ускользает от меня... Для меня вы прозрачны, как — извините изысканность сравнения, — как краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха». Палач-гносеолог претендует, таким образом, на то, что именно он познал непознаваемую, непрозрачную душу человеческую. На самом же деле его «анализ» не простирается дальше утилитарных задач, диктуемых обществом, которое он представляет: испугать, добиться признания, отречения от прежних взглядов. В руках у палача остается труп души, который может быть употреблен в идеологических целях, так

же как труп погубленного им тела — в хозяйственных. Но воцариться в человеческой душе, овладеть ее неповторимой тайной, не разрушив ее самоё, никакой палач не может.

Даже в застенке не отменяется максима: человек страдает от обстоятельств, но не зависит от них. В безысходном мире антиутопий, писавшихся до середины нашего века, гонимый, как правило, не в состоянии изменить своей участи⁸, не может избежать не только смерти, но и унижения, вынужденных покаяний, изъявлений покорности. Но окончательная сдача — капитуляция «внутреннего человека» — остается в его воле: ее может и не быть. Уинстон Смит, герой «1984», сдался и предал свою внутреннюю суть потому именно, что не смог побороть пиетета перед интеллектуальным палачом О'Брайеном, который не перестает быть для него учителем, даже становясь его мучителем. Но там, где у жертвы сохраняется «презрение к насилию» (В. Гроссман), власть насильника кончается.

Субильный и одинокий Цинциннат Ц., трепещущий в ожидании ужасного мига, все-таки не соглашается принять «услугу» палача, укладывающего его на плаху, и говорит: «Сам». Так, в крайней беспомощности, утверждает он свою самость, свое непрозрачное «я» и тем спасает свою личность.

⁸ Кажется, впервые, если иметь в виду книги, заслужившие мировое признание, антиутопическая фабула получает благополучный исход в повести Брэдбери «451° по Фаренгейту»: герой, восставший с оружием против тотально обезличенного мира, спасается от преследований его исчадия — Механического пса и, омывшись в водах пограничной реки, ступает на свободную, живую землю. Повесть с этим символическим финалом вышла в свет в 1953 году и как бы обозначила перелом от безнадежности к надежде для тех, кому выпало жить во второй половине века.

Это «я», эта «твердая точка» — в природе человека, и она же поддерживается в нем культурой и памятью. Недаром оппонент новой «дивной» цивилизации — тот, кого она прозвала Дикарем, — представлен у Хаксли как человек и природы, и культуры. С миром естества его сближает племенная обрядность индейцев, среди которых он вырос, а с христианством и миром старых европейских ценностей — Шекспир, на котором ему посчастливилось воспитаться в резервации. Вольтеровский дикарь — Простодушный Гурон — знаменовал в духе, общем для французских просветителей, естественную жизнь, ее укор цивилизованному обществу, порвавшему с природой. Что касается его литературного потомка, «мистера Дикаря», тут диспозиция существенно иная; в его лице природное вступает в союз со сверхприродным против ненатурального и бесчеловечного. Наивный, как ребенок, Дикарь — единственный взрослый человек среди обитателей цивилизованного питомника. Он в свое время прошел через инициацию, посвящение в духовную жизнь, «ему открылись Время, Смерть, Бог» — все то, о чем не подозревает инфантильное сознание ручных людей. Он свободен.

Всем утопиям, переупорядочивающим жизнь, поперек дороги стоит свобода человека, и они все, от научного «инкубатора» до задушевной чевенгурской коммуны, каждая по-своему, стремятся обойти эту помеху, устроившись без свободы. Теоретики утопизма подбадривают себя на манер О'Брайена тем, что «человек бесконечно податлив», что «природу человека творимы». Однако зловещая и бесплодная практика, о которой поведали антиутопии XX столетия, свидетельствует о том, что задача эта неисполнима: преобразованная в заданном направлении природа человека оказывается уже не человеческой.

Человека можно испортить, но переделывать его нельзя.

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Сергей Костырко. «Будем жить в глубину...» — **Марина Борщевская.** Потерянный рай верлибра. — **В. Турбин.** Босфор, Евфрат и Москва-река.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Александр Архангельский. Из прошлого о вечном — **В. Чалинова.** Кому принадлежит Поднебесная? — **Светлана Семенова.** «Да» сознательной эволюции.

Литература и искусство

«БУДЕМ ЖИТЬ В ГЛУБИНУ...»

Проза молодых в журнале «Урал», 1988, № 1.

Когда река покрывается льдом, это не означает, что жизнь там остановилась. Сдавленная, охлажденная, с ограниченным поступлением кислорода и замедленными биологическими процессами, вода продолжает жить, река несет ее дальше. Вот с чем можно было бы сравнить положение молодой литературы в последние два десятилетия. После оживления на рубеже 50—60-х годов часть ее ушла в глубину и продолжала свое движение там, почти недоступная широкому читателю. Другая же, выхлестнув на поверхность, застывала, являя собою то, что все эти годы было принято называть молодой литературой. «Полцарства за конфликт!» — восклицали критики, всматривавшиеся в движение, вернее стояние, этой вполне благополучной и комфортной литературы.

Несмотря на звучавший все эти годы призыв «дорогу молодым!», подкрепленный изрядным количеством молодежных изданий, отсутствие новых голосов в литературе ощущалось все острее. На молодых всегда возлагалась особая миссия — надевать литературу зрением, слухом, голосом, мыслью, непосредственно рожденными современностью. (Вспомним, какие книги писались в прошлом веке молодыми людьми, скажем, «Севастопольские рассказы» или «Записки охотника», и чем были эти книги для русского общества.) У нас же в последние два десятилетия сущест-

вовал как бы особый загончик для молодежной — назовем ее так — прозы; и в этом загончике не создавалось даже, а просто тиражировалось нечто, внешней атрибутикой должно напоминать молодежную прозу начала шестидесятых годов. Перед читателем возникали все новые и новые герои, механически перенесенные из «Юности» времен Катаева, правда, слегка подретушированные под современность, изысканно жующие на нынешнем жаргоне. С трогательной инфантильностью мучились они проблемами, бесконечно далекими от нашего времени. (Только один пример: фильм Шахназарова «Курьер» — он снят по повести, появившейся в конце 70-х и уже тогда выглядевшей литературным анахронизмом, — сегодня признается чуть ли не главным событием нового, молодого кино.)

И вот, кажется, наступило время, когда словосочетание «молодая литература» начинает возвращать себе исконный смысл. Одно из свидетельств этому — первый номер журнала «Урал». Он целиком отдан произведениям писателей, которые выбирали свой путь без оглядки на литературную конъюнктуру. Конечно, прозу их можно назвать (так уже делают критики) и экспериментальной, и альтернативной, и модернистской, и литературой «андерграунда», а можно, не отгораживаясь от нее подобными определениями, сказать просто:

сегодняшняя литература. Ибо современность ее выражена не только и не столько в новизне формальной, сколько в силе и непосредственности отклика именно на сегодняшние наши боли и радости.

Вот совершенно новое для читателя имя — Олег Хандусь. В своем рассказе «Он был мой самый лучший друг» прозаик обращается к горчайшей из проблем последнего десятилетия — афганской. Нельзя сказать, что о войне в Афганистане у нас не писали. Писали — и стихи, и документальные повести, и даже романы. Но странно: не имели они той популярности, на которую, казалось, были обречены острейшим интересом общества к поднятой теме. Почему? Да потому, что в литературе той полностью игнорировался главный вопрос, мучивший всех нас, — вопрос о характере этой войны. О том, как следует понимать применительно к ней слова «интернациональный долг». На таком литературном фоне рассказ Хандуся воспринимается как чуть ли не первый рассказ об Афганистане.

Повествование ведется от лица ветерана-«афганца». Вот его первый абзац: «Потом уже нравилось врываться в чужие дома, сбивая прикладом замки, выламывая ударом сапога ветхие двери. Да что там! Просто стоять посреди улочки, возле пестрых лавок, уверенно расставив ноги, задержав пальцы на холодном металле автомата. Чувствовать на себе боязливые взгляды дехкан. В этом было нечто упоительное...» О ком это? О наемнике? Колонизаторе? Неужели это о наших с вами мальчиках? Увы... Хандусь показывает неведомый нам страшный жизненный опыт, перевернувший представления его героя о том, что подобает и чего не подобает человеку: «Это называлось чисткой. В мазаных глиной лачугах, без деревянного пола, без мебели, нас встречали окаменевшие лица. Дети распознали по углам и зарывались в грязное пестрое тряпье. Некоторые дома были покинуты. Мы ничего не замечали. Сделав свое дело — перевернув все вверх дном, — уходили. Что с теми, у кого было оружие? Если есть оружие, значит, душман».

В последнюю фразу не хочется вдумываться...

Но вот герои сталкиваются с вооруженным сопротивлением. С крыши дома кто-то «неумело — длинными очередями» отстреливается. Солдаты принимают бой. Друг повествователя Лешка бросает гранату. Крыша снесена, враг уничтожен. Что делать, война — вещь вообще жестокая,

значит, так надо было, переведет здесь дух читатель. Однако читаем дальше — солдаты заглядывают в разрушенный дом: «...в мятом алюминиевом тазу сжался смутный младенец — только что тлевший и еще теплый уголек. Рядом... замерла старуха... уронив... голову в таз... В дальнем углу, под белой с пятнами простыней, вздрагивало тело молодой матери. Еще не растворившийся румянец блуждал по ее усталому лицу».

Первым не выдерживает «лучший друг» Лешка, он взбунтовался, отказываясь принять законность сделанного. Ибо понять и оправдать это для нормального человека противостоит. «Ты ведь не знал, — пытаются его успокоить. — На твоём месте мог быть любой». «Любой. Не знал. — Лешка словно пробовал на вкус эти слова. — А что мы знаем?! То, что если бы не мы, то американцы, что мы друзья Нет, что-то не то мы делаем...» Лешка гибнет, отправившись к душманам договариваться. По сути, это отчаянная попытка остановить происходящее, и Лешка как никто понимает ее безнадежность.

Рассказ невелик по объему, но точен в выборе ракурса, в расстановке акцентов. Афганистан не заканчивается для героя с возвращением домой. Выбитый из колеи пережитым, он чувствует себя крайне неуютно, одиноко в мирной жизни. Горькую усмешку вызывают у него коричневые корочки удостоверения, дающего права на льготы. Не льготы ему нужны, а нечто иное — понимание. Военное участие в афганских событиях было логическим продолжением нашей внутренней и внешней политики застойных лет, и потому общество, пославшее молодых ребят на войну, несет за это всю полноту ответственности. Однако, вернувшись домой, герой сталкивается или с бездумным восхищением, или с обывательской настороженностью («...я его боюсь — такой убить может»). То существенное, что открылось ему на войне, остается невостребованным.

Разумеется, материал, использованный Хандусем, исключителен по драматической напряженности. Но за ним все те же хорошо знакомые социально-нравственные перекосы нашей жизни, к которым мы притерпелись настолько, что не всегда сознаем, когда и чем они могут обернуться. Писатель А. Крашенинников на первых страницах своей повести «Одна-единственная» погружает читателя, казалось бы, в хорошо знакомый ему, читателю, мир: современный город, некий институт, молодой сотрудник, поглощенный работой, на-

учными спорами, борьбой с консерваторами. Настроившись на еще одну повесть о физиках, мы не сразу отдаем себе отчет в некоторых странностях изображаемой действительности. Не сразу понимаем, что с самого начала речь идет о некоем, впрочем, не столь уж отдаленном будущем: цивилизация шагнула далеко вперед, и одновременно почти критическим стал разрыв между техническим прогрессом и духовным, нравственным состоянием общества. Люди же оказались участниками все набирающей и набирающей скорость, практически уже не управляемой ими гонки. Герой повести, пораженный вдруг открывшейся перед ним бессмысленностью своей работы во имя этого прогресса, бежит из города к другу-дачнику. Однако мир, от которого он пытается убежать, настигает его в еще более отталкивающем облике. Если в городе хотя бы по инерции, но еще соблюдались внешние приличия в человеческих взаимоотношениях, то здесь, в крохотном дачном поселке, куда приезжают, чтобы расслабиться, самоощущение человека развитого технократического общества явлено герою во всей наготе. Люди отказались от разума как от бесплодной для них силы, они полностью подчинены своим биологическим, утробным потребностям. Страх, лень, голод, похоть, агрессивность — вот что движет их жизнь. Автор дает жесткие, почти шокирующие сцены противостоющего образа жизни друга-дачника и его жены.

Писатель поставил перед своим героем цель едва ли достижимую: понять смысл движения человечества, а отсюда — собственное предназначение. К сожалению, смелость поставленной задачи и выразительность нескольких дачных сцен — то немногое, что можно отнести к достоинствам этой повести. Собственно, и повестью ее назвать трудно. Это скорее трактат, размышление в лицах, чем художественное произведение, в котором форма (сюжет, образы, интонация и т. д.) вобрала бы в себя сложность замысла. Авторская мысль развивается неровно, с явными сбиться, образы, которые пытается нарисовать автор, больше иллюстрируют, нежели воплощают ее. В результате Крашенинников подводит героя к итогу, который удручает своей банальностью: «Пусть единый, всеобъемлющий и окончательный ответ на вопрос, зачем существует жизнь, невозможен... мы все равно ищем его... И значит, мы приближаемся к нему».

И все же повесть эта заслуживает внимания. Она являет собой как бы момент

перехода от уже отработанных повествовательных манер к новым, позволяющим с большей емкостью воплощать сегодняшнюю действительность. Перехода далеко не полного — традиционная бытописательность спорит в повести с элементами абсурдизма, и тут же автор срывается в открытую публицистичность. Более последовательным кажется путь, который проделал другой уральский прозаик, Александр Иванченко, от вполне реалистического романа «Автопортрет с догом» (1982) к «Технике безопасности I» представленной «Уралом».

Странный мир возникает перед читателем. Поезд. В поезде некий безымянный пассажир мается сложным комплексом изгойства: виной перед железнодорожной администрацией, перед пассажирами, вообще перед всем заведенным в этом поезде порядком. И хотя билет, дающий право на проезд, у него имеется, на протяжении всего повествования он то с надеждой, то с отчаянием обшаривает свои вещи в поисках предмета, который окончательно подтвердил бы его полную лояльность к окружающему.

А между тем поезд живет своей жизнью: ночью в нем появляется группа мужчин, и непонятная угроза исходит уже от их облика — черные шляпы, черные кожаные плащи, черные перчатки, белые воротнички, галстуки, сигареты, зажигалки, — все напоминает герою знакомый образ, некую роль (в остранинном повествовании Иванченко действуют как бы не люди, а роли, изображается не жизнь, а выполнение ритуала). Это государственные преступники. Непонятно только, преступники от имени государства или против государства. Герой наблюдает за их действиями и убеждается, что — от имени. Методично, вагон за вагоном, обходят они поезд, и при их появлении пассажиры послушно встают, как бы с сознанием высшей необходимости происходящего, и на очередной станции их уводят под конвоем. Черные мужчины идут в следующий вагон. Убегающий от них герой мучается страхом перед этими людьми, его пугает сам порядок, делающий законными явно преступные действия, ужасает парадоксальная покладистость пассажиров, но вместе с тем для героя и мира, в котором он обитает, все это выглядит вполне логичным, ему представляется непереносимой мысль оказаться в оппозиции к этому порядку. Финальные сцены повести: на станции назначения черные люди выходят из уже пустого поезда и арестовывают друг друга. Герой

же наконец обнаруживает то, что так долго искал. Это — наручники. Ловко застегнув их на запястьях, мгновенно обретший душевное равновесие, пассажир спрыгивает на платформу. (Я пересказал здесь пусть и центральную, но только одну из сюжетных линий повести.)

Для Иванченко обращение к антиутопии не дань моде, оно продиктовано логикой развития его таланта. Вместе с тем связь с новой повестью прежних, написанных в более традиционной манере вещей очевидна. Уже в «Автопортрете с догом», например, Иванченко показал себя прекрасным стилистом. Он силен в изображении разного рода мелочей: поза ли героя, звучание его имени, мимолетный жест, деталь одежды и так далее — подобные частности возникают в его прозе как бы пропитанными, набухшими жизнью, и в неисчерпаемом богатстве оттенков значимости каждой такой мелочи, как в капле воды, автор пытается уловить мир. Таким вот «капельным» способом строит писатель свой основной сюжет в «Технике безопасности I»: цепь выразительных микроисследований отдельных состояний героя, способного с необыкновенной изощренностью видеть, чувствовать, понимать разрозненные черты окружающего мира, но не способного сложить из этих черт нечто целое. А за изображением изломанного, разорванного сознания возникает в повести объемный и сложный образ мира, сформировавшего это сознание. Мира жуткого, враждебного человеку, но при всей его фантастичности навеянного реальностью нашего столетия.

В первом критическом отзыве на молодую прозу уральцев возникло сопоставление их вещей с западными литературными традициями. Похоже, что одной из проблем, которую поставит молодая проза перед критикой, будет необходимость разобраться в понятиях «заимствование», «подражание», «творческое использование». Вопрос этот имеет не только академическое значение. Ибо форма, как известно, не безразлична к содержанию. То есть, относя написанное молодыми к подражанию чужим образцам, мы тем самым признаем отсутствие в нашей действительности материала, породившего этот новый взгляд на нее. Иными словами, вопрос, заимствования тут или нет, может быть сформулирован и так: правду они говорят или нет?

Давайте чуть отвлечемся и проделаем мысленно такой опыт: попробуем представить себе Льва Толстого как начинаю-

щего прозаика, автора «Детства», в контексте тогдашней русской литературы, а затем сравним его повесть с книгами Руссо и Тёпфера. Подобный угол зрения делает практически невозможной попытку оспорить следующее утверждение: в лице Толстого русская литература обретает талантливое копия своих зарубежных предшественников. Уже очень поразительно сходство «Детства» с «Библиотекой моего дяди» Тёпфера. Но стоит взглянуть на то же «Детство» сквозь освоенные нами «Войну и мир», «Анну Каренину» и так далее, и мы обнаружим, что национальная самобытность Толстого достаточно ярко сказалась уже в первой его повести.

Дело здесь в самом инструменте критики. Прошу прощения за излишнюю элементарность приводимой далее схемы, но в основе методов литературной критики лежит метод сравнительный. Новое, неизвестное сравнивается с уже хорошо освоенным, в процессе этого сравнения мы и пытаемся понять содержание нового. То есть к новому литературному явлению подходим с теми приемами анализа, которые вырабатывались при осмыслении явлений уже сложившихся.

Естественно, что приемы эти помогают увидеть главным образом то, что новая литература берет из уже традиционной, утвердившейся. Для критики это в общем-то нормально; случаи, когда критика успешно прогнозировала дальнейшее развитие литературы, остаются скорее исключением, чем правилом. Главное, чтобы в такой сложной и деликатной работе, как описание и анализ текущего литературного процесса, критика не забывала об ограниченных возможностях своего инструментария. Уже очень узким в данном случае предмет критики — молодая, находящаяся пока в становлении литература.

Вот, например, в одной из недавних наиболее обстоятельных статей в стихах молодых выявлено такое количество заимствований, такое количество поэтической материи, бывшей в употреблении, что напрашивается логический вывод: русская поэзия заканчивается на нынешнем поколении молодых стихотворцев, оно светит отраженным светом и по мере удаления от основного источника света будет неотвратимо угасать. Читатель волей-неволей вынужден согласиться с тем, что необходимый для становления молодого поэта лимит заимствований у нынешних молодых превышен многократно, почти самоубийственно. Но все дело в том, какую функ-

цию выполняют эти заимствования в их собственной поэтической системе — ведь можно предположить и творческое заимствование, когда чужая форма является лишь средством, инструментом для достижения собственных целей. Возможность эту, повторяю, можно только предположить, и решившиеся на этот риск неизбежно окажутся в сложном положении. Как, впрочем, и тот, кто взялся бы оспаривать в свое время тезис о Толстом-подражателе.

Так не плодотворнее было бы, помня о несовершенстве своих методов, искать у новых литераторов прежде всего черты, отличающие их от предшественников, черты, обеспечивающие сегодняшнюю жизнеспособность их вещей. Конечно, ошибок на таком пути будет больше (талант — вещь вообще редкая). И тем не менее это самый надежный путь — довериться собственному чутью на талант. (Я бы ввел в дополнение к основным методам критики такое понятие, как презумпция таланта, и обозначил бы этим неблагозвучным словосочетанием следующее: у талантливого литератора мощностъ собственной творческой энергии всегда преобладает над энергетическим запасом заимствованных форм.)

Сказанное прежде всего относится к Иванченко, обратившемуся к экзотическому для нашей современной литературы жанру антиутопии и сумевшему остаться в нем самим собой.

Гораздо большие споры вызовет, наверно, повесть Андрея Матвеева «В поисках ближнего» (жанр ее обозначен автором как «фрагменты прозы»). Слишком уж много там черт сходства с современной западной прозой, вплоть до графического оформления. Впрочем, автор и не прячет свои литературные пристрастия, они названы в тексте: Хандке, отчасти — Фриш. Отдаленные аналоги в отечественной прозе — «авторская проза» Конечного и позднего Катаева.

Перед нами своеобразный лирический репортаж-исповедь представителя рок-поколения конца 70-х годов. Автор стремится свести литературный вымысел к минимуму, он конкретен в обозначении времени, места, в описании тех реальных событий, свидетелем и участником которых был, он вводит в повествование воспоминания о своих поездках, размышления о любимых книгах, о поразивших политических событиях и так далее. Повествование, разбитое на главки, порой очень короткие, в одну-две фразы, течет свободно, раскованно, почти хаотично, ныряя в прошлое и возвра-

щаясь в настоящее, подчиняясь как бы только настроению рассказчика. И вместе с тем весь разнородный материал скреплен у Матвеева жестко выстроенным внутренним сюжетом, последовательным развитием мысли.

Этот сюжет определен заглавием «В поисках ближнего». Не только борьба с собственным одиночеством, не только поиски друга, о чем многие страницы повести, но шире: поиски подлинного, что реально питает жизнь, что объединяет героя и его современников в поколение. Больше всего меня интересует то, как что-то происходит впервые, заявляет автор, «как впервые бывает вообще все!». Именно впервые, когда поступок еще не превратился в рутину и можно в полной мере ощутить его содержание, понять значение. В сущности, это попытка разобраться, что вокруг настоящее, а что всего лишь атрибут давно утратившего свое истинное содержание ритуала. Какое бы значение ему ни придавалось. Вот, например, ритуал культурный: поклонение Пушкину — престижный дом отдыха на озере под Псковом, скрип гравия под колесами «рафика», на котором отдыхающие отправляются в Михайловское, импозантная экскурсоводша, рассказывающая пикантные анекдоты из жизни поэта, декоративный камень при въезде в заповедную усадьбу, уподобляющий эту усадьбу парку культуры или детской площадке, толчея в тесных комнатах, посещение ресторана перед возвращением. Поклонение это особого сорта, оно как бы переносит Пушкина из сферы духа совсем в другую сферу жизни, где все можно поглядеть глазами, потрогать руками, даже сфотографироваться на фоне... Ритуал, вызывающий у повествователя тем большее отвращение, что ему ведомо величие явления, на которое посвящает это действие.

«В поисках ближнего» повествователь легит в Ленинград, на фестиваль рок-музыки. «...я прилетел с целью не более и не менее, но отыскать утерянную отмычку к дверям моего поколения». Толпа, собравшаяся здесь, может выглядеть и значительной, и нелепой, и опасной, она может внушать (и внушает герою) отвращение, но вот начинается их музыка, и наступает момент единения, слияния — состояние, которое автор обозначает словом явь. Ради этого собрались они со всей страны, ради этого вон тот парень, «ведь он из Красноярска — боже, это еще дальше, чем мой родной город, намного дальше, а ведь прилетел, не пожалел стошни-

ка за билеты да еще чирика за приглашенный». Единение — это, конечно, прекрасно; но вот что их объединяет, что это за музыка, чего они ищут в ней?

И вообще, хорош или нет рок? А не хорош и не плох, отвечает автор. Дело не в роке, дело в нас. Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобраться в себе, нужно понять, что заложено в нас временем.

К сожалению, в подобном пересказе можно только обозначить направление мыслей автора, но нельзя передать интонацию повествования, живую, нервную, элегичную, ироничную, саркастическую, которая и обеспечивает мысль писателя главным — нетривиальностью.

Я не хочу сказать, что повесть Матвеева безупречна. Скажем, нехватка иронии по отношению к собственной фигуре грозит образу повествователя неким романтическим штампом «одинокого безработного прозаика из провинции». Но и при этом проза Матвеева кажется мне безусловно талантливой, а обаяние ее подлинным, идущим не от игры в литературу, а от жизни.

Если попробовать выделить два наиболее характерных качества сегодняшней молодой прозы, то ими будут, во-первых, стремление говорить серьезно о серьезном, а во-вторых, тяготение к культуре, наработанной литературой XX века. К сожалению, отсутствие нормальных условий для развития этой литературы, существовавшей до сих пор в узких кружках друзей-ценителей, не могло не сказаться на творчестве молодых. Внутренняя свобода, с которой ведут себя в нетрадиционных для нашей литературы повествовательных манерах Иванченко и Матвеев, пока редкость. Для такой свободы нужна освоенность в накопленной XX веком культуре, освоенность не только читательская, но и творческая, то есть применительно к отечественному материалу, к собственным проблемам, наконец, к своему языку. А ее-то как раз и не хватает.

Вот еще два автора «Урала» — Александр Верников и Владимир Пирожников. Манера Верникова заставляет вспомнить термин «автоматическое письмо». Мерное, внешне бесстрастное не изображение даже, а как бы перечисление того, что делает, думает, говорит герой, помогает автору создать некую повествовательную инерцию, наделять свою прозу определенным, жестко выраженным ритмом и на какое-то время заворочить всем этим читателя. Но очень скоро эффектный прием приходит в противоречие и с тем жизненным

материалом, что выбрал автор, и с теми задачами, которые он ставил перед собой. Проза Верникова терпит потери не только в эстетическом, но и в этическом звучании. Вот, например, сцена из рассказа «Дозорный на границе». К герою, молодому человеку, пытающемуся сосредоточиться на некоем высшем духовном состоянии и отмахивающемуся от быта, как от дурного сна, приходит, что называется, с бутылкой пожилой человек уговаривать его жениться на своей дочери. Дочь ждет ребенка. Автор никак не комментирует ту снисходительность, с которой герой встречает посетителя, видимо, полагая, что при столкновении его мягущегося героя с «мещанским кодексом благополучия» читатель наверняка будет на стороне героя. Но вот ведь не сочувствует читатель герою, по крайней мере один — пишущий эти строки, — ведь как-никак ребенок ожидается. Не ветром же надуло, любовь, наверное, была или что-то еще. Но вот что? Как раз это-то и остается за рамками повествования.

Сложное впечатление оставляет и рассказ Пирожникова «Пять тысяч слов». Древний Китай. Оказавшийся в опале придворный историограф проводит дни в одной из отдаленных беседок императорского парка. Он опытен и мудр. Героиня, юная прелестная наложница императора, обладает острым умом и чутким сердцем. Случайно встретив мудреца, она просит у него совета. Завязываются философские беседы, мелькают имена китайских историков, философов, поэтов, пересказываются легенды и так далее, и все это на фоне прекрасного парка с ухоженными озерами, с порхающими бабочками, с изящно застывшими в отдалении служанками-красавицами, на фоне раскрытых вееров, пурпурных халатов, кисти с «нефритовой рукояткой» и тому подобного. Автор, видимо, пытался поделиться с нами чем-то открывшимся для него благодаря восточной культуре, но, читая рассказ, трудно избавиться от ощущения некоего интеллектуального кича, европейской поделки а ля Чина. Эрудиция и литературные способности автора несомненны, но вот совладать с чужими культурными традициями, на мой взгляд, ему не удалось.

Разумеется, и в литературе, как и в науке, при освоении еще не изведанных путей отрицательный результат обладает своей ценностью, но, увы, не для читателя. Не ради оправдания, а ради справедливости нужно сказать, что творческие неудачи, о которых мы говорили выше,

вызваны отнюдь не литературным дефицитом авторов, расчетом или стремлением подладиться к конъюнктуре. Молодые уральские прозаики производят впечатление честных и добросовестных по отношению к своему ремеслу. Поэтому отнесем пока их неудачи к болезням роста.

О первом номере «Урала» вполне можно говорить как о репрезентативном для сегодняшней молодой прозы, достаточно верно показывающем и ее тематику и направления художественных поисков, ее достижения и срывы. В этом убеждает складывающийся на глазах определенный литературный контекст, отвлекаясь от достоинств и недостатков его слагаемых, я назвал бы здесь прозу Владимира Рекшана и Аркадия Бартова в «Неве», ленинградский сборник прозы и поэзии «Круг», рассказы Нины Горлановой в том же «Урале»,

не замеченную в свое время критикой повесть Бориса Агеева «Третий» и ряд других публикаций. Возможно, что эта молодая литература кого-то и разочарует, возможно, от нее ожидалось больше глубины, блеска, значительности. Но что делать, для того чтобы мускул был крепок и здоров, он должен быть в постоянной работе. Писание же в стол (а именно в таком положении созревали многие из упомянутых здесь писателей) — вряд ли нормальное условие для развития таланта. Для полноценного творчества необходим слушатель, читатель. Нужен диалог молодой литературы с обществом. Теперь читатель у молодых появился. Появилась возможность диалога. Будем надеяться, что он окажется плодотворным.

Сергей КОСТЫРКО.



ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ВЕРЛИБРА

Вячеслав Куприянов. Эхо. Стихотворения. М. «Современник». 1988. 157 стр.

Мы говорим спаси-бо (г) — получая всего лишь навсего билетик в автобусе, благодарю — в ответ на какой-нибудь не меньший пустяк, целую — и восстанавливаем целостность, исцеляем. Даже и в бытовых, стертых, на каждый день словах бушуют могучие энергии.

Мы говорим угрызения совести (угрызла!), извините (выпустите из вины!) — какая горестная сила раскаяния сквозит в неуклюжей грации такого словостроения!

Такова воля родного языка, его детски прекрасный разум, подсказывающий — как жить.

Но повседневный массовый рассудок давно разошелся с разумом языка. Язык нам давно уже не учитель. Кто поможет воссоединиться человеку со словом? Конечно, поэзия! Ведь это поэт открывает в словах гайные люки и выводит нас к таким мирам, где мороз и солнце — день чудесный! — всегда, навеки.

Но и поэзии и слову надо учиться. А может быть, и переучиваться. Тут даже и азбучные открытия и повторения пройденного могут оказаться в пору.

Река речь — читаем в последней книжке Вячеслава Куприянова. И действительно радуемся этому «верлибру» из двух слов, как бы узнавших, открывшихся друг

другу и друг в друге. Какие вихри пронесаты между ними!

РЕКА РЕЧЬ

РЕЧЬ РЕКА

Речь — текучая стихия языка. «А з реку», — говорит пророк и превращается в... реку... То же, кстати, и в забытых стихах Василия Кирилловича Тредиаковского:

Вонми, о! небо, и реку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь я словом потеку;
И снидут, как роса н цветку,
Мои вещания на долы.

Реку у Тредиаковского — и есть небесная река, снисшедшая на долы, ливень творчества, проливающийся на мир, на миру — ради ее преображения.

Связь мудрости, речи и стихии воды, жизни, явленная в самих созвучиях река речь, не может быть исчерпана никакой логикой. Тут тайна живого языка. Могучая система русского корнесловия, укорененная как бы в другой действительности, знает куда больше, чем мы. После десятилетий яростной борьбы со словом общество и государству следовало бы смиренно сесть за парту, не гнушаясь и самыми скромными уроками, о которых мы и пытаемся вести здесь речь.

Ушам, забитым машинным грохотом и громоуханием барабанных слов, к примеру, было бы полезно услышать, что

вот трава: иван-чай,
звучит почти по-китайски,⁷
а вот по-японски: осока,—

что слова «устья» и «уста» однозвучны, что в них поет идея слияния. Устье — место слияния с морем, а уста — с миром: через поцелуи и речь.

Но все это как бы подготовка к верлибру, что-то вроде разминки...

Верлибр — безрифменный стих с его назывательной, безмузыкальной манерой как бы выводится из реальностей XX века. Струна лопнула — стихи (стихия!) распались на слова. Кажется, что судорога прошла по мирам искусства, исказив его традиционные привычные формы. Авангардная живопись начала века констатирует эту идею распада как нельзя лучше.

Все это так, трижды так! Если бы не одно обстоятельство. Оно в том, что верлибр существовал всегда, до всякого модернизма, до всякой «капитуляции» искусства перед разрушительными энергиями XX века.

Верлибр можно назвать поэзией самого слова — не преображенного, а сокровенного, где все первозаданные смыслы мощно и тайно присутствуют. Даже бытовые реалии древних священных текстов (идеального верлибра) преисполнены глубочайших подраумеваний, и притом свежи, как в первый день:

Голубь возвратился к нему
В вечернее время,
И вот, свежий масляный лист
Во рту у него;
И Ной узнал,
Что вода сошла с земли...

В спорах о современной верлибристике есть мнение, что верлибр — просто неполноценная поэзия: ни рифм, ни ритма. Но если традиционная поэзия дышит вместе с дыханием человека, ритмами его сердца, набегам морских волн — то есть дышит вместе с природой, то свободный стих как бы сверхприроден. Его ритмика — более таинственная.

То, что и музыка может обманывать и нести разрушение, знали еще со времен Одиссея: надо было залить воском уши, чтобы не слышать убийственного пения сладкозвучных сирен. Современный читатель поэзии не ведает о подобных предосторожностях — пустота, пропетая в рифму, беспрепятственно достигает его ушей.

Власть музыки над словом настолько может быть велика в традиционном стихе, что из нее вырастает — до преувеличенных, мнимых размеров — целые поэтические репутации. Темное по форме и ничтожное по сути, по своей приверженности

к ничто, — разве не попадали и мы под власть такого художнического обаяния, не очаровывались его мрачными тайнами и фантазиями, спущенными на поток, но пропегыми столь неожиданно и дерзко-певуче, что и далеко не глупые люди кинулись разгадывать их?

Двойственной, двоящейся магии музыки свободное стихосложение противостоит как сама твердыня — смысла, слова. Верлибр и есть слово — одинокое, ничем не поддержанное: самостоянье слова.

Видеть в верлибре только странного гостя на нашей земле — чужеродного и бесталанного — мне кажется не слишком основательным. У нас столько же прав на верлибр, сколько и у любого другого языка, у любой другой культуры. Верлибр — серьезное испытание для поэзии, для ее духа. Отказываться от этого испытания — все равно что закупоривать живые сосуды, мешать кровообращению литературы.

Разве свободное стихосложение не в стихии народной словесности? В очерке старинного крестьянского бытописателя Василия Васильевича Селиванова («Год русского земледельца». 1856) находим замечательный образец народного плача:

Родимой ты сударь мой батюшна!
Погости ты у меня последний часок,
Последню минуточку!
Скажи ты мне, батюшка, отколь тебя ждать
будем?

Где дожидаться?
Где мне с тобой будет повидаться?..

Кто научил этого безымянного автора.. писать верлибром? Неужели «новейшие» французские поэты начала XX века?

В подобных причитаниях, пишет В. Селиванов, выражения «не подготовляются и не обдумываются заранее, а выливаются прямо из груди, мгновенно связанные мысли и чувства...» (разрядка моя.— М. Б.).

Любопытно, что у В. Куприянова есть похожее стихотворение:

...напиши нам хоть одно послание
из-за той кромки,
по которой мы еще ходим,
расскажи, как приняли тебя те,
которые о тебе ничего не знали,
но о которых мы еще помним
и со странным чувством тоже с ними
ждем неминуемой встречи...

Но знаменательно и различие. Рядом с устным верлибром в меру изысканная куприяновская ирония все же проигрывает. Судите сами. Там — гениальная наивность надежды на посмертную встречу буквально переходит... бездну. Ту, из которой и Пушкин черпал залогов бессмертия. Душа в этом

народном стихе кричит, казалось бы, в само небытие. Ведь это же не в уютном кабинете, не под лампой, не фантазирование, а перед настоящим гробом, перед реальностью смерти: «Где мне с тобой будет повидаться?» Где? Где? И в этой «бессмысленной» отваге не принимать очевидности уничтожения — «бессмертья, может быть, залог».

Такой наивной и почти благодатной глубины мы не найдем у современного стихотворца. Взаимоотношения с тем светом у него бумажные, письменные: напиши, мол, как там... От бездны он все-таки закрывается бумагой.

Но главные расхождения лежат в области отношения к слову.

Вера в слово, в его творящую силу и остроумное его использование, молитва и забава — это ли не крайности! Но это, можно сказать, и крайности самого русского верлибра, его реального бытования.

Народный стих о прощании — уже, если можно так выразиться, есть деяние словом; стихи эти тяготеют к молитве, которая всегда происходит из веры в жизнестроительные и даже магические возможности слова. Стихотворение В. Куприянова — совсем другое: это литературная игра, где слово отнюдь не абсолютная реальность, а скорее средство.

Вот Икар, он же, по-видимому, средне-статистический человек, которого буквально окрылили, то есть дали наконец крылья, во исполнении известной мечты («чому я нэ сокил...»):

окрыленный
я рухнул в море.
Братья-птицы,
простите
братьев людей и рыб.

То же проделывается В. Куприяновым и со словом «озарение». Озарение, по Куприянову, — это результат перегрева головы, тугодумной и охваченной невозможными притязаниями («все время ждешь необычайной мысли, которая преобразит весь мир»).

Перелистывая книгу, мы с любопытством обнаруживаем другие игровые словесные комбинации, где, скажем, тот же самый речевой оборот о человеческих крыльях используется совсем по-другому и где его тривиальность присутствует, но в счет уже не берется. Перед нами стихи как бы одно-разового употребления, не связанные между собою. Единный мир личности пишущего здесь, конечно, не проявляется. Да и что же можно требовать от игры!

Эти, порою остроумные, словесные

опыты оставляют в конце концов невеселое чувство. Душа противится механике и приему, на которые, без преувеличения можно сказать, поставила сегодняшняя верлибристика.

Разве естественно, что верлибры, написанные в Тамбове, похожи на верлибры — переводы с английского, а верлибры с английского мало чем отличаются от верлибров с эстонского?

Все та же сомнамбулическая интонация, с одинаковым безразличием обрабатывающая любое содержание, одобренная непременной иронией, с добавками «сюра» или абсурда... Все это делается по одним рецептам и бесконечно, как бесконечна в своем вращении какая-нибудь гусеничная передача.

Есть, наверное (и непременно), счастливые исключения, но мы говорим о том, что слишком бросается в глаза, — о тенденции.

Но вот забавная диалектика: в свободном стихосложении, какое оно ни есть сегодня, язык проходит своеобразное очищение. Верлибр сам стал штампом, зато языковые штампы, стертости смыслов, бытовые, расхожие метафоры скорее выбраковываются здесь самою формою речи. В верлибре нельзя сказать: у меня упало сердце, — с тем чтобы сердце действительно не покатилося... Нельзя сесть кому-то на шею, порвать отношения, потому что все это как бы мгновенно овеществляется и осуществляется. Свободное стихосложение вольно или невольно — зона повышенной ответственности за слово.

В. Куприянов использует эту природу свободного стиха: он то запирает слова, замыкает их в парадоксе — как, например, в случаях с «окрыленностью» или с «озарением», то, наоборот, размыкает привычные связи слов, освобождает их от затертости, такие опыты кажутся мне куда интереснее: от них веет поэзией. Вот стихотворение под названием «Теория безотносительности»:

Внезапные
наплывы мглы,
заменяя
умов,
мрачный разгул
черни —

все отступает
перед благородным постоянством
скорости

света.

Получается, что от века завещанное пророчество и задание о свете и тьме оживает даже в математической формуле. Физики назвали это теорией относитель-

ности — язык и поэзия опровергают их. Здесь уже не просто азбука верлибра, а куда более тонкая его природа — катарсис верлибра. Как бы мгновенное пробуждение, узнавание, прозрение.

Раздумывая о судьбе верлибра сегодня, нельзя не оглянуться назад, нельзя не вспомнить, что русский свободный стих знал мгновения настоящего творчества. Верлибры Хлебникова 20-х годов — погружение в гущу русского корнесловия и одновременно спуск в подземные миры времени:

Когда полет орла напишет над утесом
Большие медленные брови,—

тогда на лице земли, исписанной цивилизациями, проступает другая азбука, непосильная для сегодняшнего человека, но знакомая и влекущая. Таков всего лишь один из

примеров глубины этой верлибристики, которая, по существу, есть целый суверенный континент свободного творчества.

Одних только верлибров Хлебникова хватило бы для оправдания чести свободного стиха. Но там еще и Блок, и Н. Рерих, и Манцельштам, и поразительный Волошин, чья прямая речь к Богу (свободные стихи 1915 года) — событие не менее, быть может, значительное, чем несравненная ода Державина.

Каждый из этих поэтов вошел в русло свободного стихосложения абсолютно своим, единственным путем. Их опыт еще раз подсказывает, что верлибр — не приемы и не профессия, а вольные непредсказуемые пути духа и слова.

Марина БОРЩЕВСКАЯ.



БОСФОР, ЕВФРАТ И МОСКВА-РЕКА

От берегов Босфора до берегов Евфрата. Переводы, предисловие и комментарии С. С. Аверинцева. М. «Наука». 1987. 360 стр.

Сергей Аверинцев. Попытки объясниться. Беседы о культуре. М. «Правда», 1988. 47 стр.

Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Что-то похожее на эту с детства памятную нам ситуацию из «Бородина» происходит и ныне: считаем раны, нанесенные отечественной культуре, считаем товарищей, многих из них недосчитываясь. И, возможно, пора намечать жутковатую типологию утрат и потерь, трагической бухгалтерией подзаныться. Разделов в ее гроссбухах наберется достаточно, и под каким-нибудь двузначным номером будет: утрачена была и традиция филологической мысли, филологического осмысления жизни, ибо и жизнь в каких-то ее аспектах должна становиться предметом филологического анализа; она говорит с нами, да еще и как говорит-то!

«Во тьму филологии влазьте», — незадолго до кончины зывал Маяковский. И жизнь продолжала разговаривать с его соотечественниками на языке неживой и живой природы, на языке архитектурных форм, научных открытий, меняющихся транспортных средств, вообще на языке структур, которыми люди себя окружают. Но влазить во тьму филологии никто не спешил. Напротив, один за другим следовали погромы: громили фольклористов, медиэвистов, лексикографов; формализм, в который все они

якобы впали, был приравнен к самым зловредным идеологическим ересям.

Но филология непостижимо жила. Жила сконфуженно как-то, словно стесняясь того, что она живет, неуместная, как прабабушкин резной секретер в современном офисе: и не нужен, и выбрасывать все-таки жалко. И жила она, уйдя в разрозненные груды, там и сям иногда появлявшиеся, притаившись в медиэвистике и в истории античных литератур: не так заметно, что она филология, к «формализму» предрасположенная.

Сергей Аверинцев долгие годы подвизался в роли, так сказать, академического тихони. Подхватив этот миф о себе, он и в новой, в публицистической, книге своей уверяет нас в том, что он-де «неисправимо кабинетный человек». Что ж, выходит, он затворник наподобие тех, о которых он повествует во многих своих исследованиях, и притом повествует, будто свидетельствуя о своих с ними встречах накоротке? Не думаю. К тому же и у затворников, насколько я знаю, порой иссякало терпение: улавливая веяния времени, они тем или иным образом на люди выходили, со всей мощью своего интеллекта ввязывались в мирские, в гражданские споры.

И в давнем трактате о Плутархе и в

недавно вышедшей антологии Аверинцев дает образцы филологического анализа позднеантичной и раннехристианской мысли, без малейших насилий над нею выявляя ее созвучность происходящему ныне в нашем социальном быту и в нашем сознании. В свежезданной книжечке библиотеки «Огонек» он выходит на авансцену как пропагандист филологического осмысления нами себя самих, филологических знаний. Во всех вариантах их. На всех уровнях. От академического до как бы даже и низшего, периферийного, до уровня повседневного быта, проникновение в который он обнаруживает виртуозное, ибо зоркость и наблюдательность так называемых кабинетных людей сплошь и рядом превосходят наблюдательность профессиональных газетчиков, журналистов: для них-то быт однозначен, а для кабинетного человека быт — неожиданность, новость Кажущиеся заурядными явления быта интерпретируются им на фоне многовековых традиций — как их продолжение или ломка. «Анонимность общественного поведения», ситуация, когда «люди пишут на себя характеристики», — все это попадает в поле его зрения, вызывая неподдельное изумление: шутка ли, сочинять похвальное слово... себе самому! И в целом книжка публицистических статей Аверинцева, его бесед, интервью слагается в оригинальный путеводитель по гуманитарным проблемам современности, в пособие по ее, я бы сказал, созерцанию, имея в виду, что созерцать вовсе не значит безучастно глазеть или даже просто с любопытством рассматривать нечто. Созерцание — осмысление, причем осмысление сущего в обоснованно избранном человеком аспекте. Для Аверинцева этот аспект постоянен: он филолог, то ли один из немногих оставшихся, то ли, хочется думать, один из грядущих.

Миф о сугубой кабинетности Аверинцева издавна сопутствует ему еще и по той причине, что тяготеет над нами предрассудок о приоритете материала над методом. «Попробки объясниться» — слово, в котором современность присутствует зримо, наглядно. Но вообще-то материал, с которым имел дело Аверинцев, представляется от современности заведомо отрешенным: Плутарх, конечно, фигура почтенная, но уж очень древен. Чуткая к новому студенческая аудитория догадывалась, что Плутарх Плутархом, а суть-то в подходе к Плутарху и к античной трактовке биографии человека. Однако даже достаточно прозорливые специалисты на Западе, доискиваясь, кого бы из наших ученых они могли бы перевести, в звучание имени Аверинцева вслуши-

вались отчужденно. Записывали: Awerinzeff. И, по-моему, тотчас же забывали записанное, ибо сенсационными были Bachtin, а впоследствии — Lotman; у тех и материал был куда современнее: гарантирующий любому исследователю популярность Достоевский, Пушкин, Блок, а украдкой даже и пребывавшая в полукрамольных Анна Ахматова; а новации метода с завлекательной откровенностью били в глаза — интригующая «полифония» и чреватая массой соблазнов «карнавальность» у одного, у другого же и вовсе «структура текста» и соблазны предстоящей математизации безнадежно, казалось бы, расплывчатых гуманитарных наук. Ничего хотя бы на сотую долю столь же эффектного из работ Аверинцева выудить было нельзя. А тем временем в них накапливалась энергия филологических исканий, филологических подходов к слову о жизни и к слову жизни, энергия, которая нам еще пригодится: хочешь или не хочешь, а во тьму филологии внедраться придется.

Актуальность Аверинцева, а заодно уж и заново введенного им в наш культурный обиход Плутарха нынче — правда, задним числом — стала вдруг забавно наглядной. Плутарх, оказывается, «убежденно отстаивает идеал гражданской общности и полисной гласности». Стало быть, с Плутарха все и пошло, ибо он говорил: «Подобно тому как свет делает нас друг для друга не только заметными, но и полезными, так, думается мне, и гласность...» Тут уж прямо будто из очередной потрясающей умы и сердца статьи «Огонька» или газеты «Московские новости!» И это за две тысячи лет до нас было сказано, а аналитический выделено Аверинцевым лет пятнадцать назад, когда слово «гласность» звучало безнадёжной архаикой.

В «Плутархе» Аверинцева полно актуальности. Она непринужденна, естественна, она как-то сама собой возникает. Здесь и упоминание о труде Харона Карфагенского с завлекательным названием «Тиранны, сколько их ни было в Европе и в Азии»: видно, уже к началу нашей эры тиранов, «тиранисв — с удвоенным «и» получается еще полновеснее! — на долготерпеливое чело-вечество надвинулось столько, что хватило на целый биографический справочник, выполненный спокойно, эпически; а знал бы Харон Карфагенский, сколько появится их впоследствии, он, я чаю, эпический тон утратил бы. Здесь и рассуждения о своеобразных методологических принципах античных биографов, которые «демонументализировали» историю и, добираясь до семей-

ных тайн живописуемых ими монархов, обличали «взяточничество и казнокрадство» весьма высокопоставленных личностей, таких, к примеру, как Фемистокл; и современные нам высокопоставленные мздоимцы, урви они час-другой для чтения трактата Аверинцева, могли бы всерьез возгордиться: оказывается, род свой они ведут от самого Фемистокла. Словом, довольно давний академический труд о Плутархе сегодня диковинным образом вклинивается в наши события; и ясно, что актуальность нынешних публицистических рассуждений Аверинцева была заложена в этом солидном и, казалось бы, узкоспециальном трактате. И все же не хотелось бы читать этот труд как некий «Прожектор перестройки» в древнегреческом его наполнении, как «Афинские новости». Актуальность лежала глубже.

Есть макрофилология и есть микрофилология. Макрофилология охватывает процессы эволюции слова; и Аверинцев вычерчивал линии, идущие от Плутарха к Монтеню, Руссо, через них к Л. Н. Толстому. В частности, речь шла о тенденции «обновления литературы за счет внедрения сгущенно интимного, «домашнего» материала»; предметом актуализации, таким образом, становилось воззрение на историю. Лихоимствовал или нет какой-либо властелин, это выяснялось попутно; суть была в целеустремленности мысли исследователя, с педантизмом компасной стрелки направленной на выявление в прошлом закономерностей, открывавшихся убежденному и последовательному филологу. Макрофилология вела линию от Афин до Ясной Поляны. Микрофилологии, оперирующей с отдельно взятым мотивом, с понятием, словом, в «Плутархе» тоже было достаточно; но особенно восторжествовала она в новой книге Аверинцева, в составленной им антологии ближневосточной литературы I тысячелетия нашего летосчисления.

К антологии «От берегов Босфора до берегов Евфрата» следовало бы приложить две-три разномасштабных карты — рубеж двух материков, Европы и Азии, заполненный приоткрытой для нас сирийскоязычной культурой, был бы явлен нагляднее, огромность ее была бы видна воочию. В пределах этой культуры сошлись сирийцы, «народ толмачей», и более оседлые копты, принявшие христианство египтяне. «Сирия и Египет — сердцевина нашего ареала», — пишет Аверинцев, ведя подразумеваемой указкой по несуществующей карте. И далее указка упирается в границы Армении, Ирана. Это на востоке. А к западу

указка доходит до Босфора, в отдельных случаях через него перешагивая. Ареал получается впечатляющим: он огромен в пространстве, и столетиями исчисляется время его исторической жизни. И одухотворен он вербальной культурой, которую нам представляют.

Кажется, только Аверинцев — хороший тихоня! — оказался способен как бы единым жестом охватывать и одним мановением очерчивать специфику целых художественных культур. И предстала перед нами сирийская культура как целое, описанное исследователем в предисловии, по деталям рассмотренное им в примечаниях и явленное в сделанных им переводах: что-то вроде соединения греческой литературной традиции с традицией ближневосточной. Их встреча. Обоюдное их узнавание.

Что представлено в антологии? Разделы ее называются: «На перекрестке путей: ранние апокрифы», «Золотой век сирийской литературы», «В пустыне Египетской», «Константинопольский эпилог», «Восточный эпилог». Все логично. И хронологично. И топологично — представлен весь названный во вступительном слове ареал. По жанрам: ветхозаветная книга (Енох), хороводная песня, гимны, отчее поучение, фрагментарные афоризмы-сентенции, театрализованное действо. Мысль подвижников-пророков, дидактиков-аскетов и равноправно вошедшего в это избранное общество мирянина, горожанина-отца, наставляющего на путь истинный сына, от событий начала I века возвращается к временам сотворения мира с тем, чтобы в следующем произведении снова устремиться к событиям от рождения до распятия. Фрагментарность порою заложена в самом жанре, порою же вынужденна, и изволь-ка читать книгу притч Иоанна Мосха начиная с 7-й главы, перескакивая сразу к 20-й. А дальше идут 24-я, 45-я. К концу — 204-я, 217-я. А где 205-я, 206-я и все остальные? Но замысел антологии Аверинцева заведомо предварителен: она дает нам первое представление о мире, в котором две культуры сошлись как бы затем, чтобы еще через ряд опосредованных добратся и до нашего социального быта, внедриться в соборную нашу мысль, проделав путь от Босфора и Евфрата к Москве-реке.

Во всех явленных нам сентенциях, притчах, молениях, сказаниях или гимнах Аверинцев выделяет мотивы: во-первых, пещера; во-вторых, жемчужина, хранящая в этом укреме. Путеводность микрофилологического наблюдения исследователя несомненна, и тут филология частных сулит

перераста в филологию сюжетного развития реалии, преобразующейся в метафору, которая проходит через века, мигрируя из жизни в литературу и вновь возвращаясь в жизнь. Пещера — просто пещера. Но пещера и преддверье могилы, склепа. И символ материнского лона. В пещере обретается истина — жемчуг. Мотив пришел к сирийцам из давних времен, а развитие его можно проследить вплоть до литературы нового времени: мудрец Финн у Пушкина в поэме «Руслан и Людмила», а у Гоголя в «Страшной мести»: «Одинокое сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги». Жемчужина здесь — лампада, и книга, и сам схимник. Но вскоре нагрянет в нашу литературу демон Печорин, и пещера, обернется гротом возле курортного городка: заложенный в мотиве сюжет допускает вторжение в пещеру и inferнальных начал. Века не пройдет, и явится келейка Мастера из романа Булгакова. И уж полностью модифицированный вариант пещеры — мир коммунальных квартир с их пересудами, сплетнями и неутоленной жаждой затворничества: коммунальная квартира — смешение фаланстеры и монастыря, искаженные, наизнанку вывернутые традиции коего в ее быту несомненны. А одновременно, как бы в пику чаду и гаму коммунальных квартир, возжелали мы воздвигнуть доподлинные пещеры, да такие, чтобы все в них напоминало о жемчуге; и возникло сверкающее огнями метро. И на станции «Новослободская», помнится, красовалась мозаика: молодая мамаша к вождю народов дитя простирает; смекай, где тут жемчуг: то ли чадо, то ли этот, к которому его простирают. Да, хранили традиции и даже, так сказать, творчески их развивали; взглянули б на дело рук наших сирийцы да копты, то-то радости было бы им!

Сирийцы и копты, явленные Аверинцевым в его постоянной стилистике тихони, просящего прощения за невежество и предпологающего в собеседнике бесспорное превосходство знаний, подвизались не токмо на пространственном стыке, скрещении двух культур. Был и стык временной: скрещенье язычества, иудаизма и христианства. Человек — и с этим надо их принимать! — мыслился ими как сугубо временный житель материального мира, пришедший сюда из миров трансцендентных. Они видели в человеке хранителя памяти о мире духовном, за целостность этого мира персонально ответственного: даже единое неразумное, а тем более греховное слово

колеблет, дестабилизирует всю вселенную. Мы уже неотторжимы от атеизма, и полностью встать на точку зрения каких-то сирийцев нам не дано. Попытаться, однако же, стоит. И тогда перед нами откроется глубоко поучительная картина освоения материального мира человеком, пришедшим сюда извне и узревшим в материю некую изумляющую его субстанцию. Он изумлен, но одновременно и насторожен: в горних мирах, очевидно, нет языка в том виде, каким знаем его мы; там нет вообще ничего телесного.

Только встав в меру наших возможностей на точку зрения героев Аверинцева, можно как-то понять их трактовку материального мира. Аскетизм их — от осознанного стремления как можно полнее хранить память о бестелесных мирах, но отсюда же и их «карнавальность» (явление, гениально высвеченное М. М. Бахтиным, не могло найти своего продолжения в дальнейшем на основе просветительства, а в конечном счете и атеизма). Тело претерпевает метаморфозы, и родители не узнают сына, поселившегося в их доме в облике странника. Оно испытывает всевозможные муки, в то же время мораль героев антологии не отвергает и некоего профилактического воздействия на него. «Сын мой, — поучает благообразный отец, — пусть лучше мудрый побьет тебя многими ударами железа, чем неразумный помажет тебя елем благовонным».

От грубоватых, выдержанных как бы даже в стиле какого-то позднеантичного натурализма частных — к общему. Пребывание на земле герои Аверинцева трактовали как обязанность действовать: «Там, где человек греко-римской культуры рассуждает и разглагольствует, копт делает». Антология поднимает гигантскую проблему соотносительности веры с деянием, аксиологии веры. И тут надо снова отдать коптам дань восхищения: проблема веры и дела решалась ими бесхитростно, просто. Копт и сам по натуре своей строитель; скажем, учредитель монастырей; и в истории он видит прежде всего деятелей. В обиходе его — образы апостолов: Павел, Фома. Образы инициаторов, претерпевших гонения, но вдохновенно сеявших семена своей веры: делом становилось и слово. Человек в антологии — неустанный деятель. Не оттого ли он как-то удивительно крупен? Нам, привыкшим к детализации, к сопутствующим современному герою подробностям, он странен: не за что зацепиться памятью, потому что действуют здесь непривычно размашисто и без рефлексии. Уверенно

вал и прямехонько на небо вознесся да Господа лицезрел («Книга Еноха Праведного»). Призадумался о диалектике бытия, не реально, так мыслю узрел трансцендентный мир и заговорил «о состоянии душ, разлученных с телом».

И кстати, еще раз о жизни как попроще, на котором душа облекается в тело и научается земной, человеческой речи. Продолжая своих усердных предшественников в науке, Аверинцев обращается к первоначальной, допереводной речи Нового завета. Оказывается, что была это речь, «более похожая на энергичные стихи, чем на прозу, играющая каламбурами, ассонансами, аллитерациями и рифмоидными, сама собой ложащаяся на память, как народное присловье». Новозаветный стиль — это стиль живых слов, слов, как бы удивляющихся фонической близости, с которой выражаются лежащие в разных измерениях понятия, и прямо-таки любующихся своей

многоплановостью. Я рискнул бы сказать, что так говорят поутру, на границе бодрствования и сна, когда с особенной остротой ощущаешь удивительность материального мира, красоту и слова и тела, а полчаса пройдет, и речь потускнеет.

События, разыгравшиеся в первые годы нашей эры в отдаленной римской провинции, в сквериках и в ближайших окрестностях небольшого колониального города, таинственны; об эпохах более ранних мы знаем больше, видим их мы отчетливее. Но одно достоверно: происшедшее там ощущалось современниками как утро — и особая ясность зрения, и неожиданность тела, и свободный ток звонкозвучных, внятных, братски близких друг другу слов.

Может быть, утро и впрямь начиналось?

А о продолжении утра сего повествует нам книга филолога-публициста Аверинцева.

В. ТУРБИН.



Политика и наука

ИЗ ПРОШЛОГО О ВЕЧНОМ

И. Крывелев. Христос: миф или действительность? М. Редакция «Общественные науки и современность» Академии наук СССР. 1987. 143 стр.

О том, почему за этой не содержащей чего-то очень уж нового книжкой выстраиваются в очередь, гадать не приходится. Слишком долго хранили наши историки и философы «блаженную немоту» о Сыне Человеческом, чье рождество положило начало эре, в которую мы живем, и чье имя (по точному замечанию И. Крывелева) «в течение последних двадцати столетий постоянно и громко звучало в истории и в жизни миллионов людей». Мы или переиздавали иноземные труды («Библейские сказания» Э. Косидовского — первое, что приходит на память), или пускали в оборот иноземные же полубалаганные сочинения вроде «Забавного евангелия». Не хочу сказать, что совсем не было отечественных публикаций: в минувшее десятилетие «Наука» и Политиздат обнародовали добросовестные штудии И. Свенцицкой, И. Амузина, М. Кубланова; «Советская энциклопедия» подготовила Философскую энциклопедию, «Мифы народов мира». Но все это или косвенно касалось «роковой» полузапретной темы, или пряталось за частоколом наукообразия, или служило «всеобщим эквивалентом» книгообмена, а потому было недосягаемо.

И вот появляется книжка (журнальный формат, трагически черный колор обложки), которая лишена зауми, продается в обычных магазинах, предназначена для «обычных» людей и, главное, прямо, жестко, откровенно привязана к волнующей всех теме. Сказать, что стиль И. Крывелева изящен, — значит покривить душой: суконных оборотов тут много («он... выступил в роли мессии-страдальца», «не будучи в состоянии дотянуться до вожделенного винограда достоверности...» — и т. д. и т. п.). Но позиция автора сформулирована тем не менее точно, забрало открыто, а это широкий читатель, уставший от уклончивости и двоемыслия, умеет ценить. Вся логика научного «сюжета» (от изложения «рецепции» образа Христа в конце XIX — начале XX века до анализа данных о его историчности) направлена здесь к безутешному выводу: имя, «постоянно и громко» звучавшее в новейшей истории человечества, не более чем миф, сказка, выдумка. Не было на земле такого человека. Так отвечала родившаяся на переломе столетий и расцветшая в 30-е годы «мифологическая» (в противовес «исторической», признающей реальность Христа) школа.

Вот уже сорок лет так же отвечает И. Кривелев. Сомневаюсь, чтобы эта верность своим многолетним убеждениям давала автору внутреннее право под видом абсолютно новой книги (ни малейшего намека на то, что перед нами переиздание, в рецензируемом сборнике нет) выпустить в свет сокращенный и слегка отредактированный вариант своего давнего труда «Что знает история об Иисусе Христе?» (М. «Советская Россия». 1969)¹. Но одновременно это дает и нам возможность нарушить правила хорошего рецензионного тона, запрещающие откликаться сегодня на то, что уже было в ходу вчера (ибо «поезд ушел»), и задуматься: почему в читательский оборот по новому кругу пущено сочинение, «нормативное» для эпохи застоя общественных наук, почему тем самым оно как бы выдано за последнее слово религиоведения, за концепцию конца 80-х годов?

Многое изменилось за прошедшие со времен журнала «Безбожник» годы; немало находок сделано — назову хотя бы раскопки в районе Мертвого моря, где обнаружены рукописи общины кумранитов, — но одно осталось. Спор о том, был или не был Христос реальным историческим лицом, важен лишь для атеистического, или, скажем точнее, внехристианского сознания. Верующий (если он не крайне левый протестант) верит не раскопкам и архивам, а «священному преданию», тем более что знает: все тогдашние документы могли быть уничтожены по велению фарисеев. Даже зная о путаных датировках Евангелий и посланий, он доверяет не им, а чувству, извлеченному из глубин ежедневного чтения новозаветных текстов: для него такая боль, такая радость, такая мера личного участия, такая готовность к страданию за веру с благонамеренным самообманом не сочетаемы.

Так что в споре «историков» и «мифологов» мировоззренческая подоплека отсутствует, и как не согласиться с И. Кривелевым, когда он пишет: «атеистическое мировоззрение с обязательным отрицанием историчности Христа» не связано «ни в коем случае». Поэтому предоставим специалистам разнимать «дерущихся», а са-

ми, спокойно признав отсутствие у «историков» твердых доказательств, фотографий, метрик, справок с печатью и наличие у них некоторых свидетельств более или менее косвенных, а потому неспособных изменить что-либо в корне, задумаемся: какими методами утверждает свою правоту один из последних представителей «мифологической» школы?

И. Кривелев начинает с суровой критики в адрес оппонентов. Лет пятьдесят назад это было сделать довольно легко, спросив: где исторические факты? Всё — подделки, позднейшие вставки. Историк Иосиф Флавий — фарисей и сын фарисея; как же он мог писать, что Иисус «был Мессией», то есть «помазанником Божиим», распятым по приказу фарисеев же, что за абсурд? Тацит не мог знать имени даже Понтия Пилата, не говоря уж о Христе: массовое движение христиан возникло лишь где-то на задворках второго столетия, да и само понятие «новый завет» не имело терминологического хождения... Теперь все усложнилось. Выяснилось, что само название кумранитов — «новый союз»; в 1961 году в Кесарии Иудейской найден обломок плиты с упоминанием Пилата; введен в оборот более ранний список XVIII книги «Иудейских древностей» Флавия, где достоверный фрагмент читается вполне достоверно: «...считают, что он был Мессия»...

Факты — вещь не только упрямая, но и обжигающая при вольном с ними обращении. И. Кривелев, во что бы то ни стало желающий дискредитировать «историков», разрушить опорную для них систему косвенных свидетельств, вынужден как бы «остужать» факты, перекидывать их с ладони на ладонь, поворачивать то одним боком, то другим — в зависимости от того, какую мысль предстоит подкрепить. Скажем, требуется отместить доказательство «от Флавия» как недостоверное. Пожалуйста: иудейский историк ничего не мог знать о Христе точно, но — лишь понаслышке, из устного христианского предания. Однако чуть выше, когда возникла необходимость доказать, что переписи при царе Ироде не было, И. Кривелев рассуждал с точностью до наоборот. Как же! Если всеведущий Иосиф о ней не пишет — откуда же ей взяться? Ведь он так кропотлив в своих изысканиях...

То, что это не случайный логический просчет, рабочий прием, можно подтверждать сколько угодно, пригоршнями извлекая из текста рецензируемой книжки примеры, когда историческим данным приходится раздваиваться, обслуживать несовместимые те-

¹ «Новый мир», кстати, откликнулся на издание 1969 года вполне бодрой и приветственной рецензией кандидата философских наук Г. Баканурского (1971, № 1), насыщенной политическими штампами тех лет вроде «нелепиз библии», «глубокого кризиса» и даже «несостоятельности» религии на современном этапе и проч. и проч. Рецензия эта чрезвычайно характерна для тех лет.

зисы. Вот на одной странице мы читаем: «Маловероятно, чтобы в римский сенат из далекой и незначительной провинции Иудеи было прислано донесение о казни какого-то мастера из Галилеи». Перелистываем три страницы — и наталкиваемся на нечто прямо противоположное: «...все это должно было найти отражение в литературе I века н. э. ...» Ну что тут скажешь?

Однако обратим внимание на слова, мелькнувшие в только что приведенной цитате: «должно было» и «маловероятно». Они как нельзя более точно подходят к избранному И. Кривелевым способу доказательства: ставить под сомнение неудобные данные («малвероятно») и предлагать взамен откровенно гипотетические построения («должно быть»). Невозможно, пишет он, представить себе, чтобы Тацит наводил справки о Христе в архивах, ибо он мог опираться лишь на предание, а оно, конечно же, сомнительно. Не в том сейчас дело, что события, о которых Тацит знал то ли из предания, то ли из архивов, отстояли от него отнюдь не «на 8 десятилетий»; для римского историка, родившегося около 58 года по рождестве Христове, год 33-й был тем же, чем 1937-й для того, кто появился на свет в 1962-м: частью биографии его родителей... Дело в том, с какой легкостью отдается здесь предпочтение недоказуемому перед труднодоказуемым, тому, что «могло быть», перед «маловероятным». Согласно такой методе считать, что Юст не свидетельствовал о Христе, потому как (это выяснилось недавно) был гражданином далекого Эфеса, нельзя. Это маловероятно, ибо он мог значиться почетным гражданином, а жить где угодно. Или: дочь царицы не плясала на пиру, ибо это неправдоподобно. Колебания Пилата, принимающего решение о казни Иисуса, непонятны, поскольку он вообще-то был «жестоким и бессердечным человеком».

На доверчивого читателя подобная система «доказательств от невозможного» способна произвести желаемое впечатление: все зыбко, шатко, ни в чем нельзя быть уверенным, ибо — «маловероятно», ибо — «немыслимо». А что же мыслимо? Что вероятно? Где правда? На это следует мгновенный ответ: здесь! — и широкими, яркими мазками перед нашим внутренним взором набрасывается «наиболее правдоподобный вариант». Мифологический.

Степень «интеллектуального допущения» сразу же возрастает в арифметической прогрессии. Только что звучало: это маловероятно. Теперь слышится: это возможно. У

народов, населяющих Рим, была тяга к «биографизации» богов — значит, так могло произойти и с Иисусом. Существовали стойки — следовательно, евангельская мораль могла использовать их нравственную программу; наиболее вероятным «местом возникновения христианской легенды» кажется И. Кривелеву «не Палестина, а одна из стран иудейской диаспоры» — и так далее и тому подобное. А на что же мы опираемся, на какие источники? Выбор небогат: гимназический лютеранский учебник, романы Эсы ди Кейроша и Фейхтвангера, где «перед нами не просто вымысел, а исторически правдоподобное построение» (видимо, оно правдоподобнее свидетельств Флавия, Тацита, Светония...). Неясно только, почему тогда «поэму о великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского «никак нельзя считать исторически достоверной»; дело, видимо, в том, что первое «вполне возможно», тогда как второе «маловероятно»; первое допустимо, потому что мыслимо, второе не может быть никогда, потому что И. Кривелев думает иначе.

Впрочем, художественная литература не всеильна, особенно современная. Древность была куда изобретательнее — и почему бы не обратиться за помощью к ней? Почему бы не использовать формулировки, бывшие в употреблении еще у античных и (особенно) ближневосточных критиков, противников христианства времен его рождения? Раскавыченными цитатами из римлянина Цельса (II в. н. э.), порицавшего христиан за «непонятные, полусумасшедшие, совершенно невнятные речи, смысла которых ни один здравомыслящий человек не откроет», выглядят проходящие лейтмотивом через все сочинение И. Кривелева упреки: «в ответственные моменты своей жизни Иисус принимает какие-то путанные решения» или — «с точки зрения здравого рассужда здесь все нелогично». Но куда очевиднее связь с антихристианской талмудической традицией: «...на «иудейскую» сущность его (Христа.— А. А.) царства богословы особенно не нападают», — сетует И. Кривелев и укоризненно продолжает: — «...себе самому он позволяет (!) в субботу заниматься целительством». Больше того: оказывается, Христос, принеся свет истины и возможность спасения всем, не выполнил обещания Яхве «возвысить» лишь избранный народ. «Иисус,— сердится И. Кривелев,— считает себя... учителем людей, которых он должен просветить божественной истиной... Кого, каких людей? По логике вещей — евреев... Однако... ко всем наро-

дам обращена его миссия, а не к одному лишь Израилю!... Что же здесь плохого? — спросим мы.

...«Кривелев и Калтахчян — не латунские, а мастера в своем деле, в своих науках. Не принимайте мое мнение на веру, почитайте их работы», — призывает журналистка Е. Лосото (см. ее статью «„Божественная“ полемика» в «Комсомольской правде» от 21 октября 1987 года, где она отвечает критикам нашумевшего памфлета И. Кривелева «Кокетничая с боженькой»). Что ж, конечно же, Кривелев — профессионал; в отличие от Е. Лосото, решившей «заняться просветительством» и тут же по ошибке приписавшей христианству отмененную Христом ветхозаветную максиму «око за око, зуб за зуб», И. Кривелев свое дело знает. Но если даже он способен неоднократно повторить: «Христос на время воплотился в человеческий образ» (то есть впасть в атеистическую разновидность монофизитства, ибо «правверные» христиане стоят именно на том, что божественное и человеческое, встретившись в Христе, соединились в нем «неслиянно и нераздельно» и раны, нанесенные ему во время крестных мук, не заживают после воскресения — «телесного», а не только духовного!); если даже И. Кривелев не умеет разделить понятия храма как архитектурного строения и церкви как небесной и земной «институции» — что же можно сказать об уровне той отрасли научного знания, одним из главных представителей которой И. Кривелев по праву считается?

Здесь не место анализировать все причины ее упадка, но одну, главную, назвать следует. Замкнутые идеологические системы, обладающие монополией на право публичного отстаивания истины, каким в прошлом столетии был у нас священный Синод, а в нынешнем стал казенный атеизм, подобны «родственным бракам», которые, как знает любой читатель романа «Сто лет одиночества», приводят к печальным последствиям. Недопустимость новых концепций и предпочтение переизданий новым трудам — не худшее из них. Обратите внимание: ведь даже спор со статьей «Кокетничая с боженькой» велся не с религиозных, а с общегуманистических позиций (напрасно Е. Лосото расстраивается). Чтобы по вопросам веры с атеизмом полемизировали (публично! печатно!) те, кому она ближе всех — верующие, — до этого мы еще не доросли. А ведь конституционная гарантия равенства всех граждан, независимо от их религиозных убеждений или отсутствия оных, с необходимостью должна вести ли-

бо к «обету молчания» в с е х несогласных сторон, либо (что гораздо лучше) к возможности открытого обсуждения главной для каждого человека проблемы. Для каждого — даже если он не осознает этого!

Конечно, само по себе знакомство с евангельскими истинами или с постулатами Корана еще никого не спасло от блужданий, но мы долго, непростительно долго забывали другое: духовность невозможна без вечности в запасе, и когда рушится картина мира, в которой было место бессмертию, человек начинает искать замену вере, ибо сознание его никогда не примирится со смертью. Заменой может стать что угодно, и хорошо, коли то будет вера в человечество, в гуманные основы бытия (вариант Б. Рассела). А если — в о ж д ь, вознесшийся над страной в сиянии божественного величия, отблеск которого падает на каждого, приобщая его к неумирающей Истории (знакомо по недавнему прошлому, не правда ли)? А если — на ц и я, которая вечна и включает частную судьбу смертного в неумирающую цепь родства по крови (тут примеры можно подбирать из настоящего; попутно замечу, что когда обществу «Память» приписывают какую-то «православность», ничего, кроме иронической улыбки, это вызвать не может: для настоящего, не суррогатного, не националистического христианства «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос», как сказано у апостола Павла)? Вопросы риторические; но вот не риторическое соображение: мы не знаем, что станет очередной заменой. Ведь затоптанный родник ищет выхода, и почва заболачивается.

Я не к тому зову, чтобы наше государство пошло на сближение с церковью: во-первых, вон у нас их сколько, а выбирать пришлось бы одну, обид не оберешься; во-вторых, из практики авиации мы знаем, чем кончается сближение несущихся в противоположные стороны устройств. Напротив, нам нужно действительно полное отделение как церкви от государства, так и государства от церкви, о чем сказал в одном из своих интервью Д. С. Лихачев. Мы хорошо знаем по опыту истории, чем заканчиваются попытки огосударствления религии, — на с и л и е м над свободой духовного выбора и как следствие массовым угасанием веры.

Но практическая демократия заключается в том, чтобы каждый имел право свободно выслушать мнение разных сторон, свободно занять одну из них и свободно отвечать

за свой выбор. Пока же приходится слышать, что синодальный текст Евангелий не критичен (ср. у И. Кривелева), и не иметь критического текста, изданного «Наукой»; бывая в дружественной Болгарии, покупать записи церковных песнопений в исполнении Б. Христова — и не иметь возможности провезти их через отечественную таможню²; знать, что американизированные секты и иранизированные параллельные мечети появляются в основном там и тогда, где и когда закрываются «нормальные» храмы, костелы, синагоги,— и слышать с иных высоких трибун рассуждения о «шпионской» сущности культов... Я уж не говорю о том, что в советское время не переиздавались труды отцов и учителей церкви — Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Григория Паламы (мизерные фрагменты, включенные во всякого рода сборники, не в счет). Что русская богословская традиция, ставшая закваской отечественной философии, и большинство житийных преданий, служащих важнейшим источником истории, полностью выключены из интеллектуального обихода: разве мыслимо достать хотя бы на прочтение книги А. С. Хомякова, епископа Игнатия (Брянчанинова), записки Мотовилова о Серафиме Саровском — величайшем русском святом, жившем почти одновременно с Пушкиным и чтимом в народе наравне с Сергием Радонежским... Что мы дозируем издание философского наследия отца Павла Флоренского «в час по

чайной ложке», в то время как «Умса Press» приступило к выпуску собрания его сочинений (а также сочинений Н. А. Бердяева и Г. П. Федотова), собирает и публикует не менее значительное наследие С. Н. Булгакова. И что вовсе не приходится мечтать о том, чтобы ныне здравствующие выдающиеся богословы уровня митрополита Сурожского Антония (Блюма) имели возможность открыто печататься в СССР. Куда там! Для них бумаги нет. А для «вариативных», полуповторных изданий И. Кривелева или публикации статей Е. Лосото — есть...

Замечательные перемены, происходящие в нашей стране, духоподъемны. Но сферы вечного они пока слабо коснулись. На нем мы продолжаем смотреть из прошлого, уходящего, но еще не прошедшего до конца. Потому и стал возможен факт воспроизведения, матрицирования морально устаревшего текста времен застоя во времена обновления. В этом смысле «старая новая» книга И. Кривелева (переизданная одновременно «на английском, арабском, испанском, немецком, французском и русском языках», как издаются работы установочные, образцово-показательные, служащие ориентиром для нас и для всего прогрессивного человечества) заслуживает не столько серьезной полемики, сколько отнюдь не праздного любопытства: уж очень она характерна.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.



КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЛА ПОДНЕБЕСНАЯ?

Китайские социальные утопии. Сборник статей. М. «Наука», 1987. 310 стр.

Известная по именам Фурье и Сен-Симона (которых никто не читал) в качестве одного из «трех источников» марксизма, утопия давно была легализована в общественном сознании как законная неправильность и почти прогрессивная неполноценность.

Когда в 1956 году были вскрыты вены истории, хлынувшая кровь немедленно запятнала утопию. Подозрение, что это она, лукавая облазнительница, виновата во всем, с годами превращалось в убежде-

ние. Входило в ум и сердце экзистенциалистское и позитивистское (знаменательное совпадение!) разоблачение утопии. Путь к идеалу всегда ведет через колючую проволоку (К. Поппер). Самое страшное в утопиях то, что они сбываются (Н. Бердяев). Запретная социальная фантастика — Замятин, Булгаков, Платонов, Хаксли, Оруэлл — рождала новый духовный максимализм: утопия должна быть уничтожена как категория мышления.

Интересно, что в это же время подобная установка формировалась и на Западе, но в пределах круга либеральных интеллектуалов. «Стон: куда девались утопии,— писала, например, Дж. Шкляр,— исходит от тех, кто тоскует по фашизму или революционализму». Настроение это было недолгим. Для западного ученого, прошедшего социологическую школу Карла Ман-

² Говорят, что совсем недавно (не имею возможности проверить) дано разрешение перевозить через наши священные рубежи две книги религиозного содержания. Если так, то я совершенно отказываюсь понять, почему два тома менее опасны, чем три или четыре, и почему вообще кто-то смеет за меня решать, что мне читать и в каких дозах.

нгейма, утопия — это категория социологии знания, описывающая «всякое мышление, стимулируемое не реалиями, а идеями и символами» (так же как для западного искусствоведа и психолога, одолевшего многотомное исследование Эрнеста Блоха, утопия — категория психологическая, даже физиологическая, отражающая специфическое состояние человека в мире, состоящее в предчувствиях гармонии, близкое тому, которое обеспечивает восприятие музыкального ассонанса, — «презумпция надежды»)...

Но нам было не до объективности. Мы были в слишком серьезном возбуждении, чтобы воспринять безусловный скептицизм Булгакова и трагический идеализм Платонова как начала дополняющие, а не исключающие; или, например, чтобы отметить, что Джордж Оруэлл не просто описывает мир, превратившийся к 1984 году в сплошной концлагерь, но и напрямую связывает его возникновение с дискредитацией утопии. В фантастической оруэлловской Океании все слова утопического ряда — братство, равенство, свобода — вытравлены из мышления и языка, а мечты и сны о «золотой стране» караются смертью как «мыслепреступление».

Мы еще не знали, что в Новое время на Западе число утопий стремительно росло, а XX век можно справедливо назвать панутопическим. Почти универсальным было убеждение, что есть времена и страны, чистые от утопии, — например, «резвый» Рим (хотя историкам известно, что по приказанию Августа было уничтожено несколько тысяч «пророческих книг», содержавших низовые мессианские утопии и мифологему «золотого века»). Преемники Августа превратили эти идеалы в идеологию, поражающую своим абсурдом: приход «золотого века» праздновался при каждом новом императоре, но народная утопия жила сама по себе)...

Китайская версия мифологемы «золотого века» представлена в открывающей сборник статье А. Мартынова «Конфуцианская утопия в древности и в средневековье». Понятия «конфуцинство» и «утопия» знакомы понаслышке каждому, но утверждение, что это по существу синонимы, — неожиданно. Достижения утопической мысли в Китае никак не меньше, чем в Европе, пишет А. Мартынов, именно потому, что само духовное основание более чем двухтысячелетней китайской культуры, конфуцианство, «по своим фундаментальным предпосылкам может быть названо утопическим».

На всех этапах развития конфуцианско-утопической мысли — древнем, ханьском и средневековом — «золотой век» понимался не как естественное благоденствие, а как результат идеального правления. Читатель ясно видит, что этот организационный утопизм сформировался в атмосфере повышенного спроса на средства достижения единства Поднебесной. Утопическую презумпцию этого периода автор формулирует так: «Если высшая государственная власть будет принадлежать «совершенно-мудрому», а помогать ему будут мудрые и благородные, то в обществе наступит благоденствие, подобное тому, которое было в период идеальной древности».

Такая установка неизбежно должна была испытать кризис, столкнувшись с реальностью борьбы за императорскую власть. Императорская идеология вышла из этого кризиса просто: каждый монарх просто объявлялся шэном — совершенномудрым. Философам оставалось «довольствоваться реваншем в диахронии, в историографии, беспощадно обличая недавних «совершенномудрых» как бездарных и порочных самодуров или одураченных ничтожеств».

«Государственная утопия» следующего периода — эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), — представленная особенно ярко в творчестве Дун Чжуншу, радикально «ускорила» сроки возвращения к «золотому веку» и изменила образы главных утопических персонажей — правителя и его советника. В цитируемой А. Мартыновым декларации той эпохи идеальное состояние не только людей, но и природы непосредственно выводится из «хорошего состояния августейшей персоны».

Знакомимся мы и с политической утопией средних веков на примере трактата танского конфуцианца Хань Юя «Исследование пути». Предлагаемая в нем радикальная общественная перестройка состоит из двух частей. Программа-максимум — это жесткая и прямолинейная программа удовлетворения первичных потребностей людей. Программа-минимум сосредоточена на идеологической однозначности и цельности образцового общества и включает советы по ликвидации буддизма и даосизма (что и было осуществлено в середине IX века в самой жестокой форме, но не пришлось, замечает Мартынов, тех благотворных результатов, на которые надеялся Хань).

Другой автор сборника, А. Кобзев, стремится выяснить, почему при ярко выраженном утопизме конфуцианской мысли в ней не было создано таких законченных

социальных утопий, как «Государство» Платона и «Утопия» Мора. Главным объективным препятствием развитию самостоятельной, систематической утопии А. Кобзев считает «предельную социально-политическую ангажированность конфуцианства», добившегося уже во II веке до н. э. статуса официальной идеологии: «Поэтому весь социально-утопический пафос чаще всего сводился к мечтам о заполнении «хорошими людьми» уже существующей административной структуры». У конфуцианского мыслителя не было той критической позиции по отношению к действительному порядку вещей, которую в европейской культуре создало признание трансцендентного бытия, высшего и независимого начала. Не было у него и конкретного образа альтернативной социальной структуры — Церкви, Града Божия. Лишенный возможности обратиться к трансцендентным сущностям, конфуцианский мыслитель мог опираться только на конвенциональные аргументы, что, по замечанию Кобзева, «отражает конфуцианский принцип „ограничения учености посредством правил благопристойности“». Умозрительная отвлеченность конфуцианских утопических концепций позволяла легко переводить их из социологического ряда в космологический. Так, концепция изменения — гэ (тянь) мин — требовала не конкретных реформ, а вообще «нового мышления», детализируемого как новые музыкальные формы, системы мер и весов, грамматические правила и т. д.

Радикальному сомнению подвергает автор статьи традиционное толкование утопической концепции Великого единения (датун). Эта концепция прокламирует в качестве идеального состояния общества принцип «Тянь ся вэй гун», переводимый обычно как «Поднебесная принадлежала всем». После ряда семантических, графических и текстологических сопоставлений А. Кобзев приходит к выводу, что данная формула означает такое состояние Поднебесной, при котором все в ней однородно (тун лэй) и гармонизировано, как в едином здоровом организме с ничем не нарушенной иерархией органов и их функций. Определение «гун» в применении к Поднебесной означает отнюдь не принадлежность всем, а, напротив, принадлежность «главным» — гунам. И сама «справедливость» в конфуцианской утопии понималась только как правильное единоначалие, соответствующее космическому порядку.

Увлеченному рассуждениями А. Кобзева читателю следует помнить, что его статья

посвящена конфуцианской утопии, иначе он с недоумением воспримет представленный в статье Е. Завадской «художественный образ утопической мысли», пронизанный той самой трансцендентностью, которой, по Кобзеву, в китайской утопии нет и быть не может. Но предмет исследования Е. Завадской не конфуцианская, а даосская утопия, в первую очередь «Персиковый источник» Тао Юаньмина, идеал блаженного сада культуры, Телемской обители, прибежища мечтателей и чудачков всех времен и народов. Даосская утопия — утопия свободы, а «эстетическое, — как утверждает цитируемый автором советский философ, — выступает как своеобразное воплощение свободы». Е. Завадская не касается в своей статье проблем равенства, ибо для нее «главное состоит в том, что сам объект утопического описания имеет художественную структуру». Сам Китай у автора в конце концов преобразается в образ пленительного инобытия — «цивилизацию дамб и запруд под ликом вечного неба». Страна, не знавшая островных утопий, отсюда, с европейского материка, кажется островом фантазии, неподвижной «золотой землей»...

Подобно участникам последнего крупнейшего симпозиума по утопии (Билефельд, ФРГ), автор статьи видит в утопии рационально-художественное освоение того, что все равно уже дано человеку в метаисторических формах мышления — эсхатологии, мифологии. По мнению Завадской, полна иллюзий и поэтому глубоко утопична сама обыденная неорганизованная жизнь. (Напомню, что Бахтин считал роман — жанр, имитирующий обыденную жизнь, — соприродным утопии, ибо он «несравненно ближе и роднее будущему, чем прошлому.») Надо, однако, признать, что в статье Е. Завадской утопия, ограниченная специфическими жанровыми рамками, лишена своей важнейшей — критической, обличительной — функции, хотя сборник в целом и компенсирует этот перекос с избытком.

Пленительный образ инобытия разрушается уже в статье С. Серовой, которая формально тоже посвящена художественному образу утопии («Социальный идеал в пьесе Тан Сяньцзу „Сон о Нанькэ“»). Прекрасный сон о блаженной муравьиной стране, расплосженной в дупле дерева, приснившийся на рубеже XVI и XXVII веков (пьеса датирована 1600 годом) одному из идеологов демократической Тайчжоуской школы, мечтавшей об «уравнивании людей в онтологическом, этическом и

гносеологическом аспектах», несет в себе идеал, в целом отвечающий гипотезе Кобзева о природе китайской утопии. Хотя по религиозно-философским своим истокам Тайчжоуская школа (если я правильно поняла автора) не ортодоксальное конфуцианство, а скорее буддийско-даосская ересь, «муравьиное царство» представляет собой все ту же благополучную, но глубоко иерархизированную бюрократическую систему. «В Нанькэ трудовые повинности и налоги незначительны, урожай обильны... народ и чиновники, живя в согласии с природой, легко находят общий язык... И народ воздает должное своему правителю. В каждой деревне ставят стелу, прославляющую его дела». Но правитель покидает сие блаженное место. Отчего? Оттого ли, что с муравьиным народом все-таки скучно и душа жаждет совсем иного идеала — мира, где деревья не отбрасывают тени? Или его просто «перемещает начальство» — всесильное даже во сне? Ведь снится этот сон человеку, друзья которого уходят в мир иной не добром: кто погибает в тюремном застенке, кто убивает себя на пороге ареста. Трагические интонации тайчжоуской утопии подготавливают читателя к переходу от конфуцианства в мир даосских фантазий.

О политическом мессианизме низших слоев, еретических мечтах даосских сектантов и участников восстания Желтых повязок рассказывает статья Е. Торчинова «Даосская утопия в Китае на рубеже древности и средневековья». Перед нами «молочные реки» народной утопии, которые окрашиваются кровью, принимая в себя горячие струи политического мессианизма. Даосская утопия выдвигает идею перехода власти от царя к мудрецу. Но образ мудреца — мессии Лао-цзы — является в двух ипостасях: простым людям он обещает «радости рая», и притом самолично; однако в беседе с реформатором традиции небесных наставников Лао-цзы оказывается всего лишь «помощником императора», который наведет порядок, даже не покинув свой «небесный экипаж». Проклятия в адрес мятежников, которые цитирует Е. Торчинов: «Они смеют думать, что я смешаюсь с этой подлой вонючей плотью, с этими рабами, псами и нежитью...» — живо напоминают бешеные выпады Лютера против Мюнцера. Если в Китае ждали Лао-цзы к точной дате — 370 году, году «металла и коня», и раздавали его адептам амулеты, то в Европе уже в рациональном XVIII веке указывали, скажем, на лисабонское землетрясение 1755

года как на пролог к Царству Божию на земле, а Уильям Миллер, опираясь на текст Пророчества Даниила, вычислила дату второго пришествия — 22 октября 1844 года...

Даосской утопии не только свойственно трансцендентное начало, она дает высокие образцы подлинно «мистической утопии» — захватывающие картины эволюции человечества, сопоставимые с философскими, религиозными и научными откровениями В. Соловьева, В. Вернадского и Тейяра де Шардена. Духовный Солярис, созданный воображением Тань Сытуна (во второй половине XIX века), — мир, где нет ни неба, ни земли, ни бога, ни человека, — предстает у Е. Стабуровой (статья «Утопия Тань Сытуна») и как духовная и как социальная альтернатива существующему. Утопическая модель, представленная в другой ее статье («Утопии китайских анархистов»), вызывает особый интерес своей действительно радикальной социальной альтернативностью. Тут невольно скажешь: то у всех, а то — в Китае. Авторы классического труда по утопии Ф. и Фр. Мэнюэли первыми указали на тот парадокс, что хотя анархия — безусловно утопический феномен, в Европе нет ни одного романа-утопии или просто описания будущего совершенного общества, автор которого считал бы себя анархистом. Но китайские анархисты (эмигрантские группы в Токио и Париже в 10—20-х годах XX века) создали несколько глубоко разработанных утопических проектов, один из которых замечателен обращением к проблеме качественной разнородности труда, о которую разбиваются все социальные реформы по упорядочению оплаты, рабочего времени, реформы управления. Еще Аристотель писал, что есть «труд», неизбежный для физического выживания, — удел рабов, есть «работа» тех, кто улучшает и украшает существование (строит, учит, лечит), и есть «деяние» философов и политиков (философ не находил в таком разделении ничего противоземного). Для Лю Шипэя, привлекательный образ которого создан в статье, качественная разнородность труда не просто проблема, но поругание сокровеннейшего завета общечеловеческой и национальной духовной традиции, завета единства. Его наивно-арифметический проект преодоления неравенства через возрастную регламентацию работ и профессий (в 21 год все строят дороги; в 23—26 — дома; в 46—50 — все учат или летат и т. д.), даже сама формула проекта: общество «равной

затраты физических сил» — поражает близостью к фантазиям Андрея Платонова, к отмеченной Н. Бердяевым запредельности русского коммунизма.

Запредельностью дышит и представленное в статье Н. Калюжной национально-моральное государство, созданное в начале XX века фантазией Чжан Бинлиня (Чжан Тайяня, одного из лидеров революционного союза «Тунмэнхуэя»). Здесь сама структура общества осмыслена в абстрактно-нравственных категориях (из шестнадцати групп только шесть считаются нравственными по природе: земледельцы, ремесленники, торговцы — бродячие и оседлые, книжники и профессионалы — врачи, художники, каллиграфы). Чрезвычайный интерес представляет полемика Чжан Бинлиня с другими мечтателями о народном благоденствии. Так, он отвергает популярную во всякой революционной идеологии концепцию деления морали на общественную и частную: «...тот, кто поступает достойно в плане частной морали, наверняка поведет себя достойно и в плане общей морали», — пересказывая в подтверждение своего тезиса легенду о спасении Дж. Вашингтоном тонущего ребенка (главнокомандующий действующей армией не позволил себе взвешивать две жизни и просто бросился в воду)...

Размышления над сюжетами и коллизиями этой книги подтверждают, что культура Китая, подобно всякой культуре, создавалась как коллаж утопического дизайна, прагматического строительства и стихийной застройки. Определить и оценить роль утопического начала в наличной культуре столь же трудно, как выснить роль утопии в удаче или провале социального эксперимента. Иногда просто невозможно выяснить мотивы действий участников эксперимента, определить степень их осведомленности и добровольности. Эту труднейшую проблему ставит статья Л. П. Делюсина, посвященная идеологии, утопии и практике тайпинов. Законопроект «Земельная система Небесной династии» (опубликованный в 1853 году в Нанкине, только что взятом тайпинской армией и торжественно переименованном в Тяньцзинь — Небесную столицу), а также прокламации и манифесты тайпинов подвергнуты в статье тщательному анализу. Вывод убедителен: конечный вариант «Земельной системы» — не план радикальной перестройки общества, а проект наиболее рациональной организации государства, отстаивающего свою независимость, государства-армии с наследственной, но контролируемой властью, с откровенным делением

на касты солдат и крестьян («Разжалование в крестьяне» — суровое наказание), главная задача которого — снабжение продовольствием и рекрутами.

Зрелость социальной утопии определяется степенью осознания в ней проблем равенства и свободы. Как показано в статье Л. Борох, в Китае эта задача была выполнена идеологом и лидером «Объединенного Союза» (1905) Сунь Ятсеном. Духовная биография Сунь Ятсена, представленная на фоне национально-освободительного и революционного движения и вместе с тем в контексте утопической литературной и народной культуры Китая, позволяет увидеть, как сосуществовали во времени, до поры не пересекаясь, народная мечта об изобилии и воле и интеллектуальные игры с категориями «свобода» и «равенство». Сунь Ятсен упорно противопоставляет китайскую свободу «разрозненной песчинки» европейскому понятию «liberty», объясняя, что оно означает и коллективность и государственность: «Наш национализм и их свобода — одно и то же». Мы привыкли считать, что индивидуализм — западная ценность, по Сунь Ятсену же, напротив, Китай изначально излишне одарен этим сокровищем и его задача — подняться от индивидуализма к государственному мышлению.

Отмечая единство европейской и китайской утопии в основных установках, я, конечно, слышу, что китайская звучит иначе: те же ноты, но как будто сыгранные на разных инструментах. Утопия в Китае была принесена в жертву насущным задачам освобождения от колониальной отсталости и нищеты — сначала бессознательно-стихийно у тайпинов, потом социологически рассчитанно у Сунь Ятсена. Моральные проекты анархистов и духовные утопии мистиков не могли конкурировать с программами военно-революционных союзов. Горизонты идеала приблизились и сузились: в мировоззрении действует закон прямой перспективы. Какую это сыграло роль в последующих судьбах социальных идеалов в Китае, избыток или недостаток «чистого утопизма» оказался роковой гирей на чаше весов — этот вопрос стоит вне хронологических и теоретических рамок сборника и не может быть предьявлен в качестве упрека первому и бесспорно удавшемуся комплексному исследованию духовной культуры Китая, осуществленному талантливым коллективом на истинно демократических началах.

В. ЧАЛИКОВА,

кандидат философских наук.

«ДА» СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. Предисловие и комментарий
Б. А. Старостина. Перевод с французского Н. А. Садовского. М. «Наука». 1987. 240 стр.

Книга французского ученого и философа Пьера Тейяра де Шардена (1881—1955) — из небольшого числа книг, которые дают свой ответ на вечный вопрос о смысле явления человека в мир, о высшей цели его существования и деятельности. Такого рода ответ может быть и бывал разным. Возьмем только крайности: это и отказ от претензии искать предельные основания и идеалы, и пессимизм, предлагающий стоическую позицию перед лицом абсурдного бытия, и мистическое видение, рожденное субъективным опытом... Выбор Тейяра де Шардена основан на эволюционных законах, несет в себе мощный волевой импульс, побуждающий к созиданию. В наше кризисное, напоенное апокалиптическими страхами время нельзя пройти мимо этого итогового сочинения выдающегося мыслителя, его, можно сказать, духовного завещания.

Драматична история книги. Автор не дождался выхода ее в свет, хотя она была написана уже к 1946 году. Еще в молодости, окончив иезуитский коллеж, Тейяр де Шарден стал членом ордена, всю жизнь испытывая на себе гнет ограничений с его стороны. Запрещенная католической властью книга опубликована после смерти автора.

Как ученый Тейяр де Шарден исследовал прошлое человека (внес заметный вклад в палеонтопологию, был среди тех, кто открыл синантропа), как мыслитель — глядел в будущее. Эволюционные вершины сознания, предвосхищаемые автором, неразрывны с глубинными корнями древа жизни, открывшимися ему как натуралисту.

Человек — «ось и вершина эволюции», заявляет философ уже в прологе к своему исследованию. Происхождение и сущность жизни, а затем и человека он рассматривает в связи с космическим процессом усложнения материи. Жизнь на Земле возникает как качественно новое проявление этой всеобщей тенденции. Там, где материя кажется нам «мертвой», она лишь «дожизненна», в ней брезжит потенция стать живой. В этом смысле жизнь — явление космическое, поскольку нить ее таится в самой ткани универсума. Явление очеловечивания (гоминизации) жизни — такой же великий скачок развития, как оживление (витализация) материи. Человек возникает как венец неустанного эволюционного движения: все большего усовершенствования нервной системы, роста головного мозга в процессе чередования животных форм (это

явление еще в середине прошлого века американский ученый Дана назвал цефализацией, от греческого *kephalē* — голова). Именно цефализация неотразимо обнаруживает как бы стремление природы к порождению сознания и его дальнейшему развитию. Эта объективно существующая направленность эволюции не может прекратить свое существование на человеке в его нынешнем далеком от совершенства виде.

Важнейший принцип Тейяра де Шардена таков: в развитой форме ярко раскрывается то, что изначально, пусть в самой микроскопической дозе или только в возможности, присуще всей материи. Сложный, развернувшийся «микрокосм» содержит в себе все силы, энергии, потенции космической субстанции вообще. Как в человеке соединены две четко определившиеся стороны, так сказать, «внешняя» — физическая, материальная организация, и «внутренняя» — сознание, психика, духовность, так и в неживой материи мыслитель предполагает наличие своего «внутреннего», не только «дожизненности», но и некоего «до-психизма». Он вводит понятие двух энергий — тангенциальной и радиальной: первая «связывает данный элемент со всеми другими элементами того же порядка», вторая («внутренняя») «влечет его в направлении все более сложного и внутренне сосредоточенного состояния». Не будь идеального побуждения, как бы движущего нерва в недрах самой материи, она осталась бы недвижимой массой, чуждой всякому становлению. В нас, людях, привилегированных существах, эта радиальная, духовная интенция сущего заявила на свет, вышла наружу. Важнейший скачок состоялся. Сквозь материю пробился узкий световой поток сознания, который выведет ее всю когда-нибудь в другое, одухотворенное состояние.

Человек — кульминация спонтанной, бессознательной эволюции, но вместе и некое начало, сосредоточившее в себе предпосылки для нового, разумно направленного ее этапа, когда человечество придет к действительному управлению эволюцией мира и самого себя. Эту же задачу выдвинула и русская активно-эволюционная, космическая мысль, которую развивали К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский (ее истоки можно найти в идеях «регуляции природы» Н. Ф. Федорова, высказанных еще в прошлом веке). Вернадский, кстати, был знаком с Тейяром де Шарде-

ном и его сторонником философом Леруа.

В «Феномене человека» Тейяр де Шарден рассматривает созревшие к XX веку материальные факторы перехода к истинно ноосферному творчеству, к осуществлению идеала сознательной эволюции, которые в те же годы независимо от него исследует Вернадский в труде «Научная мысль, как планетное явление» (кстати, этот труд Вернадского, как и «Феномен человека» Тейяра де Шардена, не был опубликован при жизни автора). Речь идет о достигнутой «планетарности» человечества, расселившегося по всей Земле и освоившего ее; о возрастающей тенденции к сплочению и единению и на «внешнем», тангенциальном, уровне (растут средства сообщения, потоки информации, вырабатываются общечеловеческая культура, единые формы научной, технической, бытовой цивилизации) и на «внутреннем» — радиальном (идет подспудное созидание, как выражается французский мыслитель, единого «Духа Земли»); о выходе масс к историческому творчеству. Но Тейяр де Шарден не такой уж простодушный оптимист, он видит и мощные силы взаимоотталкивания и грубой материализации, которые приводят к «муравейнику» вместо братства, к тоталитарности вместо духовного единства. Две опасности кажутся ему главными: индивидуализм и эгоизм западного толка (каждый для себя, для комфорта и личностного успеха) и расистский, тоталитарный идеал, пытающийся захватить, по образному выражению автора, весь сок древа жизни, будучи лишь одной из многих ветвей.

Но есть опасности и более глубокого, так сказать, онтологического плана. Как человек является в своих антропологических, социальных, исторических проявлениях существом еще далеко не совершенным, промежуточным, в определенном смысле кризисным, а вместе с тем несет в себе идеал высшего, духовного Человека, так и его созидание — ноосфера — есть достаточно дисгармоничная, находящаяся в состоянии становления реальность, но вместе с тем и высший идеал этого становления. И отношения между этой реальностью и этим идеалом весьма сложны. Породив разум как орудие своего дальнейшего развития, но орудие, наделенное свободой (а к тому же вложенное в противоречивое, смертное творение), эволюция словно пошла на риск. Свобода — это ведь свобода говорить не только «да» сознательному преобразованию мира (а к какому великолепно-триумфальному «да» призывает нас Тейяр де Шарден!), но и «нет», вплоть до решительного

и окончательного «нет» самой эволюции. С появлением человека эволюция как бы получает возможность встать в позу Гамлета и задать себе вопрос «быть или не быть?». В наше время этот момент балансирования особенно остер. Возникла реальная опасность родового самоубийства человечества, а с ним и жизни вообще. Вот она, по выражению Тейяра де Шардена, «угроза забастовки в ноосфере»! Ответственность разумных существ, полагает Тейяр де Шарден, колоссальнее, чем они могут себе это представить: в своем «падении» мы увлечем за собой и всю космическую эволюцию, магистраль которой проходит через жизнь и сознание; своим малодушием, нигилистическим, «демоническим» выбором можем обречь на неудачу весь космогенез. Универсум без нашего совокупного созидательного усилия в деле творческого его одухотворения обернется абсурдом. Но именно в силу столь решающего эволюционного значения человека («человек незаменим») Тейяр де Шарден считает невероятным такой глобально плачевный исход.

Работать на эволюцию, справедливо заявляет философ, люди смогут лишь тогда, когда не забудут главного — удовлетворения самых глубоких личностных запросов каждого человека. Поэтому ноосферная наука должна организоваться вокруг человека, признав высшим благом жизнь, причем в высшем, духовном ее цветении. В эволюционные горизонты ноосферы Тейяр де Шарден включает не только все большее планетное единство и умножение коллективной творческой мощи, но и преобразование природы отдельной личности, развитие ресурсов ее мозга, расширение сознания. На стадии животной эволюции торжествует род в ущерб отдельной особи, «жизнь более реальна, чем живые существа». Начиная с человека, это уже анахронизм, и анахронизм трагический, требующий своей отмены. От подъема сознания — к «подъему сознаний». Мыслитель полемизирует с теми, кто видит бессмертие человека лишь в преемственности его свершений. Признавая всю родовую важность наследия ушедших для воспитания новых поколений, прогресса общества, он все же считает, что в детях и делах мы оставляем в лучшем случае только «тень самих себя»: «Наши творения? Но какое из человеческих творений имеет самое большое значение для коренных интересов жизни вообще, если не создание каждым из нас в себе абсолютно оригинального центра, в котором универсум осознает себя уникальным, неподражаемым образом, а именно

нашего «я», нашей личности?» Отказ от восстановления когда-либо существовавших индивидуальных сознаний при максимальном расцвете всех их возможностей (и одновременно своеобразия) будет означать фиаско эволюции.

Автор предполагает возможные сомнения читателя: с чем же он все-таки здесь столкнулся, с «фактами, метафизическими теориями или мечтаниями»? Надо сказать, что в книге есть и то, и другое, и третье. Много убедительных фактов, связанных с основным изучением эволюционного процесса биосферы и ноосферы. Много и прекрасной мечты, всегда двигавшей человечество вперед: о будущем Земли, когда «мыслящая субстанция» получит действительно «разумную организацию», созидании всечеловеческого одухотворенного организма, о «замене грубых сил естественного отбора» сознательным совершенствованием физической и духовной сторон человека, о победе над смертью, о синтезе науки с высшим «религиозным идеалом», о любви как высшей форме энергии, как новом способе связи всего со всем, замещающей рознь и вытеснение. Есть и метафизические теории: это прежде всего представления о финальной метаморфозе Земли, моменте качественного трансформизма, когда из «конца света», нынешнего света, родится еще один невиданный порядок реальности; о некоем предсуществующем трансцендентном центре Сверхсознания (точка Омеги), под действием притягательных «лучей» которого происходит психическое свертывание и сосредоточение в нем всей ноосферы.

Основной парадокс системы Тейяра де Шардена в том, что у него эволюция, во-первых, завершается, а во-вторых, завершается... в инволюции, то есть в замыкании на себе, «внутреннем возврате к себе целиком всей ноосферы». Философ настаивает на «психической изогнутости духа», которая вместе с соответствующей «сферической кривизной Земли» и предопределяет такой инволюционный исход эволюции. Да, такая «изогнутость» человеческого сознания реально существует (имеется в виду его способность к самосознанию, к внутренней рефлексии, своеобразному свертыванию «я» на себе). Но есть и другое, то, чему Тейяр де Шарден не дал достойного исхода в своей метафизической экстраполяции: качество принципиальной открытости, выхода за свои пределы, экспансии в мир, в бесконечность. У русских космистов в отличие от французского мыслителя человечество как раз расширяется в бесконечность пространства, оживотворяя и

одухотворяя миры, творчески преображая Вселенную, избавляя ее от законов «падения», энтропии, созидая ее «вечную юность» (Циолковский). Кстати, не случайно у Тейяра де Шардена начисто отсутствует идея выхода сознательных существ в космос, инволюция ноосферы идет «не в пространственном, а в психическом направлении... не покидая Земли и не выходя за ее пределы». Взамен грандиозного космического дела, осуществляемого всем «собором» бессмертных, самосозидаемых личностей, у него торжествует идеал «покоения в боге-омега» сознаний, отделенных от своей «материальной матрицы», достигших личностного совершенства. Как это ни неожиданно для мыслителя персоналистской, христианской выучки, его инволюционный предел эволюции, это «обратное развитие к самой себе ткани вещей», выдает влияние восточной метафизики с ее чаянием свертывания вселенской круговерти к «началу всех начал», духовному «яйцу мира».

Но все же не метафизические теории составляют силу «Феномена человека», а тот общий пафос активно-эволюционной мысли, который объединяет Тейяра де Шардена и русских космистов. «Жизнь, достигнув своей мыслящей ступени, не может продолжаться, не поднимаясь структурно все выше», «невозможно, зацепившись, остаться на полпути, заклинивание человека в его промежуточном, несовершенном физическом и духовном статусе чревато разрывом и самоуничтожением — эта мысль Тейяра де Шардена была безусловной для всех представителей этого «семейства идей». В наше время, борясь за выживаемость человечества, за сохранение мира и природы, мы должны прислушаться к завету мыслителя: чтобы жить и выполнять свою великую космическую миссию, человечеству требуется непрерывно восходить, следуя в этом закону эволюции...

За последние тридцать лет труд Тейяра де Шардена, переведенный на основные европейские языки, стал одной из самых читаемых и всесторонне изучаемых научно-философских книг на Западе. Теперь вот и русскоязычный читатель получил ее первое научное издание. Основная вступительная статья и комментарии историка науки Б. А. Старостина, проницательно анализирующего сильные и слабые стороны книги, научный контекст ее идей помогут лучше ориентироваться в этом насыщенном мыслями и эмоциями, увлекательном сочинении.

ИЗ РЕДАКЦИИ О НН ОЙ П О Ч Т Ы

ОТ РЕДАКЦИИ

В ответ на публикацию О. Майоровой «Отточия в угловых скобках» (1988, № 5), в которой критически оценивались недавние издания русского писателя С. В. Максимова, редакция получила письмо от составителя сборника «Куль хлеба» А. Мартыновой. Признавая критику О. Майоровой справедливой, автор письма поднимает один из больных вопросов сегодняшней издательской практики — бесправное положение авторов, составителей, комментаторов. Напомним читателям, что критические замечания О. Майоровой касались, в частности, не только купюр в публикуемых текстах, но отсутствия указаний на них. Этот существенный недостаток издания (при том, что в комментарии утверждается, что все изъятия обозначены), равно как и отмеченные О. Майоровой фактические ошибки, остаются на совести составителя.

Приведенные А. Мартыновой факты свидетельствуют, что проблемы культуры издательского дела следует обсуждать в более широком контексте. Мы публикуем письмо Е. Шубиной, в котором анализируется недавнее издание произведений А. Платонова, и предполагаем в дальнейшем продолжить разговор о современных изданиях и переизданиях отечественной классики.

К ИСТОРИИ ОТТОЧИЙ

В числе критических замечаний О. Майоровой ко мне как к составителю сборника «Куль хлеба» (Лениздат. 1987) отмечены изъятия в тексте очерков из книги «Год на Севере», воспроизведенном, как это указано в предисловии, по публикации С. Плеханова («Год на Севере». Архангельск. 1984.) Причину такого способа воспроизведения текста я и постараюсь объяснить.

В 1984 году согласно заключенному с Лениздатом договору я сдала в редакцию художественной литературы рукопись сборника рассказов и очерков С. В. Максимова. Он назывался «Царь-огонь» (по названию одного из очерков Максимова, позднее исключенного из состава сборника) и планировался к изданию в 1985 году. В соответствии с проспектом, одобренным дирекцией издательства, сборник составили сочинения С. В. Максимова, в основном не переиздававшиеся в советское время, в том числе очерки и рассказы из книг «Сибирь и каторга», «Бродячая Русь Христа ради», «Нечистая, неведомая и крестная сила». Из книги «Год на Севере» отобраны очерки, не вошедшие в книгу, изданную С. Н. Плехановым. Текст давался по прижизненным изданиям и без единой купюры.

В январе 1984 года рукопись сборника «Царь-огонь» была сдана в издательство, а в марте я получила официальное редакционное заключение, в котором значилось, что книга подготовлена к изданию и в июле подлежит передаче в производственный отдел.

Но вскоре в Лениздате произошла смена руководства редакцией художественной литературы, которую возглавил А. И. Белинский. Он сообщил мне со ссылкой на Госкомиздат СССР, что сборник Максимова исключен из плана 1985 года, и предложил забрать рукопись, «поскольку она не может быть издана в ближайшие годы». Я просила А. И. Белинского ознакомить меня с этим распоряжением Госкомиздата, чтобы я могла обратиться к подписавшему его сотруднику за необходимыми разъяснениями, однако вместо этого А. И. Белинский предупредил меня, что если я буду жаловаться, то мне же «будет хуже», ибо его, дескать, поддерживает издательство и заведующая отделом пропаганды Ленинградского обкома партии. Заведующий редакцией потребовал, чтобы я забрала рукопись «для доработки». Не предъявив никаких претензий

по качеству выполненной мной работы, А. И. Белинский заявил о не удовлетворяющем партийное издательство составе сборника, требуя «полностью выбросить» разделы из книг «Бродячая Русь», «Нечистая сила», «Сибирь и каторга» и вообще все, что не переиздавалось в советское время.

Согласиться с этим я не могла, и не только потому, что состав сборника был своевременно согласован с работниками издательства и одобрен ими полностью. Главное заключалось в том, что все требования Белинского подкреплялись такими аргументами, которые принять было невозможно. Так, очерки из книги «Сибирь и каторга» (были включены: «В дороге», «В бегах», «Государственные преступники», «Участь ссыльных») отклонялись на том основании, что содержащиеся в них описания побегов из тюрем могут служить «инструкцией к побегам» в наши дни. Эти сведения вместе с описанием пищи беглых каторжан в тайге объявлялись «государственной тайной, которую никакая цензура не пропустит».

Судьба книги «Сибирь и каторга» писателя С. В. Максимова оказалась действительно драматичной. Еще в 1862 году книга была признана царской цензурой «опасной» и после многих исправлений вышла в количестве пятисот экземпляров с грифом «секретно». Второй раз в 1868—1869 годах, когда главы из книги стали печатать журналы «Отечественные записки» и «Вестник Европы», петербургский комитет по печати охарактеризовал их «как крупный материал для определения неодобрительного направления „Отечественных записок“».

Но в 1871 году книга была все-таки издана! В 1987 году это оказалось невозможным.

Все эти «доводы» свидетельствовали о твердом намерении издательства книгу не выпускать. Я попросила дать мне письменное редакционное заключение, в котором были бы изложены мотивы, побуждающие издательство требовать доработки книги. В ответ рукопись была возвращена мне по почте с письмом главного редактора Л. Н. Плющикова, в котором предлагалось исключить из состава сборника очерки из трех названных книг («как не отвечающих профилю партийного издательства») и изменить название книги.

Но и после того как мною почти наполовину был изменен состав сборника (за небольшим исключением в него вошли по требованию Белинского произведения, переиздававшиеся после 1917 года), мытарства моей рукописи не закончились. Выдвигались требования изъятий из текста, сокращения комментария, редактирование словаря.

У меня сохранился перечень претензий А. И. Белинского по новому варианту книги. Среди них требование убрать статьи «Русский дух» и «За пояс заткнуть» из книги «Крылатые слова». В рассказе «Встреча» предполагалось снять следующее примечание Максимова: «В последнее время значительными массами на петербургские рынки стали доставлять грибы евреи из мокрых лесов Северо-западного края, но эти грибы дурного качества и очень дурного приготовления — слабые соперники грибов севера России, т. е. костромских и рязанских».

Поскольку подготовленные мной очерки из книги «Год на Севере» в основном не переиздавались в советское время, мне пришлось заменить их расклейкой из только что вышедшей книги, подготовленной С. Н. Плехановым (разумеется, оговорив это). Каково же было мое удивление, когда и в этих очерках потребовалось сделать пять изъятий из текста. Из словаря, в частности, предлагалось исключить слова: акафист, Андрей Первозванный, антиминос, Благовещение, евхаристия, ирмос, киновия, литургия, лития, Никола зимний, Перун, Покров, посох с яблоками, распон, ставропигиальный монастырь, старица, требник, три святителя и др., всего шестьдесят пять слов. (Перед сдачей рукописи в производство удалось избежать реализации части этих требований.) Добавлю, что бдительное перо прошло по словарю, оставив вместо объяснения народных праздников одни даты.

Что же касается названия книги (куда как «удачное»: недавно была переиздана С. Н. Плехановым в полном объеме книга «Куль хлеба»), то оно было изменено без моего согласия.

Будет справедливо, если редакция художественной литературы Лениздата возьмет на себя определенную ответственность за ряд недостатков сборника.

СТРАДАНИЯ «ЗАВЕЩАННОГО СЛОВА»

«**Г**лухая слава Платонова становится звонкой, всероссийской, всемирной. Новое время принимает Платонова с радостной благодарностью», — писал в 1967 году Борис Слуцкий. И далее в той же статье: «Сейчас приходит время Платонова».

В этих словах, как мы все сейчас понимаем, было больше надежды, чем уверенности. Во всяком случае, еще двадцать лет «не запрещенное циркулярно, но и не разрешенное вполне» (Чехов) творчество Платонова представляло серьезную издательскую проблему.

В сознании издателей и литературных чиновников прочно укрепилась репутация Платонова как писателя «неблагополучного по части идеологии». Понадобились серьезные — в государственном масштабе — перемены, чтобы увидело свет на родине писателя «большое рукописное наследие» (Краткая литературная энциклопедия) — роман «Чевенгур», повести «Котлован» и «Ювенильное море», пьесы, а также малодоступные широкому читателю рассказы «Усомнившийся Макар» (1929), «бедняцкая хроника» «Впрок» (1931) и другие.

Появление «нового» Платонова ставит со всей остротой вопрос об уровне издательской обеспеченности читательского интереса к писателю. Ведь если вспомнить платоновскую метафору, «чтобы завещанное... слово не убывало, не утрачивалось в своей глубине и ценности, а возрастало, умноженное на понимание миллионов читателей», надо это слово до читателя донести — донести бережно, не суетясь. Похоже, на смену проблеме что издавать пришла проблема как издавать. Поясним.

Во-первых, существует объективно непростая ситуация с унификацией платоновских текстов. Исследовательская, текстологическая работа по установлению основного текста многих произведений Платонова только начата. Некоторые из них еще при жизни писателя выходили с разночтениями: в одних случаях можно предположить различные авторские редакции, в других — налицо цензурное вмешательство, которое увеличилось в посмертных изданиях. Недостаточно изучено рукописное наследие писателя, хранящееся в ЦГАЛИ и в семейном архиве (голландский ученый Т. Лангерак высказал резонное предположение, что авторизованные машинописи могут быть обнаружены в архивах журналов и издательств).

Публикаторы, как правило, опираются и на ЦГАЛИ, и на семейный архив, тогда как для принятия научного, аргументированного решения, какой текст считать каноническим, нужно привлекать все источники. Пока в нашей стране мы располагаем единственным изданием, снабженным текстологическими примечаниями. Это «Избранные произведения в двух томах» (М. «Художественная литература». 1978. Составитель М. А. Платонова. Вступительная статья и комментарии Е. А. Краснощековой. Текстолог М. Н. Сотскова). При всей неоспоримой ценности двухтомника многие текстологические решения, как отмечали и наши и западные исследователи, там довольно спорны. И прежде всего потому, что работа с рукописями велась в основном только по семейному архиву. Есть в текстах двухтомника и купюры, обусловленные цензурными претензиями тех лет. Но когда мы говорим, что Платонова (как и любого другого писателя) надо издавать хорошо, то речь идет не всегда о трудноразрешимых текстологических проблемах. Хорошо — это значит, что тексты даются по надежному источнику и читатель знает — по какому; хорошо — это без ошибок в справочном аппарате; словом, хорошо — это культурно, со знанием дела.

Итак, Андрей Платонов, «Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма». Составитель М. А. Платонова. Вступительная статья и комментарии В. А. Чалмаева (М. «Советский писатель». 1988).

Сначала о составе книги. Проза представлена с учетом сегодняшней издательской конъюнктуры (из «нового» Платонова не вошел только роман «Чевенгур») и достаточно репрезентативно по отношению ко всему творчеству. Наряду с «классикой» («Сокровенный человек», «Джан», «Река Потудань», «Возвращение» и другие) включены рассказы, которые переиздавались нечасто: «Государственный житель», «По небу полуночи», «Луговые мастера».

Два раздела, вошедшие в себя раннюю публицистику, письма и отрывки из записных книжек, вызывают уже некоторые сомнения. Так, уже третий раз перепечатываются одни и те же отрывки из записных книжек (здесь они идентичны соответ-

ствующей публикации в трехтомнике (М. «Советская Россия», 1984—1985), хотя автор примечаний к сборнику «Государственный житель», он же и составитель и комментатор трехтомника, В. А. Чалмаев сообщает на странице 588, что «записные книжки «Труд есть совесть»... никогда не входили в прижизненные и посмертные издания писателя»).

Записные книжки Платонова, расшифрованные журналистом Г. Елиным при активном участии вдовы писателя М. А. Платоновой (см. «Литературная Россия», 1982, № 1), опубликованы лишь в небольших извлечениях. По свидетельству того же Г. Елина, это — обширный «дневник, по которому можно проследить, как возникал и формировался тот или иной замысел, отбирались детали и речевые характеристики, как шел сам процесс работы». Если учесть, что творческая лаборатория писателя совершенно не изучена, вопрос дальнейшей публикации записных книжек представляется едва ли не первостепенным для современного платоноведения.

Эпистолярное наследие тоже дается в уже известных нам извлечениях: в 1975 году в журнале «Волга» (№ 9) была опубликована подборка «...Живя главной жизнью (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках)». Фрагменты из нее вошли в воронежский сборник — А. П. Платонов, «Повести. Рассказы. Из писем» (1982). В книге «Государственный житель» публикация «...Живя главной жизнью» воспроизводится полностью по журналу «Волга» (хотя комментатор почему-то утверждает, что по воронежскому сборнику, то есть фрагментарно). Это действительно очень интересный и важный материал к биографии Платонова, он стимулирует интерес к сокровенной части платоновского архива. У составителя был хороший повод продолжить знакомство читателя с еще одним неизвестным Платоновым (ряд писем хранится в ЦГАЛИ в разных фондах).

Четыре переиздания статей из старых воронежских газет безусловно представляют интерес, хотя в сочинениях этого периода есть гораздо ближе примыкающие (идейно, тематически) к опорным произведениям этого сборника — «Котловану», «Ювенильному морю», «Усомнившемуся Макару». Таков, например, фельетон «Душа человека — неприличное животное», опубликованный в те же 20-е годы в газете «Огни», в котором уже тогда содержалось очень важное для зрелого Платонова противопоставление народа и «официальных революционеров».

Два текста — «О любви» и «Свет и социализм» — впервые вводятся в обиход, и здесь уже приходится говорить о культуре подачи архивного материала. Оба сочинения, хранящиеся в ЦГАЛИ в фонде Платонова, не датированы, не вполне ясна и степень их завершенности. В комментариях необходимо было это оговорить.

И напоследок — небольшое, но серьезное недоумение: единственная переиздававшаяся в 80-е годы статья «Но одна душа у человека» дана с труднообъяснимой купюрой.

До сих пор шла речь о вещах, обычных в издательской практике, которые можно спокойно обсуждать уже по выходе книги. Вступительная статья и комментарии, увы, понуждают перевести разговор в несколько иную плоскость.

...Например, по каким источникам печатаются тексты в сборнике «Государственный житель»? В преамбуле к комментариям значится, что «в данном издании читатель выходит напрямую к Платонову», выходит, по выражению М. М. Бахтина, «в самую сердцевину, в самую глубину человека». Этот принцип (!) определил и принципы размещения произведений, с одной стороны, в жанрово-хронологическом порядке, с другой — в порядке, способствующем полному пониманию личности художника и предьстории его «внечаянного» и вечного совершенства». Принципов — если это принципы — немало, а вот необходимой информации явно недостаточно.

Но, может быть, в примечаниях к каждому произведению мы найдем искомое? Увы, здесь сообщается лишь о месте и дате первой публикации (исключение сделано только для рассказа «Государственный житель», видимо, потому, что он «занимает особое место в сатире А. П. Платонова», за что, так сказать, и поощрен).

Значит ли это (мы вступаем на путь догадок), что в все тексты воспроизводятся по первым публикациям? Конечно, нет! Это было бы весьма ответственное решение, требующее серьезной аргументации. Естественно, что «новый» Платонов («Котлован», «Ювенильное море») дан по единственным пока опубликованным в СССР вариантам, и это правомерно. Восемь «старых» произведений, судя по всему, печатаются по двухтомнику 1978 года (с восстановленной купюрой в «Сокровенном человеке»), который ни разу комментатором не упоминается. Рассказ «Усомнившийся

Макар» — по недавней перепечатке в журнале «Литературная учеба» (1987, № 4) с восстановленной там купюрой, «Впрок» — по прижизненной публикации («Красная новь», 1931, № 3). Отсутствие необходимых сведений вводит читателя в заблуждение, особенно в тех случаях, когда тексты первых публикаций и тех, на которые опирается составитель, существенно различаются. Яркий пример — повесть «Джан». Известны два ее варианта. Один — первая публикация в журнале «Простор» (1964, № 9), другой — в двухтомнике 1978 года. В первом варианте — сравнительно со вторым — отсутствуют завершающие главы 17, 18, 19, 20 (есть разночтения и внутри текста). Это дало основание многим исследователям считать «Джан»-64 сокращенным вариантом «Джан»-78 (есть и другие мнения). Когда в примечаниях единственным источником полного текста указывается журнал «Простор» с пояснением, что текст там дан «в сокращенном виде», то возникает недоумение: либо в книге этот неполный вариант и напечатан, либо впервые повесть напечатана полностью.

Справочный аппарат к этой книге вообще неряшлив. Так, на страницах 597 и 601 по-разному датируется рассказ «Мусорный ветер»; то же происходит на страницах 597 и 605 с рассказом «По небу полуночи»; читатель отсылается к № 9 журнала «Красная новь», в котором никогда не печаталась хроника «Впрок», а в № 7 журнала «Простор» за 1968 год не было статьи Л. Аннинского о «Джан». Почти все упоминания романа «Чевенгур» сопровождаются датировкой, только вот беда — каждый раз новой. Герой «Котлована» инженер Прушевский на странице 594 преображается в Петрушевского, да и с именами других героев происходят странные метаморфозы. Тут и Ганнушкин Макар, в подлинной фамилии которого «усомнились» через шестьдесят лет, и Николай Эдуардович Вермо (у Платонова — Эдвардович; тут же и поясняется, что это «намек сразу и на великого мечтателя из Калуги...»).

Ну, допустим, читатель догадается, что Петрушевский и Прушевский одно лицо, отыщет в «Просторе» нужную статью Л. Аннинского (1968, № 1), поймет, что вряд ли статья «Но одна душа у человека» печаталась дважды в одном и том же органе «Воронежская коммуна» — 17 июля и 17 июня. Заинтересовавшись редкой давней книгой В. Б. Шкловского «Третья фабрика», сам найдет главы, в которых говорится о Платонове, а заодно и выправит страницы, к которым отсылает комментатор, по первоисточнику и... И засомневается: действительно ли «суждения Платонова» о деревне, которые В. Б. Шкловский пересказал «на своем, тоже весьма парадоксальном языке», принадлежат Платонову? Или все-таки самому Шкловскому? Рассказ В. Б. Шкловского о встречах в воронежских степях с губернским мелиоратором Платоновым начинается позже, уже после этих «суждений», и мы можем только предполагать, в какой мере размышления Шкловского о деревне навеяны общением с «товарищем Платоновым».

На странице 590 нас ждет воистину сюрприз. Рассказывая о «необоснованной, крайне пристрастной критике («Усомнившегося Макара». — Е. Ш.), не учитывавшей ни былого пути писателя-революционера (а если без революционных заслуг, то, значит, можно и необоснованно и пристрастно? — Е. Ш.), ни особенностей его языка», В. А. Чалмаев сетует, что даже Ф. М. Левин, «в будущем искренний друг и заступник Платонова», поддался общей разносной волне и вдруг оценил «Епифанские шлюзы» как «классический образец литературной нейтральности, прекрасный пример ухода писателя от революционной эпохи». Курьез в том, что рецензию, из которой взята цитата («Резец», 1930, № 7; у В. А. Чалмаева — № 1), написал не «друг и заступник», а его однофамилец Л. И. Левин, тогда совсем молодой, начинающий критик.

Справедливости ради отметим, что комментатора, видимо, ввела в заблуждение ошибка его предшественницы Л. Ивановой, автора статьи «Творчество А. Платонова в оценке советской критики 20—30-х годов» (сборник «Творчество Платонова». Воронеж. 1970). Именно там эта цитата отдается Ф. М. Левину.

К сожалению, нельзя не отметить и весьма вольное обращение В. А. Чалмаева с работами коллег. Примечания к «Котловану» начинаются полемикой с теми исследователями, которые в ряде статей и публичных заявлений писателя 1934—1937 годов видели попытку «объясниться» с критикой, уступку обстоятельствам.

«Сейчас (после выхода «Котлована». — Е. Ш.), — поясняет В. Чалмаев, — впервые, может быть, становится понятным вовсе не вынужденный, не отступнический смысл признания Платонова в анкете... 1934 года: «Литературное направление, в котором я работаю, оценивается как сатирическое. Субъективно же я не чувствую, что я сатирик, и в будущей работе не сохранию сатирических черт...» Капитуляции после «Усо-

мнившегося Макара» и волны критических разносов, как сейчас показывает «Котлован», не было... Наоборот, он, работая всецело для себя, «в стол», окончательно становился похож „на самого себя“.

Жестко отделяя повесть «Котлован» от предшествующих «сатирических» произведений («Андрей Платонов сейчас — удивительный мастер социально-философских, гуманистических «утопий-предупреждений», сложных „фантазий-тревог“ и даже... «русский Г. Уэлс»), Чалмаев в защитительном своем пафосе как-то совсем выпустил из виду год, когда Платонов отвечал на вышеозначенную анкету. 1934 год — это значит после издательской неудачи с «Чевенгуром» (1929; набор был рассыпан), после того, как «Котлован» был написан и обречен на лежание «в столе» (1930), после разгрома, учиненного «Впрок» (1931). Иными словами, в ситуации, когда «рукописи горели» — главные вещи были заблокированы, а звание сатирика влекло за собой выводы весьма угрожающего свойства. Не отсюда ли и состояние безысходности, которое вылилось в слова, завершающие произвольно оборванную Чалмаевым цитату: «В последние годы мне удалось выбраться из тяготения тех ошибочных произведений, которые я написал».

При этом спор Чалмаева с Л. А. Шубиным — именно ему принадлежит мысль об «отступлении» писателя — опирается на странное предположение, что исследователь просто не знал о «Котловане», а посему и позволил себе непродуманные выводы. Трудно поверить, что Л. А. Шубин (комментатор почти всюду пишет Л. И.) судил о «Котловане» только понаслышке: опальная повесть упоминается и цитируется им еще в статье 1967 года.

Кажется, уже снято табу с упоминания работ зарубежных исследователей. Слава богу. Думается, взаимные усилия и наших и «не наших» ученых и критиков, прямые контакты дадут неизмеримо больше, чем «фигура умолчания», зачастую ведущая к провинциализму мышления. Тем более пока мы решали уравнение со многими известными: печатать или не печатать тот же «Котлован» и прочие неудобные произведения нашего соотечественника, — «там» было опубликовано почти все. И на основе знания полного Платонова написано и издано немало интересных работ.

В. А. Чалмаев в предисловии упоминает статью Е. Толстой-Сегал «„Стихийные силы“: Платонов и Пильняк (1928—1929)» (год издания статьи указан неверно). Спорит с ней, правда, скороговоркой, скорее упрекая и выговаривая («...даже весьма квалифицированные ученые... навязывают роль... Так, увы, поступает и...»). Отводя теме «Платонов и Пильняк» в комментариях немало места, В. Чалмаев пишет: «Судя по разрозненным скудным материалам, Бор. Пильняк и Андрей Платонов создают в соавторстве не только «Че-Че-О», но и пьесу «Дураки на периферии»...» Поясним: сведения о пьесе «Дураки на периферии» (текст ее, к сожалению, утерян) можно получить из вполне доступного источника: это биобиблиографический указатель «Русские советские писатели-прозаики» (М. «Книга». 1972, т. 7, ч. 2, стр. 43). Описание истории создания пьесы содержится в статье Т. Лангеррака «Андрей Платонов во второй половине двадцатых годов (Опыт творческой биографии)», часть I (Russian Literature. XXI. 1987, стр. 170—171).

В. А. Чалмаев — автор двух книг о Платонове и немало сделал для популяризации его творчества. Но приблизительность информации, неточность сведений, непродуманность формулировок создают ситуацию, щепетильную для специалиста, и ведут зачастую к курьезам.

Вот В. А. Чалмаев приводит свидетельства о молодом Платонове его воронежских друзей. Сноска на странице 13: «Отрывки из затерянных очерков П. Бобылева и Мих. Бахметьева публикуются нами впервые». Естественно, вопрос: где они «затеряны»? Ну, положим, с Бобылевым более или менее ясно: заглянем на страницу 11 и, вычислив, что Б. Бобылев и П. Бобылев — одно лицо (а вдруг братья или однофамильцы?), пойдем, что очерк обнаружен В. А. Чалмаевым в «Воронежской коммуне» от 25 октября 1922 года (стало быть, опубликован он уже был). Но где же «затерян» очерк Мих. Бахметьева? Тоже в одной из старых газет («...над ними воистину довлеет злоба дня сего»)? Или в чем-то домашнем архиве?

А теперь вернемся ненадолго к началу. Статья «Но одна душа у человека», как уже говорилось, дана в томе с купюрой. Напомним читателю: речь идет о рецензии 1920 года на спектакль воронежского театра по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» — и восстановим текст:

«Достоевский поэтому ничтожнейший из существ, ибо бессилён родиться, выйти из состояния хаоса для жизни или смерти — быть Мышкиным или Рогожиным. Он ни то ни се — самый страшный и истинный сатана, противник себя, неуверенный дух».

Понять, что же так напугало издателей в этих словах двадцатилетнего Платонова, несложно: наш исконный страх за читателя — «не поймет» и за писателя — «предстанет в ложном свете». Ещё бы: Достоевский — классик и Платонов — уже почти классик. А классики у нас должны дружить, а не ссориться. Если же всерьез, то нужна была, конечно, не купюра, а реальный комментарий. Благо есть обширный материал в статьях Платонова 20—30-х годов, позволяющий проследить динамику его размышлений о писателе, к которому он всю жизнь испытывал раздражающе двойственное чувство.

Можно ли сказать, что эта купюра — реликт вчерашнего сознания? Думаю, все гораздо проще. Текст перепечатан из третьего тома собрания сочинений 1984—1985 годов (а не из «Литературного обозрения», 1981, № 9, как сообщается в примечаниях, где он дан полностью). При подготовке книги «Государственный житель» никто — ни составитель, ни комментатор, ни редактор — не обратил внимания на скорбные скобки и отточия в этом тексте. Кстати, многие ошибки в датах, инициалах и т. д. пришли все из того же трехтомника.

Вообще такое впечатление, что, широко используя собственные примечания из трехтомника, В. А. Чалмаев совершенно не пересмотрел их применительно к новому изданию. Точно так же довольно обширный комментарий В. Васильева к публикации «...Живя главной жизнью» в журнале «Волга» перенесен в книгу «Государственный житель» полностью, хотя автор комментария почему-то не назван. Нехорошо это, конечно. Но не о том сейчас речь. В. Васильев писал свои примечания в 1975 году. Время идет, если не сказать — бежит. Обратимся к сноске на странице 571:

«Л. К. Рамзин (1887—1948) — один из руководителей Промпартии, нелегальной контрреволюционной организации, действовавшей в СССР в 1925—1930 годах с целью свержения диктатуры пролетариата и реставрации капитализма. В октябре 1930 года Л. К. Рамзин был осужден по делу Промпартии, в дальнейшем искупил свою вину перед Советским государством, выполнив ряд ценных для народного хозяйства исследований».

Уместно ли в книге, которая готовилась к изданию в 1987 году, повторять огульные формулировки прошлых лет? Тем более что в печати уже высказывались компетентные суждения о политическом контексте дела Промпартии (см., например, выступление В. П. Данилова в газете «Московские новости», 1986, 16 августа, стр. 12).

И. Борисова справедливо заметила («Правда», 1988, 9 мая): «Современное возвращение Андрея Платонова — это не столько восстановление оборвавшихся связей его с читателем, сколько новостройка». Дело издателей и литературоведов отнестись к этому новому зданию с уважением и бережностью, ибо — вспомним снова замечательные слова — «единственная слава, единственная истинная честь для всякого большого художника заключается в том, чтобы завещанное им слово не убывало».

Е. ШУБИНА.

КОРОТКО О КНИГАХ



СВОЙ ПОДВИГ СВЕРШИВ... (А. Зорин. Глагол времен. Издания Г. Р. Державина и русские читатели; А. Немзер. «Син чудесные виденья...»: Время и баллады В. А. Жуковского; Н. Зубков. Опыты на пути к славе. О единственном прижизненном издании К. Н. Батюшкова) М. «Книга». 1987. 384 стр.

Итак, цифра в очередной раз восторжествовала над смыслом: издательству «Книга», жестко ограниченному числом позиций в темплане, пришлось втиснуть под одну обложку три очень разные работы о трех не столь, но все-таки тоже разных поэтах. Так, А. Зорин мало и бегло говорит о поэзии Державина, но много и подробно — о том, как воспринимала ее русская общественная мысль на разных этапах своего становления. А. Немзер, напротив, погружен в текст и занят не столько социальной, сколько эстетической реакцией на провиденциально-ироничный мир баллад Жуковского. Н. Зубков увлечен более книговедческой предысторией создания батюшковских «Опытов в стихах и в прозе», а когда он заводит речь о социуме или поэтике — не случайно текст скучнеет.

Книжки разнятся и по стилистике: эпические неспешна, даже вальяжна манера Зорина, нервно-энергичен и резко выразителен темп повествования Немзера, вяловато-строг слог Зубкова. У них даже недостатки глубоко индивидуальны — кроме одного недочета, так сказать, совместного производства. Очень уж смешно читать приложенный к книге перечень дат, где смешаны воедино события жизни, творчества и издательской судьбы книг и Державина, и Жуковского, и Батюшкова. Такое вавилонское столпотворение призвано, по всей видимости, продемонстрировать формальную цельность издания. Но будем говорить правду: три книжки сцеплены лишь потому, что их авторы имеют несчастье быть молодыми литературоведами (а за чей еще счет экономить место в темплане?!).

Но нет худа без добра. Вынужденное соседство выявило черту сходства, отненную несовпадением интересов, манер и уровней дарования. Судя по сборнику «Свой подвиг свершив...», в науку, прорывая множество заслонов, входит наконец-то новая сильная генерация филологов, ставящих эстетику факта выше красивых философических и эссеистически-эмоциональных рассуждений. Вывернув наизнанку формулу М. М. Бахтина, можно сказать, что критерий глубины здесь — точность.

Только не нужно думать, будто перед нами просто «фактографы» и «классификаторы»; нет, опора на архивно-журнально-газетные данные здесь лишь средство построения ясного образа духовной жизни времен минувших, времен, а не нашего о них представления. Так, читая работу Зорина, мы попадаем в атмосферу журнальных споров 40-х годов XIX века и постигаем ценностные ориентации их участников; обращаясь к исследованию Немзера, видим, как баллада катализировала «литературный быт», внедрялась в него и оказывалась косвенной причиной появления творческих содружеств, поэтических братств... Картина, возникшая из воздуха, — это мираж; картина, созданная на пересечении фактов, — это реальность.

Случайно ли, что самые интересные и живые страницы в работе Н. Зубкова отданы сюжету абсолютно «неаппетитному» — подготовке состава батюшковского сборника? Что А. Немзер не ленится еще раз перепроверить данные о полемике вокруг баллад Жуковского и Катенина (полемике, уже набившей оскомину специалистам) и приходит к неожиданно свежим выводам? Что А. Зорин большую часть своей книжки отводит рассказу — проникновенному, почти художественному — о нравственном подвиге «служителя факта», выдающегося отечественного текстолога Я. К. Грота, кропотливо готовившего державинское собрание сочинений именно в те долгие годы, когда общественное равнодушие к ним достигло апогея?

Увидеть в сухом академизме стоическую непреклонность — для этого нужно трезвомыслие архаиста и смелость новатора.

Понятия из терминологического арсенала Ю. Н. Тынянова приходят на память, конечно же, не случайно. «Архивные юноши» обрели свой путь, самоопределились как поколение (не по возрасту — по духу; иначе тридцатилетние авторы сборника и близкие им В. Мильчина, А. Песков, В. Гудкова, О. Прокуриин, С. Зенкин не «рифмовались» бы с сорокалетними Р. Тименчиком и А. Осповатом) в результате болезненной реакции на заботанного коекем из их старших товарищей Бахтина.

Бахтин, положим, ни в чем не виноват, да и не будет великого русского мыслителя, а вот отношения со многими из «старших товарищей» вряд ли у нового поколения сложатся хорошие. Скорее уже через головы «отцов» они обратятся к опыту «дедов», заново переосмыслят наследие формалистов, включат в свой духовный арсенал работы тех, кто сохранил верность теории «литературного факта» в 70-е годы XX ве-

ка, когда так заманчиво было создавать литературоведческие мифы — без имен, без дат, без названий, без цитат; с шлетом произнесут фамилии П. О. Чудаковой, М. Л. Гаспарова, Ю. В. Манна, Вяч. Вс. Иванова, Ю. М. Лотмана... Следствием, как можно предвидеть, станет возвращение филологической науки в ее собственные границы.

Но, впрочем, незачем гадать о будущем, когда мы имеем дело с настоящим. Нравится это кому-то или не нравится, но очередная генерация стучится в двери, и их нужно открывать.

А. Александров.



В. НЕПОМНЯЩИЙ. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. Изд. 2-е, дополненное. М. «Советский писатель». 1987. 448 стр.

Сказать о работе В. Непомнящего, что она посвящена Пушкину, его «духовной биографии», недостаточно. Здесь уместнее старое выражение: автор посвящен и посвящает в то, что значится в заглавии его книги. Пушкинское присутствует в ней не как предмет, а как стихия.

Эту книгу можно читать и как первое введение в Пушкина и как раздумье о полутора веках пушкинистики. Выверенным итогом сегодняшнего знания звучат, например, формулы Непомнящего об историческом месте Пушкина на водоразделе русской культуры: он не уместается в петербургскую эпоху, его деятельность «заживляла трещину» между петербургской и старомосковской Россией, «восстанавливала национальную целостность»; а с другой стороны, «у Пушкина есть стихотворения лермонтовские и некрасовские, есть гоголевские сюжеты и тютчевская космичность, есть чеховская деталь, прутковский юмор и блоковские строки... он как бы является ее (последующей русской литературы. — В. Б.) зеркалом — зеркалом, обращенным в будущее».

В книге Непомнящего движение разнообразно, вещи открываются под разным углом. Народная тропа к Пушкину и его «Пророк» как поэтическое откровение; детская простота и прозрачная высь его слова, которое «не сверкает, не гремит, а почти безмолвствует»; стояние поэта в истине между жестокой властью и непониманием своих же единомышленников; его супружество как поступок традиционной нравственности, род аскезы (Вл. Соловьев); звонкая вселенная пушкинских сказок; не отдельная личность, а историческое тяготение народа к Истине как действующее начало «Бориса Годунова»; срединная эпоха собирания и создания поэтом самого себя — «Евгений Онегин»; пушкинский дар, выходящий далеко за пределы литературы, — это все еще только внешняя нить повествования.

Характер итога-введения делает книгу обещанием новых путей, и автор протаркает их, ставя вопрос о пушкинском мире в том особенном смысле этого слова, о котором мы сейчас скажем. Через Пушкина, сквозь блеск его слова и вместе с

Пушкиным он пытается взглянуться в то самое, на что смотрел поэт, «держат в поле зрения» пространства, где обрывается слово. В самом деле, страшно выговорить, но, без раздумий поставив под удар продолжение — заведомо блестящее — своей литературной работы, Пушкин оставил нам завещанием не литературу или, вернее, литературу тоже («душа в заветной лире...»), но лишь как указание на другое. «...Он умолк и — как делал он это в своих стихах и прозе — заставил говорить молчание».

Конечно, читатель вправе с опаской отнестись к готовности исследователя говорить о том, чего поэт не сказал. Пушкин как никто другой запрещает отрываться от конкретности. Перед Пушкиным глупо, стыдно теоретизировать. Но одностороннее следование за фактом завело пушкинистику в другую крайность. Обнаружение документов, выявление и сопоставление обстоятельств — это все-таки лишь находки. Открытием в науке о литературе следовало бы называть то, что служит открытию поэтического мира.

Мысль автора в том, что пушкинский мир не принадлежит «эстетической сфере» и не витает где-то отдельно от «реального» мира, он — один из истинных обликов единственного настоящего мира среди многих поддельных. Пушкин — и здесь Непомнящий, как нам кажется, возвращает поэта в верную историческую перспективу — размежевывается с «философией потребления мира человеком», «узурпации вселенной». Пушкинский мир — пространство света, правды, строя, вне которого нет места для надежного человеческого обитания. Этот мир неприступен, как сам свет; им нельзя овладеть и распорядиться, он сам захватывает нас, и он заранее уже распорядился нами, впусив нас в себя или не впусив.

На просторе этого мира поэт встречается с народом раньше, чем успевают заметить охотники за народной и национальной тематикой. Как народ, поэт чуток к свободному звучанию слова в момент, когда оно, срываясь с уст, полно неожиданностей, само говорит и укладывается в окончательном значении не по воле индивида, а по другой, широкой воле бытийной правды.

Заметим, этому наблюдению о зольности поэтического слова (оно «пространство между небом и землей») противоречит желание автора искать в пушкинских текстах чуть ли не нравственные предписания. Конечно, ничто не мешает прочесть пушкинский роман в стихах как «систему ценностей» и выявить в нем «иерархию нравственных истин». Однако поиски вишфрованной в поэзию морали неизбежно разбиваются о хлесткое — наотмашь — замечание Пушкина к словам П. А. Вяземского о том, что Вольтер не был ни гонителем добродетели, ни лютестцем порока: «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона». И тот же жест: «Подите прочь — какое дело поэту мирному (!) до вас».

Тем не менее за настойчивыми напоминаниями В. Непомнящего о нравственности

пушкинского мира стоит глубокая истина. В самом деле, его открытость, его всевпущающая «пустота» обеспечены, если позволительно сказать, его неприступностью. Пушкин хранит чистоту своего мира, как можно хранить святыню. «Евгений Онегин» похож на ярмарочную площадку. Однако мы почему-то сразу соглашаемся с Непомнящим: «...внутренняя и главная область романа — при всей импровизационности и доверительности «болтовни», при всей множественности слышащихся в нем голосов — это область сосредоточенного и глубокого безмолвия... под покровом внешней «легкости» и «раскованности» есть... нечто строгое, нечто как бы даже сакральное суровое». Это «сакрально суровое» слышится во всем Пушкине, от неожиданного «монаха» в конце его первого лицейского стихотворения до «Отцов-пустынников» 1836 года.

И вот этой своей неприступной высотой пушкинский мир предполагает безоговорочную власть общезначимого и общеобязательного нравственного закона. С человечеством, которое перестало слышать голос этого закона, Пушкину было бы нечего делать. Его поэтическому миру действительно отвечает в житейском только одно — трезвенная серьезность духа, и без понимания этого обстоятельства нет надежды понять ни возрастание поэзии Пушкина с годами, ни его личную судьбу.

В. Бибихин.



Е. КНИПОВИЧ. Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии. М. «Советский писатель». 1987. 143 стр.

Книга эта — своеобразное лирико-научное исследование мемуариста и искусствоведа. Взаимопроникновение жанров и диффузия временных пластов («тогда» и «через шестьдесят лет») воплотились в гармоничное единство — автор обращается к творчеству Блока и как исследователь, и как человек, связанный дружескими отношениями с поэтом в последние годы его жизни.

Евгения Федоровна Книпович и Блок познакомились в январе 1918 года. Это месяц рождения революционного «триптиха» — «Интеллигенция и Революция», «Двенадцать», «Скифы», — по определению Ст. Лесневского, «великого воплощения «музыки» социалистической революции». В новой книге о Блоке основной стала тема революции и культуры. Она прослеживается в обращении автора к поэтическому и публицистическому творчеству Блока, в давних беглых записях и сегодняшних комментариях, в воспоминаниях о встречах и совместной работе.

«Мы делаем такое дело, у которого опыта еще нет, его надо заново создавать. А чтобы его создавать, нужна полная и глубокая уверенность, что дело это очень важное и крайне необходимое», — полагал Блок, размышляя об участии интеллигенции в после-революционном созидании культуры. В том же январе 1918 года Блок записал в дневнике, что крылья у народа есть, а помочь

ему надо в знаниях и умениях, и Книпович вспоминает, как с первых дней знакомства ощутила, «тогда еще не очень понимая и обобщая, эту неразрывную в сознании Блока связь между крылатой и рабочей стороной культурного строительства».

Книпович и Блок сотрудничали в одном отделе Наркомпроса — театральном: Блок был его руководителем, а Евгения Федоровна ведала группой архивных разысканий репертуарной секции. Автор книги комментирует высказывания Блока о шекспировской драматургии и ее героях, о русской драме, об опере Вагнера, о героико-романтических постановках Шиллера. Книпович вспоминает также о случаях непосредственного обращения Блока к революционной массе. Одно из них — вступительное слово Блока перед красноармейцами петроградского гарнизона, пришедшими в Большой драматический театр на спектакль «Дон Карлос», — говорит о степени включенности Блока в умонастроения тех лет: «Вдумайтесь в то, что вы сейчас увидите. Легко ли, сладко ли жить той волчьей стае, которая осталась царствовать на земле после того, как погубила все доброе? Нет, такая жизнь — не жизнь. Легче таким людям, как эти жестокие и залитые кровью сыщики, удавиться, чем жить на свете. Ложь и зло сами себя губят, за всякое злое деяние человек рано или поздно получит возмездие».

Книга насыщена свидетельствами литературных симпатий и антипатий Блока, вызскательности его вкуса.

В 1920 году, готовясь издать «портативного» Пушкина для нового читателя, Блок обсуждал с Евгенией Федоровной принципы отбора материала: «Каждое исключенное стихотворение вызывает ощущение пореза на живом теле. Наконец, совершенно отчаявшись, Блок сказал: «Начнем брать только от „Редает облаков летучая града“». — «Почему?» — «Оно первое, от которого подступают слезы»...». Такие воспоминания и многозначительны и бесценны.

Иванов-Разумник заявлял, что после января 1918 года Блок не нашел себе места в строительстве нового и стал угасать, выполняя культурно-просветительные обязанности ради хлеба насущного. «Это неправда, — возражает Книпович. — Или, точнее, одна из тех отвратительных обывательских полуправд, которые, упрощая, в корне извращают подлинную правду». И в новой книге Книпович отражена активная творческая деятельность Блока в годы их знакомства вплоть до последнего поэтического поклона Пушкину —

Уходя в ночную тьму
С белой площади Сената.

М. Вашкевич.



ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЮНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДА. Составитель В. И. Новиков. М. «Педагогика». 1987. 416 стр.

Четыре года назад вышел языковедческий том словаря юного филолога. Само разделение такого «школьного» филологического словаря на лингвистику и литера-

туроведение есть признак культурного, профессионального подхода. Составителю М. В. Панову удалось сделать действительно популярное справочное пособие для самой широкой аудитории — и юношеской и взрослой. Словарь вызвал много откликов, в основном одобрительных (Д. Лихачев, И. Грекова, Н. Ильина...), и, заметим, не столько в специальной, сколько в широкой печати.

Второй — литературоведческий — словарь юного филолога располагает к себе богатым изобразительным рядом и вызывает искреннее волнение при более близком знакомстве: школьный словарь открывается «положительной» статьей «Акмеизм», иллюстрированной портретом Анны Ахматовой работы К. Петрова-Водкина и воспроизведенной обложкой книги О. Мандельштама «Камень», листая страницы, натыхаешься на статью о В. Ф. Переверзеве, и т. д. Первое ощущение — радость, дожили! И тут же сожаление: у нас-то этого не было... Значит ли это, что словарь безупречен? Конечно, нет (наверно, безупречный энциклопедический словарь — утопия). Скажу о некоторых частных недостатках: а) среди статей словаря нет, на мой взгляд, необходимых — «Всемирная литература», «Национальная литература», «Русская литература XX века» (есть, правда, «Русская литература конца XIX — начала XX в.», но это иная проблема); б) не вполне ясен критерий отбора книг для библиографического указателя — так, среди «наиболее интересных и доступных юному читателю» оказались сразу три работы Г. П. Бердникова, возглавляющего редакционную коллегию словаря, но нет, например, интереснейших книг Ю. Лотмана о Пушкине, специально адресованных юному читателю и вызвавших сочувственные отклики в печати; в) статьи не подписаны (кстати, в словаре юного филолога 1984 года такого промаха допущено не было), наверно, в математическом словаре авторство и не столь важно, но в такой «внеточной» науке, как литературоведение, авторская принадлежность той или иной статьи не пустая формальность, тем более что они далеко не равноценны.

Любопытная прослеживается закономерность (впрочем, не такая уж неожиданная): чем более удален предмет разговора от злости дня, чем менее он «идеологичен» (см., например, подряд идущие статьи — «Стиховедение», «Стихосложение», «Стихотворение», «Строфика», «Сюжет и фабула», «Текстология»...), тем лучше статьи написаны, тем они крепче, определеннее,

профессиональнее. И напротив... Скажем, в статье «Зарубежная литература капиталистических стран XX века» как-то неловко читать такие некорректно сформулированные утверждения: «В послеоктябрьский период, постепенно охватывая все более широкий круг стран, в зарубежной литературе утверждается метод социалистического реализма»; обзорная статья «Советская многонациональная литература» вызывает чувство стыда ходовым набором общих мест; а в статье «Постановления ЦК КПСС по вопросам литературы» за постановлением 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций следует уже постановление... 1972 года о литературно-художественной критике, а, допустим, постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» как бы вовсе и не было. Межеумочность ситуации (общественной и литературной) проявляется в литературоведческом словаре даже в мелочах: даны справочные статьи о наиболее значительных отечественных филологах — Бахтине, Эйхенбауме, Гуковском, Проппе, Жирмунском и других, но, скажем, статья о М. Храпченко чуть ли не вдвое превышает по объему статью о Бахтине.

Возникает вопрос: а должен ли вообще словарь, адресованный юному читателю, открывать какие-то «новые горизонты»? Думаю, что в нормальных условиях, то есть в таких условиях, когда регулярно издаются и переиздаются самые разнообразные словари и энциклопедии, от школьного словаря требуется, вероятно, только умения адаптация применительно к возможностям потенциального читателя. Во многих цивилизованных странах это — повседневная книгоиздательская практика. Но в наших (не нормальных) условиях, когда появление литературоведческого словаря есть событие, мы невольно (и, может быть, опрометчиво) ждем, что каждое такое издание будет существенным шагом вперед. Составитель словаря юного литературоведа делает все от него зависящее, чтобы так оно и было, но обстоятельства, похоже, корректируют его благие порывы. Тем не менее и сделанное (при всех необходимых оговорках) в целом можно назвать удачей (словарь уже получил премию общества «Знание»), хотя быстротекущее время неизбежно скорректирует эту оценку. А когда в нашей стране выйдет следующий «школьный» литературоведческий словарь? Боюсь, что не скоро.

Андрей Василевский.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. О кооперации. 319 стр. Цена 80 к.

Э. Миндлин. Не дом, но мир. Повесть об А. Коллонтай. («Пламенные революционеры») 399 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ю. Папоров. Жизнь — пламень. Документальная повесть о К. Атабаеве. 254 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Свентицкая. Раннее христианство: страницы истории. 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков. В 2-х томах. («Библиотека поэта. Большая серия») Л. Том 1. 671 стр., с илл. Цена 3 р. 50 к. Том 2. 719 стр., с илл. Цена 3 р. 20 к.

В. Н. Орлов. Дым от костра. Стихи. Л. 191 стр. Цена 55 к.

Я. Петерс. Кузнец кует на небе. Повесть о Раймонде Паулсе. Литературные портреты. Эссе. Перевод с латышского. 284 стр., с илл. Цена 1 р. 30 к.

В. Полонский. О литературе. Избранные работы. 493 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Авижюс. Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с литовского. Т. 1. 751 стр. Цена 2 р. 80 к. Т. 2. 448 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Бочаров. Литература и время. Из творческого опыта прозы 60—80-х гг. 383 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ю. Черниченко. Хлеб. Очерки. Повесть. 479 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Чехов. Избранные сочинения. («Библиотека учителя») 639 стр. Цена 4 р. 60 к.

«РАДУГА»

А. Де Яно. Время идти. Сборник. Перевод с итальянского. 491 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ж. Сарней. Легенда о вороном коне. Повесть. Рассказы. Перевод с португальского. 199 стр. Цена 1 р. 30 к.

Р. П. Уоррен. Как работает поэт. Статьи. Интервью. Перевод с английского. («Век XX. Писатель и время») 541 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ш. О'Фалейн. И вновь? Роман. Рассказы. Перевод с английского. («Мастера современной прозы. Ирландия») 428 стр. Цена 3 р. 30 к.

ВОЕНИЗДАТ

Л. Вельснопф. Жан и Ютта. Роман. Перевод с немецкого. 359 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Игнатъев. Пятьдесят лет в строю. 752 стр. Цена 4 р.

А. Полянский. Право на риск. Роман, повесть. 431 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ИСКУССТВО»

А. Лосев. История античной эстетики. Последние века. Книга 2. 448 стр. Цена 2 р. 70 к.

К. Минеева. Царицыно. Дворцово-парковый ансамбль. 134 стр. Цена 9 р.

Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов, 1908—1929. 238 стр. Цена 40 р. (в футляре).

Л. Трауберг. Избранные произведения. В 2-х томах. Том 1. Фильм начинается... Труды, входит зритель... Статьи. 496 стр. Цена 2 р. 60 к.

«НАУКА»

Л. Вовенарг. Введение в познание человеческого разума. Фрагменты. Критические замечания. Размышления и максимы. («Литературные памятники») 439 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Самсонов. Память минувшего. События, люди, история. 405 стр. Цена 2 р. 10 к.

Д. Сармьенто. Цивилизация и варварство. Жизнеописание Хуана Факундо Кируги. А также физический облик, обычаи и нравы Аргентинской Республики. Перевод с испанского. («Литературные памятники») 272 стр. Цена 3 р. 10 к.

Ф. Цандер. Проблемы межпланетных полетов. 100-летию со дня рождения ученого посвящается. 232 стр. Цена 3 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

С. Герберштейн. Записки о Московии. Перевод с немецкого. М. Издательство МГУ. 430 стр., с илл. Цена 5 р.

Л. Гудиашвили. Таинство красоты. Книга воспоминаний. Тбилиси. «Мерани». 118 стр., с илл. Цена 5 р. 80 к.

М. Знаменский. Исчезнувшие люди. Повести, статьи, воспоминания. **Н. Белоголовый.** Воспоминания сибиряка. («Литературные памятники Сибири») Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 560 стр., с илл. Цена 2 р. 90 к.

Нагорный Карабах. Историческая справка. Ереван. Издательство Академии наук Армянской ССР. 95 стр. Цена 40 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1988 ГОД

Памяти Михаила Давыдовича Львова.
IV—271.

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Габриела Адамештяну. Тетя Вика. Рассказ. Перевела с румынского Татьяна Иванова. VIII—142.

Виктор Астафьев. Ельчик-бельчик. Притча. IX—3.

Александр Белай. Два рассказа. IV—9.

Вирджиния Вулф. На маяк. Роман. Предисловие Е. Гениевой. Перевела с английского Е. Суриц. IX—100; X—95.

Иосиф Герасимов. Ночные трамваи. Повесть. II—6.

Лидия Гинзбург. Заблуждение воли. XI—137.

Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Роман. Публикация К. Ф. Домбровской-Гурумовой. Вступительное слово Ф. Искандера. VIII—5; IX—40; X—7; XI—92.

Юрий Коваль. Веселье сердечное. I—152.
Максим Коробейников. Рассказы о войне. II—81.

Владимир Крупин. Спасенье погибших. Роман-завешание. XI—7.

Михаил Кураев. Ночной дозор. Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР тов. Полуболотова. XII—80.

Валерий Мурзаков. Здравствуй, Тоня. Рассказ. V—124.

Владимир Орлов. Аптекарь. Роман. V—7; VI—8; VII—31.

Борис Пастернак. Доктор Живаго. Роман. Публикация, подготовка текста и комментарии Е. Б. Пастернака и В. М. Борисова. Вступительная статья Д. С. Лихачева. I—5; II—96; III—90; IV—48.

А. Петрушевская. Свой круг. I—116.—
Изолированный бокс. Диалог. XII—116.

Георгий Пряхин. Мать и матица. Рассказ. V—105.

Владимир Пшеничников. Лопуховские мужские игры. Бригадная повесть. Предисловие Сергея Залыгина. XII—3.

Святослав Рыбас. Плач из далекого года. Повесть. XII—56.

Наталья Суханова. Делос. Рассказ. Предисловие Виктора Астафьева. III—69.

Владимир Тендряков. На блаженном острове коммунизма. Рассказ. Публикация и подготовка текста Н. Асмоловой. Вступительное слово Сергея Залыгина. IX—20.—
Рассказы. Публикация и подготовка текста Натальи Асмоловой. III—3.

Татьяна Толстая. Сомнамбула в тумане. Рассказ. VII—8.

Б. В. Шергин. Из дневников. Публикация, подготовка текста и вступление Ларисы Шульман. I—134.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Юз Алешковский. «Не унывай, зимой дадут свидание...». Стихи. Предисловие Сергея Бочарова. XII—121.

Вениамин Блаженный. Никогда не расстаться. Стихи. IX—98.

Константин Ваншенкин. Дождь на реке. Стихи. VII—6.

Максимилиан Волошин. Из цикла «Усобица». Стихи. Подготовка текста, публикация и предисловие А. В. Лаврова. II—158.

Расул Гамзатов. Небеса над горами едины. Стихи. Перевел с аварского Яков Козловский. IX—18.

Александр Галич. Городские романсы. Стихи. V—132.

Татьяна Глушкова. Когда я думаю о ней... Стихи. II—78.

Далекий свет, дошедший из-за гор: Геворг Эми, Маро Маркарян. Стихи. Перевели с армянского В. Леонович, Эд. Бабаев, А. Гелескул. IV—3.

Ю. Даниэль. Дом. Стихи. VII—160.

Светлана Евсеева. Лесосплав. Стихи. XII—54.

Ольга Ермолаева. Поселок. Стихотворение. XI—87.

Леонид Завальнюк. Люблю ли я нынешнего героя. Стихи. VI—3.

Натан Злотников. Вольные странствия. Стихи. VIII—140.

Из праха и слезы небесной: Сергей Золотусский, Николай Конов, Ирина Знаменская, Михаил Шелехов, Сергей Гандлевский, Виталий Калашников, Дмитрий Веденяпин. Стихи. III—62.

Из эстонской поэзии: Пауль-Ээрик Руммо, Матс Траат. Перевел Светлан Семеновна. V—120.

Имена и даты: Юрий Гусинский, Вадим Черняк, Лев Смирнов, Рувим Моран, Вадим Кузнецов. Стихи. XI—133.

Испорченный калейдоскоп: Вадим Степанцов, Марина Кулакова, Юрий Арабов, Игорь Иртенев, Полина Иванова. Стихи. III—85.

Уильям Батлер Йейтс. И с древа золотого петь живущим. Стихи. Перевел с английского Григорий Кружков. VIII—163.

Василий Казанцев. Луг осенний. Стихи. I—113.

Владимир Корнилов. Пять стихотворений. VIII—160.

Владимир Костров. Если помнить. Стихи. XI—3.

Светлана Кузнецова. Невидимый полет. Стихи. IX—38.

Александр Купнер. Из новых стихов. X—5.

Леонард Лавлинский. Стихотворения. VII—158.

Александр Лаврин. Ночные встречи. Стихотворение. I—173.

Инна Лиснянская. Воздушная тетрадь. Стихи. VI—6.

Александр Межиров. Жизнь меня учила этой теме... Стихи. V—3.

Владимир Микучевич. Необязательные даты. Стихи. X—93.

Олеся Николаева. Попытка толкованья. Стихи. VIII—2.

Булат Окуджава. Бесшумная эскадрилья. Стихи. II—3.

Николай Панченко. Из разных тетрадей. Стихи. X—3.

Герман Плисецкий. Лицо твое. Стихи. I—3.

Евгений Рейв. Художник и модель. Стихи. II—93.

Роберт Рождественский. Помогите мне, стихи... V—102.

Юрий Рыженцев. Подарок памяти. Стихи. I—131.

Геврих Сапгир. Сатиры и сонеты. Стихи. XII—77.

Вадим Сикорский. Три стихотворения. XII—115.

Новиа Слепакова. Мгновенья бытия. Стихи. VII—27.

Мария Терентьева. Рослый парень. Стихотворение. IV—47.

Владимир Цыбин. Счет годов. Стихи. VII—3.

Аркадий Штейнберг. Три стихотворения. Подготовка текста и публикация В. Перельмутера. III—175.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Федор Бурлацкий. После Сталина. Заметки о политической оттепели. X—153.

В. И. Вернадский. «Основую жизни—искание истины». Публикация, предисловие и примечания И. И. Мочалова. Вступительное слово Б. С. Соколова. III—202.

Евгений Гнедин. Себя не потерять... Подготовка текста и публикация Н. М. Гнединой. VII—173.

Екатерина Мещерская. Трудовое крещение. IV—198.

Елена Ржевская. Старинная удача. XI—215.

Александра Толстая. Младшая дочь. Подготовка текста, вступительная статья и примечания С. А. Розановой. XI—188; XII—206.

Ф. И. Шалапин. Маска и душа. Главы из книги. Подготовка текста и предисловие Е. Дмитриевской, В. Дмитриевского. V—199; VI—182.

*К 160-летию со дня рождения
А. Н. Толстого*

Борис Мазурин. Рассказ и раздумья об истории одной толстовской коммуны «Жизнь и труд». Подготовка текста А. Б. Рогинского. IX—180.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Владимир Богатырев. Доколе свидимся. III—177.

Феодосий Видрашку. Репортаж из-под редакции. XII—185.

Иван Маркелов. Пусковой объект. II—163.

ПУБЛИЦИСТИКА

Алесь Адамович. «Честное слово, больше не взорвется», или Мнение неспециалиста.—Отзывы специалистов. IX—164.

В. Белов. Ремесло отчуждения. Бюрократия и экология. Размышления при разборе бумаг. VI—152.

Александр Гангнус. На руинах позитивной эстетики. Из истории одного термина. IX—147.

Г. Лисичкин. Мифы и реальность. Нужен ли Маркс перестройке? XI—160.

Н. Н. Моисеев. Облик руководителя. IV—176.

Андрей Монин. Застойные зоны. VII—162.

Андрей Нуйкин. Идеалы или интересы? По страницам газет и журналов. I—190; II—205.

Василий Селюнин. Истоки. V—162.

Е. Сергеев. Несколько застарелых вопросов. IX—142.

Николай Шмелев. Новые тревоги. IV—160.

В МИРЕ НАУКИ

Морис Маруа, Иван Фролов. Институт жизни. Вступительное слово Н. Моисеева. I—178.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Илья Константиновский. Долгий путь Югославии. Трудно ли освободиться от сталинизма? XII—171.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Елис, Васильева. «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь». Публикация и вступительная статья Владимира Глоцера. XII—132.

Иван Елагин. Тяжелые звезды. Стихи. Вступительное слово Е. Витковского. XII—125.

Сергей Марков. Баллада о столетье. Стихи. Публикация Г. П. Марковой. Вступительное слово Е. Храмова. IX—135.

Николай Кляев в последние годы жизни: письма и документы. По материалам семейного архива. Публикация, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии **Г. С. Клычкова** и С. И. Субботина. VIII—165.

«Россия, кровью умытая» Артема Веселого. По материалам личного архива писателя. Публикация, подготовка текста и комментарий Заяры Веселой. V—135.

Николай Стефанович. И окончится времени власть... Стихи. Публикация А. В. Стефанович. Вступительное слово Сергея Бочарова. XI—155.

Даниил Хармс. «Я думал о том, как прекрасно все первое!». Публикация и вступительная статья Владимира Глоцера. IV—129.

Велимир Хлебников. Председатель чеки. Новое о поэте. Вступление, подготовка текста и комментарий А. Е. Парниса. X—147.

Марина Цветаева. Вечной мужественности взмах. Подготовка текста, публикация и комментарий Е. И. Лубянской. VI—97.

Варлам Шаламов: проза, стихи. Публикация и подготовка текста И. П. Сиротинской. VI—106.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. С. Аверинцев. Византия и Русь: два типа духовности. Статья первая. VII—210; статья вторая. IX—227.

Виктор Кожевников. Шифрованные строфы «Евгения Онегина». — В. Турбин. Уже ли слово найдено? VI—259.

Владимир Кароленко. Письма к Луначарскому. Комментарии А. В. Храбровицкого. Вступительное слово С. Залыгина. X—198.

Д. С. Алхачев. Крещение Руси и государство Русь. VI—249.

Владимир Набоков. Предисловие к «Герою нашего времени». Перевод, комментарий и вступительное слово Сергея Таска. IV—189.

Виталий Семиин. Страницы из переписки последних лет. Публикация В. Н. Семиной-Кононыхиной. I—212.

Г. А. Федоров. «Помещик. Отца убил...», или История одной судьбы. Предисловие С. Г. Бочарова. X—219.

Герман Фрадкий. «Пожелай мне удачи...». V—190.

Борис Черных. Пахари и «мудрецы». Из истории одного колхоза. VIII—202.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. Аннинский. «Пред волею и бедой». II—237.

В. М. Борисов, Е. Б. Пастернак. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». VI—205.

Р. Гальцева, И. Роднянская. Помеха — человек. Опыт века в зеркале антутопий. XII—217.

Татьяна Глушкова. «Чаша дружбы». Из «Пригичи о Моцарте». VII—221.

Игорь Дедков. Жизнь против судьбы. XI—229.

А. Латынина. Колокольный звон — не молитва. К вопросу о литературных полемиках. VIII—232.

Е. Лебедев. Кое-что об ошибках сердца. Эстрадная песня как социальный симптом. X—239.

Ксения Мяло. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция. VIII—245.

Светлана Овчинникова. Под взглядом софитов. IV—243.

В. Оскоцкий. Логика недоверия. II—229.

Ст. Распадин. Расплюев. I—231.

И. Роднянская. Назад — к Орфею! III—234.

Светлана Семенова. Мытарства идеала. К выходу в свет «Чевенгура» Андрея Платонова. V—218.

М. Чудакова. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературном процессе 20—30-х годов. IX—240.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

О. Алякринский. Опыт о человеке (Грэм Грин. Десятый. Повесть. Грэм Грин. Сила и слава. Роман). V—241.

Л. Аннинский. Ниязох (Грант Матевосян. Хозяин. Повесть). XI—242.

Э. Бабаев. Сообщающиеся миры (С. Г. Бочаров. О художественных мирах. Сервантес. Пушкин. Баратынский. Гоголь. Достоевский. Толстой. Платонов. С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир»). II—250.

Валентин Берестов. «И опять я в мыслях полагаюсь на слова людей...» (Владимир Высоцкий. Кони привередливые. Стихи. Я, конечно, вернусь. Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания). II—246.

Марина Борщевская. Потерянный рай верлибра (Вячеслав Куприянов. Эхо. Стихотворения). XII—237.

Андрей Василевский. В защиту чуда (Б. Сарнов. Бремя таланта. Портреты и памфлеты). I—259. — Чувство в своем естестве (Николай Тряпкин. Излучки. Стихотворения. Николай Тряпкин. Огненные ясли. Стихи. Николай Тряпкин. Земное житие. Стихи разных лет). III—259.

И. Грекова. Расточительность таланта (Татьяна Толстая. «На золотом крыльце сидели...»). I—252.

А. Зверев. Поле надежды (Виктор Конецкий. Ледовые брызги. Из дневников писателя. Виктор Конецкий. Рассказы и повести разных лет). X—255.

Александр Зорин. Ключевое слово (Лариса Миллер. Земля и дом. Стихи. Лариса Миллер. Вешний свет. Книга в газете). II—253.

Наталья Иванова. О «ручном мужике», «Семкиной работе» и беглой лишенке Ваське (Сергей Антонов. Овраги. Васька. Повести). VIII—258.

В. Камянов. Задача на сложение (Владимир Маканин. Один и одна. Повесть. Владимир Маканин. Отставший. Повесть). III—255.

В. Кантор. Природа и человечность (Аскольд Якубовский. Квазар. Повести, роман и рассказы). V—232.

М. Кораллов. Надо жить долго (Лидия Чуковская. Софья Петровна. Повесть). XI—248.

С. Кормилов. Тогда и теперь (Марк Щеголов. Любите людей. Статьи. Дневники. Письма). XI—250.

С. Костырко. «Будем жить в глубину...». Проза молодых в журнале «Урал», 1988, № 1. XII—231.

Валентин Курбатов. «Пред очами небесными грозными...» (Геннадий Ступин. Ясная моя судьба). X—262.

Ю. Лексин. Из размышлений Шарика. Вместо рецензии (Друзья человека. Рассказы о животных). V—245.

О. Мраморнов. Блажен, кто помнит... (Виктор Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж. Роман). VII—243.

Е. Невзглядова. Сюжет для небольшого рассказа (Людмила Петрушевская. Три рассказа. Л. Петрушевская. Три рассказа). IV—256.

А. Немзер. Новый Эйхенбаум (Б. Эйхенбаум. О литературе. Работы разных лет). IV—260.

Марина Новикова. Цыганский кич или цыганский вопрос? (Ефим Друц. Цыганка Стелла. Роман). VII—251.

Александр Носов. Невысокомерное литературоведение. (А. Чудаков. Мир Чехова. Возникновение и утверждение. А. П. Чудаков. Антон Павлович Чехов. Книга для учащихся. Александр Чудаков. Чехов в Таганроге. Литературная хроника). V—238.

Марина Палей. Фигурка на оголенном поле (Георгий Калинин. Посреди зеленого поля). XI—245.

Г. Померанц. Голос другой культуры (Зимняя луна. Японские трехстишия и пятистишия в переводах Веры Марковой). VII—254.

Б. Рувин. Трагедия страха (Борис Ямпольский. Московская улица. Роман). VII—247.

Д. Самойлов. О «Творениях» Велимира Хлебникова (Велимир Хлебников. Творения). I—257.

В. Турбин. Босфор, Евфрат и Москва-река (От берегов Босфора до берегов Евфрата. Сергей Аверинцев. Попытки объясниться. Беседы о культуре). XII—240.

Л. Щемелева. «Все было дано...» (Белла Ахмадулина. Сад). V—234.

Политика и наука

Александр Архангельский. Из прошлого о вечном (И. Крывелев. Христос: миф или действительность?). XII—244.

Андрей Василевский. Цвейг против насилия (Стефан Цвейг. Статьи, эссе. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. Стефан Цвейг. Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина. Стефан Цвейг. Очерки). IX—261.

А. Володин. Мысль на весах истории (Михаил Александрович Бакунин. Избранные философские сочинения и письма). XI—259.

П. Гайдено. Сквозь призму техники (Новая технократическая волна на Западе). I—262.

Александр Гангнус. «Он никогда не терял надежды» (П. П. Черкасов. Генерал Лафайет. Исторический портрет). III—263.

И. Дрейцер. Анатомия «чуда» (Масанори Моритани. Современная технология и экономическое развитие Японии). IV—265.

В. Калинин. В стороне от реальности (А. И. Барменков. Свобода совести в СССР. О свободе совести). VII—257.

В. Острогорский. Забвению не подлежат (Е. А. Бродский. Они не пропали без вести. Не сломленные фашистской неволей). X—264.

И. Погребов. Критика нужна, но какая? (Идеологический плюрализм: видимость и сущность). II—255.

Светлана Семенова. «Да» сознательной эволюции (Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека). XII—253.

В. Чапикова. Кому принадлежала Поднебесная? (Китайские социальные утопии. Сборник статей). XII—248.

Ю. Черняченко. Лучше бы жернов на шею (Г. С. Урванцев. По трассам искусственных рек. Книга для учащихся). V—253.

Петр Черкасов. Конец Романовых (Г. З. Иоффе. Великий Октябрь и эпизод паризма). VII—259.

Сергей Яковлев. Слова и смыслы (Анатолий Стреляный. Стрельба влет). XI—253.—Право на огречение (П. Я. Чаадаев. Статьи и письма). V—248.

В. Ягья. Изнанка императорского двора (Рышард Капусцинский. Император).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Игорь Грязин. Правовое государство. VIII—266.

Е. С. Клычкова. О дате гибели поэта Сергея Клычкова. XI—266.

А. Кузьмин. Ранние корни. III—267.

В. Лысенко. Гармония — вместо хаоса. II—258.

Ольга Майорова. Отточия в угловых скобках. V—256.

А. Мартынова. К истории отточий. XII—256.

В. Митыпов. Город вопреки... V—262.

С. Н. Семанов. О некоторых обстоятельствах публикации «Тихого Дона». IX—265.

М. Степашкин. Важные «мелочи». IV—267.

Борис Сушков. В поисках «зеленой палочки». X—266.

Г. Шакуров. Социоцентризм или социализм? VII—263.

А. Е. Шнейдер. Суворов и его солдаты. II—260.

Е. Шубина. Страдания «Завещанного слова». XII—258.

КОРОТКО О КНИГАХ

А. Ходоров.— Леонид Ермолинский. Костер на вершине. Повести. В. Кантор.— Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. Светлана Овчинникова.— Лариса. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. Книга о Ларисе Шепитько. I—269.

Э. Ефремова.— Александр Житинский. Потерянный дом, или Разговор с милордом. Роман. Илья Фоянков.— Борис Сиротин. Родное имя. Стихотворения. Евгений Сидоров.— В. Барлас. Глазми поэта. Об открытии искусства и современных поэтах. В. Андреевский.— Владимир Карпец. Муж отечестволюбивый. Историко-литературный очерк. Владлен Сироткин.— Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Анна Пастухова.— Г. Данаилов. Не убить Моцарта! II—266.

Ст. Рассадин.— И. Меттер. Будни Рассказы. Повесть. Очерки. Воспоминания. А. Александрова.— Воды Клайда. Английские и шотландские народные баллады и песни. III—270.

Леонид Карасев.— Виктор Пронин. Продолжим наши игры. Повесть. Роман. Илья Кутик.— Вскоды вечности. Ассириовавилонская поэзия. Владимир Огнев.— Е. Сидоров. Евгений Евтушенко. Личность и творчество. IV—268.

Сергей Костырко.— Николай Шипилов. Шарабан. Повести, рассказы. Юрий Карабчиевский.— Арсений Тарковский. От юности до старости. Стихи. Павел Басинский.— Глеб Горышин. Жребий. Рассказы о писателях. Д. М. Брудачный.— Бор. Ефимов. На мой взгляд... С. Кузнецова.— Л. В. Шапошникова. От Алтая до Гималаев. По маршруту Центрально-азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Сергей Станкевич.— Взаимодействие культур СССР и США. XVIII—XX вв. V—266.

И. Фридман.— Олдос Хаксли. Желтый Кром. Роман. Рассказы. С. Глушнев.— В. Н. Ягодинский. Александр Леонидович Чижевский. 1897—1964. Г. Березовский.— Гастон Башляр. Новый рационализм. VI—269.

Л. Карасев.— Александр Нежный. Бумажное дело. Повесть, очерки. Вяч. В. Иванов.— Песни былого. Из еврейской народной поэзии. Е. Хомутова.— Ладо Гудиашвили. Книга воспоминаний. Статьи. Из переписки. Современники о художнике. VII—269.

Александр Зорин.— Виктор Василенко. Облака. Стихи. Виктор Василенко. Птица солнца. Стихотворения. Русский сонет. Сонеты русских поэтов начала XX ве-

ка и советских поэтов. Павел Басинский.— В. Каверин. Литератор. Сергей Бурдин.— Иван Краснов. Джон Рид: правда о Красной России. IX—270.

Виктор Малухин.— Марк Костров. Русское озеро. Очерки, рассказы. Елена Черникова.— Нина Горланова. Радуга каждый день. Рассказы. X—270.

Татьяна Бек.— Ян Гольцман. Кочевье. Стихотворения. Майя Карапетян.— Наталья Крымова. Любите ли вы театр? С. Джимбинов.— Франц Верфель. Сорок дней Муса-дага. Роман. Михаил Вольпе.— Воле Шойинка. Избранное. Ю. Соколова.— Вл. Новиков. Диалог. «Думайте поступками». Ю. Дмитриевский.— Л. А. Трубе. Остров Буян. Пушкин и география. XI—267.

А. Александров.— Свой подвиг свершив.. В. Библихин.— В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М. Вашкевич.— Е. Книпович. Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии. Андрей Василевский.— Энциклопедический словарь юного литературоведа. XII—263.

Книжные новинки. I—XI—272; XII—267.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), А. Е. Рекемчук, И. Б. Роднянская, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 23.09.88 г. Подписано к печати 14.11.88 г. А 04969.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,02 уч.-изд. л. Зак 3137

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в орден Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии «Красная звезда». 123826. ГСП.
Москва Д-317, Хорошевское шоссе, д. 38.
Тираж 1.110.000 экз. (3-й завод 560.001—760.000 экз.). Зак. 2474

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1988, № 12, 1—272.